

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

7



1994

НОВЫЙ МИР
7
1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7(831)

Июль, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — За блеснувшим в снегу серебром, стихи	3
ОЛЕГ ПАВЛОВ — Казенная сказка	8
ЛЕВ ГУМИЛЕВ — Поиски Эвридики, лирические мемуары	86
НАУМ КОРЖАВИН — Забвенье смысла и лица, стихи	87
ДАНИИЛ ГРАНИН — Бегство в Россию, роман	88
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Испанские письма, стихи	132

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — «Русский вопрос» к концу XX века	135
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ДМИТРИЙ ШУШАРИН — Возвращение в контекст	177
--	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АЛЛА МАРЧЕНКО — Невозвращенцы в мнэзэсы	194
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Предварительные итоги XX века

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ПУРИН — Письма по телефону, или Поэзия на закате столетия	198
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	215
-------------------	-----

Сергей Костырко. Вместо победы.
Марина Новикова. В поисках утраченной боли.
Андрей Василевский. Вот Слаповский, который способен на все
Валентин Никитин. «...уже больше, чем искусство»

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. ДАНИЛИН — «Бог века сего». Заметки психиатра	231
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Олег Генисаретский. — П. А. Флоренский. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. ♦	
Е. Озобкина. — I. Мартин Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. II. Мартин Хайдеггер. Избранные произведения. ♦	
А. Иванов. — В. А. Подорога. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX — XX вв. ♦	
Ю. Шрейдер—Александр Мелихов. — Два мнения о книге Зинаиды Миркиной «Огонь и пепел»	246
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	253
КНИЖНАЯ ПОЛКА (4)	254
SUMMARY	256

**Поздравляем
нашего автора, члена редколлегии
Дмитрия Сергеевича Лихачева
с присуждением ему главной награды
президиума Российской Академии наук —
Большой золотой медали имени М. Ломоносова**

**Читайте в ближайших номерах
заметки Д. С. Лихачева
«Культура как целостная среда»**

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

ЗА БЛЕСНУВШИМ В СНЕГУ СЕРЕБРОМ

* *

*

И Пушкина не все стихи любимы нами,
И вряд ли кто-нибудь «Гроб юноши», «Войну»
С начала до конца прочел, а не глазами
Их бегло пробежал — и чувствует вину
Горячую свою пред ним, как перед Богом.
А тех, кто осудить готовы нас, спрошу:
«Наездников» они читали? Из пороков
Ложь — худший. Покурю, помедлю, похожу

И вспомню: старый друг говаривал когда-то,
Что Пушкина, всего, хотел бы перечесть
Он перед смертью... Смерть груба и простовата.
Исполнил ли мечту, не знаю... Что-то есть
За гробом, иногда мне кажется, что чтение
Неспешное, тогда, конечно, перечтем
Внимательно всё, всё — и будет наше мнение
Надежней, с тенью лип, не вянущих на нем.

* *

*

Если кто-то Италию любит,
Мы его понимаем, хотя
Сон полуденный мысль ее губит,
Солнце нежит и море голубит,
Впала в детство она без дождя.

Если Англию — гоже понятно.
И тем более — Францию, что ж,
Я впивался и сам в нее жадно,
Как пчела... ах, на ней даже пятна,
Как на солнце: увидишь — поймешь.

Но Россию со всей ее кровью...
Я не знаю, как это назвать, —
Стыдно, страшно, — неужто любовью?
Эту рыхлую ямку кротовью,
Серой ивы бесцветную прядь.

* *
*

Не знали мы названия цветка
Двухцветного, название с потолка
Придумывал ему, и впрямь дикарь я.
Лиловый он, смотри, желтей желтка.
Оказывается, иван-да-марья!

Мы в Риме трав, как варвары, с тобой
Не знаем прав, культуры вековой,
До нас страдали, мучились, любили
И любовались радостью двойной.
О, жизнь вдвоем, всех благ милей не ты ли?

А желтый цвет как символ жарких чувств,
А цвет лиловый марок так и густ,
Что кое-где лежит и на зеленых
Листочках, — позавидует и хлюст,
И хлыщ — союзу любящих, влюбленных!

И всем друзьям и милым женам их,
Превозмогавшим с нами бремя злых
Лет, — шлем привет от имени двухцветных
Цветочков этих, словно в шерстяных
Домашних кофтах вязаных, заветных.

* *
*

Там, где весна, весна, всегда весна, где склон
Покат, и ласков куст, и черных нет наветов,
Какую премию мне Аполлон
Присудит, вымышленный бог поэтов!

А ствол у тополя густой листвою оброс,
Весь, снизу доверху, — клубится, львиногривый.
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.

За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.

Поэт для критиков что мальчик для битья.
Но не плясал под их я дудку.
За то, что этих строк в душе стесняюсь я,
И откажусь от них, и превращу их в шутку.

За то, что музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за ни за что,
За Je vous aime, ich liebe.

* *
*

В сравненье с Дантовым, старинного покроя,
Тяжелым, выцветшим, атласно-золотым,
Парчовым, бархатным, лепным и все такое, —
Бессмертьем новеньким любится своим
И в снисходительных руках литературоведа
(Как слово глупое из рамок лезет всех!)
Поверх тифозного и лагерного бреда
Песцовый, пасмурный, безгрешный гладит мех.

* *
*

Заумь тоже дождется симпозиума.
Пригласят — и, рассевшись кругом,
Ей внимать будут слаще, чем Бозио.
Помнишь Бозио? Русским стихом
Избалованы мы. За полозьями,
За блеснувшим в снегу серебром.

Вообще, это все сумасшествие!
Не иначе. И смерть не страшна.
И причина заходит за следствие,
За смертельную жалость — вина.
Наше счастье и вечное бедствие,
Зачерпнувшая смерти страна.

Вроде снега, попавшего в валенки.
Снимет, вытряхнет, всё — нипочем!
И смутишься, и вспомнишь, как маленький
Стыл под школьным в строю кумачом.
Где же смысл? Нету смысла. Без паники!
Еще раз — разговор ни о чем!

* *
*

— Ну что за похороны — две всего гондолы! —
Сказал слуга-венцианец. Гулко
Слова его звучали в зале голой:
Так, маленькая, жалкая прогулка,
Un piccolo passeggio... Ей-богу,
Ее, бедняжку, жаль мне. Poveretta! —
Другой он видеть скорбную прогулку
Хотел... Ну что сказать ему на это?

Дурак! Спустись в тратторию и ужин
Мне принеси, проси — погорячее..
Он думает, что похороны служат
К увеселенью близких... На плече я
В тот миг ночную бабочку заметил,
Вцепившуюся в ткань, она сидела
Так, словно свет свечи был слишком светел,
Убавь его. Вот так, другое дело!

* *
*

В поместье у фон Мекк он, бедный, жил, как в сказке
 Про аленький цветочек.
 Не видеться. Не звать к себе. Не строить глазки.
 Платочек не сминать в комочек.
 Из дома выходил пройтись не без опаски.
 Записка от нее. Как страшен женский почерк!

Нет странностей. Верней, у странностей причины
 Есть. В глубине чудачеств
 Мерещится изъян. О, маски, о, личины,
 Скрывающие смысл от нас тайных качеств.
 Как женщины мрачны! Как женственны мужчины!
 Подальше от причуд, причудливых дурачеств.

Но в музыке душа как бы живет без тела,
 Поймать ее с поличным
 Нельзя, не так ли? Да. Хотя... Не ваше дело!
 За выкриком трубы и вывертом скрипичным...
 Как бабочка, взвилась от вас и улетела,
 И счастьем дышит в ней, что было неприличным.

* *
*

Не заметишь, как станешь ровесником немолодых
 И, как правило, второстепенных героев, — не их
 Любит автор; отныне старик генерал — твой товарищ,
 «Толстый, этот», как сказано, бедной Татьяны жених.
 Видишь, возраст всемогущ и опыт насмешлив и старящ.

Что ж, в свое удовольствие, сладко и скромно живи.
 Ты не в фокусе, с ветки дубовый листочек сорви,
 Как он женствен! С тобой, слава богу, отныне идею
 Не связать, ни сочувственный замысел, — что до любви,
 То она... то о ней... и умрем — не расстанемся с нею.

* *
*

В романе сказано, что женщин добрых нет,
 Но есть способные на жалость, — автор бедный
 Заврался, думаю. Вечерний льется свет
 На шкафчик лаковый, а кажется, что медный.

Открыла скрипнувший и вазочку взяла.
 Все обобщения смешны по меньшей мере.
 Должно быть, вечером ему на ум пришла
 Мысль, — записал ее, а утром не проверил.

Что ясно поутру, то смутно ввечеру.
 И, мимо идучи, в глаза поцеловала.
 Ах, нежность все-таки вослед за ним добру
 Я предпочесть готов, ее всегда нам мало!

ЗА БЛЕСНУВШИМ В СНЕГУ СЕРЕБРОМ

* *
*

Страшно жить, а не жить как раз
И не страшно. Счастливый сон —
Вечный, ровный, глубокий, нас
Устраняющий, — выйти вон
Из навязанных комнат, ниш,
Улиц, дружб, языка, дверей...
В детстве, помнится, «Все проспишь! —
говорили. — Вставай скорей!»

Все проспять! Беззаботней нет
Участи. Я проспал уже
Трою, дягилевский балет
И Олимпию в неглиже,
Выезд Ирода из дворца,
Выход Пушкина на крыльцо...
Что ж вздыхать, горевать, конца
Избегать, закрывать лицо?

* *
*

Чья-то нежность и наша гримаса...
— Потерпи еще, — просят, — стой!
Этот мир, как соринку из глаза,
Вынут нам с набежавшей слезой.
Лишь бы в этой слепой проволочке
Доверяли мы легкой руке. —
И покажут его на платочке,
На крахмальном его уголке.



ОЛЕГ ПАВЛОВ

*

КАЗЕННАЯ СКАЗКА

Посвящается русским капитанам, этим крепчайшим
служакам, на чьих горбах да гробах покоилось во все века
наше царство-государство, вечная всем память.

Глава первая: «Жили-были»

Газеты в степную роту завозили, как картошку: на месяц, на два или уж до весны, чтобы не тратиться зря на горючее и не баловать. Завозили прошлогодние, из расстроенной полковой читальни, где подшивки успевали обворовать поскорее чем за год. Но и раскромсанные — сообщая о чем-то большом и важном, что свершилось давно и без их ведома, газеты, бывало, выдавливали у ротных слезу. Узнавая так поздно, так сразу обо всех мировых событиях, солдатня пускалась расходовать свою и без того пропащую жизнь. На службе распивали водку да храпели, а казарму прокуривали, грязнили в ней, синюшной, полы. Но и посреди этого разгуля слышалось, как занудно перемалывают прочитанное, жалея позабыть. Слово за слово — разговорцы промеж служивыми крепчали, так что у всякого являлось особое мнение, и если вдруг вылезало на свет событие поважней и побольше, а четкая политическая оценка отсутствовала, случался и мордобой.

Ничего не ждал от жизни один капитан Хабаров. Он если и подсаживался в круг читчиков, то украдкой вливал свою застарелую тоску в общую, как считалось — по международному положению, которое ухудшалось у всех на глазах. Капитан даже не заглядывал в газеты. Эти нездешние новости ему сообщались в свою пору по телефону теми удачливыми знакомцами, какие насиживали местечки в самом карагандинском полку. Сообщались, можно сказать, из былого уважения, но Хабаров и тогда в далекую их брехливую речь не вслушивался, тосковал.

Иван Яковлевич Хабаров явился на казенную службу не по расчету или принуждению, хоть добрая его воля мало что прибавляла, будто нуль. Вот и в солдаты его забрили, как и всех. Но, остриженный наголо, забритый, Хабаров служил добротнo, и своим чередом вышло, что произвели в старшины. И да будет известно, что в старшины попадаетесь в главном совестливый человек, труженик, который все выдюжит, сколько бы ни взваливали, и притом не уберегая своего живота, не пьянствуя, не воруя из общего котла или распяленного казенного кармана. Когда истек срок службы солдатской, подневольной, отовсюду Хабарова упрашивали остаться тем же старшиной. Свой брат, казарменный, его удерживал: «Может, еще послужишь? погоди, вместе веселей!» А начальство умасливало: «Оставайся-ка, Иван, это ж твое твердое место, а что на гражданке ожидает, какой ты, к словочий, гражданский человек?!»

Служивый человек обнаруживался в Хабарове по натруженности всего облика, по скупым и грубым чертам. Этот знак был глубже, чем столбовая статья, которую наживают на плацу солдафоны. Старшина был человеком

коренастым, приземистым, похожим правдивей на горб, чем на столб. Солдатские черты делали его безликим, сравнимым разве что с миллионом ему подобных служак. Однако тот миллион образовывал гущу народа, в которой исчезает всякий отдельный человек. Хабаров родился у простых людей, которыми и назван был как проще. Не имел семи пядей во лбу, не имел готового наследства и уже поэтому увяз в той гуще, из которой и явился на свет. Суждено ему было, вот уж правда, замешаться в ней будто комком. Жизнь в той гуще не перетекает по годам и годами не сотрясается. Время тут не приносит легких, быстрых перемен, а потому и вовсе без него живут, разумея попросту, что всему свой черед. Что замешивалось, про то узнают через века. А кто жил да помирал, так ничего и не узнает. Остался Иван Хабаров служить — за паек и рупь казенного жалованья, которыми не побалуешь. Что бы ни случилось, Хабаров думал: «Поворачивать некуда, надо терпеть». И он же думал, что бы ни случилось: «Это еще не конец, погоди, что впереди будет».

Вот и теперь, в том безвестном времени, в каком нашей повестью пересекся его долгий путь, Хабаров в пыльных капитанских погонах дослуживал в одной из темных лагерных рот карагандинки, намаившись по лагерям от Печоры до Зеравшана дольше вечного урки, а большего не выслужив. И да будет известно, что в степные капитаны попадаетея в главном человек совестливый, труженик.

Должно сказать, что Карабас, как прозывалось лагерное местечко, был известен людям с глубокой древности. Местечко приметили в степи еще казахи, в период феодальной раздробленности. Переложенное с их языка, прозвище звучало как Черная Голова. В нынешнем же веку казахов близко с Карабасом и видно не было. Они населяли дальние колхозы, разводили овец. Случалось, степняки заезжали в поселенье, чтобы хоть поглазеть на лагерь и надеясь разжиться казенным барахлишком. И когда их выспрашивали, отчего дано такое угрюмое название, казахи, ерзая глазами по округе, признавались, что и сами не знают, где углядели черноту и откуда привиделась голова среди стертой степной равнины. Сопки, курящиеся вдаль и окружавшие местечко серой дымкой, вовсе не походили на головы, а каменистые гребни чернели в промозглую пору, походя на гнилушки. Зато просторов тут было вдоволь. Ни растительность, ни пашни, ни реки не утруждали степной землицы, не стискивали. Новые люди, однако, селились в древней степи не ради просторов. Место было выбрано так, будто плюнули со злости и отсель, где наплевали, принялись жить.

Карабас разделялся на две части, из которых самой невзрачной была лагерная рота, а другая, прущая по степи навроде баржи, — лагерь. И рота и лагерь строились в один замес, но с годами их наружность по многу раз скривлялась, а временки так же бойко строились, как и разрушались. Магазинов, учреждений, домов, церковей поселок на своем веку не ведал. Одни унылые бараки, схожие с конурой, вокруг которых и раздавался дурной овчарочий лай. К баракам тянулись вытопанные сапогами стежки, будто люди ходили по краю, боясь упасть, такие они были узкие. Эти же стежки вводили к тупикам, обрываясь там, где начинались закрытые зоны и всякие другие запреты. Вольный доступ открывали Карабасу лагерная узкоколейка да степной большак, обрывавшиеся далеко за сопками. Еще вводил от лагеря, на отшиб, почти не примечаемый могильник, куда больничка захоранивала бесхозных эков. На том месте временами являлся свежий перекоп, такой нахрапистый, будто клад вырывали из земли, а не хоронили. Вот и все сообщение, если так считать, все пути да выходы. Сказать правду, в Карабасе притко сообщались лишь барачные вши, гуляя от солдат к экам и в обратную, будто вольная воля. Вши ходили друг к дружке в гости, выпивали и закусывали, плодились по сто штук. А люди страдали от чесотки, давили торжествующих гадов, которые и роднили их покрепче, чем всякая мать.

Не считая живности, Карабас населяли солдаты, эки, вольнонаемные мастера да надзиратели. Эки с солдатами жили на том месте годами, от-

бывая свои повинности. Остальное население регулярно перемещалось по узкоколейке в сторону Угольпункта — был такой городишко, чтобы отдохнуть.

В лагере была устроена фабричка, где пошивали казенную амуницию и сколачивали знатные сапоги — весом в пуд. Другим занятием была извечная охрана, извечные караулы. Будни дышали кислыми щами и текли долго, тягостно, наплывая, будто из глубокой старины.

Содержались служивые жалованьем да пайкой. Получку десятков лет не прибавляли, но со временем она и не убавилась, потому если и не слишком наживались, то ценили в ней строгость. Втихую, правда, поговаривали, что за такую-то службу должны бы побольше денег давать. Полагая про себя, что жалованье существенно утаивают, мужики служили поплотнее, чтобы не прогадать. А начальство и радо было по всякому случаю кричать, что такая служба и копейки не стоит ломаной и если пересчитывать, то служивые навек в долгу. Однако до пересчета так и не доходило — его одинаково все боялись, будто суда. Иначе обстояло с пайками и прочим довольствием. Летом пайку урезали, чтоб скопить хоть чего на зиму, также и осенью откладывали про запас. А нагрянет январь, запаса — разве что воробья прокормить, и неизвестно, ради чего голодали. Зэк — тот своего потребует, хоть зарежется, надзиратель утайкой сворует, а служивому откуда взять? Что доставляют из полка, не взвесишь. Говорят, снабжают по нормам, а какие они? Начисляют живым весом, будто не понимают, что живой-то вес утрачивается, ужаривается, а то и пропадает пропадом. Вместо жиров дают говяжьего сала, чтоб сами вытапливали калории, которые организмам нужны. А тот жир что вода — сыт не будешь, да и воротит с души. Вместо яблок — сухофрукт. Чай подменяют жженкой, смолой чайной. Куда ни глянь, повсюду теснят, ужимают.

Толком и не служили, а выживали как могли. Чтобы достать говяжью сигарку, потратишь сил больше, чем ежели гору взгромоздишь. Пустишься во все тяжкие, червяком сделаешься, а покуришь наконец или, к примеру, пожрешь, то не хочется уж и жить. Ясно, что воровали. Грызлись, так за всякий шматок.

Тягостно жилось в Карабасе еще и потому, что место это стравливало подневольных людей. Если посудить, то солдату и нечего было делить с зэком, они и переглядывались разве что через лагерный забор. Солдат не мог отнять у зэка пайку, если же они терпели нужду, то ударяло и по лагерным, и по служивым, хоть и с разных боков. Солдат не выслуживался на заключенных подобно надзирателям, которые и служили по доброй воле, и носы держали по ветру, будто легавые, — вот кинутся, чуть слышав, ату их, трави! Для Хабарова солдаты с зэками были не иначе как простыми душами, а он многое повидал.

Капитан никогда не распускал языка до того, чтобы жаловаться на свою судьбу. Жаловаться — значит, искать виноватых, увиливать, мельчить, от этого его воротило, как от говяжьего жира. Попав в караульную роту, Хабаров скоро понял, что никакой службы здесь нет. А есть одно лихо на всех, одна лямка, чтобы волочь и лагерную баржу, и тех, кто на ней катается, нагуливая блевоту. Потому и не любил лагерного начальства, не уважал выездных судов, когда в клуб загоняют толпами зевак и выносят на люди приговор, пускай и виноватому человеку. Это же горе, и присутствовать при нем должны, как на похоронах, разве родные и близкие, кому дорог, а не выставлен напоказ, под плевки этот одинокий человек. Хабаров тянул лагерную лямку, не делая облегченья ни себе, ни зэкам или солдатушкам. Всякий проживал в лагере свой срок, и никто бы не сжалился над другим, потому что тогда бы все разом пропали, а ежели ты не увертывался от своей доли, то и легче было всем, точно бы, как говаривал капитан, это был еще не конец. И там, где бы померли в одиночку, скопом жили, укрепленные теснотой, которая не давала упасть даже мертвому.

Зато когда все опустевало и грызня за шматок сала, за глоток вольного воздуха испускала всю злость, наваливалась на поселок сонливая зимняя

тишина и натекал белый грязноватый свет, Карабас погружался в спячку. И в то долгое время запоминалось, как теплится жизнь, и согревало ее тепло, эдакое печное. Капитан забывался в том тепле, запекавшем и многие его раны.

Живописав размах лагерного поселка, с этой уже достигнутой высоты сказка наша устремляется в его глубь и камнем падает на казарменный двор, на вечно пьяного Илью Перегуда — до того огромного человека, что и не целясь всегда попадешь в него.

Илья Перегуд служил в роте на всех пустовавших должностях, так называемых обьедках, на мелких проходных местах, которые не делают человека начальником, а лишь назначают ему невзрачное дело — к примеру, пересчитай-ка в каптерке простыни, проследи-ка, чтобы покормили в будках собак. Это и старшины, и писари, и собачники, но Карабас всегда страдал от нехватки людей, так что все должности достались Перегуду, который приглянулся капитану еще надзирателем и которого он, совсем на той службе пропавшего, перевел за руку в роту, будто малое дитя. Сердце и душа Ильи работали на водке. Однако передвигаться он не любил, разве что застревал, пьяный, на казарменном дворе, и находили его обычно, будто медведя в берлоге, на одной из должностей, а чаще в каптерке. Перегуд располагался в темной каморке, которую всю жизнь и занимал, будто гроб. Входя человек и наталкивался на Илью как на покойника — вот он сидит в такой фигуре, что огромная чубастая голова, кажется, скатится сейчас с его туловища, с этой горы. Одна рука богатыря, похожая на склон горы, подымается в воздух, и в полутьме уже слышится бульканье и облегченный вздох Ильи, утолившего жажду. «Ты кто такой, ты казак? — спрашивает в упор Перегуд, вовсе не узнавая, кто пришел. И потом сам же и отвечает, чем начисто выдворяет, точно бы сдувает, пришедшего: — А я казак!»

Надо ли говорить, что на своих должностях Перегуд ни черта не делал, он ничего и не мог поделать кроме как внушить к себе уважение. Собаки были не кормлены, простыни не считаны, Илья их даже не замечал. От беспорядка, который происходил по его вине в роте, было всем веселее. Капитан не прогонял Илью, терпел, будто инвалида. И еще за Перегудом водилась одна странность: по временам его охватывал страх, как у других кости ноют к сырой погоде, к дождю. В такие времена он до того изменялся, что ходил и говорил повсюду эдак боязливо: «Да я не казак, не казак...» Однажды было, что Перегуду в одно такое время шепнули, будто за ним едет «воронок». Илья тогда забрался под нары в казарме и не вылезал наружу, а солдатня нарочно страшала: «Ты лежи, может, не найдут».

Выгасил его через много часов замполит Василь Величко, рассказав, что над ним посмеялись. Илья помрачнел, рассердился и на глазах у всех, ударив кулаком об стену, пробил дыру. «Смеяться надо мной, над казакком?!» — заревел он будто медведь. Людей он никогда в жизни не бил, боясь, что убьет. И потому никому не было страшно, а все повеселели, что его болезнь прошла. Спустя мгновение веселился, пил водку и сам Илья Перегуд.

А про замполита, про Василя Величко, вам бы все рассказали сами люди, такой он был человек, что ничего не держал ни в запасе, ни в тайне.

С этого человека и должно было начать, если б не подвернулся Перегуд, который и подождать мог, и никуда бы не пропал, и всех переживет как плюнуть, влей только в его сердце водку. Но поди обойди его!

Если бы капитану Хабарову доложили, что Перегуд прячется под нарами, куда его застрашали солдаты, он бы не тронулся с места, а уж тем больше не бросил бы дела, за которым его застали. От солдатни да Ильи все равно не было толку, как хочешь ими верти. А вот Величко бросился, взметнулся, такой это был человек, что хотел все изменить.

В этот Карабас, как в яму, легко было попасть, но трудно, если и прямо заказано, выбраться. Не говоря о ээках, даже солдаты ссылались, прятались поглубже в степь, когда их отбраковывали в полку. Это знал Ха-

баров как правду. Когда ему пообещали из полка нового замполита, он опасался, как бы тот не оказался совсем отчаянным, из тех, кому нечего терять. А прибыл Величко и в первый же день устроил всем политзанятие, развесив повсюду в казарме плакаты, намалевав тут же лозунгов, от которых капитан так отстал, что даже и не знал.

А Величко вроде даже и не понял, что и его сослали. Капитан подивился подлости полковых. Оставили бы такого парня у себя, пускай бы порхал при штабе, а то взяли и ударили рожей об лагерный забор. Хабаров дивился и замполиту, без радости глядя, как в роте завелись политзанятия, комсомольская ячейка и, между прочим, те самые бесконечные читки старых газет. Хабаров всю эту пропаганду считал бездельем. Так что Василя Величку капитан долго не понимал, а потому и не уважал. Все же рассказы замполита о самом себе состояли из «я убедился», чему на смену приходило «я преодолевал», как он выражался, а являл-то серую картину: увлекся, а потом бросил, взявшись за другое, и ничего не довел до конца — пустомеля он. Или просто дурак. Вроде верил и в бога, а потом разуверился, начав заниматься закаливанием, поверил в ледяные проруби, в здоровую жизнь. «Я тогда убедился, что человек может сам собой распоряжаться, что он должен быть здоровым и радоваться жизни, понимаете, и вот начал преодолевать», — говорил он. А потом вдруг с той же горячностью принялся рассказывать, как он разуверился в закаливании, поняв, что сначала надо сделать здоровой и радостной жизнь всех людей. «Нет, я в этом убедился, это самое главное, понимаете, это коммунизм! Человеку плохо, когда кругом плохо, но все вместе мы многое можем изменить!» Таков был и жизненный путь Василя Велички: служил он в полковом клубе, потому что умел рисовать, потом напросился физруком, потом в политотдел напросился пропагандистом, а потом его послали служить в Карабас.

Солдатня полюбила доброго замполита, за все полюбила. Хабаров — тот был чужим, его боялись или уважали. С Перегудом возможно было выпить, но как со старым дядькой. А Величко привез с собой плакаты, газеты будто подарки и с первых дней возился с солдатней, обращался к ней даже поначалу на вы, потому что солдаты и были для него теми людьми, с которыми он задумал менять жизнь. А так как ему было важно сперва убедить, завлечь, а солдатам пропаганда нравилась, то и родилось их особенное, задушевное общение, чего б ни случилось, начини он все с ходу изменять. Заболел живот — шагай к Величке! Хочешь душу излить, шагай! К тому же замполит не брезговал изобразить солдатскую рожу, отчего рисовать ему приходилось даже по ночам. Просили все, а за личными портретами шли общие, всей роты, затем виды на лагерь и отдельно — дружков, на память. Рисовал Величко, подобно всякому самоучке, просто, будто фотографировал, но одновременно и приукрашивая. Запечатленная так просто, как на фотокарточке, эта густая красивость выходила убедительней, чем сама натура, и потому с радостью узнавалась. И случалось, являлся к Василю солдат, протягивал поблекший снимок и просил со всей доверительностью: «Это мать с отцом, он тут в рубахе, а вы приделайте пиджак, и чтобы мать тоже получше одетой была».

Хоть и считая замполита пустомелей, Хабаров стал относиться к нему спокойней, поняв, что Величко честно старается ради людей, и не беда, если мало его старания приносили толку. Да разве и может один человек все враз изменить? Еще выпал случай, который окончательно смирил и даже сблизил капитана с этим человеком. Это был тот редкий, тягостный случай, когда в роту пришла похоронка, срочная, заверенная телеграмма: у солдата, служившего в роте, умерла на родине мать. Доложить ее должен был замполит, но и капитан пристроился к Величке, потому что вместе легче, а он и хотел облегчить как возможно это чужое горе. В канцелярию вызвали того солдата, и Величко зачитал ему вслух, а когда солдат зарыдал, то, глядя на молодого, сильного парня, вмиг разбитого горем, тот и сам заплакал, отчего и капитан Хабаров, не ожидая такого от себя, вместе со всеми всплакнул.

С того случая и завелась у Хабарова с Величкой своя задушевная тужба, сроднившая их крепче всякого кровного переливания. Капитан вечно прикапывал впрок, а потом долго растягивал запасы. Даже если всего хватало, он опять же откладывал, ожидая лиха, точно бы наклейкая беду. Солдатня, понятно, с такой экономии унывала и лишалась веры в лучшее. Это сильно переживал, будучи замполитом, Василь, заболевая всей душой, когда людям становилось голодно или больно жить. Вот и наскакивал Величко с жаром на капитана, чуть начинал тот затягивать потуже пояса. Их молчаливая, а порой и сварливая борьба длилась месяцами, и капитану ничего не стоило пересилить Василя, но, видя его отчаянье, Хабаров сдавался сам. А тут еще вылезал Перегуд, подымал его на смех: «Слышь, Иван, хватит голодом морить, замполит прав. Ты хрен переверни — вот и устраивай себе экономию, а людям не трожь!» Хозяйство расстраивалось, и капитану, чего таить, тяжело было глядеть, как Величко пускает по ветру ради однодневных послаблений весь его долгий муравьиный труд. Василь, а равно и Перегуд, казалось, были для него в обузу и хозяйству не приносили хоть малой пользы, однако вот чудо: с этой обузой капитану жилось теплей и служилось легче.

Никто вслух не признавался, что нуждается в другом, но таким признанием, пускай и немым, было общежитие этой троицы, устроенное в ротной канцелярии. Хабаров поселился в ней издавна. В Угольпункте был барачный дом для лагерных работников, в котором при желании давалось место и полковым офицерам, но комнатушку в нем делили впятером, еще и семейные. Вот капитан и рассудил, что спокойней иметь койку в канцелярии, чем если схоронят в ту братскую могилу. Отведав житья с лагерными, и Величко попросил, чтобы капитан пустил его в канцелярию на постой. А потом уже и Илья, обратив разок внимание, что ротный с замполитом живут прямо-таки у него под боком, то и ночь останавливался у них в гостях — уж Перегуд-то честную компанию умел уважать! Постилали ему на полу, он и был доволен. Потому вытолкать его однажды, то есть лишить удовольствия, Хабарову было уже совестно, хоть Илья их здорово уплотнил и заразил к тому же пьянством и разговорами, теми, что без начала и конца. Воздух в канцелярии сделался крепок: как дышали, так и жили.

Бывало, запивал горькую и Хабаров, хоть и не поверишь, что с ним мог случиться запой, потому как, даже выпивая, он делал это строго, будто напутствовал, и содержал себя в порядке, и выглядел разве благодушной, да и разрешал себе водки лишь под вечер. А вот пьянел враз и после пил беспробудно, но всегда лишь в ту пору, когда являлся в буднях просвет. Однако капитану именно в это спокойное время чудилось, что достигать ему больше нечего, да и смысла нет, пользы нет. Все же пьяным он по роте не шатался: поглядишь — вроде спит человек мертвым сном, то есть лежачется на койке, даже не стянув сапог. Не добудишься. Так что оставляли — будто в отпуску. Хозяйство падало на Величку, которого все разыскивали и никто в нужном месте не находил. А Илья спал подле капитана на полу, прогоняя всех, кто входил. Он же толкал раз в день капитана, чтобы удостовериться, что Хабаров еще живой.

Хабаров отсыпался, может, с неделю, а потом спохватывался, что хозяйство пришло в запустение, и тоже враз с легкостью прекращал пить до следующего запоя. Бывало, запивал горькую и замполит, пытаясь перевоспитать Перегуда, отучить его от пьянства. Тот, бывало, обещал Василю: «Все, завязываю, ни капли, чтоб я слох. Так давай в последнем разе выпьем эту водку. Слышь, Василек, не обижай, давай за мою новую жизнь!» Василь боязливо взглядывал на Перегуда: «А честно прекратишь пить?» «Слово казака — или не веришь мне?!» Величке делалось стыдно, и он поспешно соглашался, хоть водка и ударяла по нему, ослабленному долгой здоровой жизнью, как дубина.

Иногда Величко с Перегудом наседали на Хабарова: «Жрать нечего, порядка нету, вор на воре!» Хабаров таких разговоров опасался, спохваты-

вался: «Хватит ерунду-то молоть, лучше вот выпьем, еще выпьем по одной». И сам выпивал ради спокойствия. Заливая водкой опасные разговоры, Хабаров частенько перебирал лишку и вдруг крепко пьянел, начиная так поносить и начальство и порядки, что Величко то бледнел, то краснел, убегая из канцелярии будто угорелый, а Илья Перегуд укладывался сознательно спать на полу и начинал громко храпеть: то ли заглушить хотел капитана, чтобы чужие не услышали, то ли и впрямь засыпал, или храп этот с ним со страху случался.

Капитан Хабаров не считал тех похожих дней, сколько их было, но в истории Карабаса, может, в те дни и убывал живой человек, Василь Величко все чаще жаловался, что ему нельзя провести политической работы, если люди голодны, что солдатам и вовсе некому, вовсе нечем помочь. Это было правдой: вся жизнь в роте держалась на выдержке Хабарова, но и капитан умел лишь выкраивать из того, что завезли, а завести самому, стороной от начальства, было нечего. Однако Василь, жалуясь на безнадежность, силу той выдержки не понимал. Сказать глубже, он боялся, никак не хотел ее даже понимать. Он все больше походил на командированного, которого прислали на срок в Карабас, — и вот срок его пребывания будто бы давно истек, а все не приходит ему приказ ехать обратно восвояси. Величко и то переживал, что завшивел, и все пытался избавиться себя, а вши переползали к нему тут же от других.

Однажды Величко отменил свое политзанятие, сказав притихшим солдатам: «Я убедился, что мне нечего больше говорить. Простите меня все, что я обманывал всех, потому что ставил вопросы, а давал на них неверный ответ». Люди Василя толком не поняли, но и не поверили, что для солдатни было обычным — не верить, не знать. Политзанятия Хабаров заменил работами, от которых ротные легко и привычно увертывались. И видя, что никто не жалеет о прошлых беседах, читках, Величко еще сильнее испытал одиночество свое в Карабасе. Один капитан знал о рапорте, написанном Величкой в полк, с просьбой и вовсе отпустить его со службы. Однако из полка пришел тот подлый ответ, которого только и можно было ожидать, помня, что и сослали Василя в лагерь, чтобы проучить: в отставке отказали, пять лет приказали — сколько положено, сполна отслужил.

Надорвался Величко, выпив перед тем с Перегудом: они молчком пили, Василь тогда уже его не убеждал. Илье сделалось тошно, он допил чего было и отправился на одну из должностей подремать. Не успел он позабыть о Василе, как в канцелярии ахнул выстрел, а потом долго слышался похожий на возню шум. Василь еще оставался живым. Глаза у него выпучились, пулей его будто пригвоздило к полу, он беззвучно хлопал губастым ртом. Выстрелил он в грудь гораздо выше сердца, будто все же не хотел умереть или не умел, позабыв в точности, где у него это сердце. Рана его — вот так, дырой в мундире, — вовсе не пугала сбежавшихся людей, но скопились они в канцелярии, ничего срочного не предпринимая, боясь и не зная, как ему помочь. Капитан возник в канцелярии поздно, когда Величко уж бездвижно, холодно пластался на полу; он именно растянулся и намертво затих. Эдакая лепнина, как и всякий хохол: большая голова, щеки и лоб буграми, а все другое средненькое.

Образумев случай, Иван Яковлевич побежал в лагерь — требовать в больничке помощи. Пропадал он долго; зона жила своей жизнью, своим начальством и запретами. Добытый капитаном военврач, покрывавший все и всех взалхлеб вскрученным матом, так что удивительным было, как его еще понимали кругом, мигом разделался с Василем. «Мать вашу поганую всех размахать в говьяную яму!» — стеганул он санитаров, которые тут же покляли Величку на носилки и посеменили. Рядом шагал военврач будто на ходулях, никого не видя, матерясь озабоченно про себя. Солдатня повалила за носилками толпой и слынула на вахте, где пустили в зону лишь лагерных. Служивые разбрелись по своим закутам, узнавая потихоньку в течение того же дня и ночи, что в больничке жизнь Василю спасли. А на

следующее утро подъехала вдруг госпитальная машина, посланная наскоро из полка, и лишь те, кто околачивался на вахте, да сам капитан Хабаров, оказавшийся в караулке, поглядели в последний раз на Василя, когда его пронесли.

Величко не пропал без вести, о нем доходили слухи, наехал по его душу и начальник особого отдела полка, некто Смершевич, даже с виду противный, отъездивший, как видно, с любовью к хорошей жратве да выпивке, но вместе с тем и твердый, похожий на глыбу, с блестящими чернявыми глазками, вбитыми под лоб, которыми он без всякого стыда, с кислой, вечно недовольной рожей буравил человека насквозь, будто голую доску. По всему видно, человек для него ничего не стоил, но себя он и ценил и любил.

Хоть и доходили слухи, что Величко выздоравливал в госпитале, но вылечивали его не иначе как на убой. Это дело и поручили исполнять Смершевичу, и тот лютовал, будто Василь ему лично навредил. Величко даже сделался инвалидом после ранения, а у Смершевича тоже покалечена рука: на правой был отрезан весь кулак, и культю теперь скрадывала кожаная перчатка. Этой перчаткой, похожей на мухобойку, он взмахивал, потрясал в воздухе да и подносил под нос Хабарову, производя в Карабасе допрос. Собственно, допрашивать Смершевич не умел, как ни пыжился, а наваливался всей своей дремучестью, прижимая угрозами, ударяя со всех боков бранью и выплескивая ушаты болтовни. «Ну ты, гляди, я руку потерял на службе, собой жертвовал, а этот говноед? Видал я, путался он под ногами, его бы еще тогда, в полку, придавить. В плечо себе стрелял, гад, а у меня рука, гляди, и ничего, служу!»

Степной капитан ничего ему не сказал. А требовали сказать, будто Василь Величко не желал своей родине служить. В тот раз Смершевич ничего не мог поделаться с капитаном, однако запомнил его покрепче и распрощался так: «Козьявка ты, гляди, вон с тебя будет, когда раздавлю». Потом был в полку всеобщий суд над Величкой, на котором его исключили из партии, разжаловали, судили за самострел.

Требовали и степного капитана на суд, его явки, чтобы и в Карабасе на зубок знали, какое бывает наказание и за какую вину. Да капитан не поехал, ослушался, посмел в единственный раз. Однако ничего ему не было. Может, требовали лишь для отчетности. Может, посчитали, что и сам сдохнет в своей глуши. Хотя при случае Хабаров всегда мог и отговориться, что прихворнул или задержали дела.

В полку пожелали прислать на смену Величке свежего человека. Прибавили самому Хабарову жалованье на копейку, чтобы совмещал. Так и капитан возрос по службе, назначенный своим собственным замполитом. Соседней должностью он тяготился — на ней только и кончишься от тоски. Да еще Василь вспоминался, душу бередил. Перегуд отселился, с одним капитаном ему нечего было обсуждать, к тому же Хабаров стал строже обходиться с Ильей, порываясь даже прогнать эту бестолочь со службы, и прогнал бы, если бы знал, что в миру тот сможет выжить.

Чего говорить людям на политзанятиях, Хабаров не знал. В другую годину, когда Хабаров служил еще старлеем в самой Караганде на хоздолжности, а проживал в Пентагоне, как обзывали за унылость тамошнее общество, он выменял у заезжего военкора книгу. Военкор застрял в чужом полку, пропивая командировочные, а на похмелье лишь книжка отыскалась. Очень уважая себя, он просил за нее бутылку, но народец невежественный, и за книгу отказывались наливать. Хабаров же пригласил военкора в свою комнатушку; тот помялся, потому как больше полбутылки у служивого не было, и попросил закуски. Хабаров выложил на стол свой паек, и так они сошлись в цене, потому что есть военкору хотелось даже сильнее, чем выпить.

Бывают люди, которые и любят книжки, и читают их с удовольствием. Иные уважают печатное слово, которое умней ихнего, иные сморкают на это печатное слово своими сопливыми умишками. А вот Хабаров полагал,

что если написана книга, то должно читать. Еще он видел в книге добротную вещь, как бы ручной работы, которая и дальше согревает всех своим человеческим теплом, однако к самому чтению никак не мог подступить. Для того ему требовалось знать, какая в ней скрывается польза и про что пишется, правда или нет. И кто бы дал ему ответ? Но когда военкор начал с порога расхваливать свою книгу, то Хабарову подумалось, что занесла к нему кривая того самого человека и что книгу эту надобно не упустить.

С тех пор капитан не расставался с книгой, перечитывал, увозя, куда самого посылали служить, так что особо полюбившиеся места у него даже наизусть выучились. Он дорожил этой книгой как правдой, которую сам о себе и такими словами описать не мог. Однажды попробовал и убедился навсегда, что не может. Запасся бумагой, испросив ее якобы для писем выдуманнным родственникам, чем разжалобил знакомую писарицу, которая иначе как для заявлений бумаги не отпускала. Выбрал выходной денек. Уселся, написал на первом листке: «Иван Хабаров, про мою жизнь»; а больше ничего и не вышло.

Вот только название той правдивой книги и того, кто ее сочинил, Хабаров никак не мог твердо запомнить, и когда украли ее безвозвратно, она будто бы утонула в его памяти. Назначенный замполитом, капитан взялся ее вспоминать — чтобы было чего рассказывать на политзанятиях. Вот и говорил солдатне, что припомнилось, книжными почти словами: «Нет ничего такого, чего бы боялся наш солдат, поэтому ничего не бойтесь сами, а чего не умеете, тому научитесь. Умную голову ни одна сучья мысль не перелетит, не сумеет, так на середине и плюхнется». А больше ничего не припомнилось, кроме своей тоски, — чтобы всем была от его жизни польза. И чудно ему, что прочел он книжку, да чуть не позабыл, а явился и пропал Величко, — так будто выдернуло и книжку, и всю его тоску наружу.

Скоро его должны были отставить и со службы по годам. Он надеялся на отставку, чтобы хоть знать, ради чего в ближайшее время жить. Возвращаться капитану по старости было некуда. Он жил при казарме, харчевался из общего с солдатами котла, будто оставался до сих пор старшиной. И устав и зная, что однажды спишут с казенного довольствия и выселят в степь, он все же ждал этой дармовой пенсии, но со своей причудливой верой, согласно которой он побудет на заслуженном отдыхе хоть месяц, еще месяц-то позволят канцелярию занимать, выпитися хорошенько, отлежится, надышится — и без мучений во сне померет.

Обдумав личную кончину, Хабаров о многом начал догадываться заранее. «Как жили, так и будем жить, — говаривал он устало по приезде полковой машины и сетовал лишь на то, что картошку опять же поскупились послать. — Ну, этого запаса нам, чтоб не сдохнуть, хватит, а на что будем, сынки, жить?» За что такая тошная строгая жизнь происходит, будто совестью отмеренная, никто уже не знал. События, преобразившие все в мире, до степных мест не доказывали, плутались. Потому и сама дорога от затерянного поселенья до Караганды чудилась служивым длиннее жизни. И хотя наезжал по ней в поселок только обычный грузовик, солдаты обступали разомлевшего от тряски шофера будто важного чудного гостя. Но этот чертяка долго в поселке не задерживался: как разгрузится, отбрешется, так его и видали, залетного. А картошку гнилую привозил, так что капитан задумывался: «Значит, и полк одним гнильем снабжают».

За себя он не боялся, скоро ж пенсия. Однако спокойней Хабарову в земле сохнуть, если бы знал, что по ней радостные, здоровые люди ходят. А покуда гнилье от полковых подвозов, чуть не половину всех мешков, зарывали подальше, чтобы не задышало. Не сказать, сколько его было зарыто, может, целый колхоз, но в безвестном том году на загривке одной ямы, обросшей густо полынью, пробилась картофельная ботва. Солдатик ее заметил да взрыл куст, отыскав в корнях зеленые еще клубни.

Выяснилось это по случайности. Солдатик картошины тогда и сожрал сырыми. А поздней схватило у него брюхо. Гадали, что с ним. Он капитану и рассказал про картошины, чтоб отправили скорей в госпиталь. Хабаров ему не поверил. Решив, что нажрался утайкой земли и вот отравленного разыгрывает. Паренек бредил, гнил. А над ним посмеивались: «Нечего было землю хавать. Загибайся, сука». Но потом приволокли с того места засохшую ботву. Спohватились, что солдатик говорил правду, отправили в госпиталь.

А капитан принялся навещать загriвок. Усаживался на холмике, вдыхал полынь, глядел в гулкую степь. И подумалось ему так: а что, если по весне устроить в степи огородец да картошкой засадить? Из одной картошки, бывает, ведро получается. Будем у казахов мясо на картошку выменивать, а потом и свою скотину заведем, когда рота на картошке разбогатеет. Может, и не погонят из полка на пенсию, может, оставят при хозяйстве, если сделается полезным человеком. Он бы полк картошкой, мясом снабжал. Может, дали бы и досок, чтоб свой дом построить... И решил капитан, что дождетса еще подвоза — и сколько картошки выделят, столько и зароет. А продержатса до всходов они и на крупе, и жиром перебыются говяжьим.

Глава вторая: «Картошка»

Мухи, змеи, птицы и другие звери, пропавшие кто осенью, кто зимой, в поселке тогда еще не появлялись. И было ранней весной грустно жить, так как из живых на поверку только люди и вши оставались. А у этих тварей, которых даже не ухватишь, не разглядишь, обнаруживалса свой русский характер: стоило человеку оголодать, отчаяться, как они тут же начинали во множестве на нем плодиться и делались такими же голодными, отчаянными. Унынье в поселке было повсеместным, даже воздух в помещениях навсегда прокис и кишел вшами, то есть был в некотором роде башковит и самостоятелен.

В тот первый день, когда грузовиком в Карабас была завезена картошка, капитан еще удержал людей. Заболтал, бедных, что надобно ее перебрать, чтобы определить, сколько сгодится и какую выгадать на каждого пайку. Перебирая, служивые украдкой жрали и сырую картошку — ее в полку подморозили, и она была рыхлой и сладкой. Капитан все углядел, но крик подымать не стал. Рассудил, что сырой изведут по малости, надеясь на завтрашний паек, и даже за пазуху прятать не станут.

Ночью Хабаров боялся уснуть и вовсе не разделса, лежа на заправленной, похожей на скамью койке, будто ждал вызова. По канцелярии рыскали голодные мыши и грызли, то есть брали на зубок, все нехитрое ее оборудование. Времечко растаивало, и капитан слабел, чувствуя предутренний холод. Остаток ночи он раздумывал: солдатня откажется копать огород, а если не выдать положенной пайки, то сожгут и казарму. Потому капитан поднималса еще в полутьме и сел у оконца. На его глазах небо светлело, распахивалось, а из мглинки выступали бескрайние степные перекааты.

Его истощный, вроде спяну, голос раздалса в спящей казарме. Подняв боевую тревогу, капитан вооружил солдат саперными лопатками и погнал со светлого мертвого двора в степь. Задыхаясь, солдаты перешептывались: «Куда нас гонят? Вот пьянь, чего ему взбрело?» А капитан принялся размахивать руками, будто на поле боя распоряжалса. С растерянной оглядкой «чего роет?» солдатня напала на распростертую пустую землю, потом окапываласа, как это приказывал Хабаров.

Будто пьяный, капитан разгуливал вдоль копошащихся цепей, потрясая пистолетом, если рытье самовольно прекращалось, и подбадривал: «Налегай на лопаты, сынки, скорее перекур будет!»

Перекопанной земли становилось все больше. Он обмеривал ее негнущимися шагами, а когда выбилса из сил, приказал всем выстроиться на

краю поля. Перед замершим строем выволокли мешки, и тогда раздалось: «Братва, гляди, наши кровные пайки зарывают!», «Да не пьяный он, он же трезвый, дура, а нам бошки дурил, заманивал!»

Хабаров было удушил эти взлаи раскаленным от отчаянья криком: «Молчать! Мы не пайки, мы будущее наше в землю зароем. Через полгода пюре ведрами будем жрать, из одной картошки ведро, а то и больше получится». Но вперед вдруг выбежали самые горлопаны и заорали благим матом: «Братва, отказываемся! Это ж наши пайки!» Хабаров принялся их уговаривать: «Она сама вырастет, на нее не надо затрат труда... Я же для вас, я хочу дальнейшую жизнь обеспечить...» Однако его уже обложили ревом: «Отказываемся! Жрать давай, ротный!»

Тогда капитан рассыпал картошку сколько ее было и стал сам клубни в землю закладывать. Напасть солдатня не осмелилась, памятуя о пистолете, однако это грозное оружие не спасло капитана от проливня брани да комьев земли — в него швыряли, ничего не боясь. А он был рад: землю перепахали, один бы он поднять такого размаха не смог. Зная, что за обман виноват, он и от комьев не спасался. Картошку поскорей в грядки запрятывал, укрывал.

Толпа разбрелась... Весь день пробыв одиноко на поле, управившись, Хабаров с тоской подумывал о возвращении в казарму. Однако в расположении роты оказалось тихо. Капитана не замечали или угрюмо обходили стороной. Один все же усмехнулся: «Проспался бы, батя, небось устал».

Проснулся капитан поздним утром и подумал, что служивые его подчистую простили, сами в роте произвели подъем. Умывшись, он пошагал в столовку, найдя в ней и солдат. Из поварской стегало по брюху жареным важным духом. «Чего поджариваем?» — удивился он. Из облупленного окошка раздаточной высунулся веселый поваренок с шипящими еще сковородами, он лыбился и зазывал: «Картошечка, картошечка! Хавай сколько хошь!»

Себя не помня, Хабаров побежал к полю. Во дворе по тропинкам валялась его картошка будто камни. Он рылся руками в обсохшей земле и отыскивал одну картошину, брошенную в ней пропадать, а потом еще одну. Вот почему не затеяли беспорядков! Чтобы сполна свое взять, когда ротный повалится спать. И капитан ползал теперь по земле, спасая выброшенное, чего уволочь не смогли.

Когда он воротился в казарму, то первый встречный солдат, лениво дымящий на крыльце жирной папироской, подавился тем дымом, узнав в скрюченном, грязном человеке, который волок по земле набитый будто бы камнями мешок, капитана Хабарова.

Власть уевшись жаренкой, сморившись, служивые дрыхли тихим полуденным сном. Позабытый, Хабаров вскричал усталым, чужим голосом: «Встать! Где, где остальное? Всего не могли сожрать... Слыхали, не дам спать, бляди, никому не позволю!» Казарма чуть ожила. «Туши свет, выдали мы такого коня...», «Братки, в натуре, чего он пристал?», «Слышь, Хабаров, правда наша, прокурору будем писать!», «Давай-давай, капитоха, шмоной — твое, чего найдешь. Или отваливай, праздника людям не погань», «Вот-вот... А будешь своим стволом махать, сами душу выпустим. Попробуй тронь, все подпишутся, на зону тебя!»

«Чего, смерти моей хочется? — вздохнул тогда Хабаров. — Я так скажу: чтобы картошку — вернули, чтобы сами обратно ее посадили, своими руками, до одной. Если откажетесь, хрен с вами, на вечерней поверке прямо в глаза всем и застрелюсь».

Он замолчал и опять вздохнул досадливо, оглядывая стихших людей. Высказался он безответственно, в сердцах. Поняв же похолодевшим рассудком, что самого себя приговорил, капитан Хабаров обмяк, будто все кости его сплавилась, и поплелся в свою комнатушку, в канцелярию.

Казарма походила на коровник, такая же протянутая и так глубоко вогнанная в землю, что крыша почти хоронила под собой само помещение. Было в ней тесно с боков, а потолок сдавливал, будто тиски. Такой же

гнетущий, что и наружные стены, в ней пролегал коридор, в который выходили двери всех казарменных помещений. Был в казарме даже порядок, но свой, нежилой: железные койки, чуть ли не привинченные к полу, голые стены, душная пустота. Казенный дух ударял в нос, кружил — нет, не плесень, не моча — особый дух, исходивший от тех же стен, будто они густо намазаны зеленым гуталином, втертым потом до жирного же лоска, как на кирзовом сапоге.

По тому коридору в его пустоте и плелся в канцелярию Хабаров. Больно будет помирать, думалось Хабарову. Еще ему думалось, что и получится из него одна пустота; жили до него люди, скапливали для него кровушку, а он спустит ее в слякоть черную. Такой бестолковый человек, что и вправду лучше бы сдохнуть.

В забытыи Хабаров слег на койку; в том же забытыи он стрелял в себя тыщу попыток, а очнулся, когда в канцелярии будто грохнул выстрел, вроде как холостой. Бодрость его теперь была пронизывающей, студеной, так что стало даже больней думать о том обещании, которое вырвалось давеча в сердцах. Лежа насильно в койке, притворяясь спящим, он обманом удерживал себя, чтобы остаться в канцелярии, не выходить к людям. А во дворе смеркалось, и голоса глуше аукались, будто расплывались в вечерней тиши. Нужда капитана разобрала, невтерпеж. Стояло в канцелярии ведерко, эдакое помойное. Он сдавил глаза от стыда и облегчился в крошечной черноте. Да еще дрожал, что услышат.

Когда застучали в дверь, он жизни не подавал. На косяки налегли крепче, они затрещали. «Товарищ капитан, товарищ капитан!», «Ну чего, ломать жалко ведь, дверь вона какая важная», «А кто выстрел слышал?», «Вот Кирюха, это дело нехитрое, и без шума удавиться можно», «Наделали чего, чего наделали! Кто отвечать будет?», «Товарищ капитан, батя, ты живой?!» Хабаров и обмолвился: «Здесь я...» За дверью радостный произвелся шум. «А мы вам картошку вернули!» «Чего-чего?» — взволновался Хабаров. «А как сказали, прям в землю. Мы это... решили по-хорошему с вами жить, значит, поблатовали, и хватит».

Передохнув, он отворил ходокам. Они оторопели, уставя глаза на босые посиневшие его ноги. «Видали, живой я». Солдатики топтались, обжидали. «Мы, чтоб по-хорошему, оставили картохи чуток, или зарывать?» И капитан проговорил: «Это как знаете...»

Чтобы поле опять не разворовали, капитан заклинил на цепи по краям двух сильных овчарок. Понадеялся на их злость, на звонкий лай. А поутру овчарок нашли в поле с расколотыми бошками. Погрызенных же той ночью солдат, которые сами себя обнаруживали, Хабаров выгнал в степь, чтобы и не возвращались. Пошатавшись по округе, измерзнув и оголодав, они все же воротились, жалуясь на ранения и требуя паек. Бежать им было некуда. Заступаясь за своих, рота положила Хабарову честное слово, что отныне воровать с поля не станут. Себе служивые испросили — чтобы добытая ночью картошка опять же отошла к ним, а также и с теми овчарками, которые околели за ночь. Утайкой ободрав, их утайкой и пожарили, потому что были они казенными, навроде имущества, пришедшие для службы в негодность.

Многие и впрямь сдержали слово, смирились и впредь помогли капитану даже ухаживать за полем. Его обволокли колючей проволокой, которая повсюду ржавела без толку в огромных скатках. А другие впротиву добрякам поле возненавидели, подбивая остальных на беспорядки. Однако картошка успела прорасти в земле, поэтому в роте всего больше было народу сомневающегося: пайки жалко, да жалко и губить ростки, авось само образуется, будь что будет. И тогда самые злопамятливые, которые мучились на крупе, рукописали на капитана Хабарова.

Донесли, что капитан пьянствует и ругает советскую власть. Что запас овощного продовольствия самовольно посадил в землю, думая нажить с каждой картошки целое ведро, а солдаты пускай голодают. И хотя они, солдаты, пытались капитаново самоуправство прекратить и отказывались

участвовать в его личных замыслах, Хабаров стал угрожать всем собственной смертью и заставил картошку зарыть, обнеся еще и колючей проволокой, которую взял у государства.

Письмецо заклеили и сопроводили надписью: «Среднеазиатский военный округ. Главному у нас прокурору. Лично в руки. Солдаты шестой роты карагандинского полка».

В роте все знали про донос и все позабыли. Письмецо сохранял капитерщик, забывая отправить. И оно вовсе буднично сдано им было чужому человеку, первому встречному вольняшке, оставшись тайной для одного капитана.

А весна сплыла будто паводок. Вспыхнуло сухое степное лето. Земля подле картофельного поля была прохладной. Служивые уходили к нему толпой, спасаясь от уныния и жары. И эки взбирались на крыши барачков, которые подымали их выше зоны, глаза на буйную зеленую ботву будто на диковинные сады. Режимом воспрещалось занимать барачные крыши, но согнать с них этих отчаянных людей было равно тому, что и выселить птиц с неба. Эков же злило, что охрана и поле колючей проволокой обнесла, да еще валяются подле него легавые, в глаза лезут. Порой и степь стихала, покрытая криками: «Вам одной зоны мало, хотите все захомутать!», «А ты вылазь, расхомутай, если смелый!», «Еще на воле встретимся, не загадывай, пес!», «Сажали бы свою картошку, земли много!», «Нам запахло на вашу власть пахать!», «Чего власть, сами хавать будете!», «С баланды навару нет!», «Вот и хавайте свою баланду!», «А вы жрите свой сучий паек!», «Сами вы не воры, а суки!».

Порой в помощь своим выстреливал с вышки автоматчик, сотрясая воздух. И тогда с обеих сторон выбегало взведенное, нервное начальство, а народец весь мигом прятался.

Начальник лагеря Вилор Синебрюхов и ротный капитан обычно обходили один другого — брезговали. Синебрюхов хозяйничал в лагере многие года, так что Хабаров в сравнении с ним жительство в Карабасе имел самое временное. Однако за все время, которое им выпало прослужить в одном месте, они даже не сделались соседями, людьми знакомыми. Если же случаем сталкивались, то глядели друг на друга с тем удивлением, какое в ином разе способно даже обидеть человека, и добровольно расходились, удалялись. «Такой дурак — и на свободе», — говаривал начальник лагеря, имея в виду Хабарова. В свой черед и капитан удивлялся: «Бывает же такое!» Синебрюхов, поговаривали, чуть не присвоил себе лагерный заводик. Ходили целые повести, как Синебрюхов производит продукцию и как ее потом ворует. Заявлявшие о его хищениях за бдительность повышались даже в должностях. Всякая комиссия, получившая все доказательства, будто бы растаивала от удовлетворенья. Однако хищения не прекращались, и никто Синебрюхова не наказывал. Казалось, что ворует начальник лагеря не иначе как для самого государства.

«Хороша картошечка, ох, хороша! — вздыхал Синебрюхов, сталкиваясь с капитаном у поля. — К ней бы селедочку малосольную, эх, водочку, черного хлеба...» «Это лишнее», — хмуро обрывал его Хабаров. «Ну да, излишки, так сказать, — серьезней начальник. — Одни огород развели, а другие потом расхлебывают, другим в лагере работы прибавляется». Переговорив у поля, они опять же расходились, затаивая каждый свои мысли.

Настоящий ужас картофельное поле рождало в душе Ильи Перегуда. Этот человек боялся всего, что обретало новый вид, строилось или даже выросло. Тем сильнее он боялся картошки, что она в степи никогда не заводилась. «Еще хуже будет, чем раньше было, — выражался он и все жаловался занудно Хабарову: — Все, погибнем мы здесь, чую. Чего ты наделал?! Они живыми нас сжуют, слышь, выкопал бы обратно, бросил бы это дело...»

Картошка же расцвела. Хабаров с зацветшей картошки ходил рвать эту простую красоту. Он расставлял цветы в жестяных кружках по всей казарме, будто долгожданные весточки из земли, а их брали втихую на

пробу, на зубок, и плевались, обсуждая между собой: «А запах есть?» — «Нету, как вода. Пожуешь — вроде кислятина».

Картошку начали подкапывать. Хабаров ночами стерег поле. Кого отлавливал, того и побивал впотьмах, ожесточась. Ему было жалко картошку. И страшно: что случится в будущем? Чтобы не отчаяться, он твердил про себя: «Я капитан — это самая боеспособная единица. Я умею стрелять, колоть и не должен сдаваться без боя, потому что мне мало осталось на свете жить, чтобы обеспечить дальнейшую жизнь».

Хабаров наловчился хватать людей, он был точно охвачен жаром, едва успевал хватать. Всякую ночь подстерегал он в ботве врага, а не человека, готовый к броску. Однажды поймал он на поле калмыка, своего солдата, — тот, испугавшись его вопля, прямо и брякнул мешком. Капитан его оглоушил, приложив лбом об землю, чтобы не трепыхался, вытряс мелкую, что горох, картошку, в потрохах его порывшись, и поволок калмыка за волосы, будто падаль, чтобы за полем бросить. И вдруг Хабаров оторопел, сообразив, что погубленной картошки не вырастишь, не воротишь. Злость его тогда испустила дух, слабея, капитан подумал: «А чего же я людей убиваю?.. У человека ничего, кроме жизни, нет, ведь я жизнь у него отнимаю!» Поднял он калмыка, поволок на себе, сам не зная, куда волочет, чтобы лишь тому полегчало.

Если он потом и вылавливал людей, то ради грядок, чтобы хоть не топтали, а самих молча прогонял. Бывало, он кричал в ночь, думая, что тех людей опережает: «Дайте ей силы набрать, вырасти! Погодите! Пожалейте!» И бывало, что неожиданные взоры в ночи потрясали самых хладнокровных именно своей неожиданностью, так что они себя выдавали с головой и отзывались: «А мы ничего, мы гуляем около поля!»

С исходом солнечных праздников и летнего цветенья землю не оставляли дожди. Она обуглилась и потяжелела, будто залитый пожар. Птицы в такую погоду страшились летать и расхаживали по сырой земле с опущенными головами. А между дождями они разлетались по теплым краям, тяжело взмахивая сырыми, похожими на железные крыльями.

Тяжесть сдавила и Хабарова. Когда полыхало солнце, он радовался, думая, что картошка согревается его теплом. И когда поливали дожди, радовался, думая, что картошка вдоволь напьется воды. Однако не знал капитан, когда ее выкапывать, будто это должно случиться в единственный день, как смерть или рождение.

В ротной канцелярии электричество светило скупо, точно его разбавляли. Прохаживаясь по полу без страха перед Хабаровым, мыши рылись в казенных бумагах, взбираясь на заваленный сводками да приказами стол, — вот, серые, будто солдатухи, думали наскрести в бумагах пропитания. Капитан в бога никогда не верил, но тогда встал на колени посреди канцелярии. Позвал его громко. И не молился, не бил поклонов, чего отродясь не умел, а, выпрямившись — как честный служака на смотру, — доложил для начала про то, что во всей великой стране имеется лишь гнилая картошка. И попросил, помолчав и переведя дыхание: «Если вы на самом деле есть, тогда помогите, если так возможно, собрать моей роте побольше картошки. Я за это в вас верить стану и отплачу жизнью, если потребуется».

Может, это мыши скреблись да шуршали, но капитану почудилось, что в пустую канцелярию потек шепот, такой тихий, что даже спохватывалось дыхание от нечаянной жалости. Так жалко Хабарову было себя в светлой тишине, которая его вдруг окружила. Больше он уже ничего не слышал, точно оглох. А приметив в оконце колыхание зари, пошагал в казарму будить солдат.

Он будил ребят поодиночке, уговаривая подняться: «Вставай, сынок, уж помоги в последний раз, а то больше никого у меня нет». Служивые через силу поднимались с коек. Взбодренные холодом, старшины строго распоряжались остальными так, что не раздалось и шуму.

Подступив к полю, рота дождалась, чтобы рассеялся туман. Капитан оглядывал с тайной мукой картофельные гряды и такие же землистые угрюмые рожи солдат. «А ну навались...» — взмахнул рукой, посылая их в предрассветную тишину по сумрачным рубежам поля.

Глубокий вдох лопат оживил недвижную грудь земли. Скрежет железный и звон окунуло в выстуженную тишину, и она расплескалась под их тяжестью, обдавая сердца людей жалостливой прохладой. Стоило ковырнуть гряды, как картошка так и поперла из них напролом. У солдат не хватало рук, чтобы отрывать ее и засыпать в мешки. Сраженный такой удачей, капитан бродил по взрытому полю ото всех в стороне. Солдаты уже волокли к казарме одутловатые мешки с картошкой, будто своих убитых.

Потом мыли почерневшие руки под шум воды. Скидывали, будто кожу, залеplенные грязью робы, и всем выдали чистое исподнее. Босые, в сорочках да портках, служивые сели за пустые дощатые столы, не чувствуя больше ни холода, ни голода, навреде истуканов. Пахнущую еще землей, картошку приказали жарить, а по нехватке сковород варить в котлах, заправляя растопленным жиром. И потом, когда время уже близилось к ночи, начался тот ужин — и картошку, еще дымящуюся, проглатывали мглистыми гудящими ртами.

Запечатывая прожитый день, капитан был обязан звонить в полк, отчитываясь привычной короткой сводкой. Принимали сводку офицеры, дежурные по полку, сами редко чего сообщавшие, разве если знакомые. Связь походила на то же снабжение: сначала звонишь в полк, запрашиваешь переговоры, а потом уже снабжают по своему усмотрению. Бывало, чтобы поговорить с дальней ротой, если родственники или знакомые, то приходят в полк и пишут заявление дня за два, покуда рассмотрят, выкроют казенное время.

Черный, тяжелый, с трубкой, сплюсненной двумя увесистыми кулаками, и будто остриженный наголо, телефон имел строгое должностное выражение навреде проверяющих из полка. Перегуд, которого пьянство сделало человеком поверчевым, всерьез считал, что по этому телефону подслушивают все разговоры, происходящие в канцелярии, и поэтому здесь почти не матерился. Капитан Хабаров иногда и сам мучился, глядя на телефон. Хотя это было и переговорное устройство и стояло на службе, тем жгуче зудели руки свинтить этот черный кожух, уничтожить. Однако и вот силища — кожух был из крепчайшего сплава, будто из черного его вытесали камня, может, что и бессмертный.

Время для обязательного звонка давно истекло. Удивительно было думать, что в полку могли бы дать Карабасу вольную. Все зная, капитан решил продлить этот день сколько получится и ничего не докладывать. Он и хотел бы все скрыть, но уже мучился, скрывая. Выращенная из полковой, картошка и принадлежала, как имущество, всему полку. И легко было прятать ее в земле, а жрать утайкой было даже стыдно. Запутался он безнадежно, изнемог — и вдруг телефон загрохотал из канцелярии, будто отличившийся будильник; вполовину затрещал, вполовину выдавливал пузыри звонков, лопающихся с брызгами. Переполох произвелся великий, и повсюду содрогнулась всякая живая душа. Однако пострадали горше всего мыши. Должно быть, им почудилось, что этим звенячим и трескучим грохотом их со всех сторон да углов убивают.

Звонок не утихал, пронизывая капитана колкой дрожью. Когда — не в силах вытерпеть эту пытку — он сорвал трубку с рычажков, то услышал бабий галдеж телефонистки: «Шестая, шестая, лично товарища Хабарова!.. Хабаров? Ждите, соединяю, с вами будут говорить».

Что-то затрещало, врывались и чужие голоса, но скоро глухая сильная тишина потекла по проводу. Не шевелясь, растерянный, капитан прождал с полчаса. Было так, что он пробовал дуть в оглохшую трубку и постукал, не сломалось ли, но его одернули издалека: «Не дуйте, товарищ Хабаров, вы что, не понимаете, с кем будете разговаривать, можете и подождать!»

Дело принимало оборот странный, если не сказать — таинственный: капитан вдруг сообразил, что, по правде, ничего не понимает — произошло то, чего никогда не бывало. Потом издалека сообщили: «Он еще занят, ждите».

Капитана охватило зябкое чувство, будто его выставили на чье-то обозрение голышом. И потом тишина расступилась и его потряс свыше могучий голос: «Хабаров?! Живо мне отвечать!» — «Так точно, капитан Хабаров». — «А я знаю, что ты капитан. Ну чего, все спишь?!» — «Никак нет, служу». — «Видали, служит он! А что там за картошка у тебя, что у вас там за бардак творится?!» Не помня себя капитан выпалил: «Разрешите доложить... Собрали картошку, вся она целая как есть!» — «Ишь ловок, самостоятельно мыслишь, я погляжу, герой. А почему без приказа, ты чего, командир полка?» — «Не решился, виноват...» Голос снизошел: «Врешь. Я вашего брата знаю: если не вор, то дурак. А ты чего удумал? Отвечай!» — «Людей хотел накормить, голодают». — «Погоди, это как?!» — «Солдаты на одной крупе, в подвоязах гнилье, протухшая свинина. На деньги нечего купить, не приезжает военторг». Голос заклокотал: «Чего же ты людей моришь, почему не докладывал? В полку знают положение вещей?!» — «Во всем полку так». — «А командиру полка ты докладывал?» — «Никак нет». — «Вот-вот! Такое безобразие, а они терпят, молчат. Разве это полк, это ж говно. Ишь ты, голодом морят, да как же так! Это тогда дело мне ясное, молодец, капитан. Говоришь, картошка? Это тогда вовремя, подерживаю, вот бы кого командиром — небось развел бы сады». «Так точно... — сорвался Хабаров. — Мне бы хозяйство завести...» Голос похолодел и отдалился. «Ишь, целый план у него... Ну и давай выкладывай, какое там хозяйство, послушаю, я это люблю...» — «Земли у нас много. Можно и себе и другим подсобить. Все свое иметь можно: и мясо, и овощ, и яблоки, если сад». «Это вроде как огород? — растаял с пониманием голос. — Верно, пуская пашут, захребетники, все им, понимаешь, в рот положи! Это я подерживаю, подерживаю... Просто, понимаешь, но с умом. А затраты какие?» «Никаких нет, все само растет. Может, доски потребуются, чтобы строить, если свинарня или сарай. Мне бы только дали приказ, разрешили землю». — «Ну молодец! Ишь, додумался! Что приказ... Хочешь тыщу приказов? Командир полка, он же человек, все поймет, а ты разворачивайся, будут и приказы и доски. Надо, надо побольше хозяйства, понимаешь, чем больше, тем лучше». «Только мне на пенсию, могу не поспеть», — вставил словцо Хабаров. И голос возмутился: «Еще чего — в расход такого мужика? Не дам! Как хочешь, а будешь служить до самой этой смерти. Ну, бывай. Все я выяснил про тебя, теперь ты ясный. Жди. Я этот полк вверх дном переверну, они у меня забегают!»

Трубка загудела, потом разлилась опять же сильная тишина. Ворвавшийся галдеж телефонистки разбудил капитана с той живой болью, будто связь его грубо разорвалась: «Шестая, связи больше не будет, отсоединяю». «Сестричка, родненькая, погоди: а с кем я говорил?!» — «Ну прямо цирк. Да хоть с генералом!»

Хабаров долго держал в руках трубку, потом отпустил, устанавливая телефон посередине хлипкого стола. Он и не замечал, что в канцелярию суются пугливые рожи, что дверь давно распахнута и у порога вслушивается, вглядывается в происходящее столпившаяся как для показа солдатня. «А вы с кем разговаривали?» Он тихо поворотился, с удивлением увидав людей, и у него само собой произнеслось: «С генералом...» Казалось, капитана удивляло то, что люди ему беззвучно поверили. Что было правдой: солдатня смолкла, и его обожгли даже завистливые взгляды. «Все будет по-другому, — проговорил с радостью Хабаров. — Всем будет хорошо. Все будут сытыми».

Никто, однако, не обрадовался, солдатня потихоньку начала разбредаться. Отходя же подальше, перешептывались: «Зачем прокурору писали, суки?», «А кто знал, что оно дойдет, что так фишка ляжет прям на генерала?» «Наша писала, ваша знала, все и пропадать будем. Кто умный, те го-

ворили, что под корень ее надо, все это поле. А то валандались на свои головы, ждали!», «Может, его ушлют от нас, братва?», «Ясно дело, повысят гада. Тока надо хорошо пахать на него, чтоб повысили. Он теперь нам всем отомстит, скурвится», «И чтобы больше никто не калякал, всем урок. Я такую правду, которая себе дороже, в гробу видал».

А капитан остаток ночи нянчил картошку. Мешки сгрудили в дощатой будке, в ней зимой содержали собак, но сколачивали и для хозяйства. Все списанное имущество — сломанный черпак или измочаленные сапоги — сваливалось в будке и выростало кучами. Иначе бы заподозрили — если нечем отчитываться, покрывать износ. В будке имелись электрическая лампочка и навесной крепкий замок, которые стоили всей рухляди, в ней хранимой.

Спотыкаясь, ушибая голову, капитан жалел, что нет для картошки хорошего склада. И сердился, давая себе зарок, что позвонит и доложит, чтобы с постройкой не тянули. Солдатня и без трудов уместила картошку в этой будке, но капитан перетаскивал мешки, чтобы они образовали ровный ряд, поправляя даже те, которые нельзя уж было разместить ровней, будто боялся оказаться без своего дела. А потом еще высыпал из мешков и принялся для порядка перебирать крупную от мелкой, сортировать. Скоро он умаялся и заставлял себя перебирать картошку с усердием, хотя она валилась из рук и подслепшие глаза его слабо отличали большое от мелкого, скатываясь в дремоту. Отлипнув от bestолковой работы, Хабаров потащился в канцелярию, заставая во дворе молодой день, гулявший в утренних сумерках.

Когда слег на койку Хабаров, чужое тело отнялось и уснуло. А голова уже беспокойно размышляла о появившемся дне. Она походила на срубленную, с запавшими жирными мыслями о хозяйстве и тем убеждением, что без Хабарова все на этой земле пропадет.

Глава третья: «Товарищ Скрипицын»

Скучным, будто бы отраженным в дождевой луже утром во двор казармы, ударив лобовиной по створам дурных ворот, вкатился полковой грузовик; то ли рыкая, то ли рыгая, с пустым брезентовым брюхом, но отяжелевший от тряски по степному бездорожью... Во дворе потягивал сопливую папироску дневальный, татарчонок с отвислой губой, к которой она прилепилась, окуривая его немывтое лицо белым дымком. Он привстал, искоса поглядывая на грузовик, глубже и чаще затягиваясь сдохшей папиросой. В сапогах на босу ногу, в исподнем белье, опоясанный со штык-ножом, татарчонок хитровато приглядывался к приставшей у крыльца машине. Окружала этот въезд необычайная тишь. Появился грузовик откуда ни возьмись, и овчарки смолчали, хотя обычно взрывали Карабас озверелым лаем, стоило им учуять чужих. Татарчонок так и глядел на него будто на дым и лишь потому не испугался, когда из дыма, то есть грузовика, вылезли вдруг люди.

Первым он углядел эдакого молодца из тех здоровых и крепких русских солдат, которые отдельно служат начальству. Следом за здоровяком вылез, однако, вовсе не офицер, а прапорщик в болотных погонах, смешной, вроде как из пропащих, похожий на бабу. Шинель не красила этого человека, а как раз обнаруживала всю его нескладность; она висела на сутулых плечах и там, где должна была скрывать зад, зад обтягивался и неимоверно, горой, выпячивался, тогда как-то грудь и живот бултыхались. Будто чужие, от мешковатых плеч отделялись сильные и, что весла, заgreбушие руки. Чтобы таким угодили рукава, размер подходил лишь самый большой. А человек был средненьким, и полы шинели чуть не волочились по земле. По виду он походил на снабженца или каптерщика, и татарчонок, угадав знакомое, глупо заулыбался.

«Куда подевались люди?» — вскрикнул тревожно прапорщик. «А спят», — проговорил татарчонок, зябко потираясь на ветру. «А где капитан ваш, Хабаров где?!» — «Спит он. У нас все спят». — «А ты, ты... почему чести не отдаешь старшему?» — «У нас никто не отдает, такая блатва». «Что за галиматя... — пробурчал прапорщик. — Я же его просил...» Он глядел на татарчонка и с любопытством и с брезгливостью, будто на пойманную вошь. Он устал, и слабый, сдавленный его голос почти уподоблялся доброму, хоть и глядел приезжий и вокруг и на татарчонка вовсе без теплоты. Видно было, что в дороге он не один день, а дольше, — серое сукно шинели было изъедено серой же пылью будто молью. Не выстояв на месте, он пошел по пустому слякотному двору. Татарчонок, приклеившись, пошлепал за ним по грязи. «Кто ты такой, чего к нам приехал? Будешь у нас?» Однако на расспросы прапорщик не отвечал, будто и не слышал, а сам все допытывался: «Да чего у вас происходит, в самом деле?» «Не знаю, в натуре, — удивлялся татарчонок, — у нас ничего нету». «Но почему все спят?» — «Не знаю, мене до фени все, хорошо одному». — «Есть еще в роте офицеры, кроме Хабарова?» — «Не знаю — кто есть, кто нет. В натуре, замполит был Величко, так его нет, он в зону сел. Перегуд есть, а он пьяный спит, не знаю где, может, есть, может, нет. А спит Хабаров, так его не будят, ему вчера, слышь, генерал звонил. Скоро, говорят, Хабаров уедет от нас, генерал забирает. А ты к нам? Чего привез?» Прапорщик смолчал, и татарчонок обиделся, уловив, что ему не поверили: «Да все слышали, гадом буду, сам генерал звонил!»

Но прапорщик уже убедился, осматривая пустынный двор, что его и впрямь не ждали и никто не готовился его встречать. И раздражаясь все больше, сорвался на молодце, топтавшемся еще у грузовика: «Санька, хватит столбом стоять!» Санька этот подскочил, вытянулся, отпугнув татарчонка. Прапорщик не подымал глаз, смотрел в землю, а дылда покорно ждал. «Знаешь, Калодин, я пойду пройдуся. А ты не спускай глаз с того вон сарая, чтобы так и остался как есть, трогать никому не давай. И поставь всех на ноги к моему приходу, собери во дворе, пускай ждут».

Солдат ничего не ответил, привык, что ли, все молча и с первого слова исполнять. Прапорщик обошел приметившуюся ему дощатую будку, а потом и казарму; двигался он вяло и все взглядывал, будто в оконцах ее что-то для себя высматривал. Когда же он скрылся за дальним углом, Калодин поворотился к татарчонку, а тот вдруг и сам полетел на него с наглостью: «Тебе чего, братан? Дай закурить, или зарежу!» Калодин с размаху ударил его кулаком, и когда татарчонок свалился, заклипывая руками разбитый рот, сказал с безразличием: «Вставай... Кто по роте дневалит? Слышал — приказали подъем». А татарчонок катался по крыльцу, завывая: «Козел, чего сделал, зуб вышиб, уй!» Калодин сгрудил его и сильно тряхнул. «Кто дневалит, тебе говорят?» В сердцах он еще замахнулся, и татарчонок пуще захлопал, разинув на погоду удивленные, испуганные глазщи: «Это я, я...» «Чего по щекам размазываешь? Поди рожу умой. И давай буди свою блатву, слышал, приказывали. И пускай прут во двор».

Спустя короткое время во дворе под присмотром Калодина уже толпилась растерянная солдатня. А на крыльце подле Калодина сидел умытый, застегнутый теперь на все пуговицы татарин, разжигая у роты и зависть и глухую злость. Он важно курил папиросу, подаренную Калодиным, и важно через затяжку плевался, стараясь, чтобы попало в блатву. Солдаты молча уворачивались, и лишь самые смелые издали покрывали его матерком. В роте и прежде сторонились татарина, побаиваясь его дури, а тут он во все перепугал всех, разбудив истошными воплями казарму и суя каждому потрогать выбитый зуб. «Во какая сила! Мене никто не мог зуб выбить, а он смог», — хвастал и сейчас татарчонок, выпрашивая у Калодина курево одну папиросу за другой. А заполучив, ревностно отгонял тех, кто пытался за компанию разжиться табачком у заезжего братка. Татарин надувался и шипел на этих пролаз: «Халява, мене он зуб выбил, а тебе что?» «А я и не

дам», — отзывался Калодин. «Верно, Саша, им не давай, я возьму. Знаешь, как мне больно было? Во, гляди, теперь дырка будет всю жизнь».

Вспоминая о дырке, он затихал, не иначе как втихую ковырялся в ней языком, а на глаза его опять сами собой лезли слезы. Было ему и обидно и больно. Татарчонок никак не мог смириться, что зуба больше нет. Он вытаскивал желтый прокуренный камешек из кармана и опять пробовал вклеить его в жгучую дыру.

Возвращения прапорщика никто не заметил, он появился так же бесшумно, как тогда в грузовике: вышел с обратной стороны, сделав круг по степи. Толпа в замешательстве пошатнулась, люди вертели головами, оглядывались, будто попали в засаду. «Братцы! — нашелся краснорожий солдат, один из всех, — я знаю его, это же Скрипицын, он дознавателем в полку, его в полку все знают, он и меня укатал». Калодин мигом поднялся, встречая начальника. А татарчонок опять нагнал страху, подскочив, козырнув, так что солдатня затаила дыханье, хотя чести дознавателю все же не отдали.

«Товарищ Скрипицын! — отличился краснорожий. — Приходько я, помните, еще допрашивали меня, как склад ковырнул?» «Нет, не помню...» — «Да как же, так допрашивали — и не помните! В прошлом годе случилось, вы ж меня и укатали сюда, я склад ковырнул, Приходько я...» Скрипицын молчал и только зло чиркал глазами.

«Капитан ихний спит, — доложил торопливо Калодин. — Сам не просыпается, а будить я не сказал без вас». «Хорошо, — отрезал тот. — Я портфель оставил в кузове, принеси».

Портфель, который вынес начальнику Санька, был из рода обыкновенных, делающих и человека существом невзрачным, унылым. Обтертый будто наждаком, давно потерявший крепкую форму, этот портфель служил явно сверх положенного срока, что придавало ему зловещий вид. Он выглядел будто короб, и казалось, что приспособлен стал уже для переноски тяжестей, а не бумаг. Стоя с ним, возвышаясь на крыльце, и сам Скрипицын вмиг обрел новый вид. Нечто тяжелое, заместительное явилось и в его сутулой фигуре, и в руках, похожих на весла. Он и теперь почти не глядел прямо в людей, а как бы водил по сторонам поникшей головой и немигающим, бездвижным взглядом; но взглянув вдруг прямо, заставлял совершенно врасплох, и вот уже с любопытством, с брезгливостью изучает, ничего не стыдясь. Эдакий глупый, но и страшный взгляд. С этим портфелем Скрипицын вдруг сделался похожим и на фельдшера, какие они бывают в безвестных армейских госпиталях, устроенных навроде сушилок или барачков, которые если лечат, то калечат. А если ходят с портфелем, то в портфеле не иначе как набор пилок и молотков — инструмент.

«Проследи, чтобы не разбежались, а то могут понадобиться, — сказал он Саньке, ткнув головой во двор, — и чтобы не подходили к сараю, оно верней».

Поворотившись так тяжело, точно бы кувыркнулся, Скрипицын шагнул в казарму и пропал в ее глуши, не спросив, куда по коридору направиться, как свой человек, который и сам знает все внутри.

Особистов в полку и знали и не знали. На тысячу неособых их приходилось всего с десяток, включая и тех солдат, что прислуживали в отделе, потому и легко было этому десятку запрятаться. Особые к тому же жили своей, подземной, жизнью, ведя свой счет времени, за запертými наглухо стенами, куда снаружи проникала лишь на подошвах грязь. И если ты за безупречную свою службу и сталкивался с ними нос к носу, то разве в сортире. Сортир был один на весь полк, и тут уж ежели человек, который вдруг свешивал свою задницу над соседним толчком, оказывался чужой, то — из особого отдела, особист.

За дверью ротной канцелярии было тихо, тише, чем дышал Скрипицын. Удостоверившись, что капитан впрямь спит, Скрипицын громко застучал, именно будя его, без перерыва.

Нет ничего странного, что он будил стуком спящего человека, но выглядело действие Скрипицына так, будто он вламывается в канцелярию. Должно быть, разбудив Хабарова, он сильно его перепугал, отчего капитан отворил дверь наспех и очутился полуголый на холоде, тогда как Скрипицын, стоя на пороге в шинели, не сразу и вошел. Потоптавшись, будто нацеливаясь, Скрипицын махом одолел порог и обратился к капитану уже посреди канцелярии: «А у вас холодно, печку бы завели, что ли, раз начали жить».

Пристав к столу, будто обнаружив приготовленное для него место, Скрипицын стал располагаться с той поспешностью, как если бы выкладывал все чужое; он установил портфель и уже расстегивал шинель, хоть сам указал на холод. Не оборачиваясь, занятый шинелью, он бурчал: «Я к вам прибыл по делу, вам должны были сообщить, можно сказать, поставить в известность, так вот я по этому делу прибыл, буду разбираться...» Спросонья прапорщик показался Хабарову светлым, отмытым, как бы эдаким чином, и капитан стоял замороженный его вялым жалующимся голосом, но вдруг вскрикнул, сообразив: «Так вы от товарища генерала!» Захлопывая дверь, подхватывая сапоги, он бросился к своим штанам с кителем, похожим на воблу. «А каков, сдержал слово, ну чудеса!» — кружился капитан, потрясая в радостном возбуждении всем собранным обмундированьем. И когда заглянул в оконце, то попятился, точно его ослепило: «Что такое... Грузовик прислали?! Он обещал мне, обещал, говорит, все пришлю, разворачивайся!» Поначалу совершенно убитый услышанным, Скрипицын двинулся — он занял стул и проговорил: «Ну и что, как он, вот этот генерал?» «Такой человек, такой человек! И расспросил, и вник... Сам далеко, а все знает, как рядом стоит! Чудно... Другой и с потрохами съест, а этот верит на слово, хвалит...» Хабаров покрикивал, бегая по канцелярии, отчего она сделалась тесней. Однако Скрипицын сросся со стулом и задеревенел. «Значит, хвалил?» — вырвалось из него. Капитан замаялся, поправляя кителек. «А разве картошка — это камень, что похвалить нельзя, если вырастил?» «А я в первый раз слышу, что вы здесь болтаете, — отчаялся Скрипицын. — Я сам старшим прапорщиком служу и никогда не видал генералов, чтобы они разгуливали в полку. Скрипицын моя фамилия, я из особого отдела, хоть вам известно, все вы знаете, товарищ Хабаров».

У капитана свесились руки. Он сел на заправленную койку, очутившись прямо против Скрипицына, который глядел на него, кисло морщась. «Если особый отдел... А разве вас не генерал прислал?» — «Ну хватит, Хабаров, тактика, которую вы избрали, мне многое доказывает. Это значит, что имею дело с нечистой совестью». — «Я в этом ничего не разбираю, какие в особом отделе веселости. Вы если приехали, то зачем?» — «Думал в известность поставить, чтобы вы с мыслями собрались, так сказать, осознали. Думал, быстро все порешим. Но вижу — по-другому воспользовались. Тогда сначала начнем. Ознакомьтесь, раз так, гражданин».

Скрипицын потянулся рукой за портфелем, заглянул в его глубь и, всунув затем руку чуть не по локоть, разворочил глухую утробу и вытащил наружу картонную папку — из тех, в которых заводятся «дела». Однако эта папка оказалась тощей, бедной от безделья. Под картонкой ее коптились штуки четыре бумаг, похожих на обношенное исподнее белье. Отцепив их и строго протянув капитану, Скрипицын оставил папку и вовсе голой. «Это для чего?» — «Почитайте, тогда и узнаете». — «Да вы скажите, я и так пойму...» «Это что же — и читать разучились?» — усмехнулся тот. «Все смеетесь», — проговорил капитан и взял с огорчением все бумаги без разбору.

Хабаров читать про себя не привык, понять про себя бумагу было ему трудно, будто ищешь впотьмах. Он поэтому и при Скрипицыне взялся читать вслух, запросто, чем неожиданно того ранил, а под конец и растерзал, заставляя вдруг узнавать, как звучат доносы. Скрипицын изводился, ему казалось, что и читка устроена капитаном, чтобы поиздеваться. Однако

читал капитан хмуро, для себя, позабыв о дознавателе. Местами он спотыкался и перечитывал все снова, тогда и высказывался с удивлением: «Вот бляди!» Скрипицын дождался навроде посылыного и бледнел, когда раздавалось ругательство. Ему приходилось бездвижно слушать раздольную речь капитана, эдакую ясную, громкую речь, и видеть с оторопью, как этот капитан вовсе не пугается написанных слов, а приканчивает их — каждое не спеша, с расстановкой. Когда бумаги были прочитаны, Хабаров разложил их молча на столе, но все же обсказал, увидев, что дознаватель ничего не понимает: «Эту Синебрюхов писал, начальник лагерный. Эту писали, которые у меня в роте служат. А эту я и не знаю... От меня много солдат в Долинку побегло. Одни летом бегут, другие, может, весной с голодухи».

Вернувшись, то есть усевшись обратно на койку, Хабаров проговорил спокойно и внятно, будто с отнятой душой: «А, вспомнил был у меня начальничек ваш особый, Смершевич, тоже бумажки совал, мужик нахрапистый». Хабаров не знал, о чем с дознавателем говорить, но стеснялся его с ходу выпроваживать, если уж тот приехал. «Никак память возвращается? — произнес Скрипицын, желая, чтобы и капитан думал так же. — А Смершевича больше нет, извиняюсь, сгорел». «Выходит, не удержался, списали...» — проговорил нехотя Хабаров. «Да нет, он прямо и сгорел, в огне! Прощлой зимой — не отмечали? — имелся в полку пожар. Жизнь у вас как другая... Если печь заведете, то лучше поставить ее на железо. Получается, что искрит. А может, вы не узнали, кто я такой? Если вам про меня сообщали, то в особом отделе я главный, это после Смершевича». «Прапорщик...» — разглядел Хабаров. «Старший прапорщик, — уточнил Скрипицын и взялся с холодцом за папку. — Ну раз вспомнили, начнем вести протокол, хватит, извиняюсь, воспоминаний».

Хабаров вдруг возмутился, такого поворота не принимая, даже не умея понять, чего от него требуется: «Откуда же протокол?! Синебрюхов вранье писал, что в лагере от моей картошки беспорядок начинается. Ты поди, старшой, погляди, отчего у него беспорядки. Да вор он, воруга! Что мои писали, что я их пайки зарыл, сучата они, в спину ударили, ну и ладно. Так вон накормил их картошкой до отвала — и чья тогда правда? А солдат у меня в Долинский лагерь много побегло. Рахматова этого не помню, но правда, если сбежал. В Долинке и служба полегче, и кормежка жирней, потому ко мне самых отпетых и посылали как в наказание. А дай время — обратно побегут, потому стало у меня слаще. Сделают из Долинки штрафбат — и что, в Долинку помчишь, будешь ихнему совать протоколы?» Этой задушевной речью капитан себя захмелил. Скрипицын мигом учуял, что Хабарова развезло, и откликнулся с вкрадчивостью, какую возможно было принять за доверие. Он задвинул и папку с ударением, заметным капитану. «Хорошо, с протоколом повременим, может, и без протокола обойдемся... Я ведь вас понимаю, товарищ Хабаров, можно сказать, разделяю... Ну как вы полагаете, в чем вам видятся причины такого плачевного положения?» «Я говорю: не виноватый!» — отрезал не задумываясь Хабаров. «Кто же возражает? — обходил капитана Скрипицын, будто заволакивал. — Мое дело виноватого найти. Может, и командир полка виноват, мое дело отыскать. В полку, знаете, все на беззащитных отыгрываются. Вот и следствие это начать он приказал, командир полка, Победов... Полк уж стонет от его приказов». Капитан раскрылся: «Я и в глаза скажу, что все у нас прогнило». Скрипицын насторожился: «Ну, если у нас... Если прогнило... Понятно». — «А я уж и не знаю, запутался... Все равно, я не виноватый. Люди сыты, картошка в целости, поди проверь, как у Христа в запазухе...» — «Я-то верю, а вот Победов — чего я Победову скажу? Пишите сами на имя прокурора, что в полку происходит. Я дело ваше попридержу, а бумагу отошлю в округ. Может, разберутся; где правда. А доложу Победову, что следствие затягивается, прикрою вас, так и быть, но и вы меня не выдавайте. Сидите себе тихо. Я думаю, вас оправдают». «Заявлю, а засудят невиноватого, — усомнился Хабаров. — Вот вы — особый отдел,

сами и устанавливайте, кто жизнь поганит. А мне нечего прятаться, я не вор. Темнишь, старшой, другому подсказывай... Поезжай ты, нечего пыль из земли вытрясать. А в полку хороши! Месяцами ждешь подвозов, а особы даром на грузовиках гоняют».

Не сказать, что в точности переживал капитан, но ему было даже жаль этого подневольного человека. Однако тягостно Хабарову стало находиться в своей, в ротной, канцелярии, сделавшейся комнатой для допросов. Тяготили его голые масляные стены и койка, похожая на скамью. И стол, за которым уселся дознаватель. Пронял капитана и холодок, эдакий карцерный, злой, хоть тем же холодом годами закаливался. Скрипицын побледнел, заволновался: «Я хотел, чтобы всем было лучше, если так, тогда продолжим протокол». И он схватился, чуть не прижал к себе папку. «Охолонись, старшой, что за порода! Лазите повсюду, вынюхиваете, тошно с вас. Картошку собрали, дожили, так и без протоколов проживем». — «Большого о себе мнения, если думаете, что я вынюхиваю вокруг вас. Я тоже, знаете, личность! Полковник Победов за себя постоит, как-никак командир, да и в округе сами разберутся, с кого спрашивать. Если хотите знать, всегда найдется, с кого спросить, потому и лучше будет, если дело уйдет с вашим заявлением. В округе запутаются, и все останется как было. А иначе куда мне полученные сведенья девать? В суд? Ну оправдают в суде, если надеетесь. А если нет, тогда пятно на весь полк да на мундир Победову. Заявление это и вам нужно. Без этого заявления я всю вашу картошку обязан изъять, так как в ней все дело, все факты, следствие-то запущено, не остановишь. Отвезу в полк, сдам на хранение, а картошка сгниет, пока будут вас судить и потом оправдывать будут. А картошку спишут на свинарню. Понимаете, куда ваш труд пойдет, это если все соблюдать правила? А я понимаю. Так что вздумайтесь, что написать-то полезней. Я и приехал на грузовике, получается, что не даром».

И тут произошло то, чего Скрипицын вовсе не ожидал: осерчав, да так сильно, капитан резво прыгнул к столу и, размахнувшись, будто хотел влечь горячую, со всего-то размаху смел со стола застелившие его доносы. Если бы Скрипицын не вцепился в протокол, то и картонная папка полетела бы на пол. «Ну кто ты есть в моей канцелярии?! — взревел Хабаров. — Ты подлец, а я тут живу годами! Я жил ради этого дня, мне и сдохнуть с этим днем легче, не страшно. И неужто ты думаешь, что отнимешь мне радость одной бумажкой? Что я всей жизнью вымучил, ты думаешь отнять в один день, чтобы сожрали свиньи?!» Скрипицын даже испугался капитана, хоть взорвавшийся служака обнаруживал слабость свою, а не силу. Однако особист вовсе не понимал этого человека. Скрипицына заворожило, как просто капитан смел бумаги, будто ему известно нечто тайное и сильнее этих бумаг. Присев, он принялся их торопливо собирать. «Гляди, старина, не сгори!» — накрикивал в злом ознобе капитан.

Не выкладывая больше бумаг, запрятав их в портфель, Скрипицын проговорил тошным голосом: «Значит, от дачи показаний отказываетесь?» «Сам на себя показывай, а я не виноват. Меня не прожуеть, подавишься. Это ж надо, сколько сразу ртов, подавай всем картошку! И ты любишь, вижу, любишь, старшой... Небось чтоб на сале жаренная? На сале, я тебя спрашиваю?!» Хабаров напирал на сало, завидев с радостью, как особист попятился от него к двери, схватив в охапку и портфель свой и шинель, будто их у него отнимали. Так он и выскочил, будто обобранный. И капитан, утихая, с досадой вздохнул: «Охота, честное слово, пыль выколачивать...»

Неожиданное бегство этого человека Хабарова и утихомирило, и родило в нем сожаление. Ему все же не хотелось ударить человека так больно, чтобы тот выскочил не распрощавшись. «А кто виноват?» — огорчился капитан. Услышав со двора шум, он поспешил заглянуть в оконце, чтобы хоть повидать, как особист уезжает.

А во дворе особист кричал на столпившихся солдат. Кто-то из них, приметив, что капитан все наблюдает, взмахнул руками навроде утопаю-

шего. Не помня себя Хабаров выбежал во двор. Особист отвернулся. Санька Калодин громкой стоял подле него и хмурился. Когда выбежал капитан, солдатня вокруг полковых распоясалась, оголтела: «Товарищ капитан, он картошку грузить приказывает!», «Пускай проваливают, сами хотим жрать!», «Нам Хабаров командир!»

«Не подымать паники, ребята!» — с трудом перекрикнул капитан своих, и толпа затихла. Хабаров выбежал на глаза особисту, будто вырос перед ним из-под земли. «Ты чего удумал это? Слышь, уезжай по-хорошему». — «У меня приказ Победова доставить картошку в полк». — «Врешь!» — «Капитан Хабаров, вы осознаете, что я из особого отдела?» — «А ты осознаешь, товарищ Скрипицын, что ты врешь? Ребята, не слушайте этого гада, у него приказа нету! Я знаю, я вчера разговаривал, такого приказа не отдавали». «Да вы понимаете, куда он вас тянет?! — вскричал Скрипицын, обращаясь к людям. — Нет никакого генерала, он же дурака валяет. Вот, вот тут у меня ваше письмо — вы же писали в округ? Оно в полк вернулось, это командир полка Победов дураку этому звонил, который завтра же под арестом будет!»

В особиста полетели ошметья грязи, камни, но Скрипицын не побегая, не спрятался, хоть успел приметить и того краснорожего ловкого солдата, который метил ему в голову и точно сгорел без дыму, когда камень сбил с головы прапорщика фуражку. «Не блатовать! Кто швырял, отставить, мать вашу, он же этого и дожидается!» — затрепетал капитан, загораживая собой Скрипицына. «Поехать бы, буза начинается...» — зашептал Санька, но начальник оттолкнул его со злостью. «Скоты! Скоты!» — орал Скрипицын, вырываясь вперед, и солдаты отбежали. «Наш командир — Хабаров, пускай он прикажет, тогда станем грузить!» — кричали они особисту, рассыпаясь по двору, так что Хабаров со Скрипицыным остались одни в слякотном холодном круге.

Они стояли друг против друга — такие не похожие, чужие, что и не смогли бы разойтись. «Калодин, — рывкнул особист, — тебе ясен приказ? Начинай, ничего не бойся». Калодин твердо зашагал к будке. Оторопевшая солдатня ждала, не приближалась. Когда он выволок из будки первый мешок, то вцепился в мешок Хабаров, вырывая его у Саньки, и тот потащил капитана, навесившегося на картошку, не решаясь его ударить или спихнуть в грязь. Хабаров упирался в землю и кричал навзрыд: «Ребята, подсобите!» Однако люди молчали и чего-то ждали в отдалении, побаиваясь уже особиста.

Капитан споткнулся. И повалился, выбившись из сил. Он встал на колени и завыл, глядя на Скрипицына клочковатыми, разодранными в кровь глазами: «Я тебя сам возьму под арест, я... я тебя расстреляю!» Скачущими руками он выхватил пистолет и, расшатываясь, качаясь, пугал им людей. Но Скрипицын стоял на месте — он никак не мог поверить, что у Хабарова хватит духу выстрелить. И тут, уронив мешок, на капитана неуклюже прыгнул Санька, падая всей тушей на пистолет. Ахнул бестолковый выстрел, небо зашумело, и дрогнула его грязная синева. Целый и невредимый, Санька зорал, обмякнув от запоздалого страха: «Я держу его, попался!» «Его связать надо!» — ожил Скрипицын. «Чем связать? У меня ничего нету!» Особист схватил за шиворот ближнего солдата, сжал ему шею своею клешней, отчего тот заскулил и вмиг сдался, и задрал на животе солдата гимнастерку, обнаружив брезентовый пояс, похожий на плетку, который и вытянул хлестко из портков, разом обвисших.

Как приказал Скрипицын, скрученного капитана заперли в оружейной комнате, обитой кровельным железом, без окон, с решеткой вместо дверей. Скрученный, Хабаров все бился, извиваясь. «Ребята, сынки, держите его, поймайте!» — задыхаясь, кричал бешеный капитан, будто распознал другого, страшного человека в особисте. Когда капитана уволокли в оружейку, Скрипицын уткнулся взглядом в его пистолет, уже было затянутый грязью, позабытый. Подобрал и спрятал в шинель, пустившись наскоро довершать свое дело

Солдаты, которые поумней, украдкой разбегались со двора, чтобы их не принудили к работе. А тех, кто застрял из любопытства, Скрипицын выловил и отдал под команду Саньке, чтобы перетаскивали картошку. Недовольные, они швыряли мешки в кузов, а не клали. И погрузка во все остальное время шла без сбоев и очень даже резво.

Как обнаружилось, зэки давно обзрели происходящее в казарменном дворе, рассевшись тесными рядами на крышах барачков. Вдруг они принялись крыть навьюченных мешками солдат дружным неумолчным свистом. С вышки громыхнули выстрелы и побежали вокруг зоны, трясущие, будто погремушки. Зэки нехотя отступили, спустились в зону. Однако сухими деревьями на крышах осталось лагерное пацанье, которому ничего в жизни не было страшно, потому как эти все кругом себя будто отродясь ненавидели. Задираясь и зная, что автоматчики не посмеют стрелять, мальчишки закидывали черепицей и отступивших от барачков солдат. Когда Калодин уже задраивал борт грузовика, на крыше взобрались надзиратели. Они избивали пацанов арматурой, длинными железными прутьями, гонялись за ними, скидывали. А последних надзиратели в охотку раскачивали за руки да за ноги и плашмя бросали, даже подбрасывая ввысь.

Двор обезлюдел. Из караула прибежал единственный в роте прапорщик, которого Скрипицын приказал все же разыскать. Ему особист вручил роту и приказал, чтобы капитана Хабарова не развязывали, не выпускали. Пообещал также, что завтра же прибудет за арестованным конвой. В ответ на все распоряжения особиста богатырского вида прапорщик молчал, хотя рожа его выражала несогласие. Он покачивал и мотал головой, но рта не раскрывал, боясь, что и его арестуют, если он дыхнет перегаром. Горестная и пропитая рожа его вконец опротивела Скрипицыну, так что, махнув на полуслове рукой, он одиноко зашагал к грузовику.

Стоило грузовику завестись и тронуться, зафырчав мотором, как поднялся страшный лай, будто проснулись все овчарки Карабаса и даже степь, обрета голос, вдруг раскатисто и глухо залаяла.

Они отъехали далеко от лагерного поселка, одни во всей смеркавшей степи, отчего уставшему, измотанному Калодину сделалось спокойней на душе. Дорогой Скрипицын опять же волновался. Скрючившись в шинели, он то открывал, то закрывал глаза, и Санька никак не понимал, дремлет начальник или беспокоится. Они катили по ровной полосице, простеганной грязью, будто пухом, как вдруг подвернулась колдобина, и грузовик сильно трянуло. Скрипицын ушиб голову, застонал. Виноватый Санька убавил ход, но разозленный начальник буркнул: «Да нет же, гони!» «Поберегли бы здоровье». «Чего говоришь?» — скривился тот, не разобрав слов. «Можете наказывать, я гнать не буду. Я за вас отвечаю, вон какой вы белый весь!» «Заткнись, — проговорил Скрипицын, и человек его осунулся, поглупел. — Слушай меня: съезжай, к черту, с дороги, гони подальше в степь, гони!»

Санька не решился исполнить его приказание. Скрипицын вцепился в солдата: «Я же сказал — съезжай!» — «А куда нам другой дорогою ехать?» — «Где скажу, там и остановишь. Я знаю куда».

Санька съехал с полосицы в степь и погнался. Грузовик задрогался на ухабах и заскрежетал. Мчал их с тошнющей скоростью неведомо куда. Как известь белый, Санька стойко выдерживал эту пытку, не успевая ображать, что же такое вдруг началось. Скрипицын задышался, сухие глаза его поблескивали, мельчали, будто собачьи. Он барахтался в тесной грохочущей кабине, будто намеревался выпрямиться в ней, и покрикивал, будто подгонял, и что еще успел услышать Санька, было его воплем: «Стооять!» Калодин слепо выполнил этот приказ, раздался скрежет, их сбросило с мест, а грузовик, чуть не опрокинувшись, врылся в землю и заглох.

Опомнился Санька с кислым привкусом крови во рту и реберной заунывной болью. Он замычал, сплевывая под себя. Забитый в угол Скрипицын пугливо глядел на своего окровавленного служку. «У меня грудь болит, — пожаловался тот, и особист отвернулся от него. — А вы целый?» —

промямлил Калодин, но ничего не услышал в ответ. Он тихонько выплевывал оставшуюся кровь, утерся и попробовал дрожащей рукой завести мотор. Грузовик дернулся и забуксовал. «Что, крепко засели?» — спросил вдруг Скрипицын. «Выберемся, поедем...» «Никуда мы не поедем, вылазь, — проговорил он в ясной памяти. — Будешь картошку из кузова выбрасывать, в этой луже утопим». «Зачем это? А приказ, сами говорили, что Победов в полк приказал». — «Да я сам себе Победов... Что ты знаешь про мою жизнь, дурак?.. Это я, я всеми командую». — «Боязно мне с вами, товарищ прапорщик. То говорите — брать картошку, что есть приказ, и чуть нас не убили. То говорите, не успели отъехать, что нет приказа, выбрасывай, а чуть не разбился. А я, может, тоже человек. Зачем так делать? А у вас, может, сотрясение, вам в лазарет надо...» И тогда Скрипицын выпал, утратив терпенье: «Ты потому человек, что я тебя спас. Или забыл? Спас, не побрезговал, и ты моими словами не брезгуй. Что скажу, должен делать, как я сказал, я для тебя главный человек». И вот без слов Санька полез в кузов, вспомнив заново, кто его спас.

Скрипицын вылез следом и посторонился, встав столбом на пяди пустой степной земли. Он стоял с непокрытой головой, будто шевелящейся на степном ветру, спрятав руку в шинельном запахе, навроде контуженного, и глядя со стороны в грязь, в которую сыпалась картошка. Она будто ожила. Похрипывала в мешках, когда их ворочал и кидал с борта двужильный Санька. И гудела, падая градом, бубнила из грязи. Потом ее выросла гора. «Вот и все, вот и сгнила...» — бурчал себе под нос Скрипицын. Санька же ворочал мешки и до последнего молчал.

Когда все было кончено, грузовик завелся и отъехал, но вместо того чтобы еще злей рвануться вперед, он тяжело попер задом на картофельную кучу, ровняя, а потом и раздавливая колесами, пока на том месте не замесилась сырая каша. Тогда-то грузовик разозлился и рванул...

Ранней осенью небо еще теплится. А потом, ближе к декабрю, оно точно издыхает, и с него сваливаются потоки оконеченшего дождя, часто смешанного со снегом. Ветры разгоняют холодный воздух, обтачивая его так, что режут порывами все живое, даже травы. Земля простывает. И степная дорожка хлюпает грязной соплецей, размазанная на перепутьях и крутых поворотах.

Глава четвертая: «Государственное дело»

Калодин, глаза которого умаслила усталость, проглядел, когда пропертая по степям, через развалы горняцких поселков и пустующие по обочинам городишки трасса влилась копящей груженной рекой в сумеречную Караганду, смешав свои слепящие огни с ее подслеповатыми огнями. Санька не любил этого чужого угольного города. Будто пойманного, его жалостливо потянуло в полк. Он мчал грузовик по тусклым, сплюсненным, что свинец, площадям и петлял, стиснутый жилыми мертвыми домами, распугивая спящие улочки, проносясь безлюдными перекрестками, — мчался, спешил, хотя кроме железной койки в закуте особого отдела ему было нечем дорожить в полку.

Располагался полк на отшибе, кругом него плодились пустыри и разрытая брошенными котлованами и траншеями земля. В этой глуши его скрывал еще деревянный забор вышиной чуть не с телеграфный столб и размахнутый так широко-далеко, что и столбовая дорога. Заборы требовалось объехать тем же далеким путем, затягивающим грузовик воронкой. Вовсе незаметные, похожие на стену, вырастали вдруг ворота. В них даже имелась дверка, будто в доме. Подвешенные над створами ворот, горели фонари в железных намордниках. Однако было пусто, глухо. И тот свет потупливался в слякоти, замешавшейся днем как раз подле ворот.

По прибытии конченная командировка особистов была отмечена на пропускном пункте десятым часом, то есть в двадцать два ноль-ноль. Де-

журный капитан, добряк, которого оторвали от карточной игры, заштамповал и расписался, со спешащей усмешкой допросив Саньку: «А где секретное начальство, что, умаялось, дрыхнет?» Солдаты из караульных, игравшие с капитаном, стояло Калодину появиться на пороге, смолкли, уставившись на него, и пока Санька дожидался дежурного, все поедали его глазами, будто тому запрещалось находиться в одном с ними помещении. Калодин различал эти взгляды и переживал их. Он и капитану ничего не ответил, а тот живею уселся за свои карты и вскрикнул: «Эх, сука, мне бы еще червей!»

Как бывает к ночи, в караулке завелось свое тепло. Холод со двора уже не захаживал, надышали, успели втихую и чайничек вскипятить.

Когда Санька убрался, то на место его наскочил сквозняк, эдакая стужа, что и обдала служивых. Один караульный недовольно скривился: «Ездют, ездют... Nate ваших червей, товарищ капитан». Другой откликнулся: «А ты скажи, чего он ездит? Гляди, он же и черта этого пригрел, с чертом этим ездит, сует его впадлу всем». «Это всем известно, что Скрипицын выслуживается, — не удержался и самый угрюмый товарищ их. — Он и парашу поцелует, чтобы выслужиться. Этому салу все мало, он хочет чего пожирней!» И тут капитан, который было увлекся игрой и с потугой раздумывал, чем от солдатни крыться, вдруг взвился и, ухватив говорящего за шиворот, рывком выдернул из-за стола. «Ты это про кого говоришь, про Скрипицына?! Чтобы я этого больше не слышал, уродина ты! Я при себе не позволю хорошего человека топтать». Так же неожиданно, как и вспыллил, дежурный взялся за карты, отпихнув выдернутого солдата. «Беру, на-кидывай, чего есть».

Караульные боязливо сбросились, играть стало тягостно.

«Ну, чего сдохли — давай играй!» — накрикнул капитан. «Это все знают, что у Скрипицына прозвище в полку такое», — пробурчал опять угрюмый с обидой, которому и был черед заходить. Капитан огорчился, но уж не вскинулся, а с чувством заговорил: «Я не знаю, за что ему такое прозвище дали. У нас в полку хорошего человека со свету сживут, все про него наврут. Вот Смершевича боялись, молчали, а он стольким людям жизнь успел покалечить, пока не сгорел. Скрипицын год в особом отделе командует, никому от него вреда нет, а каждый не утерпит да пнет. Потому и пнет, что бояться разучились, вроде тихонький человек, чего и не пнуть, верно, рядовой? А Смершевич? Он моего солдата было насмерть забил. Тот ему козырнуть припозднился. Знаете, как у него кулак отхватили? Вот помирать буду, а вспомню... Был у нас год, когда армяней полно служило, а Смершевич армяней страх как не любил, вроде рожи у них грязные, да и никого он не любил! Они все прикидывались, будто русского не знают, а может, и правда не знали. Этих армяней как дезертиров и таскали что ни день в особый отдел. Смершевич из них душу вынимал, они для него были как скот. Он в морду их, по зубам, а кулак и поранил. Зубы разные попались, и гангрена эта самая началась. Тогда ему кулак и отрезали. Да чего вы понимаете! Вы другого человека, другой такой полк видали, чтобы вот так — от зуботычин кулак отрезали? А ты говоришь «сало», рядовой. Понимать надо, чего говоришь».

Караульные его слушали вяло, не понимая, какое им дело до сгоревшего начальничка и почему требуется другим начальничком дорожить. «А говорят, Скрипицына три раза судили, что он деньги в полку своровал. Какой же он хороший человек?» Капитан разволновался: «Не воровал, это врут! Все, уродины, позабыли, какое взаправду было воровство! Если бы не Скрипицын... Да чего с вами говорить, не знаете вы ничего».

Тем временем за решетками караулки затарахтели и медлительно съехали набок литые ворота, открывая ход заждавшемуся грузовику. Неподвижный полковой плац всплеснулся под лучом прожектора, бывшего наискос с железной мачты, воздвигнутой выше крыши. Коробчатые строения, различаемые лишь по запаху, который и в отдалении ударял — один из бани, будто сохнут там мокрые кошки, другой тухлый, от пищеблока, —

были расставлены по краям плаца, как сторожевые будки. Над самим плацем сгушалось почти зримое черное облако, в котором жилкой в луче прожектора билась непонятного происхождения искра — будто сам воздух превратился в казенную машину, годную, чтобы вдыхать и выдыхать.

Полк вымирал. Пожравших солдат отводили строем в сортир, где по-ротно и повзводно происходила последняя за день оправка, всего их полагалось три. После солдат уводили в казарму, и если никто не провинился, то скоро объявляли отбой. Казармы воняли портянками, хоть и били тех, кто их с месяц ни разу не постирал. Еще кругом воняло хлоркой, похоже на чужую мочу. Было в полку правило, эдакая дезинфекция: повсюду стояли тазы, полные хлорки. Для входа в столовую надо было опустить руки в таз, и тогда лишь давали жратву. После оправки тоже полагалось смочить руки в тазу. Хлорка руки со временем так разъедала, что они делались похожими на коряги, а то и начинали гнить.

Калодин выехал на плац и затормозил у штаба, крепкого каменного строения, обсаженного кустарником, жесткая щетина которого пушилась впотьмах. Скрипицын мучительно очнулся и вытряхнулся из грузовика. Прихрамывая, он поплелся к штабу, будто засыпая на ходу, но уже подле крыльца сшибся с офицером, который крепко его схватил и с радостью потряс: «Попался, Скрипицын? Что, уже знаешь, бежишь? Доигрался, дослужился? Небось кубарем полетишь?» «Я ничего не знаю!» — возмутился Скрипицын, отпихивая панибрата. Офицер не обижался, уцепляясь за него еще крепче. «Он не знает, хорош особист! Да Победов весь полк с самого утра запахал — где Скрипицын, давайте мне Скрипицына... На меня набросился, что галстук помят. А я ему так и сказал, что галстук у меня глаженный. Ты чего, Скрипицын, обгадил старику самочувствие — и в кусты?»

Они толкались и пихались впотьмах, почти не видя друг друга. Скрипицын отступал, офицерик напирал — так и влетели в обнимку на крыльцо, ярко освещенное. И офицер, разглядев Скрипицына, сам отпрянул. «Я никому не гадил, я из командировки!» — отбивался дознаватель. «Ты чего могилы рыл? — пробормотал, уже отбегая, налетевший и, посторонясь, крикнул: — А чего тебя искали, ты кого убил, а, Скрипицын?» Крикнув это, офицерик и вовсе пропал в кустах, а Скрипицын, оставленный в покое, вдруг согнулся, будто его пнули в живот...

В штабных окнах вовсю горел свет. Окно кабинета командира полка Федора Федоровича Победова никогда не гасло, хоть бы и весь штаб к полуночи прогорел и обуглился в сумерках. Старый полковник заставлял себя просиживать на службе до самых поздних часов, чтобы кругом не подумали, будто он дремлет или же отсутствует, когда по должности ему всегда положено бдить.

Уменьшившись, сжавшись, Скрипицын юркнул в штабную дверь, точно мышшь в половичную щель. Чтобы пробраться в штаб, таковой ловкости не требовалось, но подавленный дознаватель так и чувствовал себя — мышью. Он шмыгнул по пустой лестнице до второго, полковничьего, этажа и затих. По этой по верхней половине штаба, если делить вдоль, а не поперек, прогуливались под локотки самые подозрительные звуки, которые стоваривались и сплетничали. Звуки эти пугали Скрипицына и мешали подслушивать поточней, какие разговоры велись за самими стенами. Он замер подле приемной полковника, жажда скорее все разузнать и понять. Пробежал было еще вдоль стены, но когда наконец затаился у той увесистой двери, за которой и впрямь раздавались возбужденные голоса, вдруг распахнулась одна из канцелярий и в коридор шагнула толстая писарица с галочками вместо губ и бровей. Скрипицын незамедлительно распрямился и потянулся к ней, соображая на лету, что бы соврать. Писарица же тяжело ухнула, так, что и груди ее вздулись тучами, и шархнулась обратно в канцелярию, как если бы увидала мышшь. Второй такой случай, когда от него шархались как от прокаженного, лишил Скрипицына уверенных чувств. Он позабыл о страхе и ринулся в приемную, чтобы узнать,

что же могло произойти у полковника, пока он всего на день отлучался из полка.

В приемной, пахшей тем кислым духом, какой обычно заводится в пустующих помещениях, пребывали в самых простых положениях, стоя друг против друга с опущенными руками, два известных штабных чина. То ли почетный, то ли вечный дежурный по штабу старлей Хрулев и сам начальник штаба подполковник Петр Валерьянович Дегтярь. Подполковник походил на гвоздь и возвышался над молодыми Хрулевым, бывшим еще худощавей начальника штаба, но маломерным, шуплым и потому похожим на бледную поганку. Схожесть с гвоздем и грибом обоим придавали одного образца фуражки и одинаковые мундиры, эти казенные столбики, на которых, казалось, и держались фуражки. Дегтярь стеснялся залысины, ее и скрывал фуражкой, снимая головной убор лишь на партсобраниях. А человек этот и впрямь был что гвоздь. Случалось, его вбивали по самую шляпку, потом вытаскивали клещами. Случалось, его гнули, но тотчас и выпрямляли, если понадобился, и опять вколачивали — и потому можно сказать о Дегтяре как о стойком и беспрекословном человеке. Дегтярь любил службу и жил службой, чем и нажил этот свой похожий на гвоздь вид.

Что же до Хрулева, то молодой неприглядный лейтенант неспроста очутился в приемной полкового командира. Победов пригласил его под своим крылом, потому что Хрулев был внуком самого генерала Хрулева. Генерал был за Отечественную войну трижды Героем и дослужился до командующего армией. Однако после войны назначили его командовать Зауральским округом, чтобы не зазнавался. Потом он было взлетел, но за крутость и несговорчивость его так же скоро спровадили на пенсию, вовсе обезопасившись. И генерал, от одного имени которого дрожала в другие времена земля, неслышно скончался в тогдашние годы, угас в кругу детей своих и внуков, которых любил и не любил. Из всей его родни служить подался один лишь внук, не понимая того, не желая понимать, что имя Хрулева ничего больше в армии не значит, что есть в ней и другие имена и другие генералы. И тогда, когда другие внучатые Хрулевы пользовались оставленным им наследством, один этот глупый, самодовольный Хрулев-внук погряз в степной дикой армии, позабытый родней и сам свою родню за родню не признававший. Имя генерала еще пользовалось уважением у мелких армейских начальников, и тот же Федор Федорович Победов заявлял, что чуть не всю войну прошел под его командованием; те люди гордились, вспоминая, что ими командовал генерал Хрулев. Однако старший лейтенант Хрулев страдал, пристарелого уважения и места в прокисшей приемной ему было мало. О начальстве он говорил: «Старперы, свиньи у корыт». О солдатах говорил: «Шей немывтые, свиньи». А вот Скрипицына не мог терпеть, все его страданье так и возмущалось при виде этого похожего на бабу безродного прапорщика.

Когда на пороге образовалась фигура Скрипицына, опять же кособокая, с жалким и уродливым портфелем, которого он не выпускал из рук точно меньшого брата, штабные замерли; могло подуматься, что о нем и вели накоротке речи. Сговор прямо почувдился Скрипицыну в их молчании, и он рванулся: «Я хочу говорить с полковником, я знаю, меня ожидают!» «Анатолий, ты в крови», — промолвил тогда Дегтярь и посерьезнел. «Полная приемная грязи», — подал голос Хрулев и преградил дорогу разбежавшемуся прапорщику. «Грязи много... — поддакнул Дегтярь. — Анатолий, так нельзя к полковнику, непорядок». «Пропустите меня», — затравленно попросил Скрипицын. «Не пропущу и даже докладывать не стану», — твердил Хрулев. «Нет пропустишь!» — ухватился прапорщик за того своими ручищами. От всего этого у порога полковничьего кабинета произошло шум и дошло бы до схватки, но в то мгновение дверь распахнулась и показался сам Федор Федорович Победов с уже приготовленными словами: «Это что ж происходит, тут командир полка, а не базар располагается!»

Пропадая в кабинете для всех, скрываясь в его покойных приятных стенах, будто лягушка в болотной тине, полковник всегда захватывал людей врасплох, высакаивая наружу вдруг, отчего рождалось впечатление, будто он вездесущ. Сухонький и в то же время с брюшком, будто пол мундир зачихнул подушку, обделенный ростом, то есть почти китаец, но с вылупленными голубыми глазами, Федор Федорович Победов в целом был таков, точно произвелся на свет не от любви, а от испуга. В спокойном состоянии он весь морщился и увядал, делаясь тихим и даже послушным, заметно притом глупея. Однако стоило его вспугнуть, как он мигом наливался крепостью, так что даже расшатывался от тяжести, и отличался тогда слепым гневом. Человек безвольный, он с перепугу достиг места и командира полка, с перепугу же на той должности и держался.

«Федор Федорович, меня не пускают!» — раски выставленный напоказ Скрипицын. Полковник набычился. Оглядываясь с опаской по углам и ничего не говоря, он зачихал прапорщика поскорей в кабинет и сам туда же скрылся.

В кабинете полковник кинулся на Скрипицына и заорал, давая волю своим переживаниям: «Совість потерял, говнюк? Ну и забулдыга, да об тебя весь замараешься!» — «Федор Федорович, виноват, я все исправлю, на вас и пятнышка не останется...» — «Он исправит! Да ты в зеркало, в зеркало погляди — что ты из себя представляешь?»

Поворотившись боязливо к зеркалу, Скрипицын так и вмазался в громоздкое серебряное блюдо, полное отражений: вся шинель его была в бурой степной грязи, ошметья которой прилепливались орденами прямо на грудь, а лицо было таково, будто по нему ходили сапогом, раскровив и смешав с той же грязью. Он дернулся, отлип от зеркала, извернулся к полковнику и беспамятно, но с торжеством произнес: «В меня стреляли!»

Услышав это, Победов всунулся глубоко в мундир. Усиленный произведенным на старика впечатлением, Скрипицын взъерошился и незамедлительно доложил: «Я был в Карабасе, в шестой роте, у капитана Хабарова... — И всучил полковнику, переведа дыханье: — Этот Хабаров меня пулей встретил, роту взбунтовал, если вам неизвестно, если хотите знать». «Да не может быть! — задуел полковник. — Брось, я в шестую вчера звонил, как уговаривались, и порядок навел еще какой. Все разъяснил этому капитану, и он уяснил. Смирный мужик, все с ним обговорили, и всыпал я ему, сам же просил, чтобы построже с ним!» «Как же это получается, Федор Федорович... — извелся Скрипицын. — Вы ему всыпали, а он мне! Приезжаю расследовать, а со мной обращаются как с пустым местом». Победов гаркнул: «А ты не зарывайся, ты и есть пустое место. Тут значит один командир полка». Особист сжался и заговорил глуше: «Я расследовать приезжал. И ведь назначили вы по этому делу следствие? А все документы на пол бросают и мне же арестом грозят, когда обыск пытаюсь провести. Капитан этот вас генералом называет, на вопросы мои отвечать отказывается, генерал, мол, от дачи показаний его освободил. Получается — вы генерал, а в меня он выстрелил, Федор Федорович, чуть не убил!»

Полковник отступился и уселся, вцепившись в подвернувшийся стул. Ему сделалось тяжело стоять, в расстройстве он заговорил искренним голосом, пытаясь упредить Скрипицына, то есть обрушиться покрепче на него: «Я все помню, чего говорю, командир полка не петрушка. Меня в эти разговоры не впутывай, какой еще генерал? Ну чего сопишь, чего плялишься?! Ты так докладывал, что сгноили запас картошки, вот с этим я согласился, что полагается наказать. Если бы не прокурор округа, я бы и проверять не стал. Но если картошка на поверку целая, то наказывать за что? Ну за что? Вечно ты меня впутаешь, говнюк, а дела и нет. И вроде уж все решил... Что капитан без приказа действовал, всыпал ему. Что картошка в целости, это я подтвердил. И другим приказу, пускай поработают, захребетники, а то всем вам лишь бы жрать! И на тебе бабушка — опять ты, опять все запутал, так ясно было, а ты меня опять покоя лишил. Слышь, чудо на палочке, устал я, выведешь ты меня, самого отправлю под суд»

«Выходит, что вы этого Хабарова простили без всякого следствия?» — открыл для себя Скрипицын с той болью, что даже произнес вслух. Победову никак не хотелось отвечать, все его мучило, и он лишь в сердцах вскрикнул: «Да отвяжись ты! Чего пристал? Чего захочу, то и сделаю, небось я еще командир полка». «Я хотел как лучше, Федор Федорович... — затаился Скрипицын. — Я думал: что в дивизии скажут? Потом и проверка на носу». Услышав о проверке, полковник заворочался на стуле, будто его уколото в зад. «А что за генерал? Чего этот капитан про генерала говорил? Ведь к нам и проверяющий генерал едет». — «Вот я и говорю, Федор Федорович, не подумали вы, что за птица этот капитан... Он же вашего разрешения на картошку не спрашивал, да вы бы его и дать не смогли. Пришлось бы за ним сначала к комдиву обращаться, а тому — еще выше, может, к самому главному, чтоб разрешить. Так что дело как бы и не в картошке, а в том, что осмеливается против порядка пойти такой человек, которому терять нечего, как этот Хабаров. Получается, дело-то в нем. Такие люди поопасней любой заразы, для них порядков нету. Завел он этот свой огород — пожалуйста, вот уже и стрелять осмелился». «Так он чокнутый, этот Хабаров! — испугался полковник. — Ну, верно, ишь ты, чего придумал! Эх, Анатолий, правда, что я не подумал... Вправил старику мозги». Еще он подозвал взволнованного особиста к себе: «Ну не зарывайся, садись». Потом задумался и доверительно заговорил: «А эта картошка... Хм, куда же ее девать? Может, и сдадим в органы?» «Как прикажете, Федор Федорович, — не дрогнул Скрипицын, — но органы, они же не родная мать. Верно вы сказали, с картошкой этой ну прямо вяпались. Лучше, если бы ни одна живая душа о ней не знала, чтобы хоть пропала, да хоть сгнила совсем». «Нет, погоди... Все же по закону требуется как положено...» — «Это верно, Федор Федорович, но вы не думайте об этом, я на себя ответственность беру. Я уже сделал, что ее больше нету». — «Обратно, что ли, закопал? Анатолий, гляди, хватит меня выводить». — «Да не беспокойтесь, Федор Федорович, я же вам обязанный. Все сделал яснее ясного, не подведу». — «А как с капитаном быть, с этим Хабаровым? Больно он зарвался, что и правда, полагается наказать». — «Отдайте Хабарова мне. Я поставлю в его деле точку. Картошка картошкой, с ней вяпались, но сам он себя подвел под приговор, что целился, стрелял при свидетелях». — «Эх, тяжело мне... Такая каша перед самой проверкой заваривается». — «А кто сказал, Федор Федорович, что сразу судить надо? Дела, они долго делаются... Как ни крути, почистить полк ох как желательно. А то как бывает? Выскочит такой чокнутый к генералу, и удержать не успеют, и доложит чего в голову взбредет, а то ведь и пальнет! Да-да, Федор Федорович, такой и по генералу пальнет. Может, нас еще и похвалят за бдительность, а уж судить будем, когда проверка пройдет, чтобы на глазах пуховым выглядел полк». — «Ладно, принимай решения, я поддержу».

По Федору Федоровичу было видно, что он лишь крепился, являясь на службу молодцеватым мужичком, со свежесбритыми твердыми щеками, в упругом, может, потому что ушитом, мундире. Подноготную этого ушитого молодца в упор и разглядывал Скрипицын, выслеживая настоящее настроение полковника. К исходу дня Победов уже был выжатым, щеки его обвалились, и румянец, который являлся ненадолго после бритья, превратился в сизые пятна, утыканные седой щетиной навроде подушки для иголок. Скрипицын не утерпел и спросил старого полковника врасплох: «А зачем искали меня, Федор Федорович, говорят, с самого утра? Шел к вам, чего только не передумал». И у полковника, собравшегося уже распрощаться с плохим вестником, заныло сердце, будто залез в яблоко червяк. Победов помнил, зачем разыскивал Скрипицына: он и хотел объявить, что капитан из шестой роты, как выяснилось, картошку не растрачивал и в целом не виноват. Очень он был доволен, когда выяснил, что дело легко можно закрыть и выбелить полк вчистую перед прокурором округа. Победов еще и гордился; что распутал дело своими руками, и ему не терпелось поставить это подчиненным на вид. Однако теперь он боялся сказать об

этом Скрипицыну, потому и выкрикнул в ответ, багровея: «Если командир полка зовет, обязан явиться. Явиться и доложить! Ты говно, а командир тебя весь день ищет, потому что обязан явиться и доложить».

Скрипицын поднялся со стула, и полковник его не удерживал.

Убравшись из полковничьего кабинета, Скрипицын вздохнул полной грудью с легкостью и здоровьем, как после хорошей бани. Настроение его было самое лучшее. «Чего, слава дедушкина покоя не дает?» — осведомился он у Хрулева, который сидел уже не в пустой, а в казавшейся кем-то опустошенной приемной, ухватившись за ненавистные ему бумаги, серые даже на цвет. Подслушивал разговор, происходивший в кабинете! Скрипицын же так и почувствовал — навроде вони. «Не смей!» — взметнулся Хрулев, выдавив свой завистливый ком, вечно застревавший в горле. «Извиняюсь, товарищ генерал, — согнулся с угодливым видом Скрипицын. — Виноват, дайте мне ремня, если можно. — Затем он ухмыльнулся и выпрямился перед трясущимся от гнева Хрулевым. — Послушай, товарищ... генерал, еще раз под руку твякнешь — я шею тебе сломаю».

Рискнув для своего удовольствия ударить по ней сапогом, Скрипицын с грохотом распахнул увесистую дверь приемной. И вышел прочь уже таким разогнутым, будто отправился на богатую прогулку.

Хрулев, чуть оправившись от происшедшего, казалось, бросился догонять наглого прапорщика, потому что злость из него так и брызгала. Однако догнал он обидчика в совершенно обратной стороне, то есть ворвавшись в кабинет к полковнику, к Федору Федоровичу, где с ним и случился нервный срыв: «Опять Скрипицыну все с рук сошло, я это понимаю отказываюсь! Он входит грязнее свиньи, а вы, вы опять не обращаете внимания. Что он тут разгуливает по штабу, свинья, где же наша офицерская честь?!» «Закрой дверь, закрой дверь...» — изнывал Победов, которому в упор выстреливали пустые проемы, так что его взгляд падал будто в могилу, кончаясь в самом штабном коридоре шагов за двадцать, у глухой далекой стены. «Нет, не закрою и не уйду, — храбрился Хрулев. — Сначала ответьте, откуда у него такие права, что он может оскорблять офицеров, что в приемную заваливается, как к себе в сарай». «Ну остынь, брат, чего ты взъелся? Служба у него такая... Да закрой дверь, кому говорю!» — «Федор Федорович, как вы не замечаете, что Скрипицын сознательно вам вредит, какую он паутину вокруг вас сплетает, а глядит... как он на вас глядит? Вы замечали? Нагло, без уважения...» — «Ишь, сам наплеал, хоть закусываешь? Ты закусывай, брат, а то со страху и наблюдаешь мне тут, привидится чего». «Федор Федорович! — выкрикнул Хрулев. — Я понимаю, вам смешно... А вы вспомните: где Скрипицын — там после него пожар. Он же все поджигает, именно вредит. Он же всех ненавидит, этот уголовник, он и за копейку убьет». «Ну и я чуть под суд не попал. Да мы все под судом ходим. А хочешь знать: когда Скрипицына судили, я его и уважал, — усмехнулся Победов. — Да и ты не протак! Я гляжу, зависть гложет, что начальником у меня не стал? А ты погоди, еще станешь. Не задирайся, тут я всеми командую, мне и видней. Смершевич, знаешь, матерый был волк, а он Скрипицыну одни примерные аттестаты давал, я сам читал, так что ты пожаром своим подавись. И будет Скрипицын, пока он мне нужный. И ты будешь... Закрой же дверь, говно такое, простудишь всего! И ты будешь, это, служить... — Запутавшись, измученный, старый полковник ударил в сердцах по столу, выпалив: — Если чего... я сделал, я и разберу».

В то мгновение, когда Победов ударял кулаком по столу, уставившись вперед выпученными глазами, взгляд его как бы столкнулся с мешковатой, скривленной портфелем фигурой, которая вдруг вроде бы выросла в тусклом штабном коридоре наподобие пугающей тени... «Во-о-он!» — взревел дико полковник, отчего Хрулев, так и стоявший подле порога, остолбенел в наиплачевнейшем виде. Однако тень уже растворилась, точно и не было никаких теней. «Тьфу ты, померещилось мне... С вами сам чокнутым станешь. Прости, сынок, завари мне чайку погорячей...» — произнес, отпы-

живаясь, полковник. И, пятась, боясь послушаться, точно бы вправленный, Хрулев выскочил из кабинета — заваривать Федору Федоровичу чай.

Между тем Скрипицын вовсе не померещился старому полковнику. Отправившись из приемной, он не покинул штаба, а задал кругляя. Он пошagal по коридору в тупик, будто намеревался с того конца хорошенько разбежаться. Однако дойдя до стены, он очутился как раз против незаметной, в самом закуте штаба, двери с фанерной табличкой «П. В. Дегтярь». В ту дверь он и постучался. Начальник штаба подкреплялся, когда раздался этот украдкой неожиданный стук. Он устроился за казенным столом в своей фуражке, скрывавшей залысину, держа в одной руке смоченное в сгущенном молоке печенье, а в другой — простой граненый стакан с еще дымящейся жидкостью. Кабинет Дегтяря был скромней, чем у полковника, без приемной, без орехового шкафа и продолговатого стола, без зеркала. Среди скудных предметов в нем присутствовал строгий порядок; было видно, что предметы служат так же исправно, как и их начальник. Когда раздался стук, Дегтярь застеснялся, убирая печенье в стол. «Петр Валерьянович, можно к вам?.. — просунулась голова. — Простите, я не знал, что вы кушали, приятного аппетита, я тогда потом загляну...»

Начальник штаба успел лишь узнать Скрипицына, как тот опять же украдкой неожиданно скрылся, оставляя Петра Валерьяновича в одинокой тиши. Ничего не поняв, Дегтярь тяжело вздохнул и пригорюнился, без особой причины переживая непонятную вину. Скрипицын же подался в обратную сторону, будто ошибся и крылом и дверью в поисках выхода из штаба, где больше ему нечего было делать. А попавшись на глаза Победову, он и сам вдруг так перепугался, что и вышмыгнул из штаба будто мышь.

Почувствовав, что вовсе выдохся, Скрипицын решил заночевать в особом отделе, чтобы не ехать в общежитие, на другой конец Караганды. После того как сгорел деревянный дом, особый отдел занимал пристройку на задах штаба, прилепляющуюся к зданию будто грибок и так плохо заштукатуренную поверху, что штукатурка на боках осыпалась, отчего из трех ее стен торчали бревна худыми ребрами. Свет в окнах не горел, и дверь была заперта. Санька еще не воротился из гаража, куда должен был отогнать грузовик. Санька и жил в особом отделе, как позволил ему Скрипицын, но сейчас он об этом совсем позабыл. Скрипицын справился с замком своим ключом и вихрем пронесся по отделу.

Комнаток по счету здесь было три, не считая холодного предбанника, в котором устроилась вешалка с умывальником, и ходили они на вагонетки, прицепленные к единственному кабинету будто к дизелю. Загружали их несгораемые шкафы с тайными бумажными душами. В одной из этих комнаток за шкафами и приютился калодинский закуток с кроватью. В нем-то Скрипицын и разоблачился, скинув на пол похожую на кожаную шинель, а затем и китель с рубахой, оставшись по пояс голым. Потрясая рыхлым белым животом и грудями, он пошagal по вагонеткам, распахнутым настезь, в холодный предбанник, чтобы отмыться, но когда пустил воду, в отделе вдруг застрекотал звонок служебного телефона. Хоть он не подходил, звонок не умолкал. Скрипицын съежился: откуда знают, что он еще на месте? Знать и требовать мог один человек. Поплеться в свой оживший кабинет, Скрипицын в том не ошибся.

В трубку втиснулся scomканный голос Победова: «Анатолий, он мне звонил!» — «Кто, Федор Федорович?» — «Да Хабаров твой, вот кто!» — «Чего, чего он говорил?!» — «Я с ним не разговаривал, говном таким. Я приказал не соединять и чтобы связь, чтобы мне ее враз отключили... Ты что же, не арестовал его? Это как, это почему он до сих пор на свободе ходит?» Скрипицын молчал, и полковник испереживался: «Анатолий, ты слышишь? Але, але... Анатолий, я говорю, завтра же его за решетку!» Скрипицын отозвался, выгадывая время: «А постановление на арест?» — «Ты поезжай пресеки, а я уж выпишу». — «Хорошо, Федор Федорович, я

зайду утром, обсудим». — «Нечего тут обсуждать. Ты утром в шестую поезжай. Наделал делов, так давай обеспечишь и порядок».

Скрипицын швырнул загудевшую трубку, наговаривая злое себе под нос. И вдруг смолк, а потом и потихоньку засмеялся тем сухим шуршащим смехом, будто дышит, то есть задыхается, бегущий пес. Ухватившись за брошенную трубку, надыхавшись, он вызвал полковой коммутатор: «Это Скрипицын говорит. Полковнику был звонок из шестой роты? А кто вызывал?.. Тогда быстро меня соедини... Чего-чего?.. А я говорю — соединишь, особого отдела эти приказы не касаются, давай Карабас».

Над воздушным молчанием аппаратов и проводов, заполняемым бульканьем да сопением, будто бражная бочка, Скрипицын пролетал долго и от ожидания, казалось, опьянел. Но послышался голос, пробился, и он тут же схлестнулся с ним, затянул узел: «Шестая? Ты что, языка не вяжешь? Где Хабаров?.. Что ты сказал?.. По голосу должен узнавать, пьяная морда, поговори мне еще... Слушай и запоминай. Хабарова ты выпустишь! Выпускай! И скажи, что командир полка его делом займется, когда дойдут руки. Роты ему не давать, считается с этого дня отстраненным, чтоб и рядом не было с караулом. Слышишь меня? И чтоб никаких звонков, в полку и без него дураков хватает. Так и скажи — дураков».

Отсоединившись, Скрипицын мигом связался опять с коммутатором: «Это Скрипицын, я переговорил... Если сам полковник позвонит в шестую, доложите мне... Чего? В особый отдел захотелось попасть?! А если из шестой позвонят, переключайте звонок в отдел, разберемся, чего они там». Тем временем, когда Скрипицын с легкостью ворочал звонками, в пристройку особого отдела зашел Санька. Он и не думал, что застанет начальника, но услышав его голос, понял, что Скрипицын решил заночевать. Это и прежде случалось, хотя, наученный прошлогодним пожаром, Скрипицын опасался оставаться в отделе по ночам, но если все же оставался, то Санька освобождал ему койку за несгораемыми шкафами, а сам уходил скрючиваться в гараж. Вот и теперь, переминаясь, Калодин дожидался такого приказа.

Увидев Саньку, обжегшись об него взглядом, Скрипицын разозлился: «Ты чего, ты почему у меня за спиной?» «Так я пойду в гараж...» — попятился тот, но Скрипицын опомнился, передумал: «Погоди... Дрыхнуть потом будешь, сначала отмой грузовик». «Так точно, я и отмыл». Калодин отвернул темное, коженное лицо и шагнул к выходу, но Скрипицын все не мог выпустить его из отдела. «Постой, Калодин, послушай меня... Я на нервах был, понимаешь? Всю дорогу на нервах, как еще выехали из Караганды. Да, я сам получил этот приказ, откуда — язык не повернется выговорить. Я никому не имею права разглашать, но запутал тебя, поэтому будет надежней, если узнаешь... Картошка была опасной, поступил приказ ее уничтожить. Это все, что я сам знаю, тут государственное дело, видать сразу. В известность были поставлены я и командир полка, вот еще ты, но с этой минуты забудь об этом деле».

Сказав, что взбрело горячкой в голову, Скрипицын и сам содрогнулся, увидав, как слепо поверил Санька, как занял с накопленным мученьем: «Я знал, я знал... Я за вами, куда хотите... Я хоть убью...» «Ты это, молчи, чего еще придумываешь? — одеревенел Скрипицын. — Оставайся в отделе, слышишь, утром вычисти мою шинель и ни шагу чтобы отсюда». «А как же вы, если я остануся?» — спохватился с преданностью Санька. «Пойду в лазарет, мне дадут место, а ты выпишь хорошенько».

Явившись в лазарет, Скрипицын разбудил дежурного санитаря и без долгих объяснений потребовал себе койку в офицерской палате на одну ночь. Саньку Калодина в ту самую минуту он вычеркнул. Сначала из состава особого отдела, почуяв, что этого солдата больше не должно быть рядом. А потом, долго засыпая в пустой палате, точно натошак, и раздумывая о том, как бы сподручней избавиться от этого лишнего ему теперь свидетеля, Скрипицыну вдруг исподволь захотелось, чтобы солдат сам по

себе пропал, хоть бы и умер. И с этой мыслью, промелькнувшей по многу раз в мозгу, с эдакой рябью в извилинах он и уснул...

А что же знали об Анатолии Скрипицыне в карагандинском полку? Имя прапорщика сделалось известным всем в один день, когда некто Задирайло, он же полковой мясник, изловил человека, вымогавшего у него сто рублей денег. Человека этого, с деньгами в кармане, толпа с гулом провела по полку и бросила, побитого, всего в крови, к дверям особого отдела. Так и началась известность Скрипицына. Потому как он и был тем человеком, пойманым и побитым. За жадным Задирайлом чуть не следом потянулись и еще людишки в надежде, что им вернут деньги: из одного Скрипицын угрозой вытянул пятьдесят рублей, из другого червонец, с кого-то тридцать рублейков... Чудно было, с чего бы эти прижимистые людишки отдавали свои деньги. Чудно было и то, что брал их Скрипицын расчетливо, будто имел свое мнение, сколько и с кого возможно состричь.

Судили прапорщика в клубе, прилюдно, как и всегда судили в полку. Виновным он себя не признал и молчал все следствие, а также отказался от защитников, взявшись сам себя в трибунале защищать. А когда перешло к нему слово, принялся мясника обвинять, сколько и когда было им наворовано у солдат. Сразился он и с другими потерпевшими, которые если не воровали, то были виноваты в другом, как начальник лазарета военврач Покровский: старикашка поселил в лазарете солдата, которого балявал отпусками, жратвой, уколами, а сам им тешился.

Потерпевшие все отрицали, показывая, что Скрипицын вымогал деньги, угрожая их жизням. Однако добрая половина полка, которую согнали для слушания в клуб, знала про себя, что Скрипицын говорит правду. Он же делал одно заявление за другим, настаивая, чтобы указанные факты были расследованы с той же серьезностью, с какой расследовали вымогательство.

И еще Скрипицын заявил, что денег грязных не тратил, что он для того лишь надавливал на этих прыщей, чтобы они не выдержали и лопнули, сами себя выдав. Сообщил также, что неоднократно докладывал в особый отдел о личностях потерпевших всю правду, но в особом отделе отмалчивались.

Дело приняло самый неожиданный поворот, потому что записки Скрипицына в отделе обнаружались. Об этом доложил уже начальник особого Смершевич, покрываясь испариной на глазах трибунала. В объявленном перерыве, чему были свидетелями конвоиры, этот Смершевич подлезал к Скрипицыну со всех сторон и шипел, боясь, что его услышат: «Забьл, откуда тебя вытащили? Сиди тихо, салоед!» После перерыва слушание было прекращено, и Скрипицына отвезли в следственный изолятор.

Полк втихую гудел. А на следующее утро обнаружили, что повесился в лазарете Покровский. Задирайло отправился в прокуратуру — отзывать заявление. А в полку начались допросы, дознанья... Сколько голов полетело! Полк выглядел так, будто с него содрали кожу.

Старого командира полка сменили новым — им сделался с перепугу Федор Федорович Победов, который воровал понемногу, а потом и вовсе завязал, получив командирство. Скрипицына оправдали, и его, к великому удивленью, взял к себе Смершевич дознавателем в особый отдел. Тогда-то он и получил важную прибавку в звании, произведенный в старшие прапорщики. И многие потом слышали, как, бывало, Смершевич его распекал: «Ну ты, сало, я тебя еще не простил, сиди тихо».

Сколько времени минуло, не сказать: жизнь в полку наладилась, и счет времени потеряли. И про скрипицынское дело совсем было позабыли. Новым делом, тряхнувшим полк, было дело о семерых. Случилось оно без Скрипицына, но многое изменило и в его жизни. Обычно по осени городской санэпидемстанцией посылалась машина — и полковой сортир откачивали, полный уже до краев. За вызов отвечала тыловая служба, но там тогда сменилось начальство, и машину позабыли вызвать. Зимой сор-

тир переполнился, отчего и расположение полка в укромных местах стало засоряться. Вычерпать говно было невозможно, потому что зима есть зима. Оставалось или выдалбливать, или ждать весны, чтобы растаяло. Ведь если бы выдалбливали, то могли и саму теплушку снести. Тогда-то Федор Федорович Победов самолично и приказал отрыть на задках еще одну отхожую яму, временную. Ее ковыряли в мерзлой земле семеро солдат, находившихся на излечении в лазарете. Их привлекли, чтобы не отрывать здоровых людей от службы, да здоровые и не согласились бы строить парашу Доходяги же и этому радовались, чтобы хоть с недельку еще не видеть казарму. Они уже расковыряли яму в человеческий рост, когда наткнулись на глыбистый оледеневший кабель, но не разобрав что к чему, долбили по нему ломами как по камню. Током перерубленного кабеля всех семерых разом и убило. Когда расследовали их смерть, то обнаружили в штабе карту подземных коммуникаций, на которой кабель был точно обозначен пунктиром. Эту карту, отдавая приказ, Победов даже не затребовал. Место для сортира он определил на глазок, по старинке. Расследование и само гибельное событие поизносили полковнику сердчишко. Он жалел погибших ребят до боли, укорял себя — и все же не понимал своей вины, точно произошел простой несчастный случай. Спас полковника от суда Смершевич, так запутал расследование, что превратил семь трупов в дым. Сослужив такую важную службу, Смершевич ожидал особого к себе уважения, но полковник им брезговал, успев втайне и возненавидеть. А однажды даже прямо высказал, чтобы тот из полка убирался, на что Смершевич ответил, что сам уберет Победова из полка.

И тут пошел вдруг гулять по полку слух, будто Смершевич — жид. Пошел, растекаясь, пролитый неизвестно откуда. И все кругом твердят: «Жид, жид...» Окруженный этими шепотками, Смершевич страшно, насмерть, запил. Ему чудилось, что слух распушен самим Федором Федоровичем, то есть Победовым. И вправду полковник не скупился на «жида». Грозя всем на свете, Смершевич слонялся пьяный от человека к человеку и горько плакался: «Ну чего он врет? Ну разве я похож на жида?!» И если его не разубеждали, то лез с таким человеком драться. А случился слух той же самой зимой. Той же зимой полковник начал приманивать Скрипицына, и многие слышали, как Смершевич дознавателю угрожал: «Из грязи в князи лезешь? Гляди, сунешься вперед батьки в пекло — все твое сало вытоплю».

Может, напившись, может, со злости на «жида» Смершевич вскорости и сгорел, спалив и весь отдел. Многие шкафы оказались незапертыми, будто он пораскрывал их и рылся в бумагах, потому сгорела и почти половина бумаг. Потери уточнял и проводил следствие по делу о пожаре Анатолий Скрипицын. К пожару он был непричастен, потому что как раз отлучался в командировку по розыску одного дезертира, отчего никто и не думал его подозревать.

Вот по каким обстоятельствам вышло, что такому смешному и жалкому на вид человеку Победов поручил особый отдел. Сам старик свой срок давно отслужил, думали, что теперь он спокойно уйдет в отставку, но полковник не уходил. Полк расклеивался, валился после всех пережитых им дел. Солдаты бегут из рот, эки — из лагеря, дозорные на вышках пьяные спят; офицеры бьются за должности и чины самые мелкие, а в дальних местах и безбожно спиваются... И будто бы прошлогодняя штукатурка повсюду сыплется, а давеча повар из котла с борщом крысу выловил и так на нее ругался, будто она-то и все мясо пожрала, будто прямо из котла хрумкала.

Глава пятая: «Из-под ареста»

Прапорщиком, которому Скрипицын в спешке поручил роту, оказался не кто иной, как Илья Перегуд. Особист укатил из Карабаса, бросив этого человека посреди двора, который расплескивался под его тяжестью навро-

де лужи. В злосчастный тот полдник и двор и лагерная округа казались прапорщику Перегуду перевернутыми с ног на голову. Крыша казармы зависла над небом, будто взмахнув пудовыми крыльями, а лично Перегуда сильно мутило. Тошнота была не от выпитого, а потому что Илье до смерти хотелось выпить. В остальном же Илья Перегуд продолжал держаться двух вещей, которые остались для него святыми, потому как и при самой крайней нужде не могли быть пропиты: казацкого чуба да казацких усов. «Я казак с Дона — слышали такую реку?» Невозможно было оторвать глаз, когда он это говорил! Его сваренная в водке, шербата образина мягчала, морщины расплывались, будто круги по воде, ярче всяких красок изображая то, о чем вспоминалось как бы глубоким стариком, хотя Илье от роду было едва ли сорок лет. И казалось, помести его в топку, то чуб с усами и там не сгорят, а из пылающих углей выглянет сам Перегуд — и огонь загудит, запоем: «Рекуууу...»

Душа его была ни вольной, ни дикой, а произрастала как вечная трава, что пробивается порой даже на голых камнях. Он не обзавелся семьей, добротным домом и овладел разве что самыми забудыжными ремеслами, не хотел, да и не мог, напрячься, поднатужиться, не желал превращаться в муравья, как он говорил. А водка и так, без усилий, доставляла ему радость, без ненавистного муравьиного труда. Когда Илья Перегуд пил вдосталь, то дни походили на праздники. Припадая к горлышку звонкой бутылки, он ощущал тот восторг, какой, похоже, известен лишь младенцам. Перегуд знал сто способов водки — как ее гонят из риса, пшена, гнилых яблок, древесной стружки, старого бабьего тряпья и кислых щей. Он же утверждал, что если ничего из этого не окажется под рукой, то выгонять ее можно, замешивая землю с водой. Да раз плюнуть, чтоб забродило! И как чудесно выпивалась им первая стопка после пробужденья. Проникала внутрь будто голый, чуть вылупившийся птенец. С минуты Перегуд блаженствовал, запрокидывая чубастую голову и чувствуя теплое трепетанье в груди. Стопка за стопкой — птенчик подрастал, уже расправляя крылья в его груди, которая делалась от этого широкой да чистой, будто небеса. А после Илья взлетал! Взлетал будто сильная вольная птица с жаркими поющими перьями, с бубенчиками на вороненом хвосте. Поднимаясь на захватывающую дух высоту, откуда и земля казалась не больше сморщенного грецкого ореха, душа казацкая парила или купалась в текущих ручьями ветрах — пропахшая табаком, водкой, Доном и дымом казацких станиц.

Можно сказать, что Илья Перегуд пил из вечного своего страха перед трезвостью. То ли это был душевный недуг, предвестие белых горячек, то ли от застарелого невежества, или это накапливалась в нем безысходно злость, но Перегуд утверждал, порой с пугающей страстью, что есть в мире такая страшная сила, которая хочет всех казаков истребить. Эта сила называлась у него «лежавые», точнее Илья высказаться не умел. Означала же она тот нехороший порядок, что заставляет человека повиноваться.

Самым страшным сном Ильи был сон о вытрезвителе. Что выпил он водки и гуляет в белой нарядной рубахе по своей родной земле. И вдруг подходят к нему «лежавые», хватают, кидают в окованный вонючим железом кузов той машины, что похожа на гроб. Прямо из кузова, вытряхнув душу, бросают в громадный мертвый дом, внутри которого все железное и ржавое, и опять же опаживает воблой, будто в доме старухи живут. Потом раздевают догола и обливают из шланга ледяной водой, точно он обсохрался, такие бабы дебелие обливают, что похожи на мужиков. Голого, мерзлого, его долго бьют сапогами, топчутся эдакие здоровячки. Почти что убитого тащат волоком, спать распяливают на коечной дужке, прикручивая к ней руки — то ли проволокой, то ли струной гитарной. А наутро бреют в наказанье, уродуют под машинку. Вещи вроде возвращают, но без денег и часов, и говорят: «Погляди на себя, сука, тебя же аннулировать надо, ты же родину позоришь». Поглядел, а рубаха и рваная и грязная, вся в крови.

Снося от «легалых» все пытки и не сдаваясь, Перегуд в этом своем сне никогда не мог выдержать того, что его чуб с усами сбрасывали вьедливой зубастой машинкой, и просыпался от пережитого в те мгновения ужаса, потому и боялся подолгу спать. Измученный снами, будто загнанный, Илья Перегуд и сдался «легалым». Сознательно продал им душу, как он полагал, покуда они его еще не истребили. Случилась эта бесхитростная сделка в Угольпункте, в барачного типа общежитии для лагерных работников, куда Илью вынесла с Дона пьяная дорога и где он, пьянствуя с вертухаями, со слезами упросил гнилых дружков, чтоб пристроили к себе в лагерную охрану.

Может, это и случилось по пьянке, но нанявшись в охрану, Перегуд прослужил много лет. Поначалу, прозванный Кувалдой, вертухаем служил, а потом перевелся в караульную роту, к капитану Хабарову, на покой, думая про себя втайне, что капитан тоже спасается от «легалых», что и он, хоть и скрывает, из последних казаков. Сбылся, однако, хмельной Перегудов сон! Хабарова арестовали, картошку отняли, и почудилось Перегуду, что «легалые» начали свою охоту на казаков.

В роте между тем не сомневались, что Илья, как только Скрипицын отъедет подальше, выпустит капитана из-под ареста. Но Перегуд заупрямился — не стану, дескать, приказ нарушать. Но в оружейку, где был заперт Хабаров, все-таки побежал...

По степи пугливо гулял ветер. Пусто было в казарме, как и во всех помещениях, — люди будто попрятались. А Хабаров лежал под решеткой, куда переполз червяком. Железные прутья толщиной с палец были сварены вперекрест, так что получалась навроде клетка. Железные шкафы, в которых хранилось оружие, стояли плотными рядами по ее краям, отчего казалось, что клетка пуста. Капитан безмолвствовал, похожий на труп, но когда услышал приближавшиеся шаги, мигом встрепенулся и весь устремился к вошедшему Перегуду: «Скорей выпусти меня!» Перегуд же, явившись, чтобы исполнить обязанность, крепился в ответ: «Никак это нельзя, Ваня, тебя завтра судить повезут, уж потерпи». «И ты на брехню купился?! — взорвался Хабаров. — Да я вчера с генералом говорил, это они за его спиной!» «Нет его, генерала-то... — всхлипнул Илья. — Тебе повиниться надо, может, еще простят». «Ты же мне друг, кто ж мне еще поверит?» — надрывался капитан. Перегуд молча попятился от клетки, пряча бычьи глаза и всхлипывая. «Картошку, картошку спасайте!» — кричал в пустоту Хабаров и еще кричал, покуда не охрип.

Илья отнял у дневального ключи от оружейной, запрятал их в карман и пошагал в глухой угол казармы, где и заперся в своей конуре. И запел через некоторое время: «Кабы не знал печалей своих, не умел бы, братцы, гулять да пить, а кабы не звал голос песен донских, не умел бы, братцы, их петь да любить...»

Будто оголодав, солдаты потихоньку скапливались в поселке. Говорливые, злые — «Что, продали капитана? Продали нашу картошечку?» — они будто вырастали из-под земли... Кто бежал, того догоняли, а во двор выгнали всех, кто прятался в казарме. В неразберихе служивые и наткнулись на Петра Корнейчука, который подписался в доносе, но теперь никуда не бежал, не прятался, а сторонился, покуривая свой табачок и поглядывая вокруг без интереса. Петру Корнейчуку думалось, что ему матушкой да батюшкой столько дано силы, сколько и воды налито в реку. Кто к нему подлетал, того он лупил бляхой, да так крепко, что один пацаненок бухнулся оземь. Солдатня тогда и кинулась на Петра толпой, отчего и двор, и само лагерное поселенье опять как обезлюдели. Били доносчика до темноты, точно и вправду убить хотели. Били до усталости, отбегали и опять возвращались бить, а изуродовать рожу никак не получалось, и потому добиwali с упорством, пока, взмывлившись, не отхлынули.

Хватились Петра, когда от ужина осталась пайка. Испугались, что совсем убили, хотя пацаненок, и сам погулявший в отместку ремнем с бляхой на самый последок, уверял, что Корнейчук и после бляхи дышал как

миленький и даже сопел, брошенный на казарменном дворе. В потемках не сразу разглядели борозду. Борозда упиралась в сортир, но в будке было пусто. Обнаружили пропавшего по случайности, когда какой-то солдатик решил справиться нужду, а из-под низу в продубленную степными ветрами задницу прозвучали стоны Корнейчука. Заглянули в очко с газетным факелом — и разглядели его, тонушего. Угрожали, разъясняли, упрашивали, чтобы вылез, но Корнейчук так напугался людей, что больше им не верил Перегуд, позванный на подмогу как начальство, отодрал от сортира доску и бросился охаживать ею собравшийся народ. Все от разъяренного Ильи разбежались. Оставшись в одиночестве, Перегуд долго и душевно разговаривал в сортире с Корнейчуком, но тот ни за что не соглашался вылазить, хоть и не говорил об этом, а мычал. Перегуд от обиды за него и размолотил дощатую будку, сровняв отхожее место с землей. Если бы кто из остального человечества оказался в этой степи в то самое время, его взору явилась бы чудная картина. По земле разметаны доски точно после какого-то крушенья. А подле них в голой почерневшей степи сидит неведомый богатырь и, обхватив чубастую голову, заводит такую приглушенную речь, как если бы предназначалась она только для двоих: «Жить надо, что бы тебе ни сделали, назло и жить. Оно проще — спрятаться в говно, а как потом? Разве вечно-то просидишь?» А земля под богатырем жалобно мычит, богатырь тихонько склоняется к ней, прислушивается. «Дышишь, что ли? — И говорит, как бы самую землю упрашивая: — Пойдем со мной, со мной не тронут. А хошь, новую амуницию справлю, самую лучшую? Слышь, пойдем справим, растопим баньку!»

Что было потом, того никто не узнает. Но Перегуд исполнил-таки свою обязанность и вызволил говноутопленника.

А Карабас как окунулся в черную студеную воду, и на затянувшейся, будто ожоговой, глади плыли огни лагерных фонарей. Взлаивали прикованные к столбам овчарки, взлаивали и захлебывались. Прольется в ночь млечное варево облаков и расплывается, померкнет. В такую вот ночь с котелком каши и ломтем ржаного хлеба Илья Перегуд и явился к арестованному с повинной: «Все, больше сил моих нету терпеть». Сложил поклажу и протиснул руки в отверстия запертой решетки, распутав на затекших конечностях капитана брезентовый подпоясок. Потом просунул и котелок с хлебом, шепнув: «Скажем, что ты сам развязался».

Капитан дремал, и когда Илья развязал ему руки, точно стащил сапоги с пьяного, на мгновение пробудился, вытянув из дремоты запах гороховой каши и хлеба. Хабаров уже как бы и позабыл, что на земле бывает каша, что ему полагается паек, и долго жевал всего ложичку. «А из полка звонили?» — спросил он, опять забыв про кашу так просто, что руки, лишь греясь, сжимали котелок. «Снова ты про генерала, а его нету, — загрустил Илья. — Ты радуйся, что судить будут. Тюрьма от них самая надежная защита. Забривают, и водки нету, а то сам бы пошел. Чего говорить, мне некуда деться. А ты другой человек, ты не убегай от них, пускай судят!» «Так ты что же — не выпустишь меня?» — «Ты другой человек, а меня со свету сживут». — «Хочешь, смирно сидеть буду? Дай позвонить в полк». — «Нет уж, Ваня...»

Капитан с трудом поднялся и, навалившись на железную грудину оружейного шкафа, принялся долбить в него сапогом будто в колокол, отчего казалось, что и казарму сотрясают удары. «Иван, услышат же! — заметался подле решетки Перегуд. — Черт с тобой, звони, пропадай!»

Вот тогда Илья с горя и совершил подвиг. Задыхаясь, вбежал он в канцелярию, где и сообразил, что аппарату не хватит провода даже на то, чтобы прыгнуть со стола. Встав будто вкопанный, он вдруг гаркнул двух не спавших дежурных солдат. Ему вспомнилось про кусок проволоки от старой проводки, который он видел на лагерном заборе. Кусок этот висел на заборе много лет, а ничего другого Перегуд не вспомнил. Когда проволоку приволокли в казарму и размотали по коридору, обнаружилось, что, и удлиненный, аппарат до клетки не дотягивается. Чтобы покрыть зазор на

последних этих метрах, в дело пошли коечные дужки, сцепленные шомпола, гвозди, канцелярские скрепки, а уж как сцепить одно с другим, чтобы жажнуло, голытьба — на то она и голытьба — всегда догадается. Перегуд сам проверял связь, поднося ее капитану будто начиненную бомбу, готовую взорваться: «Гудит, сука такая, Иван, приготовляйся!»

Аппарат придвинули к решетке. В эти пронзительные мгновения, когда Илья с подручными глядели на капитана, лучась чистым светом, сам Хабаров слушал лишь трубку, вызывая издали полк, будто прошлое время: «Девушка, сестренка родная моя, это я, я... Капитан Хабаров, шестая! Где-то там у вас генерал?.. Как это нет? Родная, разыщи, меня ж с ним соединяли!.. — Вдруг он вскрикнул словно в беспамятстве. — Тогда Победа давай, самого главного давай, я с ним говорить буду».

Продохнув, капитан потряс трубкой, сжатой в булыжном кулаке. «Вот они где у меня. Победов тоже человек, не отдавал он такого приказа!» Но тут вроде как заурчало в воздухе, и капитан нестерпимо крепко вслушался: «Девушка, да быть такого не может...» Он багровел, и его грубые, простые черты яростно росли, будто приближались. «Пускай сам скажет, я тебе не верю... А я говорю — пускай сам!»

В полку, однако, капитану не дали развоеваться, и, сторбившись наподобие горы, он принялся дуть, кричать, стучать в трубку. И наконец замертво сдался: «Отключили, сволочи...»

Илья заходил ходуном и сдунул солдат с мест: «Сворачивай эту говорильню, давай обратно!» Происшедшее было схоже с бегством. Аппарат отступал в канцелярию, куда его в два прыжка донес Перегуд будто пушинку.

Илье чудилось, что сейчас как наказание за грехи в казарму стукнет молния или нагрянут «легавые», он так и приговаривал: «Ой накликали, ой пропадем... Первых и похватывают!»

Спустя вечность в пустой канцелярии раздался снова звонок, который прошествовал в конуру Перегуда и принялся шекотать его за самую душу, чего он не выдержал и во всем им признался... Когда же его те, в трубке, отпустили на волю, Илья, тяжело топая, зашагал по коридору — в руках его бренькали на кольце все ротные ключи. Он молча отпер клетку, буркнув стихшему капитану: «Выходи». Его вид и голос, чем-то подавленные, ударили в капитана навроде воня. «Победова твоего приказ... — с тихим укором сказал Илья. — Приказано выпустить, значит. Сказали, что ты дурак и чтоб больше в полк не звонил, а делом твоим потомова займутся, когда руки дойдут». Перегуд уже не сдерживался: «Ну будет, выходи! Отмотал срок — вона, жди нового. Легавый твой Победов и генералы все легавые. А не хочешь, так и ночуй здесь, дуракам и место за решеткой».

Так они и встретили утро: Хабаров — в распахнутой своей клетке, Перегуд — в канцелярии, дожидаясь молча, упрямо, когда же придет черный «воронок». Однако никто за Хабаровым не приехал. Сутки не спав, капитан покинул клетку, чтобы приволоочь тюфяк с подушкой да шинелку, и улегся на виду у всей роты.

Поднялся он рано и все же умылся. Паек ему доставили в клетку, потому как выходить за пайком он тоже отказывался.

На следующее утро ничего ему уже не принесли — позабыли. К вечеру все же вспомнили и доставили остывшую кашу. Втайне при этом поговаривали, а не вселился ли дурной в капитана. Ближе к ночи проведаль его и Илья, исполняя обязанность, и все сокрушался: «Чего ты из себя пугало делаешь? Радуйся, что живой остаешься».

Ночью, когда его никто не видел, капитан наведалься в тот сарай, в котором была картошка. В нем же он и поселился, ожидая ареста. Когда светало, Хабаров выходил к полю, такому же опустевшему, с окаменевшей землей, а когда смеркалось, пропадал в сарайчике. Пайки доставлялись капитану, будто инвалиду или побирешке, задарма. Было ведь неизвестно, арестованный он или разжалованный или еще числится на службе.

Когда из степи по текучему ветру принесло гул мотора, будто пятно мазута по судоходной реке, его если и расслышали, то так, чтобы разом позабыть. «Воронок» же разглядели с лагерных вышек, он подползал к поселку, еще скрытый за покатою степью. С вышек и оповестили. Из караулки тут же повалила солдатня, ничего еще не видя.

«Воронок» вынырнул из-за сопки, завиделся вдаль, и тогда поселенье ожило перебивками: «Едут, за Хабаровым едут!» Когда же он докатился до места назначения, то почему-то не свернул к казарме, а объехал ее и проследовал, увозя всех скопом за собой, дальше к лагерю. За «воронком» побежали, а он встал глухим боком подле лагерной вахты, и из него спрыгнул на землю конвой — двое зевотных солдат да погонявший их прапорщик, потому и выглядевший живее.

Капитан выскочил из сарайчика, темное, обросшее колючей щетиной его лицо радовалось. «Дождлся...» — вздыхал Илья Перегуд, одиноко стоящий в стороне, исполняя обязанность. Вдруг солдатня бросилась от «воронка» враспынную, будто ударил салют, и в воздухе навстречу Хабарову понеслось: «Едет, генерал едет!»

Хватило словца, оброненного заезжим, подхваченного нестерпимыми голосами, чтобы известие, выросшее в воздухе, сокрушительно обрушилось на Карабас. Подбежавшему капитану конвойный прапорщик был вовсе незнаком, да и тому ничего не было известно о Хабарове. У конвоя, как оказалось, был другой приказ — доставить этап из тюрьмы в лагерь. Переговорили, и прапорщик буднично припомнил, что в полку ожидают проверку с генералом, отчего там и поднялся большой переполох, и что как раз под самую проверку ночью вспыхнул пожар навроде поджога. Выгорел весь гараж и еще многое, что рядышком пристраивалось, а в одной машине нашли сгоревшего человека, но кто он и как проник в полк, во все эти дни начальство выяснить не смогло. «В полку все жрут друг дружку волками, виноватых ищут, — договаривал, отдышая, прапорщик. — А вот приедет генерал, ну и потеха будет. Говорят, строгий едет».

Прапорщику, как разгрузился, вздумалось попить в караулке чайку. Хабаров тут же прикипел к нему: «Земляк, выручи, если генерал, то мне срочно нужно в полк, ты меня хоть рядом высади!» И тот не раздумывая согласился: «Залазь, мне без разницы... В каталажке поедешь, а то кабина занята». «Да поеду хоть верхом! Погоди меня, за вещичками сбегать...» — всполошился Хабаров и кинулся в казарму. Но когда мигом собрался и выскочил во двор, то «воронка» уже отбивал в даях. Кипятка полковым расхотелось, и капитана они не подождали. Забытый, Хабаров сговаривался с Перегудом: «Утром поеду в полк. Доберусь до Угольпункта, а оттуда рукой подать, так что доеду». Илья во всем соглашался: «Поезжай, глянь, как обернулось... Ты скажи там, чтоб не давали легавым воли. А если чего, скажем — сам убежал».

Посидели они потом вместе, как бывало в старые времена. Помянули всех, кого знавали, с кем служили, особо Василя Величку. Спать капитан улегся в чистом белье, на койке, в своей канцелярии и потому чуть не проспал дрезину, будто и не было у него горя. Разбудил его Перегуд, как и требовалось — спозаранку. За оконцем клубилась рассеянная, будто дым, и по-зимнему долгая темнота.

Той самой ночью по степи простелились первые заморозки, до скрипящих холодов было еще далеко, но распутица закаменела. Во дворе, в котором капитан с Ильей прощались, оставленные прошлым днем следы лежали поверху, как выбоины, а слепки с сапог за ночь посеребрились; закаменело, посеребрилось и картофельное поле.

Узкоколейка от лагеря ветвилась до полустанка Степного, через который, как и по другим далеким полустанкам, лежала рабочая ветка до Угольпункта, столицы здешней степи и лагерей. Дрезина всегда оставалась за воротами лагерной зоны — чуть в степи, чтобы эски ее не угнали. В пятом часу утра в нее садился расконвойник и гнал до Степного — туда порожняком, а на обратке с вохрой, с той лагерной вахтой, какая должна

была сменить отдежуривших свои сутки. Хабаров не поспел выбриться, выгладиться, как ему хотелось, но время не ждало, подступал пятый час. «Поезжай, поезжай...» — приговаривал Илья, глядя в землю. Они простились скупно, как бы разошлись по сторонам. И богатырь окликнул Хабарова, когда тот уже вышагивал за воротами: «Ива-а-ан!» «Че-е-го-о?» — аукнулся капитан издалека. «Бе-еги-и, ты-ы смо-ожешь!.. Беги от ни-их куда глаза глядят, не возвращайся, спрячься — я прикрою-ю, я не скажу-у-у!»

В степи забрезжил свет, голое вспухшее небо выплывало из-под ночи, похожее на утопленника. Рассвет был синеватый, холодный — без солнышка, облаков, птиц. Хабаров шагал по ребрам гусеничных отпечатков, проделанных лагерными тракторами. Увязавшийся за ним ветеряка вцеплялся в полу шинели и с урчанием ее трепал, грыз, будто злой пес. Хабаров залез на платформу, открытую, ржавую, и устроился на снарядном ящике, которых тут было раскидано с десяток, чтоб подкладывать под задницу в пути. Он глядел на оставляемый Карабас и вдруг подумал, что давно уж не видел его таким, как на ладони, взором постороннего путешественника, и картина лагерного поселения, изображенная на степной мешковине, растрогала его, будто старая фотокарточка. Явился расконвойник — дядя с одной деревянной ногой, присобаченной к культе веревками. Выбравшись на волю, он скакал даже как-то озорно — не как инвалид, а вроде мальчонкой. Прежде чем отправить свой железнодорожный состав, дядька крепко взгляделся в капитана — что за личность, но узнал охранника, потому и расспрашивать не стал, поскакал с преспокойной душой в машинное отделение.

Дрезина запыхтела, оттолкнувшись от Карабаса, а тот мельчал, мельчал, удаемый небом да землей, а возможно еще сказать, что растаял. Шпалы под рельсами сгнили, и казалось, что колея разъезжается навроде коньков — вот она описала дугу, скатилась под гору и даже взвихрилась. Дрезина скользит со скрипом на задубевших колесах — то нырнет, то вынырнет по дороженьке, будто кабаньим рылом разрытой.

В Степном дрезину уже поджидала вохра, окоченевшая на ветру. Только и разговоров было, что зима наваливается. Никем не замеченный, Хабаров спрыгнул с платформы и остался на полустанке в одиночестве. Теперь требовалось дожидаться дизеля, который еще назывался рабочим вагоном, или, в просторечии, говновозкой. Он-то и пропрет по всей ветке, подбирая и высаживая казахов-колхозников, вахту с дальних лагерей, просто кочующий народец — вольнонаемных с лагерных же заводов.

Что же это был за полустанок? Таких рассеяно по ветке что бурьяна. Выйдет казах из степи, воткнет в землю бунчук, хоть хвост лошадиный к саксаулу прицепит — и готова остановка. Степной, однако же, строили основательней, эски Карабасурского лагеря строили для удобства своих же вертухаев. Строение то походило на барак, но в нем возможно было спастись от дождя, да еще как смогли его украсили — скамейками, печкой. К стене барака в лучшие годы пристроила свой сарайчик и кооперация — в нем тогда происходила торговля с казахами, которые свозили в Степное шкуры, шерсть, все, чем промышляли, а им в обмен предлагались примусы, древесина, само собой, и водка.

Когда бывали выборы в народные Советы, в Степном устраивался агитпункт — для степняков с близлежащих чабанских и прочих кочевий и стойбищ. Они наряжались, съезжались родами, семьями на телегах и конях, узнавая от агитаторов новости за прожитые пять лет — голосовали, но в барак и носу не показывали, рассаживались в степи вокруг большого огня — закусывали, выпивали, потом разъезжались.

Когда полустанок сожгли, то уж больше не отстраивали. Лагерные валили вину на казахов, а их ищи, как ветра в поле. Но между собой охрана Карабасура знала, что полустанок сожгли сами вертухаи, когда, отбывая с вахты, застряли в Степном, перепились и, схваченные за тонкие шкурки ночными холодами, запалили махом барак — грелись, только так и избежав верной гибели.

И вот теперь Хабаров бродил среди обугленных развалин... Из всех строений на полустанке уцелела одна параша, хотя ей и трудно придумать точное название. Она отчего-то крепко сидела в земле, как землянка. Стены ее были глинобитные, на азиатский манер, из них торчала сухая солома. Крышу разметало, ее заменял промасленный брезент защитного цвета, растянутый каким-то хозяйственным человеком. На одном глинобитном боку было нацарапано: «Туалет». На другом размашистей и глубже: «Стипная» — и обведено красной краской. Живучее это строение высывалось из земли на вершок — было оно и верстовой столб, и вокзал, и чем только еще не было. «Хоть бы деревцо посадили», — подумал Хабаров с тоской.

На полустанке сделалось повеселей. Откуда ни возьмись явились казахи — бабы ихние со вьюками, с детьми. Они уселись подалее от служивых.

Сидели казашки парами, как видно, невестка со снохой, а то и мать с дочкой. Девчата были белокожие, стройные, а бабки прокопченные, будто дубовая кора. Деток при них было трое, из которых был и захворавший мальчик — он дрожал в лихорадке, положенный на вьюках. Быть может, казахи везли его в Угольпункт к тамошнему врачу; они сидели подле мальчика молча. Казашка, похожая на бабу, старшая среди всех, обтирала ему дряблой рукой пот. Должно быть, рядом с ней сидела мать этого захворавшего казашонка — она до него не дотрагивалась, но ее огромные черные глаза сочлились от горя. Была она совсем еще девочка — хрупкая, безгрудая, с пухлыми розовыми губами и нежным над ними пушком. Другие дети ходили по барачному пепелищу, отыскивая в золе гвозди. Заволновавшись, их подзывали бабки, но на них, на будущих мужиков, эти седые старухи то ли не смели, то ли не желали повыситься голоса и как бы упрасивали. А то, как русские бабы свою кровь матерят, сразу вспомнилось Хабарову, следившему все с той же тоской за степняками.

Чудно, но и с дизелем, оказалось, управляется баба! Битюг, она просунулась в окошко, когда причалила сцепку из трех ствольных вагонов и стольких же груженных редким барахлом платформ далеко за полустанком; проехавшись, она закричала: «Залазь так, заду не подам, блядь, подавись!» Служивые побежали к вагонам, а Хабаров схватил без спроса у загомонивших казашек тюки, и они вместе побежали за ними вдогонку, тяжело было только с мальчонкой, с ним не поспевали. Тогда капитан сбросил тюки и, воротившись, перенял казашонка с рук задыхавшейся бабки. Пугливые казашки протягивали людям руки, за которые их по воздуху вносили в этот темный, обустроенный под перевозку людей товарняк. А старухи, повиснув на высоких порожках вагона, завывали, будто их могли позабыть. Втаскивать их было тяжело — Хабаров подлазил под их пудовые зады, толкая наверх, а из товарняка их вовсю тянули за руки. Баба-машинист все орала из дизеля: «Подавила я б всех бабаев!»

Сцепка содрогнулась и двинулась, так что капитан заскакивал в вагон уже на ходу, что далось ему без особого риска: дизель не ехал, а шагал по рельсам вразвалочку, раскачивая по-бабьи одутловатыми боками. В вагоне было натоплено до духоты. Топили углем, насыпанным тут же горой, сжигая его потихоньку в бочке. К полу были приколочены скамьи, на которых и теснился в душной полутьме народ — капитан никого не мог разглядеть, а только слышал, как они с шумом дышат. Из угла рабочего вагона к духоте примешивалась тухлая вонь — там в полу была пробита дыра, из нее вился дневной свет, приглушенный куцей фанерной перегородкой.

Хабаров закрыл глаза, хотя это было и не для чего делать, но ему так было легче.

Были еще остановки, и все повторялось, как на Степном, — в рабочие вагоны взбирались люди, орала машинист-баба, будто это не дизель, а она сама тащила вагоны с платформами, впрягшись в бурлацкую лямку. И на каждом полустанке, голом, диком, обязательно имел быть свой сортир, глинобитный или же дощатый, с крышей или же без крыши, горбатый, засранный, с расцарапанным боком: «Кирпичный завод», «Заря», «Кара-

гуль», «Правдинский», «Сорок третий километр» — и так выстраивались они в ряд до самого Угольпункта будто провожатые.

На месте этого городишки когда-то жила своей жизнью степь, но пришли люди с голубыми кантами, согнали толпы каторжников, на их костях его и построили; это был городишко угольных шахт и лагерей, однако забои скоро опустели. Легкий уголь исчерпали, а добывать остатки было неприбыльно.

В Угольпункте дизель прибыл не на саму станцию, а в тупик. Взмокшие люди повалили из вагонов на холод. Хабаров зацепился глазами за крестника своего, за мальчонку, и помог казашкам снести его на станцию, где и принимал степняков областной врач. Казашки наградили его за труды своим хлебом, дали еще и три рубля. От еды и хлеба капитан не отказывался, они очень бы сгодились на дальнюю дорогу, но сделалось ему стыдно, что взял.

Станция была сортировочной, узловой, и потому Хабарову не пришлось так томиться от одиночества, как на полустанке. Он глядел на рельсы, беспорядочно разбросанные по земле и уходящие во все стороны света, вслушивался в гудки маневровых, дышал жженым воздухом, растертым проносящимися из дали в даль почерневшими поездами.

На платформе всего больше толпилось баб с грудями, похожими на сундуки, в которые они залазили всей пятерней и что-то там проверяли. Казахи перемешались с русскими, и толчея была точно на базаре. Громоздились тюки, между которыми сновала позабытая ребятня, играясь. Когда подали заветную электричку, то люди внесли в нее потихоньку и самого капитана; с людьми же он уселся на скамью и уснул, всеми этими людьми, будто покоем, окруженный... Растолкала его старуха, уже в пустом вагоне. «Вот и грех, милый, дура я, за мертвого тебя приняла, а ты спал... Батюшки, а что у тебя за лицо было! Дай-ка перекрещу от греха. А вот и Караганда. Может, чего и проехал? Ну все, будь здоров, я пошла, не болей, не мучайся».

С тем крестным знаменем, отчего-то им огорченный, Хабаров и вступил в Караганду, выспавшись так, что ничего не помнил. В этом городе ему и послужить довелось. Замечая, что разбежался, капитан убавлял ход, узнавая все заново с удивлением. Располагался вокзал на окраине, как и полк, потому капитан и волновался... Вдруг он вспомнил, что не выбрился и не подстригся как полагается, и, с облегченьем вспомнив о трех рублях, подаренных казашками в Угольпункте, заторопился в парикмахерскую, боялся, что уже и не разыскать ее на старом месте, но она устояла. Его побрили, остригли бобриком и брызнули одеколоном, как он сам спросил, чтобы уж выглядеть по всей форме. Вид у него сделался до того торжественный, что безвестного капитана впустили без пропуска в полк, да еще и глядели на него, вдыхая одеколон, с уважением. Никем не остановленный, капитан проник в штаб... Спустя некоторое время из штаба донеслись крики и шум драки; из него выбегали, будто обваренные, офицеры, солдаты — все лишние. На крыльцо же выволокли хрипящего в удушливых объятиях человека, который рвался назад в штаб, ворочая навесившихся. У него искали пистолет, которого никак не могли отыскать, а из кучи кричали: «Да он убить хотел товарища Победова!» Ко всему этому добавлялось еще жути и оттого, что от человека воняло навроде сивухой и он из всех жил хрипел неизвестно кому: «Погоди, придет другое время!» Его тогда начали бить и пинать больше со страху, но вдруг опомнились: «Волоките в особый отдел к Скрипицыну!»

Глава шестая: «Страсти по приказу»

Подъем в лазарете производился поздней, чем в казармах. В лазарете хозяйничал военврач, из привычек которого и складывались здешние правила. Старшина сгонял людей с коек к его приходу, а сам прятался в каптерке и ждал, подремывая, какое настроение окажется с утра у начальства.

Явившись в то утро на службу, военврач, человек издерганный и нудный, обнаружил запись в журнале, что ночью поступил прапорщик, и пошел проверять. Застав в палате Скрипицына, совершенно на вид здорового, он сперва обругал его: лазарет, мол, не постоянный двор, — но когда прапорщик униженно пожаловался на слабость, подобрел и прописал щадящий режим.

Отдохнув после завтрака, который сам старшина принес ему в палату, Скрипицын, с грязной посудой в руках, пошагал обследовать лазарет. Ему хотелось пройтись, быть может, послушать разговоры, однако лазарет заполнял самый дикий народ. Палаты, точно душегубки, были набиты то ли калмыками, то ли киргизами, глиняными человечками, молчаливыми и тихими. В коридоре, эдаком навывлет, народец этот лепился к стенам, и все — ртов с пятьдесят, меньше не вообразишь — жрали тут же из котелков и ничего вокруг не замечали, уткнувшись в эти котелки. Старшина подскочил к Скрипицыну и вывел его на воздух, орудуя сапогами, то есть расчищая начальству путь. Заговорив с ним о черном народе, Скрипицын долго блуждал мыслью вокруг да около простых ответов старшины. А тот растолковывал, что в лазарет свезли отбракованных со всех рот, которые не могут в охране служить. А потому-де решили отправить чурбаков в Алма-Ату, чтобы предъявить в штабе дивизии, а уж оттуда их и переведут в стройбаты Байконура и Семипалатинска. «У нас они уж с неделю, всех умаяли, а никак не отправят. И пожаловаться некому, чтобы дали под зад!» — горевал старшина.

Выслушав старшину и точно бы совсем насытившись, Скрипицын сложил к нему на руки свою невытую посуду, а сам пошел прямо к военврачу, ничего уже не боясь.

Когда Скрипицын пообещал военврачу, что в один день спровадит отбракованных, тот мигом обрадовался, заверив особиста, что и по своей части все исполнит незамедлительно.

Отчисляли же из полка только за подписью начальника штаба. Созвопившись неспешно с Дегтярем и сообщив между прочим, что прихворнул, Скрипицын с чувством доложил о нахлебниках, которых случайно обнаружил в лазарете. Дегтярь с соображениями Скрипицына согласился, и через час по приказанию начштаба в лазарет заявился дядька. Его отрядили за билетами на поезд, и он хотел получить выписку, сколько голов повезет, чтобы расчесть довольствие. При этом обнаружилось, что числом народу поменьше, чем шум, который из-за него поднялся, человек с двадцать по списку.

Скрипицын тем временем отвел военврача в сторонку и шепнул, что в список должен быть включен еще и солдат Калодин. Военврач замялся — в один день, дескать, человека даже из санчасти не спишешь. Но Скрипицын надавил — ежели так, то и отправку придется отложить, — военврач уступил, и Санькины документы отослали с тем же дядькой к Дегтярю, которые тот и подписал не глядя.

Когда же дядька, раздобыв билеты, вернулся в лазарет доложить, чтобы готовились к отправке завтра в полдень, Скрипицын зазвал его в палату и долго вдалбливал тугодуму, что солдатам не велено знать, куда их отправляют. Дядька даже струхнул, что его так особо предупреждают. Дело свое сопроводительное он и сам знал хорошо, и оттого, как давил особист, в его душе образовалась гнетущая тяжесть. Запугав дядьку, Скрипицын обрел наконец покой.

В полку трубили отбой, Хабаров не объявлялся, да Скрипицын и не рассчитывал, что капитан объявится сразу, никаких свелений о Карабасе также не поступало. Победов его, правда, разыскивал, но узнав, что прописали в лазарете, угомонился. К тому же Скрипицын знал повадки полковника, знал, что стоит тому отложить дело, как он тут же о нем и забывает, поскольку и желает забыть, а не сделать. Оставалось одно неприятное дело — Калодин.

Постучав в особый отдел, Скрипицын поднял Калодина с койки и, не дав очухаться, огорошил: «Чурок повезут в дивизию, а ты поможешь сопровождать, я лично пообещал лазаретчикам. Явка в лазарет утром, тогда и протиснемся. Так сказать, на дорожку посидим».

Шинель его была вычищена и выглажена Санькой — приготовилась, что Скрипицын и уследил, взяв ее без слов.

Утром Санька Калодин не застал своего начальника в лазарете и потому с ним не простился. От этого он затосковал. Зато дикий народец признал в Калодине еще одного хозяина; тот был русским, здоровяком, отсиживаясь, хмуро поглядывая кругом, и был одет-обут во все новое.

Дядька поручал Саньке то получить на складах сухпай, то следить, чтобы со всех шинелей были спороты погоны. Санька спорол и свои, но спрятал их. Он же остался в стороне, когда народцу приказали раздеться догола и согнали к душевой, ключи от которой никак не могли найтись. Баба, она же младший военврач, ходила и оглядывала отбракованных на предмет вшей, сыпи, чиркая на стриженных выпертых лбах, чтобы заметить, кресты. И кричала старшине, возившемуся с замком: «Вася, детка, кого я покрестила, те гнойные! Обработай их мазью Вишневского, а в душевую не пускай. Вася, а вшей у ребяток нету, можешь ихнее белье оставлять!»

Душевая походила на подсобку, в ней хранилась краска и гашеная известь в бочках. Оставшегося места чуть хватало, чтобы встать под лейки; к простому горбоносому крану припаляли жестяные банки из-под тушенки, продырявили в них днища — и обливали. В сапогах, шароварах, закатав лишь рукава гимнастерки, названный Василием старшина встал в душевой, а за спиной его жестянки цедили ледяную воду, которая лилась из дырок синяя, зазубренная, похожая на железную стружку. Под приглядом старшины народец пошел гуськом обмываться; Василий же следил, чтобы никто не остался сухим, но того, кто застревал хоть мгновенье, образуя затор, пропихивал украдкой сапогом, боясь обрызгаться. В проход, где коченел народец, бросили одно на всех полотенце. А покуда они обтирались, Калодин с дядькой начали выдавать белье, амуницию. В дверях лазарета замелькали хитрые жадные рожи, сбежались со всего полка. Все стоящее мигом подменивалось на обноски, чему вовсе не препятствовал лазаретный старшина, а дядька, захопотавшись, и не видел. Обирали народец — будто свежавали: хорошую ушанку выдерут из рук, а всунут проеденную молью. А тот и не понимает, что обобрали, для него обе ушанки чужие, а хозяева — те, что раздают или вырывают вещички, будто свое добро. Но когда оборзевшая солдатня стала вытряхать и сухой паек из вещмешков, Калодин вдруг встрял. Подобрал скатившуюся банку тушенки, он принялся ею охаживать солдатню — и всех разогнал.

Когда же чурбаков повели этапом на желвокзал и они возрадовались, думая, что отправляют по домам, Санька Калодин молча косился на эту бестолочь, догадываясь, что зря они так радуются, но растолковывать им это на ихнем языке он не умел...

Загрузились по-быстрому, споро. Дядька еще грозил пьяному проводнику, чтобы тамбуры были заперты ночью, с чем тот удивительно легко соглашался, а Санька уже рассовывал народец по полкам, отбирая с шинелей солдатские ремни навроче паспортов, чтоб не сбежали.

Это был поезд того бесправного типа, которые останавливают не по расписанию, загоняют по ночам на запасные пути, когда надо пропустить скорые, а еще тормозят на всякой безымянной станции, чтобы подобрать людей. В них даже вонючего чаю не подают и негде умыться.

Дядька добросовестно вытвердил поученья Скрипицына, чтобы о дальнейшей судьбе никому не сообщать. Отмалчивался и Калодин. К сумеркам поезд порядком отъехал от Караганды, во все стороны уже разбегалась дикая степная ширь... «Самое время пожрать, а то забудем», — сказал дядька, и Санька его услышал. Он извлек из того вещмешка, который охранял, фляги с водой, черные сухари, тушенку, приманивая, подзывая народец,

чтобы получали пайки. Когда пожрали, чурки, галдевшие со всех полок, сморились и разлеглись спать. Дядька же раздумывал. Ему было удивительно, отчего же и Саньку, такого здорового,мышленого солдата, отправляют поддыхать в стройбат. Он не удержался и подсел к усвоенному, отдохнувшему Калодину: «Не спится? А ты знаешь, куда вас, к примеру, отправляют?» Калодин отвечал не дрогнув: «Я покараулю, ложитесь спать». Дядька обиделся: «А ты знаешь, к примеру, куда направляется этот состав? Отправляют вас служить в стройбат». Он вовсе не хотел выбалтывать тайну, но ему хотелось показаться важным да нужным, и еще он думал, что ничего запретного не сообщил, а лишь произвел впечатление. «Я вас отвезу, а потом в обратную, мне этот маршрут не впервой. Тебя-то как угораздило? Такой лось, а чего не служилось?» Калодин вгляделся в расхлябанного дядьку, который в расстегнутом кительке завалился на полку, а потому и болтал лежа. «Хватит вам, моих бумаг у вас нету». — «Может, ошибка, а у меня бумаги твои есть, потому как у меня лучший в полку порядок». Возможно было подумать, что проболтавшийся хрыч решил стеречь солдата; он и вправду долгий час не смускал с Калодина глаз. Но тот сидел, не подавая жизни. Разговаривать с ним дядьке больше не хотелось, да он и побаивался и вдруг как провалился в сон...

Опомнившись и обнаружив, что сарайчик их, заваленный до потолка одереvenевшими телами, чуть движется в глубокой ночи, Калодин спрятавшись в шинель и стал пробираться к тамбуру, не взяв с собой никаких вещей. Он с трудом шагал по этой свалке из людей, откуда вызволился, подхваченный уже в тамбуре холодом, чистым и живым. Но вот немереную долготу черной степной глади разжижили огни безвестной станции. Поезд, потягиваясь и хрустя железными позвонками, тягуче приставал к куску обжитой земли. Раздались одинокие вскрики, то глуше, то слышней. Санька увидал кирпичный, опрятно выбеленный, похожий на хату вокзальчик. Ночь увязала в слякоти перебежек, в ее осветленных клубах забултыхались и мешковатые тени. По бортам бездвижных вагонов рассыпался мелкий град: какие-то неуловимые люди пробегали состав, обстукивая наскоро вагоны и отыскивая те, в которых не спали проводники или же не было заперто.

Казалось, что стоянка тягостно затянулась, точно там, в глухом изголовье поезда, оборвалась железная колея. Вдруг и в тот тамбур, в котором отсиживался Санька, полез закопченный, взмокший от беготни по вагонам казах. При виде огромного солдата он испугался и повис на подножке, забормотав: «Журип кету, журип кету...»¹ Калодин подался к нему, порываясь помочь, но казах в страхе прыгнул и пропал в темноте. Не успев одуматься, будто утеряв равновесие, Санька сорвался вслед за ним и очутился на твердой литой земле. Голова его закружилась. Он зашатался, вдыхая выхоложенный ветрами воздух, и не заметил, как вагон за его спиной бесшумно сошел с места и двинулся в долгой череде других, в точности на него похожих.

Подле вокзальчика пустовало светлое облако, а вагоны все шли и шли, оставляя вымершую станцию, точно увозили последних ее жителей. И Калодин остался один, ничего еще не чувствуя. Весь табак его был потрачен. Удостоверяющие личность документы остались в казенном портфельчике вместе с вещмешком с полным реестром служивого солдатского добра.

Надышавшись до изнеможения вольным воздухом, Калодин ощутил в себе гнетущую пустоту. Она и погнала его к вокзальчику — из темноты в свет.

Выбеленную хатку обхватывала гибкая изгородь, сплетенная из веток степного кустарника. Над крышей вился дымок, ровные прямые оконца вылуплялись из стен чуть выше поземки. Сама же домина была приземиста, как бы сплющена. Во дворе пахло кизяком и отлеживались на холодной земле собаки. Стоило Саньке шагнуть за изгородь, как они встрепену-

¹ Отправляется, отправляется...

лись, залаяли, однако боясь напасть. Стервы эти скорее приبلудились, чем были слугами здешним хозяевам.

Калодин попятился, но собаки вдруг умолкли, поворотившись к сытому распысанному человеку, сердито выскочившему на крыльцо. «Кимнен тагы атагында?»² — прокричал он не спускаясь. Санька замер, дожидаясь. Казах же, различив впотьмах солдатскую шинель и ушанку, позвал уже тише, настороженной: «Ай, батыр, кайдан жене кайда тусу?»³ «Я от поезда отстал, мне в Караганду надо, — отозвался Калодин, робея. — Мне бы узнать, когда поезд на Караганду пойдет». «А какой твой звания, какой твой армия был?» — затянул казах, с первых же слов не поверив бесхозному солдату. «Я из конвойного карагандинского...» — «Ай, солдат! Хорошо, солдат! Сюда заходы, заходы... Давай документ твой, хорош?»

Казах, по всему видно — хозяин этой затерянной в степях станции, был пожилой, наживший брюхо мужичок с усами и вороненой бородкой, походившей на мохнатый кулак. Лицо он имел округлое, наподобие хлебного караваля, а глаза — чернявые, вьедливые, в этом он был природный казах. Но самого ничтожного разряда начальник проглядывал в нем куда сильнее. Рожденное быть простым и светлым, лицо его набрякло грубыми, с наглещей чертами. Форменный китель не сходил с тучной груди, на раздутом зобу, а форменные же шаровары были заправлены в яловые офицерские сапоги. На макушке, как на гвозде, висела выцветшая фуражка с новехонькой красной звездой, тоже как бы взятая с чужой башки. «Военбилет, бумаги в поезде остались, нет ничего, забыл...» — наговаривал Санька, понурившись. «Ай, плохо! Отстал, да?» Чуть взволнованный, едва доросший солдату до груди, начальник обходил, разглядывал, охлопывал попавшегося паренька, то ли восхищаясь его медвежьим сложением, то ли украдкой обыскивая и примеряясь, с какого боку легче справиться. «Ай, батыр, Караганда долго, долго не будет...» — распевал он, окружая собой солдата. «А как мне быть, отец?» — «Завтра поезд сядешь! Билет дам, кушать дам — все дама. Балакаев армия уважает. Балакаев тута начальник. А ты отстал, да?» — «Я же сказал, в Караганду надо...» — «Ай, Карагандаманда долго не будет, слышь, завтра билет дам. Хорош? А ты заходы, Балакаев водка нальет».

Они шагнули внутрь этого вполонину вокзала, вполонину жилища, очутившись сразу в просторном неухоженном предбаннике с рядом голых казенных скамеек, воздух в котором был серым от вьевшегося в него табачного дыма. Дальше был только пустой сквозной проход, в чьем сумраке Калодину померещилась цепочка дверей, почти ровненных со стеной. В проходе было теплей и пахло так, будто что-то там жарилось на сковороде, а также стиралось и варилось. Комната, в которую они со двора вклинились, была служебной, но порядком и обжитой. На стене, как и у всякого начальника, висел портрет Ленина — черепастого, узкоглазого, похожего на казаха. И портрет уже умершего товарища Брежнева, на котором тот изображался еще упругим, молодым и опять же как-то неотразимо походил на казаха. Балакаев, как он назвался, поспешил усадить настороженного солдата за стол, отчистив столешницу от бумаг и другого сброда. Покинуть солдата он не решился и потому только выглянул в проход, вскричав с нетерпением: «Жубай, таю жексурын экелу маган араку, тамак, дереу!»⁴ — А солдата поспешил успокоить с масленистой улыбкой: — Жена свой зову, кушать, пить будет... — И опять закричал в проход: — Дереу, дереу!.. Ай, жексурын!»⁵

Он присел и тяжело, запыхиваясь, задышал. Скоро в комнатке неслышно появилась баба, уставшая и потому как бы спавшая на ходу, с мутноватым зеленым бутылком в руке и деревянной чашкой, в которой

² Кого еще носит?

³ Богатырь, откуда и куда идешь?

⁴ Жена, вставай, гадина, неси мне водку, жратву, живо!

⁵ Живо, живо!.. Ай, гадина!

кусковалась холодная баранья мякоть, сваренная на закуску. Увидев солдата, баба сжалась и пугливо покосилась на мужа. «Жена мой, дура мой.. — кривлялся перед Калодиним казах и все приговаривал, не сменяя слашавого, масленого выражения: — Ахмак, айкайламау... Ол кызмет кашкыны Керек хабарлау кою болими, канда мас болу»⁶. «Жиберу...»⁷ — сказала тихо баба. «Опонай бола коятын кисин мен емес!»⁸ — не отрывая похолодевших глаз от жены, протвердил казах и вдруг рассмеялся: — Ай, дура! Думала, меня война берут! Ох, ох. . Давай водка, жена, Балакаев гость дружит».

И Санька сам рассмеялся, чтобы понравиться доброму хозяину. Казах налил ему стакан, пододвинул под руку баранину: «Давай за наша армия!» Калодину было стыдно хвататься за одно мясо, и он пил, всякий раз даже радуясь, что добряк так часто подливал, легко и просто закусывая потом вкуснейшей бараниной. А пропойца из него был никудышный, к водке он привычки не имел, потому и опьянел прежде, чем насытился.

Казах тогда измучился с пареньком — тот сделался буйным: стучал кулаком по столу и требовал еще водки. Он стащил с солдата шинель, передав ее утайкой жене чтобы поглубже запрятала и обыскала. А самого Саньку заволок в темную кладовку, повалил на мешки, а дверку-то на засов запер.

В кладовке Калодина обожгло холодом. Повалившись на мешках, он упрямо поднялся и шатнулся на волю, из темени промозглой прочь, а наткнулся на засовы. «Открывай, отец, хреново мне!» — заколотил он, страшась этого места. Подбежавший к дверке казах зло прокричал: «Сиды, сиды!.. Тута Балакаев начальник». — «Открой!» — «Сиды, дизыртыр. Слышь, турма тебе будет». — «Сволочь ты, открывай, а то разнесу!» — «Слышь, Балакаев ружье есть, стрелят будет!»

Казах запугивал дезертира, но не сомневался в крепости засова. И когда дверь начала раскалываться под взъяренным медвежьим натиском, казалось бы, обреченного человека, Балакаев в смятении бросился себя спасать, ни о ком родном не позаботившись. После долгих отчаянных попыток Санька выломал дверь. Обнаружив, что ни ружья, ни казаха на страже нет, он устремился было во двор, но, спохватившись, воротился, разъяренный еще крепче, за украденной шинелью. Не отыскав и следа ее в той комнате, где они пили, Калодин увидал в углу топор и прихватил его, вспомнив о неприметных дверках, скрытых в сумрачном том проходе, за одной из которых мог бы прятаться казах. Он взломал топором одну, но за ней оказались лишь путевые фонари и инструменты. А следующую Санька распахнул без труда. В комнатке посреди голых смытых стен тлела на шнуре хлипкая лампочка, освещающая спавших на провисших казенных койках детей. Подле них, подле своих детей, подвывала тихонько начальникова баба, уткнувшись в пол бульжными коленями. Она не могла укрыть собой всех дочек да сыновей и повалилась в ноги солдату «Где шинель? Отдавай! — прохрипел Калодин и замахнулся в помрачении топором. — Шинель, шинель — или всех твоих забью, сука!»

Заполучив же свою одежду, Санька тут же бросил пудовый топор. Дети проснулись еще до того, и, оставленный на мгновенье кинувшейся за шинелью бабой, Санька затравленно глядел на них, принявших при виде его сопливиться и плакать. Выскочив со двора, он побежал по стершимся шпалам, как помнил, в обратную сторону — вспять, на далекую недостижимую Караганду...

Саньке Калодину чудилось, что за ним гонятся, он ясно слышал и собачьи влзай, и топот сапог в этой скрежещущей только от его задыханья степной ночи. Он падал, вздымался и опять рвался из жил. Покуда не скатился под откос... Отлежавшись, беглец вскарабкался на четвереньки, но, вдруг схватившись за горло, уткнулся ничком в каменную землю от вне-

⁶ Дура, не шуми... Он дезертир. Надо сообщить в отделение, когда напьется.

⁷ Отпусти...

⁸ Не на того напал!

запного страшной всякой боли удушья. Санька вдруг вздулся, и пораженные глаза его чуть не выкатились наружу, обливаясь слезами. И в то мгновение, когда он, казалось, должен был разорваться, из горла его просочился свист, тонкий, как иголка, а потом вылетели ошметья того, чего не глядя нажрался, запивая начальниковой водкой. Отблевавшись, Калодин вздохнул, будто младенец, выбравшийся из материнного живота, и отполз, боясь глядеть на чуть не задушившую его рвотную лужу.

Шума погони не было слышно. И огоньков станции Санька вдали не увидал... Было ему легко, и хотя он и не знал, зачем в нем осталась жизнь.

Из этого щенячьего забвения дезертира выудил гул поезда; один, а потом и другой состав протаскились над его головой, товарный да пассажирский, шедшие в разных направлениях. Колея в том месте тянулась по свороченной гряде, и осторожные машинисты брали своих стальных коняг под уздцы, чтоб не завалиться с полным-то ходом набок.

Подкравшись к железнодорожному полотну, Калодин затаился и дождался подходящего товарняка, который состоял из пустых угольных коробов. Пропустив далеко вперед тепловоз, он выскочил из-под насыпи и побежал вровень с расшатывающимися коробами, пытаясь уцепиться за их отвесные боковины, высоко задранные. Вагонетки тягостно убывали, но вдруг будто вспыхнули, и он, увидав торчащие скобы, ухватился за них и мигом был выдернут с насыпи, отчего аж дух захватило, хотя вагонетки еле тащились. С тем же страхом по скобам Санька рывком перевалил через скрежещущий борт и упал уже на утыканное углем дно, испытал вместо удара такую легкость, что из него как вышибло и боль и страх. Развалившись, слушая с радостной пустотой, как шатается по гулкому железному днищу уголь, он задрал глаза и глядел на переливчатую звездную ночь, похожую на россыпь, которая грузилась выше искореженного угольного короба и отбывала тайным грузом неизвестно по какому такому пути.

Калодин забывался, пробуждался, видел уже белый дневной свет, но его опять же укачивало как в люльке... Поезд встал на станции или в пункте, гремящем, закипающем работой. Взобравшись на вагонетку, путеец-рвань загоготал: «А ну подъем, душа твоя в блядах! С фронта драпаешь? Ты кто такой?» Дезертир сгрелся в углу и глухо молчал. «Не молчи! — огорчился путеец. — Давай рассказывай свою судьбу, я это люблю... Мне всегда подфартит: как подляк, так в мою смену. Беглый, что ли? Чего молчишь? Вот сдам вохре, не молчи, слышь. Может, я люблю беглых, может, сам отсидел». «Мне в Караганду», — сказал Санька. «А у нас тут, считай, Караганда».

Путеец с гоготом арестовал солдата и потащил за собой. Подлазя под растянутые в километр вагонетки, они пошагали в депо. Куда бежать в этом грохочущем железном лесу, Санька не знал и потому смиренно шел за путейцем, а тот расспрашивал его с той живостью, что залазил в самые потроха.

В депо весело простаивала бригада, выпивала и закусывала с матерком, такая же рвань. «У него мамаша в Караганде, старуха, он у мамки первый и последний, вся надежда ее, душу мою в блядах. Бежит из стройбата, на волю бежит! Ну, я в него влюбился, он мне теперь как брат, вот я кровь за него отдам. Братцы, Федулыч, как быть-то? Ну, я сам его отыскал!»

Человек, к которому зывал бригадник, не глядя спросил: «Правду, что ль, балаболка этот про мать набрехал?» Калодин сказал без раздумий: «Правда». Старшой еще пожевал в молчании, а потом удивился: «Ну чего встал, полно жратвы, а он стоит». Калодин сел на ящик со всей бригадой. Ему придвинули круг копченой колбасы, завитой, как хвост у дворняги, и с такой же красной ужимчатой сракой, придвинули и хлеб. Оголодавший, он принялся все проглатывать, чем и раздобрил путейцев, которые опять повеселели и будто позабыли про него. Потом уж, когда и бригада начала разбредаться, не прощаясь с беглым, точно его и не было, старшой с хмельной крепостью обсказал, что пребывает в Шахтинске, где есть и шахты и депо. Он же взялся отвести Саньку на шахту и пристроить на ав-

тобус, когда станут развозить шахтерскую смену и в Караганду небось повезут.

Народ шахтерский в отличие от путейцев был трезвее и крепче. Беглого солдата здесь живо взяли в оборот. Все казенное, приметное без всякого спроса с него содрали, кроме трусов. Кто штаны пожертвовал, кто сбитыми ботинками, запасной вылинявшей рубашкой поделился, кто чем мог. Исчерненные с головы до пят угольной сажой, эти люди выглядели на одно лицо, похожие на негров или хоть чертей. Саньку передавали по живой цепочке, сразу и забывая, спровадив с рук. И в конечном месте устроили ему шахтерский автобус с маршрутом до самой Караганды. Автобус, эдакая теплушка на колесах, сначала долго плутал по унылым просторам всего хозяйства, подбирая на его расхристанных окраинах серых, бескровных людей. Если все же и попадалась сволочь, кто придирался к чужому пареньку и громко высказывался на его счет: «Куда это он, кто это он?» — то вырастал из серой гущи и другой, железной твердости голос: «Не трожь пацана, я отвечаю. Это Старкова Николая сын, проходчика, имеет право за батю в один конец». — «А волосы чего-то остриженные». — «Имеет право, не трожь»...

Высадили Саньку в тихом месте, подальше от патрулей. В той части Караганда была запружена крепенькими избами тех же проходчиков, с дворами, полными старых яблоневых садов, которые в эту промозглую пору, то есть поздней осенью, стояли черны да глухи, обрастая по утрам грязными туманами, а ближе к ночи нагоняли на случайных прохожих страхов своими скрюченными трещащими ветвями. Санька боялся патрулей, но спешил в полк, стыдясь надетого на себя тряпья...

За эти день с ночью и еще один день — всего двое неполных даже суток, которые минули со времени отбывки Калодина из полка, — Скрипицын накрепко позабыл про него. Он ждал капитана Хабарова ночью и днем, то есть круглые сутки, даже ночуя в особом отделе. Сначала послышались ему неуверенные шаги, будто кто топчется. Вспомнив, что дверь заперта и в отделе давно никого из подручных нету, Скрипицын с обидой отлип от бумаг, чтением которых так допоздна занимался, и сам отправился отпирать, но, к удивлению его, никого за порогом не оказалось. Темнота с холодом, которые ввалились в особый отдел, неприятно потеснили кривобокого прапорщика, так что он побыстрее захлопнул дверь и снова заперся. Но не успел он вернуться в кабинет к своему столу, как шаги послышались еще явственней. Скрипицын подумал о капитане, хотя ждал его в другое время, и кинулся ко входу. Однако опять не обнаружил никого близко с пристройкой и все же услышал как бы шаги, которые быстро отдалялись. Не раздумывая, раздраженный, особист бросился те шаги догонять как был в одной жиденькой рубашке.

Пробежав опрометью всю будто выросшую стену, Скрипицын сам омертвел от удара, наскочив на человека, которого загнал в тупик и в котором мигом узнал Саньку. Он прямо-таки учуял его, несмотря на тряпье, из которого тот разбухал навроде каши, но не желал еще верить, что этот живой труп возвращается в его жизнь. «Я сбежал, товарищ старший прапорщик...» Когда Санька подал голос и в действительности ожил, Скрипицын испытал удар еще разительней. Его бездыханный, убитый вид как-то расквасил Калодина, но порываясь подхватить Скрипицына, который, как ему чудилось, оседал на землю, он сам был схвачен неожиданно крепко.

Затолкав воскресшего своего служку в выхоложенный предбанник, Скрипицын вперся в него острыми, как стекляшки, глазами: «Тебя видели в полку? Говори! Кто тебя видел?!» «Меня в стройбат хотели...» От отчаянья Скрипицын вскричал: «А куда тебя еще? Мне педерасты в особом отделе не нужны! Я тебя пожалел, но мне глядеть стало на твою рожу противно, ты это понимаешь, что я больше видеть тебя не хочу, ты...» Не вытерпев этого шипа, Калодин вдруг стиснул это шипящее горло своими красными, будто обваренными руками с той силой, что казались они не

огрубевшими, обветренными, а раскалившимися. Санька душил Скрипицына, безумно его разглядывая. Если б он просто сжал этот сап, если бы, отупев, сжал, то Скрипицын валялся бы уже выжатым, дохлый, но Санька, силясь что-то понять, жал с перерывами, как если бы в башке его или в душе дергался нерв. То ли плача, то ли тихонько завывая, он то выпускал хрипящего начальника, то опять душил, а когда тот завалился, Санька, отшатнувшись, бросился убежать...

Скрипицын тяжело ожил. Первым порывом его было решение поднять тревогу, но добравшись к телефону, особист даже испугался, что собирался звонить, и сам побежал в полк в надежде перехватить дезертира. Заспанные караульные, на которых он в темноте наталкивался, хмуро узнавали особого начальника, не замечая в его ночном рвении ничего подозрительного. В одном лишь месте Скрипицына охватила тревога. Это когда он сунулся в грузовой парк, вспомнив, что Санька частенько ночевал в гараже. Однако и тутошний караульный безмолвствовал, вышагивая у ворот. Мысль, что Калодин успел-таки убежать из полка, ободрила Скрипицына, и он вернулся в особый отдел, дожидаясь сообщения из городской комендатуры о поимке дезертира, чтобы первым про это узнать.

Грузовой парк загорелся на первом рассвете, как стало светать и ночь по волоску лысела. Пожар начался с машины начальника особого отдела. Караульные своими силами могли бы ее еще загасить, могли бы не дать огню пожрать другие машины, но подбежав с огнетушителями, они вдруг ясно увидели в огне огромного человека, из которого, казалось, и исходил самый жар. Человек этот что-то орал сквозь гул огня и держался горящими руками за горящую же баранку, а вскорости скрылся в огне. Караульные испугались тушить эту машину с огромным горящим человеком, который был точно оживший огонь, и только глядели на это зарево, сделавшись жалкими и забытыми. Время было упущено, и когда сбежался весь полк, то шеренга командирских машин была уже вся объята огнем.

Пожарные бригады, которых ждали с покорством, поливали огонь издалека, но все же успели заслонить казармы и отбить гараж. Сгорело только то, что выстаивалось в парке, то есть под открытым небом, на подстилке из каменных плит, и к утру грузовой парк походил на эдакий оскверненный монумент

Федора Федоровича Победова вытащили из теплой постели чуть свет и доставили в полк автозаком, будто вора, потому что личную машину за ним уже не могли послать. Возможно ли вообразить, что переживал он, когда трясся в заке и никак не верил в пожар? Растрепанный; с красными слезящимися глазами, полковник принялся отыскивать виноватых и ответственных. На плац спешно сгоняли солдат и долго проводили переключку, сверяясь со списками. Обнаружилось, однако, что отсутствующих среди прапорщиков и солдат нету. Так и выяснилось, что сгоревший не служил в полку, а пробрался со стороны. Караульные показывали, что застали неизвестного еще живым и что этот неизвестный не звал на помощь и не делал попыток вырваться из огня, а упрямо в нем сидел.

Прах сожженца до последней черной косточки уже ссыпали в мешочек, не глядя нагребли и мелких железок, гаек, пружин, потому что отделять их от останков было трудно, в огне все сплавилось и смешалось — и мешочек позвякивал. Удивительно было, что обугленные два кулака неизвестного, которыми он сжимал баранку, к ней же и приварились, отчего их пришлось отколупливать. И получалось, что неизвестный пробрался в полк, может быть, даже имея задание его поджечь. Быть может, эта диверсия была одной из многих, которые готовились в Караганде. На то указывала его упрямая смерть, когда неизвестный сжигал себя вместе с имуществом, как если бы он слепо ненавидел советскую власть. Таковые мысли родились в голове у Федора Федоровича Победова, и он хватился Скрипицына, потому как за диверсии в полку и отвечал особый отдел. И

когда полковнику доложили, что Скрипицын был из тех, кто в одиночку осмеливался тушить и даже пострадал от ожогов, Победов с досады даже выругался. Он было хотел уже спрятаться по обыкновению в своем кабинете, осесть и отдышаться. Но его снова ухватили, поймав за живот. Звонил сам начальник особого отдела дивизии — полковник с точно известной фамилией Прокудышев и не совсем известным именем-отчеством: то ли Сергей Николаевич, то ли Николай Сергеевич. Доставал дивизионный особист не по пожарному делу, про пожар в дивизии знать не знали, а по докладу провожавшего стройбатников дядьки, так что и выходило, что Победов проштрафился дважды: и дезертира прошляпил, и теперь вот, опять с опозданием, принужден докладывать про погорельщину. Вконец раздавленный, он пролепетал невразумительное: «Полагаю, диверсия». На диверсию, однако, Прокудышев не отозвался, а огорошил Победова неожиданным: «Второй пожар? Да, знаете ли, это неспроста. И Скрипицын ваш подозрителен. Доказать, конечно, ничего не докажешь, и в тот раз и в этот огонь все списал, все концы и начала спалил, но вы уж его, Победов, покамест, до расследования, пока я дознавателей сам не пришлю, от дел отстраните».

С трудом понимал Победов Прокудышева, но одно все-таки сообразил по тому, как говорил с ним дивизионный особист, как пить дать следовало, что и он, Федор Федорович, заинтересованное и даже сильно вляпавшееся лицо.

До срока помилованный Прокудышевым, Федор Федорович принялся с гневом соображать, как все могло произойти. Он припомнил, что пожар и начался с машины Скрипицына, потом припомнил, что Скрипицын оказался на пожаре, то есть встречал рассвет отчего-то в полку. Он даже приказал в кадры, чтобы доложили о рядовом Калодине, то есть сунул руку в самое пекло, но когда получил от кадровиков разъяснение, сделал самый неуклюжий вывод, будто бежал Калодин по наученью Скрипицына, как раз с тем умыслом, чтобы Победова опозорить, то есть так и не догадавшись, как близок он был к тому, чтобы весь случай сообразить. Но одно из многого неразгаданного Федор Федорович все ж таки в толк взял: там, где имелся виноватый Скрипицын, там образовывалась и обратная сторона, доказывающая, что он-то как раз и не может быть виноватым. Машина ведь могла и случайно загореться, и даже глупо было ее поджигать, выставляясь напоказ. Засиделся до рассвета, так это же и хорошо, что заработался. Да и про солдата кадровик доложил, что Скрипицын имел основания его тихо отчислить. Вот так шаг за шагом Федор Федорович и дотопал до мысли, что Скрипицына возможно лишь услать в самую глушь, запечь в такое гиблое место, откуда тот и не выберался бы вовек. Подумывая, кому на руку вредил Скрипицын, полковник заподозрил не иначе как Дегтяря, тот слишком явно ему помогал. И полковник вызвал Дегтяря к себе, решив нагнать на начштаба страху, чего без особого труда и добился. Затем он уже орал и требовал Скрипицына, этого диверсанта. И когда тот явился сутулый, понурый, полковник разорвался еще пуще, как если бы не хотел, чтобы Скрипицын начал оправдываться. Но Скрипицын и не пытался отвечать, он покорно молчал. Он молчал и молчал все невозмутимей, и даже когда полковник под конец прокричал: «Собирай манатки, завтра же пошагаешь служить в степи, говнюк!» — опять не ответил.

На следующий день Скрипицын явился на службу пораньше. Полковник также пораньше сделал Скрипицыну звонок: «Ты еще не убрался, чего, конвой присылать?» — «Бойтесь, Федор Федорович, думаете, убегу?» — «Ты еще подковырываешь меня, командира полка?! Ишь, долго я тебя терпел, долго... Знаешь, куда отправляю? В Балхаш, будешь медь жевать». — «А если, для честности, я всю правду расскажу, которую Смершевич не рассказал?» — «И это ты за все мое добро! Пупок развяжется, обоссешься, диверсант... Нет, под трибунал, под трибунал!» — «Да никакого трибунала не будет, чего шуметь, Федор Федорович»

Полковник швырнул трубку. А Скрипицын не без удовольствия подумал, что этот хрыч повесился бы на своем галстуке, если бы узнал или смог понять всю правду. И Скрипицыну даже подумалось, а не сказать ли им всем про Саньку-то, хоть поглядит, как их рожи скуксятся. Так ведь не поверят! Не захотят поверить.

Взяв бумагу, он принялся писать рапорт об увольнении из войск. Писал он его так долго, что как бы забылся и думал уже о другом и даже вздрогнул, когда в особый отдел ворвались вдруг разгоряченные люди, волоча то ли человека, то ли чучело: «Принимай, он командира полка хотел застрелить!»

Пока доставленный в особый отдел Иван Яковлевич Хабаров приходил в себя, Скрипицын расхаживал по своему уже бесхозному кабинету. И хотя именно с этого дурака и начала испепеляться всякая его будущность, кривобокий прапорщик глядел на Хабарова с пустотой в глазах. Если что Скрипицына и озадачило напоследок, так это известие, что капитан покусался на жизнь командира полка. Так ли был напуган Федор Федорович, чтобы вообразить, будто нагрывший Хабаров и впрямь намерился его пристрелить? Или Хабаров до того разуверился в полковнике, что и без дураков угрожал? Но хабаровский пистолет хранился у Скрипицына в сейфе, не было пистолета, с чего же такие страсти? Почуввав возможность какого-то хода, и самому покамест не ясного, особист приосвежился и почти вслепую начал с побитым капитаном разговор: «Что, хлебом-солью угостил отец родимый, Победов-то? А ты терпи...» «Суки вы...» — простонал Хабаров, ничего не желая понимать. «Ругайся, ругайся — значит, живой! Только нам с тобой делить нечего, я еще в Карабасе хотел тебе помочь. Ну чего кривишься, я ведь тоже одной ногой в могиле стою, которую мне Победов вырыл». «Убил бы...» — произнес капитан, и Скрипицын вдруг вздрогнул, махнул притащившему Хабарова солдату, чтобы тот уходил, и сам принялся за капитана. «Рано сдаваться, двое честных людей — это уже сила. Хорошо, что ты понял, кто друг, а кто враг. Победову человеком хрустнуть — как веткой, столько жизней покорежил, что страшно сказать, вот еще твоя и моя. Я по шажку к нему подбирался, доказательства собирал, мешал как мог. Но ты же мне показаний не давал, ничего другого не оставалось». Хабаров, потрясенный этим известием, поднял голову, побитую офицерскими сапогами, и поразил кривобокого прапорщика тем, что из опухших щелей его покатались чистые блестящие слезы. «Да что же ты сразу не сказал, я бы не продал тебя...» «Поздно...» — нашелся Скрипицын. Отводя глаза, он протянул пистолет капитану: «Держи, твой... Уходи, пока не поздно, отступай». «Ты прости меня», — проговорил Хабаров, принимая пистолет и не зная, куда его подевать, утеранный и найденный.

Капитан молча поднялся и, прихрамывая, как-то боком пошагал, засунув пистолет в карман шинели и не вынимая из кармана руки, будто отогревал. «Ты это, сбереги картошку сколько сможешь, сбереги». Так они и расстались.

Хабаров намеревался выполнить уговор и, как и обещался Скрипицыну, скрылся бы, если б не столкнулся нос к носу с давнишним своим знакомцем, заштатным вовсе старшиной, с которым они в прошлые годы дружно служили. Старшина никак не хотел отпускать Хабарова, видя и не одобряя его жалкий вид. Сам он состоял при складах, и Хабаров не смог ему отказать, к тому же он переживал непонятную тоску. Покуда они полдничали, выпивая и закусывая, Скрипицын дожидался капитана, кружась вокруг их пьянки, и думал с раздражением, что у этих людей все порывы, даже самые неодолимые, уходят в воздух. Они сгорают, от них подымается дым, а остаются уголья.

Вконец продрогший, Скрипицын не выдержал, ворвался в склад, чтобы выпихнуть запутавшегося капитана из полка.

У полковых ворот, фырча, дожидался отправки неизвестный грузовик. Скрипицын запрыгнул на облучок. «Куда едешь?» «А в Долинку мне...» — отозвались из кузова. «Тогда бери попутчика, подбросишь в шестую ро-

ту». — «Я с грузом, мне запрещают». — «Ты кому говоришь, ты начальнику особого отдела говоришь!» — «А в полку много начальников, у меня начальник свой». — «Возьмешь, или не выпущу!» — «Может, за тройчку возьмусь...» Скрипицын покорно наскреб три рубля.

Постояв, покада грузовик не выехал за ворота, Скрипицын пошел к себе. В полку было спокойно, но не успел он этим покоем наддышаться, как из штаба стремительно выбежал какой-то растрепанный офицерик и, разбрасывая руки точно крылья, прокричал на всем бегу: «У командира полка приступ! Командир помирает!» Глашатай влетел в лазарет, и на глазах Скрипицына к штабу побежали военврач с санитаром, а исполнивший поручение офицер, будучи взволнованным, побрел наискось по вымершему плацу, и к нему стали вдруг стекаться неизвестно откуда люди, которым он со спешкой, точно перегонял сам себя, сообщал: «Сердце не выдержало, приступ, когда падал, ударился головой». Тогда и Скрипицын устремился в штаб.

Старый полковник пластался в своем кабинете на ковровой дорожке. Скрипицын пробрался к телу, растолкав зевак, писарей и всякую другую мелюзгу, которая счастлива была и поглазеть. В кабинете присутствовали начальник лазарета, Хрулев и Петр Валерьянович Дегтярь. И еще та самая толстая писарица, на коленях которой, сама же она всплакивала, покоилась полковничья голова. «Умер?» — не выдержал молчанья Скрипицын. И всех передернуло. Чего бы ни случилось, спроси он иначе: «Живой?» Лишь военврач вятно ответил: «Поизносился Федор Федорович, сердце не вечное, будем укреплять». Его слова расковали присутствующих, но полковник, однако, даже не размыкал синеватых век, хотя Скрипицын уже точно различал, что грудь его все же колышется.

Спустя время явились вызванные из госпиталя врачи. Их встретили с облегчением, точно избавились от груза ответственности. Хрулев же взялся сопровождать Победова в госпиталь как поверенный от полка. Может, он полагал, что отличается и опережает других, то есть Скрипицына и Дегтяря, которым он высказал будто чужим, выставляя их прочь: «Прошу освободить кабинет».

Оставшись в опустевшей приемной, они поневоле заговорили, особое усилие совершал над собой Дегтярь. «Я знаю, полковник поставил вопрос о твоём увольнении из войск, если ты откажешься служить в Балхаше. Я с ним не согласился. Лично я тебя уважаю, Анатолий, но решай, мне придется исполнить приказ». «У товарища полковника, как у пьяного, что в голове, то на языке, — грубо ответил Скрипицын. — Вы и не знаете, что он про вас говорит». Дегтярь густо покраснел, но смолчал. Скрипицына разозлила его тупая стойкость. «Он говорил, что у вас голова похожа на сами знаете какое место, что с такой головой нельзя командовать полком, и это про вас, который в тыщу раз лучше, чем он». Дегтярь буркнул: «Брось, Анатолий, все будет хорошо». — «Для кого же, Петр Валерьянович, хорошо? Меня Победов сживает. А потом и вас сживет, он такой самодур, что станет подозревать и сживет». — «Я могу задержать приказ до выздоровления полковника, это все, что я для тебя могу сделать». Скрипицын такой решимости от осторожного Дегтяря не ожидал и затих, оставляя Петра Валерьяновича при его личных соображениях.

Глава седьмая: «Вся правда»

Когда грузовик съехал на обмерзшую степную дорогу, заморосил дождь. Шофер вдруг тормознул, его разобрала нужда. Лезть наружу детине не захотелось. Он перевалился набок и, задрав долгополую шинель, точно юбку, брызгнул с хохотом в дождевую серую изморось. «Капитан, гляди, и с неба ссут!» «Значит, считай, вяпались, — отозвался Хабаров. — Все, зима. В декабре уже заметет, будь уверен». «Мамонька, год угрохали... Это ж прощальный дождичек, капитан?» — «Все, жди их до весны, там киселя

похлабаем». — «А весна-то будет? А если, говорят, льдом, на хрен, покроемся?» — «Хватит брехать... Быть такого не может». — «Эх, пропадаю!» Рыжий конопатый детина развеселился, выпрыгнув из нагретой кабины, в которой ему стало вдруг тесно. И закричал: «Карета больше не поедет, ходи пешком, а троячок не верну — чего, боязно?» «Простынешь, брехло...» — «Живем один раз! Ух пробрало, ух дерет... Капитан, гляди, обоссали меня! Вылазь, освежимся на прощаньице, гляди, одеколон!» — «Брехло ты!» — «Водила я, полапаешь баранку, узнаешь. Душ бесплатный, гляди, а мыльце у тебя имеется, чего, завшивел?»

Наконец грузовик тронулся. Солдат был доволен своей выходкой. До того они с капитаном ехали молчком, а теперь разговорились, и так было легче каждому справиться с тоской растяженных километров. Хабаров спрашивал, как живут служивые в Долинском лагере, а рыжий врал. И капитан почти наверняка знал, что детина врет. Хуже там не могли жить. Однако сама Долинка не казалась ему от этого вранья ближе, а даже удалялась в уме дальше и дальше, туда, где земля завершалась.

Грузовик ехал по широкому склону, который, чем ближе к своей кромке, становился все круче. Дорога набралась этой крутизны, точно утопающий воздух, но захлебнулась. Тогда на открывшейся равнине вырос степной Карабас. Ясно виднелись столпившиеся во дворе казармы люди, так много их было. Будто весь поселок собрался и встречал грузовик. Будто их успели оповестить о прибытии капитана. Люди как бы поделили двор. Дюжина драчливых солдат стояла с Ильей Перегудом против живой стены казахов, похожих на вечную семью. Предводил родом седой старик в мохнатой шапке и овечьей шубе, а за ним стояли безликие, разного возраста сыновья, за которыми прятались и внуки. Табун их лошадей отставался за воротами. Почувяв грузовик, лошади шарахнулись, ударясь колокольными задами. Напугались и сами казахи, хоть были они слишком грозные для гостей, со своими жгущами даже на вид хлыстами. Казахи наезжали в поселок и прежде — всегда откуда ни возьмись. Бывало, собьется с пути пьяный, и его оставят переночевать. Бывало, звали поохотиться в степи, потому что у служивых имелось хоть и казенное, но оружие. Чаше навевались в Карабас их пострелята, у которых с солдатами была своя торговля: торговали анашу, а также выменивали добрые, редкие вещи на дешевые лагерные поделки, которыми всякий солдат на этот случай запасался. У старших же ценились доски, железо и особо — гвозди. Их выменивали на продукты. Но дороже всего шли щенки от злых лагерных овчарок, за которых казахи так и расплачивались — целными барашками.

Ничему не удивляясь, Перегуд крепчайшим образом стоял о двух ногах, точно литой памятник, и при сошествии капитана Хабарова на землю потупил тоскливые глаза зеленее меди, сказав в никуда: «Значит, с того света на этот». Капитана не ждали. Солдатня молча уставилась на него, невинного, больше не веря в чудо. Грузовик родил даже страх, и лишь казахи глядели уверенней, злей, быть может, узнавая степного капитана. «Твою мать... Чего еще стряслось?» — встал у грузовика огорченный Хабаров. Илья нехотя сказал капитану: «А ты, что ли, не знаешь?» Тот загорячился: «Чего пугаешь-то? Я знаешь как могу пугануть, пыль останется». «Это ты врешь, что не знаешь», — сказал Илья.

Казахи подслушивали служивых людей, им думалось, что чубатый богатырь уговаривал своего начальника сознаться, а тот упрямылся. Заслышав про вранье, старик их со злостью дернулся: «Моя не врет! Оман нашел, плату ему давай. Картошка в степи сдох, Оман нашел, он знает!» «Илья, сука, очнись ты, чего это старый несет? Картошку, что ль, сторговали, а я не знаю?» «А чего торговать... — тихим, с усталостью голосом произнес Перегуд. Он точно долго странствовал в словах, но наконец-то решился все разом кончить. — Выходит, нет ее больше, картошки-то. Эта погань место в степи хочет продать, где на полдороге, выходит, повыкидывали». Казахи разом взялись за хлысты и надвинулись на капитана, который вдруг вцепился в их старика, будто этот Оман был повинен в степ-

ном налете: «Ты своими глазами картошку видел? Да говори же, старик! Не могло этого быть, как ты не понимаешь, не верю, врете...» Старик без страха, с крепостью отпихнул от себя капитана. «Моя нашла, твоя давай плату». «А ты чего на меня орешь? — освирепел тогда и Хабаров. — Ты покажи, покажи, а потом, будь уверен, расплатимся!»

Дождавшись того, что неожиданно потребовали грузовик, рыжий детина горько пожалел, что остановился в поселке. Он ругался с капитаном, но тот влез самовольно в кабину и взглянул на него с такой силой, что рыжему ничего не оставалось как заводить мотор. Он врасхлеб матерился, но никому до него не было дела. Старик, все же решивший указать место, гикнул двоих своих родичей, которые послушно полезли в кузов, а сам уселся в диковинной кабине с капитаном. Дорогой они не перемолвились даже словом, вовсе чужие. Казах глядел в степь, узнавая всякий ее изгиб и далеко ли отъехали. Черты его были собранны, их выражение не менялось, как у камня. Ехать на грузовике ему понравилось, отчего он даже приосанился. Уверенный вид старика подкупал Хабарова, и он все чаще на него оглядывался, слабея духом. Когда казах взмахнул рукой и рывкнул, сердце у капитана заикнулось, сбитое годами с вытверженного шага.

Старик молча уводил его за собой вглубь от дороги, бока которой уже оплывали в сумерках. Следом шумно ступали по каменистой земле двое его родичей. Солдат остался в своем грузовике, заглушив мотор, так что кругом сделалось совсем пусто и тихо. От места этого дохнуло источенной в холоде гнилью. Земля была исполосована и покрыта от колес грузовика одинаковыми рубцами. На застывшего капитана глядела картофельная насыпь, похожая на могильный холм, да это и была могила. Старик удивленно глядел на холм, толкая капитана: «Гляди, гляди, твой картошка?» Хабаров с трудом согнулся, поднял с земли картошину что булыжник и тут же выронил. Она глухо стукнулась и не покатилась. Казах дожидался, что скажет начальник. Потом тронул его за рукав шинели, но в той будто не было руки. «Слышишь, убили», — проговорил капитан. Старик удивился, нахмурился и побрел в сторонку к своим, и казахи зашептались.

Вдруг в степи истошно закричала гуделка, которой зывал грузовик, распугивая мертвую тишь. И тогда капитан сломился, это и выглядело так правдиво, будто человек пошел на слом, рухнул. Его начало ударять в бока, сминать, но без единого стога, а потом он обрушился на колени и врос в землю. Казахи попятнулись, но бросить этого человека так и не решились. Когда грузовик рванулся в обратный от лагеря край, старик что-то надрывно прокричал ему вослед, топнул в сердцах сапожком и запахнулся потеплей в шубу. Дождаться казахам было нечего. Стоя без движения на том гиблом месте, они лишь зябли. Однако старик неожиданно повелел всем оставаться, пожалев капитана. Казахи сели неподалеку на землю, так они укрылись от ветра, точно прижавшись к ней. А ветер рыскал поверх голов. Промерзая, старик затянул песню, причитая под заунывное ее гуденье, а когда он устал, то пели по кругу его родичи, а он слушал.

Уже из ночи вынырнули разгоряченные всадники. Молодые спрыгнули опрометью с коней и подскочили к ослабшему старику. Тот ворчал, опираясь на их руки. Когда же он взобрался на подведенного коня, сделавшись в седле и строже и крепче, то послал спешившихся ближних людей, чтобы подобрали у холма капитана. Хабарова силой оторвали с колен. Завидя топчущихся коней и их хозяев, он без ропота пошел в руки набежавших казахов, и его закинули на коня, наездник которого был совсем мальчонка. Почувяв, что скоро пустят их вскачь, кони заплясали; их мохнатые морды с раздутыми жадными ноздрями задрались на степь, откуда дышала черная непроглядная пропасть. Старик унравливал жеребца, прощаясь без жалости, но и долго с тем злым, найденным им же местом. «А картошка был твоя, капитан!» — воскликнул он, будто все разгадал, и струнулся в свой путь, не дожидаясь ответа. Казахи рассыпались, взвихренные ударившим в них ветром, исчезая по другую сторону ночи. А маль-

чонка развернул коня кругом и чуть спеша поскакал к лагерю, как ему повелели...

Заслышав одинокий конский топот, Илья вышагнул за ворота, наскочив грудью на подъехавшего коня. Животное шарахнулось взад, ушибленное водочным духом, а Перегуд остался цел и не покачнулся. Капитан сам спешился, но дальше не пошел. Мальчонка шмыгнул плеткой и был таков, так что Илья засомневался, невредимым ли отпустили казахи Хабарова. «Ты живой хоть?» — позвал он, и капитан проснулся. «Сгнила, сгнила картошечка, даже свиньям не отдали, даже черви не пожуют... Там она вся, на камнях, и лежит каменная». — «Чего по ней слезы лить, Ваня. Трудов жалко, что даром горбатился, но это сам виноват, потому ничего не делай, никому не верь, а пей-ка ты водку. А мы драпали в степь, будем драпать и дальше, всю землю обойдем. Она же круглая, Ваня, радуйся, гляди-ка ты вдаль!»

Капитана будто обожгло, так он этого брехливого пьяницу невзлюбил, который посмеялся над его горем, хоть если Перегуд для чего и смеялся, то хотел его утешить, чтобы в нем не кончалась жизнь. Невзлюбив последнего родного человека, к тому и приложив силушку, чтобы невзлюбить, капитан все, с чем сжился, разом обратил в чужое, чего исподволь и хотел. Они еще стояли рядом, и Перегуд проводил его в канцелярию, не отступая ни на шаг, думая, что провожает заблудившегося друга. Он и остался спать в канцелярии на голом полу, хотя Хабаров его сам прогонял. Илья не подымался, сколько тот его ни выпихивал. «Радуйтесь, радуйтесь!» — постановил капитан, а Илья лежал себе тихо и лишь похлебывал из бутылки, которую единственно со всей решимостью прижимал к груди, когда тот вздумал ее вырвать да выбросить. Таким трезвым, далеким, точно льдышка, Илья никогда своего ротного не видел, в нем и сонливого хмеля на дух не было, точно даже в машине. Перегуд беспокоился в ту ночь, то засыпал, то просыпался, будто что-то могло случиться. Раз проснувшись и увидав, что капитан все пишет и пишет, он пожалел его: «Порви, брось, а то снова придут...» Хабаров поворотился, испугавшись за спиной голоса, и тогда Илья сквозь дремоту увидел его измученное, сморщенное лицо, похожее на промасленную ветошь, а вовсе не трезвое. Проснувшись еще, когда уж светало, Илья увидел пустующий стол и разбросанные кругом клочки бумаги, а сам капитан валялся в койке, дрых и посапывал. Илья стянул с него сапоги, укрыв шинелью и слег опять же на пол успокоенный...

Разул глаза капитан в самое позднее серое время. Илья дышал в канцелярии перегаром, будто покуривал. «Вот и доброе утро, проспал ты службу!» «Я не собака, чтобы служить, — ошетинился капитан, — чего захочу, то и буду делать, уж ты мне не указывай». «Это верно...» — согласился охотно Илья, имея верблюжий запас терпения, а капитан отвернулся, уткнувшись в стенку, которая шумела навроде водопроводной трубы. По ней простекала вся казарменная жизнь, которая в одну ночь опротивела Хабарову и которую стенка безучастно впитывала с голосами, со всем живым шумом.

Расшевелился он, оголодав. С прошлых еще бешеных, гонких дней он позабыл о еде, но теперь все нестерпимей испытывал голод, будто еду прятали от него за стенкой и он слышал, как ее поглощают другие. «Дай пожрать!» — вдруг потребовал он с той надрывной решимостью, которая вразумила Илью. Тому почудилось, что, отвернувшись к стенке, капитан и ждал так долго своей пайки, которую ему забыли подать. Перегуд, виноватясь, кликнул самого сытного для капитана. И в канцелярии живо накрыли стол. Метнули на стол пшеничную кашу, компот из сухофруктов с кислыми волосьями фруктов, похожих сплошь на ревень. Было много ржаного хлеба и румяных шкварок с перцем и солью, в которые нарочно для капитана извели шматок говяжьего сала. Поглотив все кушанья, Хабаров надулся и отяжелел, но так и не стал сытым, то есть довольным. «Продали! — заговорил он с Илей, покрываясь на щеках кровавым багрянцем. —

Этот полк надо, как заразный, сжечь. Нету в нем ни одного человека, чтобы его пожалеть, кругом зараза. Генерал мне звонил, но они и генерала продадут, я-то знаю! Ну, я успею, вот он приедет, значит, я скажу ему, что надо с этим полком делать. Облить, значит, бензином и поджечь. Пускай он такой приказ мне даст, а я уж все сделаю!» «Это верно, Ваня...» — соглашался, скучнее, Перегуд, и капитан захлебывался, погружаясь в эдакое зловонное забытьё. Все забывая, что говорил, он вдруг покрывался тем же багрянцем, выныривал надутым пузырем: «А меня продали! Где бы бензина взять, чтобы всю эту заразу сжечь... Генерал мне звонил, честный человек, я ему верю. Но его же продадут, продадут...»

Илья устал слушать тошнвые речи капитана, мучался он и потому, что не понимал трезвости Хабарова, когда тот был похож на выловленную из пресной воды рыбу, а заговаривался, будто пьяная морда. «Ну чего ты можешь сделать-то?» — не вытерпел тогда Перегуд, не в силах больше выносить этой пытки. «Чего я могу, чего... — разжалобился капитан, и в голосе его зазвенела бывшая искренность, но неожиданно выпалил с бешенством: — Да я все разрушу!» Тогда лишь Илье сделалось не по себе, он отпрянул от него, вскочил и произнес беспомощно: «Я с тобой сидеть не буду, сиди один, если ты стал такой сволочью». Капитан с удивлением поглядел на него, задирая до вершины той горы голову, и заговорил, чуть сдерживая ярость: «Все будет кончено с тобой, Илюшка... Ты есть трутень и халыва, а не казак, уходи из моей роты». Тот потемнел, сдавился и, неуклюже развернувшись в тесной ему канцелярии, наступив на взвизгнувшую табуретку, двинулся потихоньку к дверям, с трудом одолевая эту ходьбу, будто ноги его были из бревен.

Хабаров явился к солдатне в пищеблок жадный, что ли, до жратвы, потому что успел уже поглотить четвертую пайку, хотя обычно если употреблял пищу, то со всей ротой, вот так же усаживаясь между солдат, дожидаясь подачи котла, получая в очередь свою пайку. Потому и встретили ротного буднично, многие его и не приметили, откуда усаживались, а то и дрались за местечко. Двое солдат приволокли котел, то есть огромную кастрюлю, в которой мог бы свернуться калачом пронырливый человек. Ее тяжело взвалили на стол, кругом загудели, а тех, кто сидел ближе, обдало сытным жаром. Варёво пахло сдобой, хоть могло оказаться самым несъедобным на вкус, в кастрюле могли бы сварить и тряпку. Нетерпение, живой людской гул потому и происходили, что всякий хотел поскорей варёво испробовать, чтобы испытать облегченье. В это мгновенье, быть может самое бесхитростное в их жизни, и высочил Хабаров, так что всех напугал. «Я вам порадоюсь, суки! — вскричал он, задыхающийся, жаркий, что и варёво. — Я вас во имя правды и справедливости приговариваю!..» Он уже говорил с потугой, потому что вытягивал и переворачивал стол, по которому, дымясь и жаря, сплывала к краю кастрюлища. Опрокидывалась она тяжело, будто срубленная с плеч голова, разбрызгивая варёво что кровушку и разливая. Солдатня шарахнулась от того места. Обессиленный, точно бы сдавшийся, капитан глухо проговорил: «Что, ужрались?» Ответить ему никто не посмел, да никто и не успел еще опомниться. Уходя он без радости пригрозил: «Ждите меня, теперя к ужину наведуясь».

От затишья сам воздух в казарме сделался трескучим, морозным, скывая не дыханье, а души. Не сказать, что еще замышлял капитан, но, скрывшись в канцелярии, появился он пораньше ужина и пошагал прочь из казармы, по стороннему делу. Пройдя слепо двор, капитан все же остановился у будки. Это место по всей роте и осталось ему дорого, он его разглядел сердцем и вспомнил. Замок на будке отсутствовал с тех пор, как она была взломана особистом, но это же вселяло в развалюху тот живой вид, будто в ней завелся свой пропащий житель. Какова же была неожиданность для Хабарова, когда он и вправду обнаружил живущего в будке человека. Там, где бывала его картошка, прятался от людей спасенный из говна солдат Петр Корнейчук, которого капитан и узнал с трудом, вспухшего, в жалких обносках. Завидев капитана, тот бросился ему в ноги, ра-

дуюсь в слезах и спеша: «Товарищ капитан, подивитесь, мочи моей нету, что залаживал вас, хлопцы ести не дают, чоботы посбирали, бьют мене, шоб я у параши спал, а с людьми зараз не залагивал... Подивитесь, подивитесь, товарищ капитан, сполшите мене до хаты, хоть куда сполшите...» Пережив, должно быть, последнюю утрату, Хабаров страшно вскричал: «Да подыхай же ты!» И выбежал в беспамятстве из будки. С вышек видели его, плутовавшего в степи. Он то терялся из виду, то обнаруживался, становясь заметным вдаль, где одиноко стоял голым столбом.

Вернувшись в роту, Хабаров снова заперся в канцелярии, а его явления солдатне за ужином, которого ждали, порешив чуть не связать его на смерть, так и не произошло. Пожрав без удовольствия, солдатня повалилась спать.

Глубокой же ночью на дворе раздался страшный грохот и треск. Люди повскакивали из казармы, решив, что начинается землетрясение, но увидели лишь разрушенную в щепу будку, под руинами которой отыскивали Корнейчука. Говорить он не мог, а рыгал, выпячивая чудовищно раздутый живот, с петлей на бычьей шее. Ночью Петр Корнейчук сожрал сколько смог из ротных запасов, сожрал зиму, сожрал январь, февраль. Но солдаты его не забили, позвав лучше Хабарова, думая, что сам капитан и забьет, чтобы раз и навсегда отплатить за тот донос. Однако Хабаров дождался утра и потом повел Петра Корнейчука в степь. В степи они остановились, постояли, как видела раззадоренная солдатня, но после Хабарова пошagal в роту, а Петр Корнейчук — в ту сторону, к Долинскому лагерю, куда сам капитан указал ему дорогу, не зная другого ближайшего места на земле. Возвращался он с тем видом, будто все же солдата убил, потому к нему побоялись подступиться и пожаловаться, что правды нету. Он зашел, пряча глаза, в казарму, так что служивые остались во дворе, побоявшись и заходить следом за ним. А дожидаясь, дождались пальбы. Выстрелы сотрясали казарму долго, точно таран. Когда все смолкло, в казарму еще долго не входили. Кто же первый заглянул в канцелярию, тот увидел, что Хабаров жив. Воздух прокоптила пороховая гарь, а сам Хабаров, лежавший на койке, весь укрыт был известкой будто снежком. В потолке же звездилась пробоина: капитан расстрелял пустой потолок.

С того дня, с того расстрела, Хабаров отказался от пайка, от питья. Скинув ватный матрас, он пластался на крепких железных пружинах, без воздуха, без небесного света. Вскорости капитан начал взаправду вонять, оброс бородой и уже забредил, окунаясь все глубже в беспамятство. Догадавшись, что это не запой, что ротный вздумал уходить из жизни, стали его кормить силой, будто живодеры. Закатывали рукава, чтобы не замараться. Потом раздирали капитану рот немывтыми ручищами и заливали его всего жидкой баландой. Кормильцы казались ему интендантами, собравшимися выселить его, прогнать, и капитан стонал: «Погоди, не трогай... Я вот помру...»

А больше и некому было за капитаном приглядеть, потому что Илья Перегуд в роту не вернулся. В тот же день, в какой прогнал его Хабаров, он решил уехать от него навечно в Угольпункт. Сел он на дрезину, столковавшись с вертухаями, чуть ли не сам вертухай, и отправился. Дорогой эти его дружки стали ругать Хабарова, на которого их поменял Илья в прошлые годы. Тот их слушал и сам капитана ругал, но вдруг разозлился и принялся защищать капитана, да так горячо, что посбрасывал всех, кто плохо про Хабарова говорил, с дрезины, а уже в Степном вырвал кусок рельсов, прекратив по всей ветке движенье. Уже в Угольпункте, где на него нажаловались искалеченные вертухай, Илью пришли сопроводить за гот проступок на гауптвахту. Конвой он тоже раскидал и чуть не разнес общежитие, так что если бы не уговорил его комбат, пообещав не брить и разрешив употребить на гауптвахте водку, то во всем городишке могло бы произойти крушенье.

В эту скучнейшую пору в Карабас прибыл полковой грузовик, груженный доверху картошкой, но гнилой; пакостный ее дух так и ударял из ку-

зова. Сказали же, что возвращается та самая картошка, какую забрали у роты осенью, столько, сколько по описи числилось мешков. Известили также, что в полку сменилась власть. И поставили о старом полковнике в известность, что его больше в полку нет и будто бы приезжал генерал и навел порядок.

Через денек-другой в роте праздновали Новый год, наскребая из гнилой картошки праздничный паек. Капитан заживо гнил в гробу своей канцелярии, не зная, что наступает новое время. Ему выделили картошки. Картошку эту затолкали ему в рот, хотели, чтобы жевал, а он ее вытолкал.

Глава восьмая: «Новые времена»

Петр Валерьянович Дегтярь, будто у него заело часть мозга, ничего не умел бояться, разве что терпел да стеснялся, как с той же своей лысиной, которая грозила ему сверху, что превратит в посмешище. Замечая Победова во время его болезни, Дегтярь успел свикнуться с новым для себя местом, наводя порядок в погоревшем полковом хозяйстве, торопясь успеть к проверке. Федора Федоровича он ни разу еще в госпитале не навещил, и лишь когда стало известно, что комполка благополучно выписывают, собрался его проведать с тягостью, будто ехал к умирающему или сам помирал.

Ведомство отстроило госпиталь с тем блеском, что он походил на курорт. Окружал его ухоженный парк с аллеями и беседками, по глади которого и плыл госпиталь будто пароход. В нем поправляли здоровье заслуженные люди, то есть ветераны, и начальство из областных. Победова уже перевели в палату для выздоравливающих, потеснив отставного генерала. Этот генерал считал себя начальником в палате. Он и без того был недоволен, что к нему подселили какого-то полковника, хотя они с Победовым были одних лет. Он так и влепил пришедшему Дегтярю: «Генерал-лейтенант Прошкин», отчего Петру Валерьяновичу, стесняясь, пришлось отдавать честь. Наряженный в махровый халат, генерал носил его небрежно на плечах, как бурку. Формой же его были, даже в госпитале, строгая рубаша и штаны с красными лампасами. Он прохаживался по палате под ручку с черным, наилучшего производства приемником, по которому без передышки гнали новости — со строек, заводов, полей... Он вслушивался в них, чуть преклоняя твердую голову, точно бы свихнул шею, и то и дело вставлял: «А это вот правильно, правильно, это я поддерживаю... Ну куда глядят, всыпать всем!.. А это вот хорошо, хорошо...» Вещь эта, приемник, была дорогой и сама по себе, но все указывало на то, что генерал получил ее в награду, хоть в юбилей, потому-то и дорожил; не выпуская награду из рук, а лишь приглушив громкость, начал он со всей серьезностью допрашивать Дегтяря, точно тот явился к нему докладывать. Дегтярь отчитывался битый час — ну как было перечить, пускай и отставному? Утолив некую жажду, отставной вымолвил: «Ну не подкачай, можешь идти». И уселся с шумом, со стрекотом бриться, не замечая никого вокруг себя. Брился он с тем удовольствием, хоть и казалось, будто давно выбрит, когда бы и бритва была пожалована ему за заслуги. Так что Дегтярю с полковником пришлось удалиться, чтобы его не тревожить.

Победов выглядел усталым, он боялся спросить первым, что происходит в полку, хоть стороной от других обо всем знал. «Как со здоровьем?» — выговорил Петр Валерьянович. И полковник поспешил разболеться. «Дышать не могу, как схватит, хоть бы проверку эту пережить... Развалили, говнюки, мне полк, гляди, послетаете у меня уж напоследок...» Дегтярь тогда принялся виновато докладывать, как и что он делал в отсутствие полковника. Победов слушал его с холодным довольным видом, ему понравилось, что начштаба все же явился к нему, терпеливо сносил попреки, то есть не восставал. Ободрившись, полковник с удовольствием

даже перебил его, позволяя себе поглубже одернуть: «Шляпу-то свою сними, все же в помещении находишься». И начштаба, замаявшись на минуту, снял головной убор. Победов его так и недослушал, опять оборвал: «А ты небось уже к моему кабинету примерился? Погоди, я еще сам в нем маленько посижу. Ты, знаешь, на руках меня носи, тогда погляжу, может, и получишь полк». «Федор Федорович, я не понимаю, я всегда, как прикажут...» — не выдержал Дегтярь. «Как прикажут... Жди от вас благодарности... — пожаловался полковник ослабшим голосом. — Хоть бы передачку собрали, позаботились. Другим носят, а у меня в тумбочке ничего нет, стыдно-то как. Все угощают. Вот и товарищ Прошкин конфету дал. А у вас вот что в душе, знаю я вас...» Дегтярь встал. «Ты куда?» — нахмурился Федор Федорович. «Поеду в полк». — «Ну поезжай, поезжай, готовь, я с тебя спрошу... Говорят, ты Скрипицына оставил? Ну ладно... Передавай диверсанту этому привет, я с ним еще потолкую, может, прощу». Поднялся, кряхтя. Казенный халат был ему велик, хотя и пошивом и опрятностью отличался безукоризненными. Поворотившись, он пошлепал к своей палате и постучался. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите войти?»

Ноябрь в Караганде походил чем-то на северные белые ночи. Воздух в городе был прохладен, светел и свеж. Еще даже торговали арбузами, которые привозили с южной стороны степи. То был месяц, когда не выпадало ни снега, ни дождей. Земля высушивалась, как бельё на морозе. Вечерами холодало, будто в город входила на постой зима, зато стоило разойтись дню, как всё кругом согревалось и зима уходила.

Выписавшись из госпиталя, поспешив воротиться в полк, Федор Федорович успел присвоить себе весь тот порядок, который поторопился навести Петр Валерьянович, неизвестно для кого стараясь. Сам он отодвинулся в сторону, казалось, не посторонился, а провалился под землю. Скрипицына, разжалованного с должности, но остававшегося в полку, упустили из виду, и он бродил повсюду, похожий на одинокую лошадь. Никто не знал, что за генерал явится с проверкой, но в те дни о нем всякий прапорщик со знанием, с жаром рассказывал, будто этого генерала ничем не подкупишь и будто он служит, опираясь неизвестно на чью силу. Проверялись азиатские округа, полки в Ташкенте, Ашхабаде, во Фрунзе, откуда уже исходили самые страшные слухи, что генерал Добычин есть человек новый и беспощадный, какого еще не видывали войска. Однако ничего от этих слухов не поменялось, и встречала генерала Добычина такая же Караганда — в сонливых лучах солнца, вся перед зимой изнеженная.

Увидав живого Добычина, в полку снова испытали потрясение: из машины вылез рослый, вовсе не пожилой, а в самом расцвете сил, красивый, как серебро, и не почерненный злостью татарин. Может, он и не был тарином, кем бы он ни был, но слепила его природа с вдохновением. Сила запечатлялась во всем его облике. Тугие глаза, скуластое лицо, сомкнутый крепко рот, и сам он был жилист да крепок. Он выдавался из тех людей, что окружали его, а сопровождали генерала угодливые, в какую бы позу ни становились, чинуши. И это было удивительным зрелищем: казалось, будто волк погоняет перед собой отару дрожливых овец. Потому, хоть ничего страшного в самом Добычине не было, он все же казался страшным, может, и беспощадным. Однако увидев, что в командах полка ходит престарелый человек, Добычин обошелся с полковником очень уважительно, то есть поздоровался с ним лично за руку, отчего рука у Федора Федоровича чуть не отвалилась, потому что с ним еще такого за всю службу не случилось. Так стало известно, что Добычин все же уважает стариков и что он сам себе генерал, птица.

Был выстроен на плацу полк к его прибытию. В полку гордились своими парадными, нарочно гордились, умнее остальных полков обзаведясь знаменитым оркестром. Чтобы заполнить музыкантов, сам его капельмейстер ездил вербовщиком, отыскивал в толпах людей, которых гнали отбывать воинскую повинность, валторнистов да трубачей и мог обменять дру-

гому вербовщику двух дюжих украинских парней, возросших на галушках со сметаной, на хлипкого еврейчика, который с детства знал всю правду про басовый ключ. Такой парад сражал генералов, если им случалось его принимать, столько крови было потрачено на выгонку железных маршей из живых, сбитых в нескончаемые ряды людей.

Победов, напуганный генералом, неожиданно омолодился, и когда командовал на параде сменами, то голос его звенел над плацем. Ноги, руки его затрещали, будто спелые арбузы, когда он вдруг подскочил к генералу для рапорта. Когда же отрапортовал, то не встал за его спиной, как стояли тихонько полковые с чинушами, а сам показал генералу спину, сделал «кру-у-гом», и пошагал, выкидывая ножку штыком, к замершему в строю полку, где и встал под знаменем, осенился. И сам гаркнул: «Ша-аго-о-ом!..» — вытягивая трубно глотку. В рожках изобразился испуг, что полковник собьет всех с шага, сомнет в гармошку стройные до того ряды, но Федор Федорович задал такого жару, что весь полк, задыхаясь, рвался с радостью за ним, за лихой своей головушкой. Добычин терпеливо проглядел парад, но остался безразличным. «Шагать умеете...» — сказал он даже сухо, без теплоты подскочившему за похвалой взмыленному полковнику. И так было сделано другое открытие: что природа Добычина отнюдь не солдатская, если он не понимает и не ценит красоты строя.

Куда охотней генерал пошел погулять по полку. Все он разглядывал, всем интересовался, будто бы делал для себя глубокие выводы, узнавая полк. А в глаза ему лез скупой глянец, эдакий заштатный, тусклый, и тем заметней было, что в полку ему вовсе нечего делать, если он не служит, не командует в нем, а прилетел из другой жизни. Должно быть, и самому Добычину было в тягость проверять заштатные части, будто тратил даром время, участвовал в ничтожных обманах. «Я слышал, что вам тут красного петуха подпустили?» — обратился он к полковнику, вполовину шутя, вполовину намекая, да и то от скуки. «Так точно, товарищ генерал, этот факт имел место, — промямлил полковник. — Горели». «Воздух, что ли, горел?» — устал дожидаться ясного ответа Добычин. «Никак нет, грузовой парк», — отвечивал Победов, покрываясь крупными каплями пота, заливаясь даже не краской, а живой своей багровой кровью, потому как генерал и остановился с толпой чинуш подле самого грузового парка. Зачаженную бетонку отскоблили, обглодали точно кость. Ангары отстроили заново, понатыкали для благоустройства деревьев. «Что же тут горело?!» — воскликнул Добычин, которого все же вынудили разгневаться. Возглас его беспомощно повис в воздухе, но был вдруг подхвачен мешковатой фигурой с портфелем, которая скрывалась тенью за чужими спинами, а тогда начала пробираться сквозь толпу, обрстая, ко всеобщему испугу, мясом. «Товарищ генерал, я знаю, что тут сгорело! Тут сгорела правда, товарищ генерал!»

Он пустился вплавь по головам, вздергивая портфель, точно боялся подмочить его содержимое, тогда как кругом на его плечи навешивались эти жидкие люди, пытаясь утопить, но даже морская буря не остановила бы этого отчаявшегося человека; он выбросился к генералу с тем жалким видом, точно и вправду побывал в воде. «А это кто такой?» — не испугался, а удивился Добычин. «Этот у меня начальником особого отдела был, мы его тут, товарищ генерал, даже хотели судить...» — торопился, не помня себя от страха, Федор Федорович, для которого, казалось, кончалась сама жизнь. И неясно, что имел сказать генерал, когда не раздумывая при казал своим офицерам, державшим дрожавшего Скрипицына: «Разбери тесь с ним, потом доложите мне». «Товарищ генерал...» — попытался объяснить Победов, но Добычин опять заскучал.

Когда тронулись потихоньку с места, казалось, что полк уже не проверяют, а хоронят, разве что впереди не тащили на плечах гроб, и если останавливались перед строением, чтобы перевести дух, то стояли будто над могилкой, будто готовились бросить по горстке земли. И лица у чинуш были самые скорбные, и полковник хватался за сердце, хотя Добычин

мирно заговаривал с ним, если что-то было ему непонятно. Узнав походя, что старый полковник нарочно выписался из госпиталя, он даже похлопал Федора Федоровича по плечу: «Ну что же вы, долечивались бы...» «Так точно, так точно...» — растроголся тот. В штабной столовой накрыли стол, генерала пригласили отобедать чем богаты, но и обедали все так же, будто справляли поминки. Тем обедом завершился первый день пребывания Добычина, на завтра же он должен был провести в полку партийное собрание, чтобы доложить текущую политику партии, и неизвестно, что было делать генералу в полку на третий день, верно, тот же парад и прощальный, уже на дорожку, обед.

К полудню, когда было намечено собрание, служивые съехались в полк со всех рот — это были комбаты, а также выборные из коммунистов, пожившие уже мужики. Выезд для них был праздником; тут встречались старые товарищи, своики, которых разбросало службой. Клуб заполнялся будто дом, вытирая отчего-то ноги при входе, а кто уже успел разместиться, те радостно распахивали объятия товарищам как гостям, которых и усаживали рядом, для чего загодя эти ближние места держали. Радостный этот гул стих, когда на подмостках, невысоких, точно крутая ступенька, уселся президиум за тремя столами, покрытыми кумачом. Все выглядывали генерала. Лбы, поблескивая, вымостили замерший клуб, и речи зашагали по нему как по живой площади. Докладывать поднялся генерал Добычин, который так ясно выразался, будто на глазах у всех вырезал словами из воздуха ключья. Затем докладывал Победов. Как потом вспоминали, его речь была напористой, привычной, хотя другие, числом не меньшим, утверждали, будто полковник едва ворочал языком как сваренный. За полковником выступали начальники и коммунисты помельче, выступал и начштаба, нудил, а чего — никто и не мог по прошествии времени вспомнить. Воздух делался душным. «Товарищ Андропов, бу-бу-бу, Юрий Владимирович, бу-бу-бу, генеральный секретарь, бу-бу-бу, партия» — вот этот Юрий Владимирович и расхаживал по лбам, в задних рядах где-то усаживаясь. Добычин, чуть послушав, принимался хлопать, потому что с него хлопанье и начиналось, а в таком положении ухо остро держать надо. Под конец шло голосование, служивые толком не запомнили, что обсуждалось, и проголосовали лесом, облегчая душу. Что случилось потом, когда полковник Победов, командир полка, объявил собрание закрытым, люди, подымаясь с мест и расходясь в толчее, толком не разглядели, клуб уже наполнился тяжелым гулом, будто и впрямь покатались по нему булыжники.

А происходило на подмостках, в президиуме, за кумачовыми столами вот что. Когда Федор Федорович поднялся, закрывая собрание, поднялся скоро и Добычин. «А что это за история с капитаном, который у вас картошку посадил?» — спросил он, похоже, будто намекал или шутил, соскучившись, но уже и с большим интересом. Победов тогда опять покрылся потом, побагровел и выпалил: «Никак нет, товарищ генерал, это безобразие мы прекратили, не сомневайтесь». Генерал на мгновение скис, красивое его лицо потемнело, но все же принялся рассказывать с усмешкой как бы для всех случай из своей жизни: «Когда я еще на оперативной работе был, сообщили, тоже из армейской части, что поймали шпиона — политотдел сработал. Приезжаю, а в карцере сидит солдат, молоко на губах не обсохло. Я говорю: ну и какой он шпион? Предъявляют мне потрепанную книжку на иностранном языке: вот, читает по ночам, списывает. А знаете, что это за книга оказалась? Учебник для студентов по английскому! Хорошо хоть паренька выручил, может, проклянется из чертополоха нашего голова светлая, что и чужие языки будет знать». «Да, да!» — отозвались чинуши вокруг Добычина, стараясь кто громче. И он уже успокоился, собравшись направиться своим путем, как вдруг вылез тот, кого он во все время не замечал, хоть тот и был рядышком, но отстаиваясь всегда за полковником

Что-то случилось с этим человеком, гнутый-перегнутый, он сломился. Быть может, Петру Валерьяновичу подумалось эдак вмиг, что полковник уже потонул и может потащить его за собой на дно, как и грозился. А может, ему нестерпимо ярко пригрезилось командирство эдак в один миг. Дегтярь, сам себя не помня, доложил в образовавшейся после одобрений тишине: «А у нас в полку, товарищ генерал, эти светлые головы погибают, у нас семь солдат...» И тут закричал Добычин, разворачиваясь, наступая: «Почему раньше не докладывал, подлец? Почему через голову начальника?!» Бросив перепуганного неживого начштаба, не желая мараться, генерал в гневе отыскал Победова, который после его шутейного рассказа чуть держался на ногах, заваливаясь к столу, ухватившись за сердце. «А вы если не смогли со всем разобраться, то подавали бы давно рапорт, уходи б в отставку!» «Так точно, товарищ генерал, я подаю...» — лепетал Федор Федорович, весь отклоняясь, точно генерал дышал на него огнем. И тот отступил, бросая и полковника. «Дождутся, что судить их надо будет», — ворчал он, спускаясь с подмостков со всем своим овечьим окружением.

Служивые из отставших еще толпились у входа, с удивлением вглядываясь в то, что происходило вдалеке от них, в глубине клуба. Они уважительно расступились, пропуская генерала. Тот оглянулся, увидав издали в последний раз кривявшегося на пустых подмостках старика, и не сдержал усмешки: «А этот все умирает...» Его услышали, потому скорей хлынули за ним, боясь еще присутствовать в клубе. Дегтярь, которого совсем затолкали, плелся в самом хвосте, горестно вздыхая, ничего не понимая кругом. «Товарищи, помогите...» — услышал он, может, что и шепот полковника, но боялся оглянуться, будто его шея повисла на волоске; ему было нестерпимо стыдно, хуже, чем вору. Боясь оглядываться, он замертво вышел из клуба последним человеком. Победов же опустился на стул. Все ушли, а он остался в пустом президиуме, навалившись бессильной грудью на покрытые кумачом, для того и покрытые, что канцелярские, столы.

Старика не хватились, всякий убежал, всякому не терпелось с этого собрания поскорей скрыться. А солдаты поленились убрать в клубе тем же вечером и явились потихоньку утром, чтобы убрать, волей-неволей. За ту ночь голодные клубные крысы погрызли умершему полковнику ноги, сожрав с них прежде яловые офицерские сапоги, от которых остались под столом президиума куски каменных подошв и гвоздики. Узнав об этой смерти, генерал Добычин заплакал. Дольше пребывать в полку ему не хватало сил, но и ехать не хватало решимости, будто его осудить должны были или оправдать. Устроившись временно в эти часы в кабинете старого полковника, он вызвал к себе начштаба Петра Валерьяновича Дегтяря. «Значит, иуда, будешь ты командовать у меня этим полком», — произнес он, ожидая, что увидит человека подлого, затаившегося, но увидел как бы безликий обрубок от гвоздя и смолк, с теми словами и выгнав его. Потом хватился, вспомнил, приказав доставить к себе того человека, с которого все и началось. Скрипицына к нему доставили с гауптвахты, где он еще содержался, куда решалось его дело, о котором генералу как раз перед тем злым собранием было наскоро доложено ближними, но тогда он поленился задумываться, чтобы дать свой ответ. Когда Скрипицына ввели в кабинет похожего на выловленную рыбу, поглупевшего, со всей холодной тяжестью, ушедшей в будто бы зрячие, широко распахнутые глазищи, Добычин пробормотал, борясь с гневом: «У тебя есть отец, мать?» «Отсутствуют...» — произнес тот, не понимая, ради чего спрашивается. «А тебе этого старика, который тебе в отцы годится, не жалко было поносить?!» Они встретились взглядом, Скрипицын глядел, не умея скрыть своего изумления: «Я правду про товарища полковника говорил... Его покритиковали, а он умер». И генерал выскочил из-за стола, закричав: «Да ты дурак, убирайся!» И тогда этот Скрипицын послушно пропал, так что Добычин удивился его прыткости...

Уже у штаба, куда подогнали машины, выходя на крыльцо, он никак не мог все же отвязаться от этой фамилии. «Скрипицын, Скрипицын...

Восстановите, что ли, его в должности — кем он у вас там был?» — бросил он на ходу, и его успели услышать.

Черные парадные машины, точно бы затянутые в лакированные мундиры, завелись и без торжественных проводов, казалось, удирая в сумерках, выехали из полка. Свет в кабинете старого полковника погас. Быть может, его потушил, выходя прочь, сам генерал Добычин. Полк погрузился в мертвый мрак. Принужденные неусыпно стоять на постах, караульные той ночью пребывали в унынии. Они вглядывались в железную черноту, чуть различая в ней глухие очертания полка, и вздрагивали от всякого звука за своей спиной, чего прежде отнюдь не бывало. Бывало, притопываешь, оголодал, продрог, а вдали окно полковника для всех горит, хоть прикуривай. И пускай всякому известно, что никого в том кабинете нет, но делалось покойней от дармового факела, оставленного стариком напоказ, для внушительности. Что свет погас безвозвратно, в караулах той ночью постичь не сумели. Жаловались, что темень понапустили, что начальство для себя света не жалеет, а для людей бережет. Постичь не сумели и проверки, какой с нее толк. Генерал приехал и уехал. Сделал всего одно назначение — так уж сделал. Сместил одного полковника — так уж сместил. Куда глянуть успел, там и случилось, вот и вся проверка, будто год и ждали, чтобы дожидаться, о ком словцо обронит, кого взором мазнет. Однако же слава за генералом Добычиным, что он беспощадный человек, утвердилась еще крепче. Узнавая его личность в этот год, в войсках его даже прозвали Батыем.

Когда Петр Валерьянович Дегтярь явился на службу в полк, то началась она с того, что дежурный офицер не доложил ему и не отдал, хоть и глазела вокруг солдатня, чести. Отовсюду на него косились, шептали про него. В приемной старлей Хрулев расплылся в улыбке: «С добрым утром вас, товарищ подполковник, поздравляю...» Дегтярь опустил виновато глаза и прошел в кабинет, откуда с мученьем и выглянул из оконца. Солдат выгуливал по плацу расхристанной метелкой клубы пыли. Из грузовика, что пристал к столовой, солдаты выгружали свежевыпеченный хлеб. Жизнь двигалась сама по себе, по-заведенному, а Дегтярь уже не мог выйти на плац и просто заговорить с этими солдатами, для которых стал чужим. И все выжидали, кто осмелится заговорить с Дегтярем первым.

Первым в кабинете командира полка объявился Скрипицын. Он вошел без стука, по-свойски, покрепче захлопнув за собой дверь, это перед носом старлея Хрулева. «Я пришел сказать, что я вас уважаю, вы для меня не изменились, я умею, Петр Валерьянович, помнить добро, — снизошел Скрипицын. — Все мы люди, у всех бывают ошибки в жизни. А я вас в смерти полковника и не виню. Похороним с почестями, как бы ни было, а он с почестями заслужил, столько лет командиром. Я вот пришел о похоронах поговорить, не стоило бы откладывать это дело...» Сам того не зная или, напротив, хорошенечко зная, Скрипицын снял с подполковника самый тяжкий груз. Дегтярю было и стыдно, что Скрипицын его пощадил, будто кровь отдал, поделился кровью, а Дегтярь и стыдился-то брать. Они все обговорили, то есть Петр Валерьянович с облегчением согласился со всей процедурой, которую Скрипицын предлагал. В полк труп не завозить, а положить в карагандинском клубе офицеров, выставив у гроба лишь свой караул, а потом на кладбище, на военное, где разрешить залп в честь полковника, — вот и все. «Тут еще такое дело, это как воспримут... — сказал Скрипицын. — Полковник площадь занимал в одну комнату, музея из нее не сделаешь, а потомков у него вроде нет. А я семь лет по общежитиям, штабные у нас вроде все пристроились, с женами. Нельзя ли эту площадь выделить мне, как вы смотрите, Петр Валерьянович? Вопрос грубый, но лучше не откладывать...» «Я не возражаю, Анатолий», — ответил бездумно Дегтярь. Когда Скрипицын удалился, в кабинет вбежал Хрулев: «Товарищ подполковник, я офицер, я требую, чтобы мне предоставили жилье! Вы даете квартиру тому, кто ее кровью обогрил. А я один Федора

Федоровича любил». Тут на мгновение Дегтярь обрел былую волю, прорезался в нем гвоздь: «Он убил за квартиру, ты любил за квартиру, а я любил, да убил... — Однако воля его тут же иссякла, и, безжизненный, он, стесняясь, произнес: — Анатолий служит в полку больше тебя, он нуждается».

Разнес ли этот слух Хрулев, но в полку с тех пор стали говорить, что всем заправляет Скрипицын, чему Дегтярь с облегчением покорился. Генеральское слово защищало Скрипицына крепче брони, даже в дивизии знали, кем отмечен был этот начальник особого отдела, и потому Скрипицын перестал быть подозрительным типом, а сделался обычным типом.

Он довершал дело капитана Хабарова уже без спешки, даже с удовольствием. Скрипицын придумал выслать в шестую роту груз картошки, да не простой, а как бы той самой, что была против правды отнята. Той самой в полку, конечно же, не нашлось, одно гнилье, и как ни хотелось Скрипицыну покрасоваться, а пришлось отгрузить гнилье... Праздник новогодний он отпраздновал с удовольствием, сам удивляясь, что все ему так удалось, будто хотел ехать в одну сторону, а толкнуло стихией в другую. Но отпраздновав, насторожился: его насторожила тишина, будто Карабас пожрал картошку и уснул. Начав допытываться, все кругом обнюхивать, Скрипицын обнаружил, что молчит позабытый поселок уже давно, что дежурные по полку сами добывали из дальней роты сводки, успев донести в штаб, будто никакого начальства в шестой нету. Скрипицын вызвал роту по прямому проводу и говорил непонятно с кем, с дураком, от которого еле добился фактов, будто вытащил из него душу. «А капитан?» — «Тута он, помирает, у нас тута все помирают, у нас и картошку дохлую нашли. А тута новую привезли, гнилую, всю сожрали, начальства нету, капитан пошел помирать, тута жратвы не хватает, куда-та пропала жратва». Взяв с собой двух конвойных, нагрузив продовольствия дрянного, тухлятины и гнилья, которое и так списывали, вооружившись, Скрипицын отбыл на следующий день в командировку, не объявляя о ней громко в полку. Боясь ехать, он боялся и ждать, потому и не сказать точно, какая же такая сила все же подняла его с места и будто по воздуху, будто ветер, переместила из полка в этот злой поселок, в этот Карабас.

Грузовик приземлился на замерзшем опустелом дворе казармы. Как если бы выгружали муку, двор был мелко присыпан снегом. Зима в местечке да и по всей степи не задалась. Растаскивая снег по двору, отпечатывая сапогами белые пыльные следы, такие зубастые, что и подошвы у кирзачей, Скрипицын с конвоем вошли в казарму, в которой пустота дышала кружащим голову паром, будто голодный рот. Может, оттого что голова у него закружилась и он вдруг утратил волю, пускай и хлипкую, Скрипицын первым вбежал в канцелярию, найдя в ней того, кого искал.

Канцелярия была огромной, пугающей: стены в ней исхудали, так что полопалась и масляная краска, провалился пол, обрушились потолки. Все в ней извялилось, иссушилось, так что предметы походили то ли на воблу, то ли на серую бумагу. Хабаров лежал, ничем не прикрытый, в какой-то шерстяной бабьей фуфайке и вовсе без нижнего белья, все из-под него валялось под койку, в засранную посудину. От вида задранной на живот фуфайки, откуда торчало будто бы замшелое бревно, Скрипицын кинулся было бежать, решая не иметь дела с трупом, но бревно издало треск, пошевелилось. В то мгновение Скрипицына догнали конвойные, и Скрипицын, ухватившись за них, будто спрятавшись, заголосил: «Тащите его с койкой, сюда его!» Он голосил так, будто канцелярия горела. Конвойные, которым и самим хотелось бежать, скорей выволокли койку в студеный коридор. Было, что, вытащив капитана наружу, они растерялись, но Скрипицын сообразил: «Найдите тут, прикройте его хоть чем-нибудь, ну потеплей...» Сам же он, сначала пошатываясь, раскачиваясь, с каждым шагом все злей и стремительней направился искать людей.

Люди в казарме были, но их будто бы поубавилось, отчего казалось, что все вымерло, хоть текли себе будни: порядок жизни в роте был до того

паскудным, что бардак. Узнавая Скрипицына, солдаты как пропадали сквозь землю. Собрать людей, вразумить их, чтобы принялись исполнять указания, Скрипицыну удалось не скоро, когда он уже успел растерять свою злобу. Ему пришлось уговаривать, чтобы грели воду, изыскивали хоть какую простынь, белье, спасая своего капитана, он и сам не знал, для чего это делает.

Он просиживал дни у койки Хабарова, будто пес, прикованный цепью. Боялся отвернуться, боялся оставить одного, хоть воля капитана сломилась, и он тихонько поправлялся у него на глазах. Скрипицын не увозил капитана в госпиталь, как бы мог, а мучительно дождался, чтобы тот проснулся. Было, что, лежа в чистом исподнем, в тепле, отмытый до воскового блеска, капитан взглядывал на свет, и глаза его удивленно слезились. Вмиг устая, они смыкались и высыхали, будто земля, но все же из них пробивался росток встречного света. В одно утро, изнывая от затянувшейся командировки, Скрипицын наконец достиг своей цели: ясно глядя, будто бы ждал, капитан с ним встретился.

Он распеленался, руки его лежали на грубом шерстяном покрывале, греясь так, как еще не грелись, приложившись ладонями. Он дышал ровно, чисто, отчего Скрипицын сам испытал в душе легкость. «Не бойся, отец, я не буду тебя арестовывать», — произнес он в том порыве, боясь капитана вспугнуть. Но Хабаров глядел на него с той же ясностью, обретая речью: «Я и не боюсь». Особист с удивлением, неприятным для себя, помедлил, но не посмел наступать, принявшись вдруг жаловаться с чуть слышным укором: «Ты гордый человек, а я нет, ты гордый, а я... Вот твоя гордость, что ты сам другого ломаешь. Что хорошо мне, то тебе сразу плохо». Он жадно поглядел на капитана, требуя хоть ответа, и Хабаров ради него совершил над собой еще одно усилие, хоть и звучал его голос просто, буднично: «Прости ты меня, если сможешь». Скрипицын остолбенел, заглывая беспомощно воздух, что длилось мгновение, покуда он чего-то не осознал, обретая торжественный, хоть и дрожащий вид: «Я тебя спас, отец, а теперь ты меня спасаешь, человек человека, — понимаешь?!» Не выдержав, он раскис, пряча уродливыми ручищами лицо, и забубнил сквозь щели: «Нету у меня никого, никого у меня нету... Но в полку — моя сила, ты знай: чего захочешь, то и сделаем. Все будет, чего отняли! Дом, нет, да я тут целый город тебе отгрохаю, и ты у меня будешь в нем главным. Тут деревья у меня будут цвести, арбузовые! Все, отец, пользуйся, дожил...» «Если не снимут с должности, брошу все и сам уйду», — твердил Хабаров. Но Скрипицын его не слышал, увлеченный своей новой целью: «Значит, жди весны, только дождись — и все у тебя будет».

Узнав, что Скрипицын уехал, капитан Хабаров поднялся и потихоньку начал принаравливать ходить. Ни с кем он не разговаривал, будто ему было стыдно, но что-то он и скрывал. Как-то он вышел во двор слабый еще, но с котомкой за плечами, и люди сами стали собираться вокруг него, желая понять. «Ухожу я, ребята... — вздыхал Хабаров. — Пускай у вас будет другой командир, а мне тут помереть нельзя с чистой совестью, похожу кругом, поищу, где от меня несчастий людям нету». С теми словами он пустился в путь, но чуть отошел от поселка, как его пожалели упускать, побегали жаловаться, догоняя, что трудно жрать тухлятину полковую с гнильем, да еще советов выспрашивали, как служить станут, чем смогут пропитаться. Капитан топтался, вздыхал и поворотился в роту, чтобы проститься по-хорошему с людьми и хозяйством, которых ему стало жалко. За тем днем уговорил он себя еще день погостить, потому что здоровье его крепко, значит, и дела наваливались покрепче. И так он решил, что останется зимовать в Карабасе, а весной с чистой совестью уйдет искать на земле место, где и помрет, если захочется. Служба же наладилась самая тихая. Хоть и взвалил Хабаров на плечи бывшее свое тягло, а не легонькую котомку, люди его в поселке не примечали, да и он сторонился людей, может что и прятался. Когда у него выспрашивали приказов, Хабаров все

сомневался, боялся ошибиться, так что от него уходили да и решали сами без раздумий да побыстрей. И говорили про него: «Гляди, какой вышел из капитана добрый, хоть на хлеб его мажь». «Потому и добрый, что картошку похоронил, небось намучился».

Глава девятая: «Зимний подвиг»

Хабаров любил тихую морозную зиму, когда хорошо — и кругом и на душе. В такую зиму на русских равнинах окуриваются печным дымом избышки точно ладаном. Деревни на огромных просторах стоят заиндевелые и погруженные в высокоую тишину неба, точно леса. Даже собаки не брежут по дворам, и дремлет крещеный мир в пышных снегах. Хоть свечку ставь перед той картиной, чудеснейшей, чем образа... Эту тихую морозную зиму горемычный наш капитан помнил с детства, быть может, больше хорошего он и не видел.

Зимы в Карабасе бывали злые, вьюжные, хоть и случалось, что являлся тот единственный день из капитанова детства, с эдаким румянцем на щеках, но опять же наскакивали вьюги, свирепела стужа, и деньки покрывались сизой мглой. А напоследок, года с два, зимы попутались. Слухи ходили, что природа свихнулась в мировом масштабе и теперь жди беды. Бывало, пропадал снег или вдруг проливался в декабре дождь, так что землю сковывали грязные глыбы льда. Словом, не стало порядка и на небесах.

А в новом году зима началась с февраля, проспала. И, скорая на расправу, похоронила Карабас в глубоких снегах, все заморозив, даже уголь, хранящийся на складах. Его выдалбливали ломами. Он таял, а не горел. Чего расскажешь, если даже лампочки в помещениях покрывались инеем и потихоньку взрывались. Лагерь спасали прожектора, а в казарме да караулке жгли керосиновые фонари.

Чтобы продержаться в эту отчаянную пору, служивые поднатуживались, хотя и казалось, что назавтра никто не подымет их с нар, на которые валились в тулупах, валенках, ушанках, а засыпали в обнимку да вповалку, как если бы братались перед самым концом. Люди с мукой обретали себя, когда дневальный орал подъем, вырывая их из забытья. Он же растапливал печь; стылые руки не слушались, казарма погружалась в унылую возню, будто тюрьма. Люди опять проваливались в забытье, а дневальный опять орал, хоть и знал, что никто не сдвинется, покуда печка не загудит. Тогда все жильцы скапливались вокруг пышущей жаром домины. Не слушая никаких требований, тупо глядели в огонь, заметая без конца уголь в дывающийся печной зев. На них были те же тулупы, валенки, в которых заваливались спать, и они продолжали дремать, но уже сгрудившись у печки, а из валенок дул пар, и тулупчики столбом парились, так что, чудилось, растаивала жизнь. Когда опустевало ведро с углем, поставленное, чтобы выманить народ к огню, раздавалась команда — получить пайки. И люди шли — отрывались от гаснущей печки, отправляясь за котелком горячей баланды, выхлебав которую опять же не двигались с мест. Жевали вечную ржаную корку. Ждали, что плеснут еще баланды, погорячей. А за ночь казарменный двор покрывало снегом. Давеча выгребали, и вот опять выгребай. Еще сутки, и заметет с крыши. Зря прождав в пищеблоке, успевай за то время намерзнуть да оголодать, едоки разбирали лопаты, плетясь с ними в стужу и черноту. Работай, служи — тогда получишь пайку. Проживи, вытерпи этот день — тогда настанет другой.

И капитан был слеппен из того же смертного теста, что и все люди. Он был живым человеком, вся сила которого заключалась в крепости его же здоровья или вот рук. И человек понадеялся, что руки будут всегда такими крепкими, а здоровья столько, что стыдно и беречь. И он надорвался, заполучив грыжу, будто из брюха вывалилось еще одно, с пудовый мешок. Понадеялся капитан и на то, что возможно установить справедливый

порядок, чтобы людям жилось и сытней и радостней, чем это есть. И если бы сам капитан распоряжался всем хлебом, всем горем, тогда бы он обрадовал и насытил людей, раскрошив свою пайку и открыв душу чужому горю. Но ведь Хабаров не был тем человеком из человеков, а потому, пускаясь в расход, разве что сам недоедал, горевал, становясь потихоньку таким же полуголодным, как другие, и таким же безрадостным.

В то время помнили об одном дне солдатской получки, который подступал все ближе. Должны были выплатить жалованье за весь месяц, по семь рублей. Так как своего военторга у охраны не было, то получку отovarивали в лагерном ларьке. Из того ларька и закурились тошным дымом мечты — как придут и возьмут курево, масло, повидло, тушенку и конфет! Мешок с деньгами обычно скидывали на ходу с проходящего через Степной дизеля, едва успевая схватить взамен расписку, с которой на полустанок и отправляли нарочных из роты. Казна, как и штаб батальона, размещалась в Угольпункте, откуда рота и ждала заветного извещения, чтобы встречали дизель. Зимой-то дизель ходил по ветке раз в три дня, и это по малому снегу. Другого доступа к дальним ротам не было, разве что вертолет. А пути могло еще и занести, тогда бы с недельку разгребали заносы. Дрезина вовсе не ходила, за сменой, которая поэтому удлинялась, так что смены превращались в многодневную гарнизонку, или за сырьем для лагерного заводика посылали упряжь тракторов — самодельный поезд.

Обо всем этом в шестой роте знали, но никто не хотел, не мог поверить, что получку задержат. Озлобление было таково, будто начальство и завалило пути снегом, чтобы денег не платить. Начальство же платить не отказывалось, как и не было виноватым, что солдатня в Карабасе не хотела ничего понимать. Жалованье отсрочили во всех лагерных ротах, погребенных в степи, хоть и произвели его выдачу в самом Угольпункте, может, еще в пятой и четвертой ротах, которые были ближе к батальону, чем степные поселенья. Для солдатни это и было доводом, чтобы считать себя обманутыми, обойденными и требовать получки, не глядя на заносы, то есть равенства требовать, когда его в силу известных обстоятельств не могло быть. Карабас, в котором день жизни человек тратил на то, чтобы погреться у печки и заполучить пайку хоть чуть погуще, отказывался терпеть эту жизнь, если в ней не будет получки.

Начались волнения с тех солдат, что мучились, больные, без госпиталя. Их было с дюжину, простуженных, обмороженных, тощих. В полку недавно вышел приказ, чтобы вышедшие из строя лечились на местах, без отправки в госпиталь. Приказ вышел потому, что само наличие госпитальной койки существенно ослабляло дисциплину. Солдаты калечили себя с умыслом, особо зимой, когда легко было облиться водой и простудиться. На местах же никакого лечения не было, лекарств не было — больные или выживали, или заваливали трупом. Доходяги, как стало известно про задержку в батальоне денег, принялись потихоньку нудить: «Подохнем мы тут все... Поворовали наши денежки... Одной получкой за два месяца дадут...» Мочи не стало выносить их всхлипы. Валяются на койках, укутанные во что попало, огромные вороха, похожие на холмы. Здоровые и те раскисали в темноте, окруженные голыми заиндевельными стенами, глядеть на которые было все одно что биться об них головой. И в этой пустоте родился яростный, бесстрашный клич: «Братва, потребуем! Получку давай!» Ничего не понимающий, заморенный, будто тараканье, народец закопошился. «Нам больше должны давать. Зима не лето, пускай за морозец набавляют, требовать надо, братва!», «Грабят нас!», «Пускай у офицеров получку убавят, а нам прибавят, потому что пашет за них солдат!», «Всего надо требовать, чего нету, пускай дают!».

Покуда заваривалась каша, отчаявшись, капитан ходил просить у лагерного хозяйчика, чтобы служивым отпустили из ларька взаймы, под честное его слово. Будто душу ходил отдавать под заклад, ничего, кроме души и честного слова, у него не было. Дородный, пышущий здоровьем мужик, подле которого капитан походил на ээка, не отказывал сразу. Он

позволял капитану развлечь себя, выслушивая с удовольствием его просьбу и как бы прицениваясь, верить или не верить, крепко ли его слово. А Хабаров просил все горше, все жалобней, но мужик тут-то и отпихивал наседавшего капитана крепеньким пузом: «Это тебе не частная лавочка, а государственное предприятие, балда, у меня отчетность, опять же инкассаторша из облуправления выручку приезжает снимать, у меня все по закону должно, хоть зубами золотыми расплачивайся». Может, надоумливал хозяйчик, да Хабаров не догадывался. Когда же стало мужику ясно, что ничего с ротного не сдерешь, даже шкуры, он накрыл капитана матом и чуть не побил, выпихивая нахрапом со склада.

В зоне царило такое же запустение, что и повсюду, но слышалось, как ухают, работают цеха. Лагерные вышки громоздились что лесенки в мглистое небо. Капитан разглядел, что они опустели и стоят без людей, будто перевернутые. На вахте Хабаров попался вертухаям, которые спешно задраивали все ходы и выходы: «Вишь, чего выходит, никогда такого не бывало, чтобы лагерь без охраны стоял. Сообщай, скорей сообщай, чтобы взяли их тепленькими. Чего молчишь, ты себя выручай, а то упекут с ними!» А капитан их не слышал. Переглянувшись, вертухаи пошагали от него прочь, похрустывая по снежку, поговаривая: «Сдох мужик...», «Да пропади он, сволочь, он давно не жилец, вона, дождался, всех тащит в могилу». Охрана разбежалась. Лишь овчарка металась и лаяла, брошенная в караульном дворе; она радостно увязалась за капитаном, пристала к нему и тихонько плелась следом, когда возвращался он с пустыми руками в роту. Но вот, оглянувшись у ворот, из которых валила снежная пыль, будто дышали на морозце, он не увидел овчарки ни рядом, ни в округе казарменного двора. Вымуштрованная из щенков, и она изменила присяге, спятила.

В казарме было натоплено, как никогда в эту зиму, угля уже не жалели. Уголь таял, а печь рыгала с жору, стреляя искрами. Огонь так потрескивал и гудел, будто казарма протекала, а над ней лился бесперервно дождь. Точно так, когда взаправду льется дождь, кажется, что горит двор, земля и что-то вроде то ли плавится, то ли жарится. Хабаров одиноко стоял в багряном печном свете, обжигаемый, будто глина. Его как бы и не было, хоть он давно вошел. В тот день время остановилось, но, верно, был уже вечер, наступивший рано, по-зимнему, почти в середине суток. В казарму сошлась вся рота. Койки были сдвинуты ближе к пышущей печке, но места на них не хватало, поэтому люди лежались и на полу. Кто снялся с вышек, те спали в обнимку с автоматами, грелись. Было спокойно и тихо, как в госпитале. В этой тиши на скамье, чуть не въехавшей в печку, бодрствовали трое солдат, может, успевшие уже поворовать сна. Один из них подвинулся, взглянув на капитана, другой так же слепо протянул ему кружку кипятка, капитану пришлось ее принять. Возвращенный на печь чайник затрещал, раскаляясь, в нем больше не было воды. Один шикнул другому: «Глаз нету, поди напихай снега, а то сгорит». «Вижу...» — отозвался тот, но не сдвинулся. Тогда встал их дружок, казалось, что лишний, позабытый, подхватил со злостью чайник и канул в темноту. «Ребятки, чего же вы делаете, ведь служить надо, иначе рухнет все...» — проговорил с робостью капитан. Солдат, который позлее, высказал ему: «Вы не можете против нас. Лучше помогайте, а то поскидываем и вас. Это мы раньше были глупые, а вот поумнели, как потребуем, так и добьемся своего». И тут из потьмы, из той кромешной груды, в которую слились лежавшие вповалку тела, раздался выкрик: «Чего ждешь, Хабаров? Жить хочешь, сука! Катись отсюда, живо!..»

Капитан вернулся в свою канцелярию, другого не было у него места. Он сидел за оледеневшим столом, к которому все примерзло, — примерзла и керосиновая лампа, которую он и зажег. Она то попыхивала, то мерцала. Капитан глядел на нее, не зная и того, сколько осталось в ней керосина. Он все ждал, что лампа потухнет, думал об этом нерасторопно, запаздывая, но фитилек продолжал себе гореть...

Утром Хабарова разбудил темный холод, и капитан пошел разгрести снег во дворе, и все в казарме слышали, как он разгребает. Управившись, он стал выдалбливать в сарае уголек на грядущий день, и все слушали, как колотится звонко лом. Знали, слышали, но не выходили наружу. Жевали сухую плесневелую лапшу, которую некому было сварить. Капитан же явился выбеленный снегом, с ведром угля. Печь уже застыла. Когда он разжег огонь, подбросив бережливо угля и затворив чугунок, чтобы жар собирался, будто тепло в доме, то встал у гудящей печки, растаивая, сырея подле нее: «Поверьте мне в последний раз, моему обещанию, больше не попрошу. Я пойду и принесу получку, а другому нечего ходить. Деньги мне доверят, не сомневайтесь, если рота будет служить. Два дня дайте, справимся, а потом и весна!»

Снег со двора в тот день не разгребали, потому что капитан разгреб. Тот день был похож на сумерки, а еще завертелась вьюжка, косматая, которая одиноко плясала в сумеречной степи. Хабарова никто не провожал, а ему было радостно, будто остался один во всем свете. Уходил он в своих валенках и тулупчике, с бутылкой спирта за пазухой, которую одну взял для себя. Бутылка эта была тем же казенным имуществом, что и тулупчик, ее Хабарову выдал военмед — вместо лекарств и госпиталей. В той бутылке заключалась вся его поклажа, и была она удивительно легкой, хоть пила, грела, лечила, убаюкивала, — не бутылка, а матушка. Отхлебнув на дорожку, капитан шел и шел по снежному горбу узкоколейки, все углубляясь в неясную даль. Оборачиваясь к лагерю, он то и дело прощались, взмахивая рукой. Хоть и не хотел он утруждать людей, чтобы его провожали, но прощались с ним долго — даже в тот сумеречный день с вышек степь видна была далеко. Вот капитан и взмахивал, думая, что служивые глядят на него с вышек. Караульные и впрямь различали — вот он ползет кривенько, муравьем, а когда, покрытого вьюгой, потеряли капитана из виду, стали ждать его возвращенья.

Вьюга веселила Хабарова. Снопы снега завьюживало, они юлили, вертелись, из той белой пряжи тут же сами ткались белоснежные, с пушистой бахромой платки, которые летели по ветру, выплясывали да хороводились. И вот еще отхлебнул Хабаров из бутылки, не зная, когда дойдет.

Покинув поселок, успев потеряться в степи всего на полдороге к Степному, он уже и в мыслях своих не устремлялся к Угольпункту, а утопал в этих завьюженных просторах. Направление для своего похода капитан избрал самое простое, но и самое воздушное. Он шагал по узкоколейке, по лыжне ее, что и вела к Угольпункту. Направление это было простое, как чертеж, но, пролегая по снегу, по вьюге, оно закруживалось в воздухе. Потому к полустанку Хабаров шел так долго, что ему не раз чудилось, будто он сбился с пути. Снежная лыжня, разбежавшись, ускользала из-под его ног и уносила все дальше, а он не успевал за нею, откатывался. Хабаров узнал полустанок по обугленным бревнам, торчащим из сугробов.

Тогда-то в Степном, на распутье, он вдруг со страхом и подумал, что никогда не достигнет Угольпункта, такая перед ним открылась даль, еще и потемненная вьюгой. И вот еще отхлебнул Хабаров из бутылки, взбираясь на снежный вал, в который превратилась железнодорожная насыпь, но не сделал по ней ни шагу: в то мгновенье, как он задумался, в какой стороне искать ему Угольпункт, обе эти стороны завертелись в его голове будто колеса. Сомневаясь, куда направиться, капитан глядел в обе стороны, клубящиеся, пляшущие, но никак не решался выбрать единственную из них, боясь ошибиться, боясь все страшнее. В забыты он уселся на месте, с мукой вспоминая правильную сторону. Может, не часы тогда проходили, а дни?.. Очнулся капитан лишь тогда, когда начало чернеть небо. Вьюгу, вьюжку пьяную, веселую, как сдуло диким ветром. Тот ветер оказался сильнее всех — и снегов и стужи. Он крушил зиму! Воздух обрастал толщами снега, которые расшибались во тьме, высекая грохочущие искры. И капитан

узнал в этом грохоте удары бурана: буран явился в тишайшую степь за должками, а сколько лет его не бывало...

Капитану, чтобы спастись, оставалось ждать или ползти в поселок, но зная, что в поселке его ждут люди, которые если еще и не знают о буране, то скоро сами примут его удары, он выкарабкался из снежной ямы и пополз вперед, пробиваясь неведомо куда, лишь бы не пятиться. Шагнет, перетащится, проползет, отдышится, а когда нету сил двигаться вперед, то лежит и горюет, что их нету, а себя не жалеет. Что было с ним, он не помнил, обретая ясность на ту минуту, когда вставал, останавливался, но вот опять толкает самого себя вперед, уткнувшись рожей в жгучую ледяную твердь, и опять толкает. Так в одно мгновение он понял, что исчезла в буране бутылка со спиртом, что ее больше нет. В другое мгновение, через тьму времени, постиг, что лишился ушанки. Но застыть, погибнуть на месте капитан себе не давал, а толкал себя, как ему чудилось, вперед, потому что люди ему верили. Он тащил тягло отмороженных ног, тащил отмороженное свое брюхо, будто это река тащит свои ледовитые воды, и ему уже чудилось, что волочет он всю землю, всю тяжесть земную, с лесами и морями. А тогда выполз из тулупчика, скинул с души и дальше пополз еще живой, еще дышащий...

В одном месте жизнь его оборвалась. Капитан сам не захотел ползти дальше. В той последней ясности Хабаров провалился под снежный наст — покрова оказались в том месте тонкие, свежие. Он утонул в рыхлом снегу так глубоко, откуда и не слышалось ударов бурана. Он уснул в снежной глуши и в тепле, а потом уже, во сне, умер без боли, так и не узнав о своей смерти в точности.

Буран свирепствовал в степи трое непроглядных суток, а просветленья наступило в одночасье. Степь покрылась ровной, будто доска, гладью, и отраженный от этой глади свет, еще чахлый, но удивительно прозрачный, залил чуть живые просторы. А постов, на которые заступили, поверив капитану, люди никак не бросали, рота устояла. Было, что из лагеря перебежали в караулку активисты да разный подлый народец, которые испугались, как бы их не порешили зэки. Их впускали, а они сидели затравленно по углам...

Много чего разрушилось в тот буран в Карабасе, не узнали его, когда солдаты вылезли на свет, но все радовались, хоть небу, и нечем было той радости удержать, потому что ждать она в людях устала.

Глава десятая: «Во славу и за упокой»

О стихийном бедствии, постигшем области Северного Казахстана, народу никак не обмолвились, но и без этих областей времечко выдалось такое, будто кругом хоронили, и дым от тех похорон валил так густо, что впору вешать топор. А там, где надо, родилось все же выражение, для узкого пользования, «буранная полоса», под которым разумелись отчужденные, разоренные стихийным бедствием земли.

Еще некоторое время Карабас не имел связи с остальным миром; столбы проводов были повалены бураном на многие километры вперед, а рация в роте бездействовала. В небо поселка являлись вертолеты и сбрасывали груз, поддерживая жизнь лагеря. Зэки обустроили себе один барак, где малым числом охраны их и содержали под стражей. Работать было нечего, лагерем управляли надзиратели. У солдат выбрали своего, которого уважали. Обмороженных, раненых увозили тем же вертолетом неизвестно куда, а про капитана никто не вспоминал. Погода установилась самая шадящая, жратвы в грузах хватало, а капитан будто отправился в командировку, в ней и застрял. В поселке наладилась тихая, светлая жизнь, которой люди в нем еще никогда не жили, что и было удивительно, ведь будто для такой и родились. Все необходимое сбрасывалось им без задержек с воздуха, а в

разрухе жили даже спокойней, будничней, потому что не было принудработ, муштры. И когда со стороны Степного показался неожиданный этап, когда потерпевшие бедствие увидели, что к ним движутся строевым порядком колонны, хоть и барахтаются по брюхо в снегу, а позади них — трактора, волокущие лес, скаты ключевой проволоки, бочки соляры, барачные теплушки, то они тогда испытали то смятение, будто явились их уничтожать.

С колонной солдат прибыло и офицерье, удивляясь, что в поселке во все время не было начальника. «А где командир ваш?» — «За получкой ушел». «Повезло ему, воротится на готовенькое!» Офицерье было конвойное и долго не задержалось. Конвой имел приказ этапировать заключенных в уцелевшие, крепкие лагеря, в Карабасе же оставили гарнизон солдат да мастеровых — чтобы к весне все восстановили.

Зэкoв рассортировали, оприходовали, а потом погнали по узкоколейке всем этапом и с тракторами расчистили путь до самого полустанка, где их загрузили на платформы, с которых тут же сбрасывали оставшийся лес, железо, ящики с гвоздями и скобами, цемент, кирпич, известь, продзапас. Кругом носились, распоряжаясь криком, чужие люди. Солдатня мешалась, прибылые с коренными. Которых пригнали служить в Карабас, материли по-страшному и погрузку и сортировку, так что мигом сделались своими людьми.

Работа не утихла и ночью. Все грузили тысячник — разгульный, широкий, будто цыганский табор, этап. Горели костры, лаяли овчарки, случалось, постреливали. Между Степным и лагерем ходила дрезина, в один конец — с разношерстным грузом, в другой — с людьми. Ночь колыхалась светлая, белая, повсюду кишел муравейник. Прибывая к съему, дрезина чадила солярой, будто пароход. Много было вольных, их набирали по округе и свозили потихоньку в поселок, были это люди шабашные, мужики из мужиков.

Не поверишь, что за дружные, задушевные были эти дни, когда Карабас разгружался да погружался, переливался из пустого в порожнее, кишел людьми, — все слилось! Не перескажешь, не поверишь, а был еще случай из тех дней про человека, про лагерного дрезинщика, — вот он, дядька колченогий, соляре радовался, и у него радость нашлась. Он хоть и лагерная вошь, а уважал себя как машиниста. И на лагерной дрезине, на казенной соляре, отбывая срок, этот дядька распевал душу, обсказывая чужим людям, все больше шабашникам: «Мне машину жалко, она без работы помрет. Ей уход нужен, как коровенке, и такая же любовь».

Шабашников дядька уважал, что они любят труд и интересуются механизмом его дрезины и что им еще не жалко человека, то есть его, табачком угостить. И этот дрезинщик так влюбился в заезжих мужиков, что ходил с ними на пожевку, на перекур как тот же шабашник. Вот лишь на ночь он с ними разлучался, отправлялся под запер в лагерный свой барак, тогда как мужики ночевали вольно в казарме, которую дружно покрыли крышей да укрепили, что свой дом. И как-то дрезинщик не пошел на поверку в барак, а пошел, как вольный, с мужиками; чаевничал с ними водочкой, беседовал и улегся в казарме, а они уступили ему койку и матрас. Да в те дни его в лагерном бараке и не хватились бы, надзирателям было привычно, что дрезинщик работал и по ночам. Конвоя при нем, колченогом, никакого не было — он ходил разве под приглядом, что малое дитя, такая у него была и работа, у всех на виду. И в ту ночь дядька не сомкнул глаз от волнения, что ночует со всеми вольными людьми, которые и не прогнали его, а уступили матрас. Лежал, ворочался — чуть всех не разбудил. «Ты чего беспокоишься?» — «Не спится мне, папироску, что ль, покурить...» — «Покури, вот тебе и огонек и табачок». Ну что ж, и покурил уважительно ко всем спящим, на холоде. Потом почаявничал тихо, и так до самого утра: приляжет, курнет, почаявничает... На самой заутрене, когда все еще спали, дрезинщик пошагал в лагерь. Вертухай его спрашивал,

запуская в барак: «И где это ты ужраться успел?» Тот отвечал: «Мы непьющие, работали мы...» А утром снова работа, мужики дрезинщика окликают: «Ты куда ночью подевался?» — «Мне в бараке положено». — «Ну, это ясно, а ты не горюй!»

Капитана Хабарова в те дни не разыскивали. Поселок и оправиться успел, и опустел. Выдали по списку и получку, сколько кому причиталось. Тут-то капитана и хватились: некому получить!..

Сколько времени прошло! Если бы капитан шагал не уставая, то обогнул бы землю да и воротился в Карабас. Поискав его кругом, но не обнаружив в наличности, из батальона доложили в полк, что у них пропал со службы ротный командир. Когда донесение спустилось в особый отдел и попало на слух Скрипицыну, который в мгновение все то припомнил, о чем с легкостью позабыл, он вскочил с той мыслью, что известный ему капитан вовсе не исчез, а погиб. Начав действовать и обьявив розыск, Скрипицын добывал себе останки капитана, будучи тем единственным в полку человеком, который знал, что Хабарова нету в живых. Для других это покуда оставалось тайной, которую он берег, а сам рассылал во все концы словесные портреты капитана как на живого человека: «... разыскивается, среднего роста, крепкого телосложения, темные густые волосы, проседь прядями, лоб крутой, овал лица широкий, губы, уши, нос крупные, мясистые, неясный цвет глаз, особых примет нет».

Сам же Скрипицын помчался в Карабас, где обосновался в канцелярии, ведя непрерывно допросы, точно бы он жаждал узнать об этом человеке все, что скрывал тот при жизни и что скрывали солдаты, которых он и допрашивал: правду о его гибели. Но из участников остались немногие — кто в госпиталях, кого сменили новыми людьми. Те немногие показывали особисту, что капитан, не дождавшись в срок получки, сам пошагал за ней в Угольпункт, а буран в поселке разбушевался ночью, тогда как покинул его капитан посреди дня. Никакой вины оставшиеся солдаты не признавали, хоть Скрипицын и выдавливал из них правду, имея наговоры вертухаев, будто в роте происходил бунт и солдатня отказалась служить.

И тогда Скрипицын начал постигать, что это же сам капитан Хабаров покрывает своих людишек и что он и задумал нарочно погибнуть, а их от суда — за свою гибель — спасти.

Убравшись прочь с пустыми руками, розысков самого капитана Скрипицын все же не прекращал, хоть обстоятельства его гибели и сделались особисту понятными. Нет, он искал капитана еще с большей силой, будто вздумал догнать. Найти человека в огромной заснеженной степи так же возможно, как воскресить. Пользуя всю свою силу в полку, Скрипицын посылал солдат прочесывать степи вокруг Угольпункта поротно, он уже убедил и Дегтяря, что в полку завелся герой, этого героя и искали в снегах... И когда Скрипицыну сообщали, что на очередном участке ничего не обнаружено, он сам делался отсутствующим, будто это он — труп. Когда ему подсказывали несмело, что капитана могут и вовсе не найти, потому как его, может, съели волки или лисы, как то случается со всякой степной падалью, Скрипицын взрывался, и розыск, было что приутихший, снова набирал бешеный ход. Что еще ударяло особиста по его нервам, так это то, что отыскиались хабаровские ушанка и полушубок — одна в Кулундинской степи, а другой в городце Каракалинск, — опознали их и как имущество полка, и как поношенные капитаном, который в них из поселка и уходил. И если поверить на мгновенье, что капитан побывал в тех разбросанных на сотню километров местах, то розыски его и вправду не имели толку, такого человека никто бы не смог разыскать.

И был будничным день в самом конце марта. Снега лежало еще полным-полно, казалось, что зима прячется в снегах и тайком их подхалаживает, почему сугробы и были еще крепки на глаз, как валуны. Но по их прочной глади уже плыл теплый солнечный свет. Такой же теплый, а то и

душный, был воздух. Его точно бы не хватало и самим сугробам; снег делался ноздреватым, дышащим. Половина роты отбывала службу в карауле. А на казарменном дворе маялись покуда свободные от службы солдаты, вылепивая из снега баб и пуляя в них комками. Когда наскучило, то взбрело им в голову выпустить овчарок, чтобы и те маялись, бегая без толку по двору. И солдатня еще повеселилась, начав пулять в овчарок. Когда их загоняли, то и охота надоела. Овчарки же одичали в пустой беготне и не слышали больше, что их зовут. Они бросились рыскать в снегу, глотая и снег, о них позабыли, но вдруг за казармой раздался овчарочий лай и потом уж не смолкал: в сугробе под казарменной стеной овчарки раскопали тело капитана Хабарова — лаяли, скулили, выходит, что узнали его.

Был капитан свернут калачом, как и уснул под снегом, а потому, что спал он долго и крепко, никакой силой невозможно было его выпрямить, разогнуть. Жилы его сделались что стальные канаты. Его так и перенесли в казарму, так у печи и положили, свернутого калачом. И вокруг была тишина, будто люди не хотели его беспокоить, он же за этот срок не изменился, сбереженный холодом. И нашелся дурак, ахнул: «Хабаров пришел...» А он не пришел, а ушел. И ничего уже не знал про тех людей, что его обступили, — ни чем они нынче живут, ни другого. В домовом тепле Хабаров стал потихоньку оттаивать, из-под него разлилась чистая, как слеза, водица. А потом уж показалось, что он в луже грязной, как пропойца, лежит, и рожа его от тепла сделалась сизой, а мундир совсем склизким. Дождаться тогда не стали, сообщили скорей в полк, откуда найденного капитана немедленно затребовали, так что и переночевал он в казарме всего одну ночь.

Но еще вечером приводили из лагеря столяра, сделали ему заказ: «Давай мерку снимай, дядя, чтобы к завтраму нам капитана упаковать». Столяр чешет затылок, вздыхает, обходя капитана бочком: «Сюда бы костолома, или в мешок суньте...» «А вот тебе ноги выдернем, сука, и положим в мешок!» Покряхтел столяр, а утром солдаты видят: радуется, бочку катит. «Вот, пользуйтесь, в ней капуста квасилась, выпариваю, а какая из нее душа прет, еще нежней. Другого не придумаю, хоть режьте. Хороша, родимая, ух хороша!»

Робея, служивые втиснули капитана в бочку, а столяр и законопатил. Четверо солдат, которым сказано было сопровождать и отвечать за груз, взялись тащить бочку будто гроб, а столяр глядел на них, провожая, да тихо посмеялся. Тогда они плюнули, облегчив душу, да и покатали бочку по тихой, еще заснеженной степи.

Снежок под бочкой похрустывал, точно бы поджаривался, а воздух так и пахнул масленицей — пришла за зимою весна. Путем неспешным, помаившись с грузом, когда пересаживались на проходящий дизель, и доставили солдатники своего капитана в Угольпункт, где были морг и штаб батальона, в котором капитана ждали, чтобы поставить на нем точку. Служивые вовсе не сторонились своего груза, а даже гордились бочкой, в которой спасали капитана и сами спасались от чужих тошных глаз. В городишке их никто не встречал, хоть и обещали и машину и санитаров. Скурив пачку папирос, а больше у них на четверых не было, товарищи решили сами покатить бочку в батальон — чтобы их всех там вспучило.

А по той улочке, не зная, что его ожидало, шагал выпущенный с гауптвахты Илья Перегуд как раз навстречу служивым, потому что направлялся он туда, откуда они и катили свою бочку; направлялся, давно позабыв, что капитан его прогнал. Просидев месяц за дерзость и пьянку, Илья остался на гауптвахте отбывать еще один срок и еще, так что начальник тюрьмы чуть не спился. Перегуду уже порядком надоело шагать по этой улочке. Изнывая, он поглядывал из-под разросшегося чуба в глубь дворов, не посчастливится ли пропустить стопку-другую. Увидать бы ему хозяйку, по которой догадаешься, что ведет она свой дом по старому укладу, добротню, иль хозяина — такого, из середнячков, чтоб его похвалить за сарай

для дров, за сами дрова, а он бы уж точно расщедрился и налил хорошему человеку стопку, а может, и поставил бы, растрогавшись, и весь бутылек. А хозяйкам добротных дворов и так налить не жалко, хоть бы потому, что бабы они бабы и есть. Но что-то никого Илья не приглядел: то дети в снегу валяются, то проклятые старухи вытрясают на воздухе пыльные половики. Он уже с тоской думал, что так, пожалуй, дойдет до самой станции и будет нюхать ее ржавое железо.

Когда он увидел солдат, катящих бочку, то ему в ней, само собой, привиделось пиво. Но нельзя было поверить, чтобы солдаты катили посреди дня бочку с пивом, а еще Илья с удивленьем распознал знакомые рожи. И товарищи узнали Перегуда, но остановились и глядели на него так, будто и он им привиделся. «Что это у вас за бочка?» — не выдержал Илья. «Капитана Хабарова вроде гроб, он в ней лежит, а мы его в штаб катим, помер он». Поскорей огибая Илью, они покатали бочку дальше. Перегуд врос в землю и лишь беспомощно глядел им вслед. А те спешили, спешили, прибавляя еще ходу, чтобы Илья их не догнал...

С переломанным хребтом, с выкрученными руками и ногами, в гробу, с набитым опилками животом усмиренный капитан прибыл в полк, но капустной закваски вытравить не смогли; как она завелась в нем, так и осталась, и когда его домовину установили для прощания в клубе, то караул и проходившие очередью люди млели от душистого щекотания в ноздрях, так что хотелось и чихнуть.

Никто не мог подумать, что когда-нибудь на полковом плацу будут рыть могилу, но капитана Хабарова хоронили — в полку, с геройскими же почестями. Гроб вынесли на плац, на виду у замершего, будто гранит, строя. Позади гроба вынесли полковое склоненное знамя, точно и его собрались похоронить, таким оно было красным, одиноким, что и гроб. Скрипицын произносил речь над краем пустой еще могилы, которая рупором своим усиливала его голос на весь плац.

Слушали особиста вяло, будто сама личность не вызывала у служивых интереса, и тогда Скрипицын заговорил горячее, дерганей, а в последних словах сорвался на крик: «Прощай, товарищ Хабаров, спи спокойно, ты погиб, как в бою!»

Гроб покрыли крышкой, опустили в могилу, и штабные бросили по горстке земли. Грянули оружейные залпы, которые затянули и без того унылый плац пороховой гарью, так что никто не заметил, как могилу засыпали землей и как вдавили в ее холмик жестяную ракету с наконечной звездой. Полковой оркестр затрубил марш, и полк пошагал, отдавая последние почести. И уже прошагали парадным строем, когда Скрипицын вдруг оборвал окриком оркестр и, родив в сбившихся рядах боязливое удивление, на виду у безмолвного Петра Валерьяновича Дегтяря приказал полку возвратиться на исходную и прошагать заново, потому что не постарались, плохо прошли. Офицеры разозлились, забегали, толкая в спины солдат: «Суки такие, ну, чтобы земля дрожала!» И полковые долбили сапогами будто молотками и боялись хоть вздохнуть — прошагали как надо.

Остальное свершилось в тиши. Заткнута была остававшаяся по смерти капитана дыра: на должность ротного в шестую услали того самого Хрулева, и уж известно, кто постарался изо всех сил, чтобы эти концы связать. А дня через три, как свезли генеральского внука на грузовике в Карабас, кабинет командира полка завонял. Душок таинственным образом исходил из собраний сочинений партийных вождей, сколько их было, устроившихся рядами на полках. Все делали вид, будто и нет никакой вони. Кабинет проветривали, но держать окно все время открытым было подозрительно. Все же решились проверить, вытащили наугад первый том «Капитала», обнюхали, может, бумага начинает гнить, но она была белехонькой и разве что пахла тряпкой. В полку забродили опасные слухи и стали расползаться дальше его пределов. Когда вонь утихла, изошла, страхи от нее все же

остались, осталась и тоска. Образовалось в воздухе эдакое тягостное ожиданье. И как-то уборщица, занимавшаяся со всей серьезностью протиркой, обнаружила в глубь, за собраниями сочинений, граненый стакан, в котором и высохло на камень говно. Тогда-то и припомнился, душа загибшая, — Хрулев, но поздно было его хватать! Не успела осесть и капитанова могилка, как ухнул по войскам будто обухом, всех застигая врасплох, всех расшибая, тот страшный Приказ:

ЧТОБЫ САЖАЛИ ПОВСЕМЕСТНО КАРТОШКУ И КОРМИЛИ СЕБЯ САМИ.

Письмецо Ивана Яковлевича Хабарова

По смерти Ивана Яковлевича Хабарова не осталось никаких его личных вещей и документов. Даже то, во что одет и обут был его труп, обмундирование, изъяли да описали, составив вещевую ведомость, как это следует, когда снимают с довольствия или переводят из части в часть. Трудно допустить, что ветхий его мундир донашивают следующие поколения, ясно, что пролежал капитанов мундир на складе до списания, а потом его сожгли, чтобы не разводилась плесень. Об одной же находке мало кто знал, а те, кто был поставлен в известность, навсегда о ней с годами позабыли. А найден был при капитане, когда обыскивали его труп, лист бумаги, сложенный вчетверо, обтертый на сгибах, исписанный так густо, будто был он изъеден буковками. Эту писанину прикрепили к следственному делу, которое впопыхах, когда Хабарова еще не объявили героем, завели на его сомнительного происхождения труп. Наскоро открыв следствие, его закрыли уже при соблюдении всех строгих правил. Дело капитана Хабарова, скрепив печатями, сдали со всем содержимым в архив военной прокуратуры Караганды как маловажное — на пять лет. По истечении этого срока оно отправлялось в утиль со многими другими, никем не востребованными. Замороженный тем пыльным бумажным потоком, архивный служащий ни с того ни с сего разъединил два сиротливых документа, прозябавших в этом деле: свидетельство о смерти гражданина Хабарова пошло в утиль, а документ второй, на котором выведено было, что это есть «Письменная претензия гражданина Хабарова», обрел по его халатности жизнь. Углядел служащий своим дотошным взором, что претензия вовсе не рассмотрена, а так как живое и мертвое слилось в его поглупевшей голове, то и почудилось ему, что бумага сия кем-то положена поверх дела, а не была вложена в серый картонный переплет. Вот и пошла она бродить, сначала по прокуратуре, потом и по инстанциям, но нигде ее удовлетворить не могли, а то и побаивались, сбывая поскорей с учета, покуда не попала она, в разгар всех разоблачений, в чьи-то сочувственные руки. Посланная в газету, уважаемую тогда за смелость всем народом, претензия была напечатана как письмо читателя:

«Когда снимают с маршрута полковой грузовик, а потом вообще его отменяют, служащий человек остается со своими бедами один на один. Свои силы он тратит на пропитание, вместо того чтобы служить. Все жиры он растягивает, и тот же хлеб, запас картошки скоро у него кончается, или просто ему гнилую картошку привезли. А податься больше некуда, ложись и помирай. Читаешь газеты — вроде у нас все для человека, уважительно так с тобой разговаривают. А оглянешься кругом — у нас хуже лагеря. Чтобы занимать казенную квартиру, надо все это время служить. А как приходит пенсия и ты потерял на службе все здоровье, то никому ты больше не нужен, и выгоняют тебя в голую степь помирать. Пишут, что все люди равны. А командир-начальник все равно главнее и не сравним с солдатом, заступившим на свой пост. Почти весь год висят над головой дурные приказы, и сыплют толченное стекло тебе под ноги, на твою душу и разум. Сказать некому, гражданская власть тебя в резон не возьмет. А у

своего начальства не имеешь права обжаловать. И грузовик полковой, единственная связь с миром, — кем он отменяется то и дело? Командирами-начальниками, кем же еще. Сидишь в казарме или в карауле без выхода и думаешь, что зверям в лесу лучше, у них там устроено для полной жизни. А ты вроде в лагере находишься, хоть и не грабил никого и не убивал. Отборный картофель, один к одному, удалось вырастить, так мало что отняли, еще и сгноили без пользы за то, что посмел без приказа, еще и с толку сбивать стали: тому ты друг, говорят, тому враг. Никто спасибо не сказал за картошку, а все упрек, что землю взял. Говорят, чтоб покорным был, говорят, это главное».

Написал капитан, выложил душу — и позабыл про письмо. Носил, однако, его при себе и сам нам доставил, будто почтальон. Если кто читал письмо в той газете, то подумал, что живой это человек пишет, не иначе. А многие, может, и не читали — сколько их было тогда, жалоб человеческих, оглохли от них и ослепли. Потому для людей и если остались все же родственники, сообщаем, что Иван Яковлевич Хабаров погиб, а к его жизни, описанной в этой сказке, да и к смерти, прибавляется письмо — пускай душа его упокоится с миром.



**В № 10, 11 и 12 «Нового мира» за этот год
читайте вторую книгу
военного романа Виктора Астафьева
«Прокляты и убиты»**

ЛЕВ ГУМИЛЕВ
*
ПОИСКИ ЭВРИДИКИ

Лирические мемуары

Вступление

Горели фонари, но время исчезало,
В широкой улице терялся коридор,
Из узкого окна ловил мой жадный взор
Бессонную возню вокзала.
В последний раз тогда в лицо дохнула мне
Моя опальная столица.
Все перепуталось: дома, трамваи, лица
И император на коне.
Но все казалось мне, разлука поправима.
Мигнули фонари, и время стало вдруг
Огромным и пустым, и вырвалось из рук,
И покатилося прочь — далеко, мимо,
Туда, где в темноте исчезли голоса,
Аллеи лип, полей борозды.
И о пропаже мне там толковали звезды,
Созвездья Змия и созвездья Пса.
Я думал об одном среди этой вечной ночи,
Среди этих черных звезд, среди этих снежных гор —
Как милых фонарей опять увидеть очи,
Услышать вновь людской, не звездный разговор.
Я был один под вечной вьюгой —
Лишь с той одной наедине,
Что век была моей подругой,
И лишь она сказала мне:
«Зачем нам трудиться да раниться
Бесплодно, среди темноты?
Сегодня твоя бесприданница
Домой захотела, как ты.
Там бредит созвездьями алыми
На окнах ушедший закат.
Там ветер бредет над каналами
И с моря несет аромат.
В воде, под мостами горбатыми,
Как змеи плывут фонари,
С драконами схожи крылатыми
На вздыбленных конях цари».
И сердце, как прежде, дурманится,
И жизнь весела и легка.
Со мною моя бесприданница —
Судьба, и душа, и тоска.

Автограф хранится в архиве Эммы Григорьевны Герштейн. Прислан ей автором с фронта в письме от 12 апреля 1945 года. На Великую Отечественную войну Лев Николаевич Гумилев (1912 — 1992) пошел добровольно после отбытия срока заключения в исправительно-трудовом лагере в Норильске и последующей высылки в Заполярье (см. воспоминания Э. Г. Герштейн «Лишняя любовь (Сцены московской жизни)». — «Новый мир», 1993, № 11, 12).

НАУМ КОРЖАВИН

*

ЗАБВЕНЬЕ СМЫСЛА И ЛИЦА

* *

*

Горожане в древнем городе Содом
Были заняты развратом и трудом.
Рос разврат и утончался... И всегда
С ним росла производительность труда.
И следил все время строго их Сенат,
Чтоб трудом был обеспечен их разврат.

Телевидение в городе Содом
Просвещение вносило в каждый дом.
Дух прогресса всех учило постигать,
Наслаждаться, но расплаты избегать.
Пусть кто хочет превращает в матерей
Их одиннадцатилетних дочерей.

Что пугаться? — были б в деле хороши!
В том и жизнь. И нет ни Бога, ни души.
Наслаждайся!.. А к вакханкам охладел,
Есть в запасе свежесть юношеских тел.
Что там грех — забвенье смысла и лица
Перед скукой неизбежного конца?

Все ли думали так в городе Содом?
Может быть. Да кто расскажет нам о том?
Остальные ведь молчали — вот напасть! —
В ретрограды было стыдно им попасть...
И от тех, кто прямо чтил не Дух, а плоть,
Их потом не отделял уже Господь.

Чем все кончилось — известно без меня.
Что вникать в природу Божьего огня.
Все сгорели в древнем городе Содом,
А при жизни размышляли не о том,
Не о том, за что сожгут, на что пенять.
Лишь — куда себя девать и чем занять.

* *

*

Клонит старость к новой роли,
Тьму наводит, гасит свет.
Мы всю жизнь за свет боролись
С тьмой любой... А с этой — нет.

Мало сил, да и не надо,
Словно впрямь на этот раз

Тьмою явлен нам Порядок
Выше нас, мудрее нас.

Словно жизнь в чадю событий
Нам внушает не шутя:
Погостили — уходите,
Не скандальте уходя.



ДАНИИЛ ГРАНИН

*

БЕГСТВО В РОССИЮ

Роман

Так уж сложилось, что случай не раз и не два сводил меня с некоторыми известными или неизвестными «нашими» шпионами, и меня время от времени подбивали написать о них. Романтику шпионажа поощряли в нашей литературе. Да и на Западе она пользовалась успехом. Но я в ту пору такого желания почему-то не испытывал, хотя, как и многие, с удовольствием смотрел фильм «Семнадцать мгновений весны», читал Ле Карре, Лоуренса, Грэхема Грина и прочих знаменитых «шпионских» романистов. Может быть, отталкивало, что эта профессия требует постоянной, умелой, хорошо отработанной лжи. Жизнь, проведенная во лжи? Мне она осточертела и без романов. Чего другого, но лжи всех сортов — от наглой дурацкой, никому не нужной, до самой утонченной — у нас хватило. Я достаточно много прожил среди вранья, обманов, притворства, чтобы еще и воспевать героев этого искусства.

Наши советские разведчики, наверное, неплохие разведчики. Даже очень хорошие. В этом смысле нам есть чем похвалиться. Отчасти объяснить это можно тем же самым — долгим, по сути пожизненным, пребыванием в атмосфере лжи. Умением прикидываться, вести двойную жизнь, говорить одно, думать другое. Нужда заставила заниматься этим почти каждого советского человека с детства...

Я знал Клауса Фукса, одного из самых знаменитых шпионов второй мировой войны. На самом деле его не следовало бы называть шпионом. Он был хорошим немецким физиком, происходил из известной семьи немецких теологов. Отец его, кажется, был профессором теологии. Когда нацисты пришли к власти, настоящим немецким интеллигентам многое не нравилось в их действиях. Чем дальше, тем больше. Клаус этого не скрывал. Однажды у него произошла стычка со штурмовиками, и его крепко избили. Европейцы такое переносят плохо. Они не желают послушно сносить, когда их бьют по физиономии. Фукс бежал во Францию, затем в Англию. А когда в США развернулись работы по созданию атомной бомбы, его пригласили в Лос-Аламос к Оппенгеймеру. Может быть, они были раньше знакомы, теперь я уже плохо помню подробности рассказа Фукса. Я ничего тогда не записывал, Фукс не был героем моего романа, хотя и отличался от других шпионов — никто его не вербовал, не обучал, он сам пришел к убеждению, что США как союзник не имеют права скрывать от СССР свои работы над новым оружием. Фукс стал искать способы передачи сведений о бомбе советским людям. Оппенгеймер и руководство атомного проекта ему доверяли, дружба его с Оппенгеймером крепла, и он ею пользовался. Каким-то образом он нашел, через американских коммунистов, возможность связи, не знаю, как у разведчиков называется такая передача сведений, и вскоре данные от него стали поступать в Советский Союз. После войны Фукс вернулся в Англию, к тому времени он был уже под колпаком. В Англии его арестовали, судили. Это был громкий, на весь мир, процесс, у нас, конечно, неизвестный.

Если бы существовал справочник по шпионам, то Клаусу Фуксу я бы отвел в нем первое место: шпион-доброволец, идейный шпион-физик, которому денег за эту работу не платили и который ощутимо помог нашим атомщикам.

Встретились мы с ним в Дрездене. Он прибыл туда из английской тюрьмы, приговоренный к пожизненному заключению. Через несколько лет его обменяли на ихнего шпиона. Он стал работать как физик в одном из институтов и жил довольно замкнуто, женат он был, кстати, на русской.

Я представлял себе Клауса Фукса типичным ученым, малопрактичным, поглощенным своими занятиями, так оно, наверное, и было, но шпионская работа тоже наложила свой отпечаток. Он держался весьма светски и в то же время настороже, в ресторане садился так, чтобы видеть зал и чтобы его не видели. Когда мы ехали в машине, а вел он машину мастерски, Фукс все время следил в зеркальце, кто следует за нами. Я спросил — зачем, он признался, что привык остерегаться; это была одна из приобретенных на всю жизнь привычек.

О Клаусе Фуксе следовало бы написать интереснейшее исследование. Сюжет его жизни отличается не только бескорыстием, но и научный склад мышления, исследовательский подход к шпионской работе. Самоучка, он в одиночку, без всяких раций, шифров, явок осуществлял передачу ценных материалов. Ученый-шпион. Причем крупный физик и крупный шпион. Ученый-герой. Герой не мысли, а действия.

Одно время меня привлекала и судьба известного физика Бруно Понтекорво, бежавшего к нам, бывшего соратника Энрико Ферми. Великолепный экспериментатор, он по достоинству стал действительным членом Академии наук СССР. То, что он мне рассказывал, достаточно серьезно. Не для шпионского романа, а про то, как возникают и гибнут иллюзии.

Может, эти две судьбы своеобразно отозвались в образе моего героя. Вернее, моих героев, которые почти неразделимы, как сиамские близнецы.

I

Знал я его давно, может быть, лет двадцать. Он приезжал к нам домой на старой, раздрызганной машине, тяжелой и толстой, как броневик. Марку машины нельзя было установить, машина состояла из множества разных машин. Слушалась она только его. Когда она ходила, то ходила самоотверженно вопреки всем законам механики. Грохотала, дымила, внутри была так же безобразна, как снаружи. Рессору он подвязывал проволокой, шнурками, эластичным бинтом.

Тощий, бледный, с измятым узким лицом, он сразу же обращал на себя внимание сильным густым голосом. Стоило ему начать говорить — и слышно было только его.

В первые годы знакомства он был интересен мне своими мыслями, а не своим прошлым. Что-то я слышал, какие-то слухи клубились вокруг него и его друга Картоса. Я не спрашивал, не выяснял. Кажется, их считали шпионами, перебежчиками. Между тем они работали в «ящике». Ленинград был туго набит секретными номерными институтами, КБ, заводами. Что они делали, никто не знал. Взрыватели, отравляющие газы, приборы для стрельбы?..

Оба были иностранцы, оба говорили с сильным акцентом. Оба приехали неизвестно откуда. «Кому надо, те знают» — висело над ними. Тайна их жизни привлекала к ним и настораживала. Засекреченные иностранцы, да еще на свободе, да еще руководители — странное сочетание тех лет. К тому же люди западной культуры, меломаны, философски грамотные. К тому же коммунисты. К тому же специалисты самой модной профессии — эвээмщики, кибернетики...

Того, с драндулетом, звали Брук Иосиф Борисович, второго — Картос Андрей Георгиевич. Первый был еврей, второй — грек.

Поначалу я все пытался пристроить и Брука и Картоса к какой-то известной мне категории, но только поначалу. Чем дальше, тем труднее было с ними управляться. Они перестали кого-либо напоминать. У них обнаружилось все больше своего, необыкновенного и неразгаданного. Приоткрылось это в самом конце восьмидесятых годов, когда многое высветилось в нашей жизни. Будучи в Штатах, я совершенно случайно многое узнал о них. К тому времени Картос уже умер, но Брук был жив, бодр, правда теперь он носил другое

имя — Джо, и другую фамилию — Берт. Какое же считать истинным? То, которое дали родители, или то, под которым он прожил большую часть жизни? Чтобы ответить, надо начать с детства. Потому что это — родина. И когда человек в старости «впадает в детство», он возвращается на свою родину, которая, оказывается, никогда не отпускала его...

Бруклин, еврейский район Нью-Йорка. Евреи в черных шляпах, котелках, ермолках, чернобородые, с длинными пейсами. Крикливая толпа, красный кирпич, экипажи, помойки, полицейские в черных мундирах, высокие автомобили с клаксонами. Здесь Джо родился, а вовсе не в Иоганнесбурге, как записано в его паспорте. В 1916 году, в семье еврейских эмигрантов. Они уехали из России еще во время первой революции. Откуда уехали — из Одессы, из Риги, с Украины? Джо не знает. Не знает он и настоящей фамилии своего отца

Когда в США прибывали иммигранты, иммиграционные власти переделывали им фамилии. «Стобишевский? Это невозможно произнести, запишем Стоби». «Беркович? Запишем Берт».

Новая фамилия, новая жизнь...

Тогда, в двадцатые годы, никто не интересовался предками. Да и какой родословной могли похвастаться бедняки-иммигранты — литовцы, ирландцы, евреи, украинцы, вся переселенская рать, штурмующая Америку? Они устремились в будущее, в Новый Свет, и торопились отречься от старого мира. Почти то же самое, что творилось и с нами... Жизнь началась с 1917 года, а все, что до этого, сваливалось в одну кучу старья и мешанства — этажерки, конторки, подшивки «Нивы», гамаша, слоники, бархатные альбомы, самовары, деды, бабки...

К тому времени, когда Иосиф (он же Джо) Брук-Берт родился, семья прожила в Нью-Йорке одиннадцать лет. Но и отец и мать продолжали плохо говорить по-английски, так и не сдав языковой экзамен, тогда, кстати, очень простой. Жизнь в Бруклине позволяла обходиться одним русским. Или идиш. Жили бедно, беднее не придумаешь. То и дело их выселяли за неуплату. Выкидывали вещи на улицу. Детей было четверо — три брата, сестра. Вот они восседают на вешах, сваленных на тротуар, а он, Джо, хвалится перед мальчишками диковиной тех лет — радиоприемником. Семья, безалаберная, скандальная, ни с того ни с сего приобретала необязательные вещи, слишком дорогие — не для голодных ртов.

В тот раз их выселили за драки и шум — соседи жаловались на постоянные перебранки родителей.

Бруклинская среда, бедность и просто обычаи заставили Джо заняться бизнесом. С семи лет он принялся развозить на тачке лимонад. Продавал его строителям. Это было его дело. У него имелся свой район, свой маршрут, свои покупатели, и дело шло.

Довольно быстро Джо сумел расширить свою торговлю. Бизнес давался ему легко. Но сбивала с толку музыка. Старшего брата учили играть на пианино. Джо как замороженный торчал рядом, слушая нехитрые экзерсисы. При малейшей возможности прорывался к пианино и повторял все упражнения. Никто не обращал внимания на его страсть. Не нашлось ни хрестоматийного маэстро, ни учителя, ни старого музыканта, которые заинтересовались бы его способностями. Случайность? Вряд ли. Если из нынешней жизни вернуться в год 1924 и попросить астролога определить будущее нашего оборвыша, то выяснится, что существовало уже тогда направление его судьбы.

Ветры увлечений, соблазнов то и дело утаскивали Джо Берта на иную стезю; казалось, происходил решительный поворот, но затем неведомая сила возвращала его обратно. Своротки оказывались зигзагами, и теперь-то уже видно, сколько усилий приложила фортуна, чтобы не дать ему сбиться с предназначенного... А если сравнить его путь с путем Андреа Костаса — он же Андрей Георгиевич Картос, — то приходит на ум, что фортуны их общались, договаривались, а может, и вообще была она одна на двоих.

Джо пошел в школу шести лет и окончил в четырнадцать первые восемь классов. Никаких выдающихся способностей. Никого он не изумлял. Ничего вроде бы не обещал. Следующие четыре класса, до двенадцатого, провел в так называемой высшей школе. Это было не обязательно. Эдисон не имел образо-

вания, и Морган не имел, и многие великие предприниматели, кумиры Америки, не тратили годы на слушание лекций. Но Джо зачем-то пошел в высшую школу, а затем в колледж. В самый дешевый колледж городского Нью-Йоркского университета, но все же это был университет!

В семье считали, что он теряет лучшие годы.

Единственный, кто как-то подталкивал его, был отец.

Отец состоял в организации рабочих-социалистов, имел казначейскую должность и довольно беззастенчиво «заимствовал» общественные деньги. Непрактичный и хвастливый, жуликоватый и мечтательный, врун и неудачник, он сумел передать Джо восхищение энергией американского капитализма.

В осколках детских воспоминаний Джо об отце среди безжалостных суждений возникает все же что-то симпатичное. Дар речи заменял отцу специальность. Хотя английский его был ужасен. Получалось у него, например, страхование. В ответ на отказ и выпроваживающее «до свидания» он с пугающей меланхолией замечал: «Это еще неизвестно».

У Джо сохранился в памяти праздник встречи Линдберга, перелетевшего впервые через Атлантический океан. Отец нес его на плече по улице сквозь толпу, воздух заполнял белый дождь летящих листовок, сотни тысяч людей кричали, плясали, ликуя. Отец плакал от восторга, от счастья за летающее человечество, и это запомнилось навсегда.

Навсегда запомнилось, как отец повел его смотреть на первый небоскреб Вулворт высотой в пятьдесят этажей и как они стояли там, а отец с гордостью владельца Манхэттена рассказывал о строительстве новых небоскребов.

Но ни связей, ни положения, ни хорошего английского языка отец дать ему не мог. Тщедушный подросток, Джо всего должен был добиваться сам. Зачем же он избрал столь долгий путь через двенадцать классов и университет? Он поступал так вопреки своим интересам. По крайней мере насущным интересам. Культа знаний у него не было, и кругом такого культа еще не было. Учился он средне, словно выполнял обязанности, программу, уготованную ему. Была ли эта программа внутри него? Джо легче было думать, что Провидение управляет им, а его дело — подчиняться.

Ныне судьба его выступает из тьмы как нечто цельное, как законченный сюжет. Это редкость, потому что чаще всего жизнь человеческая — всего лишь нагромождение случайностей, невоплощенных замыслов, игра без правил, мешанина несчастий, удач, мгновенных взлетов, непоправимых глупостей. Смысл ее быстро теряется в хаосе обстоятельств...

Над сюжетом жизни Джо Берта реют два флага: звездный американский и красный, где серп и молот.

Лучшее воспоминание — утренний час в школе, а они, малыши, поют гимн...

Джо Берт встает, пробует спеть мне этот гимн, и вдруг оказывается, что он забыл слова. Это его поражает...

В школьные годы Джо вместе с друзьями часами, все свое свободное время, шатался по Манхэттену, глаза на огромные витрины магазинов, черные «роллс-ройсы», шикарные подъезды отелей, раззолоченных швейцаров. Чужое богатство рождало не злобу, не зависть, а энергию: ты такой же, ты все это можешь иметь, если будешь работать, если придумаешь, сделаешь!

Капитализм, в котором вырастал Джо, давал пример за примером быстрого преуспевания. Тот же Вулворт изобрел новую систему торговли: «У меня в магазине не будет ничего дороже двадцати центов!»

История американских фирм — это история остроумных идей. Надо что-то придумать, чем-то заинтересовать. Вроде простейшего и гениального предложения — скидывать один цент, вместо трех долларов ставить цену: 2 доллара 99 центов.

Большинство сверстников Джо свято верили, что смогут разбогатеть. Если не получалось, то считали виноватыми себя: не хватило выдумки, мало затрагивали энергии, не учили рынка, не выдержали конкуренции. Сердились на себя. Упрекали себя, а не других.

Вера в то, что достигнуть успеха может каждый — великий американский миф, — воодушевляла поколение за поколением. Сила этой веры двигала Аме-

рику; внедренная с детства, вера эта до сих пор живет в Джо, в непрерывном потоке его идей.

У американцев короткая история, но зато у них есть уважение к нынешней деятельности человека и к будущему. Отсюда культ гениев бизнеса, торговли, биржи. В отроческих воспоминаниях Джо основное место занимает будущее. Не то будущее, которое обещали нам, не рассказы о коммунизме, о бесклассовом обществе. Будущее Америки было зримым и осязаемым. Джо пропадал на выставках будущего. Их устраивалось множество. Показывали, что будет через двадцать лет, через тридцать. Выставки будущих автоматизированных производств, туннелей, будущей авиации, будущей энергетики. Архитектор Райт выставил проект здания в полтора километра высотой, в котором будет жить миллион человек. Город будет состоять из пяти таких зданий. Никаких дорог между ними. В здании есть все — и производство, и отдых, и спорт. Где-то там, в будущем, находились и его, Джо, бизнес, процветание, его возможности.

Миллиардер Ханг начинал как игрок в покер. Основатель клана миллиардеров Вандербильтов был паромщиком. Крупнейший банкир Америки Амадео Джаннини мальчиком ездил с тележкой зеленщика по улицам Сан-Франциско, торгуя укропом, репой, луком.

Успех валяется под ногами, надо только присмотреться! Чтобы найти, надо поверить в себя. Чтобы поверить в себя, надо верить в Америку.

Перед глазами Джо Берта — Америка тридцатых. Она живая, неприкосновенно свежая, снова страна его юности, не попорченная ни Великим кризисом, ни маккартизмом, счастливая, преуспевающая страна великих свершений — автомобилей, джаза, говорящего кино, лучших возможностей и неубывающих надежд. Сорок лет он скрывал свои чувства, сорок лет он не позволял себе говорить об Америке, вспоминать Америку. Вдруг посреди нашего разговора он встал и хрипло запел:

O say, can you see, by the dawn's early light!
What so proudly we hail'd at the twilight's last gleaming?

Фраза за фразой приплывают из того школьного зала в эту комнату на другой стороне земли. Что-то надсадно хрипит в его груди, ржавый механизм детской любви задвигался. Спрятанное, погребенное очнулось. Он снова там, в Нью-Йорке, к нему вернулось гражданство — он снова американский гражданин самой свободной страны, у него все права — свобода слова, религии, предпринимательства. Сколько бы ни прошло лет, по закону никто не имеет права отнять у него американское гражданство, раз он родился в Америке.

Он поет вдохновенно, стоя руки по швам, счастливый оттого, что вспомнил.

Скользкая от крови палуба фрегата. Раненный — ты приподымаешься, смотришь вверх, в темноту. Разрывы гранат, выстрелы. При вспышках света различаешь широкие полосы и светлые звезды. Наш гордый флаг с нами! Он реет на мачте и, значит, над Страной Свободы и Домом Мужества!

И это он, Джо, все детство сражался на том фрегате за свободу Америки, он держал флаг, и его, убитого, заворачивали в этот флаг и под звуки гимна хоронили в океане.

— Но ведь были же у вас, Джо, и суды Линча, и сегрегация...

— Было, — охотно соглашается он.

Он все подтверждает — и ужасы Великого кризиса, и самоубийства, и трущобы, — и тем не менее чувство превосходства не покидает его.

II

Напарника Джо, в ту пору Иосифа Брука, как я уже упоминал, звали Андреем Георгиевичем Картосом. Он был грек. И скрыть это было невозможно. Скрыли только его настоящую фамилию и имя. Он числился греком из Греции, и никаких упоминаний об Америке.

В нем заподозрить шпиона было легче, чем в Джо. Картос был молчалив и замкнут. Безукоризненно одетый, всегда аккуратно причесанный, собранный,

как будто выставленный напоказ. Никаких дефектов, тем и внушает сомнение. Понадобилось много лет, чтобы выяснить, что Андрей Георгиевич Картос на самом деле тот самый Андреа Костас, который упоминается во множестве книг. Биография его американцами изучена подробно. Но до того момента как он скрылся. В большинстве книг он фигурирует в разделе «Другие шпионы». Или «Следующий шпионский круг».

Андреа унаследовал от своего отца малый рост. Отец его имел пять футов, то есть полтора метра, что, как ни странно, печально отозвалось на его адвокатской карьере. Клиенты не доверяли греку-недомерку серьезных дел, они хотели видеть своего адвоката внушительным, представительным мужчиной. Приходилось вести грошовой дела бедняков, только что приехавших эмигрантов — итальянцев, латиноамериканцев. Благо у отца были способности к языкам. Семья была огромная: пять сыновей, одна дочь. Чтобы прокормить их, в годы депрессии отец мотался с работы на работу, одновременно прирабатывая и страховкой, и как переводчик в суде.

Единственный, кто получил высшее образование в этой семье, был Андреа. Остальные стали бизнесменами — кто занялся скаковыми лошадьми, кто стекольным делом. Андреа тоже должен был пойти работать, университета ему не полагалось, но колесо его фортуны повернул учитель математики, которого мальчик поразил тем, что сам одолел дифференциальное исчисление и стал решать уравнения «просто так».

Учитель попробовал уговорить отца отдать сына в университет. Отец не согласился. После смерти матери они вынуждены были продать дом. Семью поддерживала дочь, которая работала секретаршей. Кто будет платить за университет? Жили впроголодь. Андреа наловчился во время обеда говорить что-нибудь смешное, это он умел, и пока все смеялись, успевал схватить кусок побольше.

Учитель не отставал, скоро-де конкурс абитуриентов, пусть мальчик попробует себя. Андреа попробовал и выиграл. Не просто прошел по конкурсу, а занял одно из первых мест и получил право на стипендию Моргана. Потом хвастался, что при вручении диплома сам старик Джон Пирптон Морган пожал ему руку. Хоть Андреа и коммунист, а уважение к миллионеру в крови у американцев. Может, это и правильно, спрашивал меня Джо, ибо что, кроме счета в банке, столь точно может показать степень успеха человека? Слава? Как ее измерить? Заслуги? Тут тоже многое спорно и преходяще.

Розенберг, ярый активист комячейки, куда ходили Джо и Андреа и их друзья, был их сверстником. Напору Юлиуса было трудно противостоять. Он вовлекал всех в политику, в яростные споры, раздавал поручения, собирал митинги.

В партийных ячейках царил культ Советского Союза. Для каждого коммуниста была обязательна безграничная вера в торжество советского социализма. Все, что происходило в Советском Союзе, оправдывалось.

Знаменитый американский генетик Герман Меллер, будущий лауреат Нобелевской премии, в 1933 году приехал в Советский Союз, желая, как он говорил, «учиться социализму». Работал он у почитаемого им Николая Ивановича Вавилова, и это было для него счастьем, но вскоре кругом стала твориться вакханалия лжи, чудовищных провокаций. Приближался 1937 год, нарастал террор, шли аресты. Меллер придумывал оправдания репрессиям — кровавой мясорубке, которая набирала обороты, — но не выдержал и в 1937 году вернулся в Штаты, подавленный ужасами социалистической действительности. Иностранцы уезжали из СССР один за другим, рассказывали, что творит диктатура пролетариата. Когда на собраниях выступали приехавшие и рассказывали про советские концлагеря, тайные расстрелы, раскулачивание — их освистывали. Джо тоже топал ногами, он не желал слышать ничего плохого про первую в мире...

Юлиус Розенберг организовал партячейку, еще когда они с Джо учились в колледже. Партработа отнимала у Розенберга большую часть времени. Он занимался ею в ущерб учебе, а потом и инженерной своей работе. Он таскал с собой огромный тяжелый портфель, набитый брошюрами, листовками, списками, протоколами заседаний. Типичный очкарик — веселый, добрый, восторженный фанат коммунистической мечты.

Когда Юлиус женился, Этель примкнула к их дружбе. Следующим женился Костас, и все вместе они принялись сватать Джо, усиленно познакомили его с девицами из ячеек.

Но Джо выбрал себе подругу сам, никому не известную красотку-англичанку. Юлиус Розенберг учинил допрос: имеет ли право коммунист на легкомысленные шуры-муры? И сколько времени может продолжаться связь? Не обязан ли Джо жениться на ней, не следует ли обсудить вопрос на партийной ячейке?

Юлиус Розенберг и его жена Этель — те самые Розенберги, которых в 1950 году приговаривают к смертной казни, посадят на электрический стул за то, что они якобы передали Советскому Союзу секреты производства атомной бомбы.

Но до этого далеко. У них еще будут дети и много волнений и радостей, связанных с разгромом фашистской Германии. Пока что они заняты партийными делами, Джо ищет возможность открыть свое дело, а Андреа устроился работать в Корнелевский университет.

Годы учебы для него были труднейшие, надо было прирабатывать, помогая отцу. Одно время он дежурил на поле для гольфа, нырял в пруд, доставая мячи. Никакой другой работы найти не мог. То были годы кризиса, страшное время, которое оставило шрам в душе Андреа и спустя десятилетие сказалось роковым образом.

Андреа помогли его способности, он получил приглашение Корнелевского университета. Довольно быстро ему удалось сделать там хорошую работу по питанию циклотрона.

Джо не сумел устроиться по специальности электронщика. Зато ему удалось попасть на государственную службу как проектировщику аэродромов. Государственное предприятие — шаг к социализму, отец похвалил. Джо тоже был доволен: четыреста долларов в месяц, вполне приличная ставка. Он снял себе квартиру на двадцать пятом этаже, точнее, на крыше небоскреба: Пенхаус — что-то вроде дачного участка. Привез земли, развел садик, посадил кусты, вид с высоты был роскошный. К нему любили приходить гости. Вообще это было счастливое время.

Он успевал работать, бывать на концертах, учиться музыке, влюбляться, страдать, впрочем, не всерьез, мечтать о собственном бизнесе, помогать Юлиусу и его жене Этель в партийных делах.

С началом войны оклады на военных предприятиях подскочили — пошли военные заказы. У Джо появились свободные деньги, и он смог осуществить свою ближнюю американскую мечту — приобрести машину. В 1941 году новеньким автомобилем еще можно было щеголять.

«Форд» последнего выпуска — с радиоприемником — катил воскресным июньским утром по автостраде. Джо за рулем, рядом Андреа, которого он умыкнул из семейного гнезда. Вдруг музыка оборвалась, и друзья услышали экстренное сообщение: Гитлер напал на Советский Союз. Джо до сих пор помнит голос диктора...

Потрясенные, они съехали на обочину, остановились.

Итак, Россия вступает в войну. Пусть в России нищие колхозы, беззаконие, пусть Сталина перехитрили, пусть напрасно он уничтожил военных командиров — все равно это единственный оплот социализма, надо простить все ошибки; сейчас, в этот решающий момент истории, важно одно — помогать России, ей предстоит принять главный удар.

Они жадно читали газеты, слушали радио, выполняли военные заказы, не считаясь со временем, и все равно война доносилась до них глухо, прерываемая джазом, концертами и вечеринками. Когда Америка вступила в войну, жизнь почти не изменилась. Войны для Америки всегда происходили «где-то».

К тому же им было по двадцать пять лет. Мир лежал перед ними покладистый, влюбленный в них, готовый покориться их уму, таланту, физической силе, красоте. Они все могли. Они вступили в зону уверенности, свершений, подвигов. Секс вовлекал в приключения, молодость требовала радостей, расстраты сил. Они старались подойти к сексу научно. У них сложилась дружная компания, они сняли квартиру в центре Нью-Йорка, там проводили эксперименты с разного рода девицами — негритянками, японками, испанками, вдо-

вушками, замужними дамами, проститутками. Секс и музыка... Секс и Восток... Секс и гимнастика...

Они установили, что каждая женщина — волшебный инструмент, способный отзываться в руках умелого музыканта по-новому. Нет бесчувственных женщин, нет фригидных, есть неумелые мужчины. Секс — радость дающего. Секс занимал большое пространство и в мыслях, и в отношениях с людьми. Им надо было все опробовать и сравнить. Они читали труды психиатров по сексуальному инстинкту, привлекали к своим дискуссиям ученых-женщин. Секс и политика совмещались плохо, секс и наука — лучше.

Изучение секса закончилось для Андреа тем, что он попался в капкан, поставленный одной волоокой красоткой, так считали друзья. Утверждение не совсем справедливое, показания свидетельствуют, что капканом они называли ее равнодушие к песням Андреа и к нему самому. Кошачье-ленивые ее движения, таинственная дремотная улыбка уводили в какой-то иной мир, откуда она порой сниходила. Обыкновенные ее слова Андреа воспринимал как обещание чуда. Что он увидел в ней, медлительной, сонной, никто не понимал. Все было бы ничего, если б дело не кончилось свадьбой. Тут-то и прозвучало — капкан. Недоумевали, зная талант Андреа, его умение выстраивать длиннейшую цепь причин и следствий, то есть предвидеть далеко вперед.

Отговаривать влюбленного всегда бесполезно. Смысл любви, ее неразгаданная сила и состоит в том, что любовь слепа. Андреа видел свою Луизу в таком сиянии, что ничего другого, кроме этого сияния, различить не мог.

В те годы он был глух и самонадеян. Звезда его восходила. Секретные работы над атомной бомбой в Лос-Аламосе разворачивались. Физика становилась государственной наукой, это чувствовалось в университетах. Исследования на циклотроне получили неожиданный спрос. Этот спрос вдруг подскокил, как подсказывают акции на бирже. Чиновники, университетское начальство стали чтить физиков. Андреа оказался одним из тех, кого выделяли. Устраивала его молчаливость и то, что он не любил писать статьи, предпочитая эксперимент. В нем счастливо сошлись ученый и инженер. Они не боролись, а чередовались — работа руками и работа с карандашом и бумагой, эксперимент и размышление.

После женитьбы он ушел в работу; кроме того, случилось еще одно событие. Однажды с приятелем Бобби Джонсом они свернули к какому-то бару перекусить и увидели вдали пологий холм, поросший синими цветами. Это было так красиво, что они подъехали поближе. Холм был ярко-синим, как небесная глыба, ветерок колыхал высокие колокольчики, открывая зеленую траву, казалось, они тихо звенят. Запахи нагретой травы, тишина, бегущие тени облаков, совсем иная, незнакомая жизнь нежно обняла их. Бобби, тоже физик, занятый космическими лучами, сказал:

— Сад Божий! Таким был рай!

Местечко называлось Итака. Для Андреа это прозвучало как знамение. Итака — греческий остров, родина Одиссея! Возвращение на Итаку значило: приплыть к родному приюту после многих невзгод.

На счастье, участок продавался. Они решили поселиться здесь, приобрели его на двоих, разделились и вскоре принялись за строительство. Боб заказал проект дома архитектору, Андреа проектировал свой дом сам. Крышу он сделал плоской, проложил в ней водяные трубы, отводящие летнюю жару. Отопление устроил в полу. Зимой солнце обогревало западный брандмауэр. Начинил дом автоматикой, сигнализацией. Сконструировал по своему вкусу фонари, люстры, бра. Ему доставляло удовольствие работать руками, с металлом, деревом, мастерить камин, замки, скамейки. Когда агенты ФБР впервые пожаловали в Итаку, они приняли его за рабочего.

В обоих домах справили новоселье. Музыкальные вечера, на которые приезжал из Нью-Йорка и Джо, устраивали большей частью у Боба. У него был рояль и юная жена, стройная, тоненькая, как свечка. Когда они играли, узкое личико Эн светилось.

Ах, как нас любили после войны! Во всех странах Европы, в Америке, во всех ее городах и городишках! Мы были освободители, герои. Мы спасли Европу от коричневой чумы. Нам сочувствовали. Четырнадцать миллионов по-

гибших, цифра, которую тогда решились назвать, приводила в ужас. Во всех кинотеатрах шли фильмы о войне, показывали советские разрушенные города, парад Победы на Красной площади. Ставили памятники советским солдатам в Австрии, Норвегии, называли улицы, площади в честь Сталинградской битвы.

Любовь к нам казалась прочной, мы были уверены, что ее хватит на наше поколение, останется и нашим внукам. Что другое мы могли оставить им?

Джо, Андреа, Розенберги — все они ходили гордые. Дома у каждого висел портрет Сталина. Они мечтали поехать в Советский Союз, хоть взглянуть на Кремль, на советских людей.

Наступило 5 марта 1946 года. Хмель победы еще не прошел. По дорогам Германии, Италии продолжали двигаться освобожденные из фашистских концлагерей. Вылавливали переодетых нацистов. Еще умирали в госпиталях раненые, возвращались домой солдаты. В этот день в маленьком американском городке Фултоне выступил Уинстон Черчилль. К тому времени бывший премьер.

Черчилль решил высказать то, что тревожило его и его друзей — американцев, решил переступить через недавнее братство по оружию, скрепленное кровью и заверениями в дружбе.

Прежде всего он сказал об атомной бомбе. Сказал, что производство бомбы находится пока в руках Америки и от этого люди не спят хуже. Но вряд ли они смогут так же спокойно спать, если положение изменится и какое-либо коммунистическое или неофашистское государство освоит ужасную технологию. «Бог пожелал, чтобы это не случилось, и у нас по крайней мере есть передышка, перед тем как эта опасность предстанет перед нами».

Союзники уже знали, что в СССР идет вся работа над бомбой. Черчилль дал это понять и впервые указал на опасность, которая грозит миру. Советскую страну, избавившую мир от фашизма, он объявил главной угрозой всем бывшим союзникам. Кроме того, не постеснялся поставить на одну доску «коммунистическое и какое-либо неофашистское государство»!

Он не называл страну напрямую, он говорил о полицейских правительствах, о власти диктаторов, узких олигархий, «действующих через посредство привилегированной партии и политической коллизии». Но адрес был ясен.

«От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился на континент...»

Речь Черчилля послужила началом холодной войны. Она действительно стала точкой отсчета новой истории, поворотным пунктом послевоенной политики.

Конечно, он и сам был не без греха. В молодости, будучи министром, использовал войска для подавления забастовок горняков, организовывал интервенцию против Советской республики, расстреливал восставших в колониях, всякое было. Но из всех руководителей западных стран Черчилль, пожалуй, лучше и раньше других понял сущность сталинизма. И сущность демократии, по крайней мере английской демократии. Когда спустя два месяца после празднования победы пришло известие, что кабинет его провалился и он, спаситель Англии, должен подать в отставку, Черчилль выскочил из ванной с криком: «Да здравствует Англия!»

III

У Джо между тем дела шли отлично, и было непонятно, почему предчувствие беды не давало ему покоя. Он пробовал поделиться с друзьями своей тревогой — они ничего не замечали, ни Юлиус, ни Мортон, ни Андреа. Чтобы в Америке начались доносы, увольнения, аресты — за убеждения? Этого не может быть!

Джо не успокаивался. У него не было никаких доказательств, тем не менее он уговаривал друзей уехать куда-нибудь — в Канаду, Мексику. Пока их не схватили. Опасность, мол, подкрадывается на цыпочках, стараясь ступать бесшумно, но он слышит скрип половиц, еле сдерживаемое ее дыхание. Наверное, в древности Джо мог бы стать оракулом, вещуном — предсказывать, а главное, предчувствовать угрожающие повороты судьбы. Он несомненно обладал этим редчайшим, ныне забытым даром.

Внезапно для всех его уволили. Вызвали в отдел кадров и попросили сдать пропуск. И никаких объяснений. Это была крупная военная фирма, порядок

здесь существовал строгий. Заведующий лабораторией пробовал отстоять ценного специалиста, ссылаясь на то, что работа Джо по радиолокации низко летающих самолетов идет успешно. Не помогло. Отдел кадров стоял на своем.

Впоследствии ФБР будет упрекать кадровиков в том, что те спугнули Джо Берта, помогли ему улизнуть.

ФБР искало советских шпионов: начиналась Великая Охота, и надо было кого-то схватить. Берта «разрабатывали» еще с Колумбийского университета, а когда он, защитив диссертацию, перешел в компанию «Санк», «устроив» себе репутацию блестящего инженера, и был допущен ко всем секретам фирмы, мы занялись уже всерьез. Парень получил-таки право свободно передвигаться из отдела в отдел, посещать любые лаборатории, так что, если надо, он бы смог... Секретные исследования попали бы в руки коммунистов. Не важно, что радары фирмы «Санк» не имели никакого отношения к атомной бомбе. Супруги Розенберг занимались по заданию Москвы атомной бомбой, Джо Берт занимался радарами — следовательно, действовала целая сеть шпионов...

Руководители фирмы оправдывались: дескать, Джо Берт — отличный специалист, а благонадежность — забота других ведомств. Их оправданий не слушали. Что значит отличный специалист? Это значит, что у него есть отмычка, с помощью которой он и проникает на секретные военные объекты.

Конечно, полная безработица Джо не грозила, он мог бы устроиться на подсобку. На обыкновенную инженерную работу, чтобы продержаться некоторое время, пока его не достанут. А доставать будут — антикоммунистическая истерия нарастала. Газеты уже не стеснялись. Заработали комиссии. Вызывали, проверяли, заставляли заполнять анкеты.

Джо ничего не предпринимал, ходил полусонный, прислушивался к чему-то. Откуда-то издали сквозь топот и гам доносились звуки дудочки. Еле слышная мелодия ускользала. У него был хороший слух и хорошая музыкальная память. Эту мелодию он почему-то никак не мог воспроизвести. Она появлялась в самые неожиданные моменты и исчезала. Похожая на песенку из его детства. Когда он пробовал сочинять, ничего прекрасней и выше музыки не существовало.

Однажды он очнулся, сидя на галерке в «Карнеги-холл». Играли старую музыку — Скарлатти, Перголези, Орlando Лассо. Это было так красиво, что у Джо выступили слезы. А что, если уехать в Европу, заняться музыкой? Изменить профессию, стать музыкантом? Скорее всего композитором. Решение словно бы осенило его. Он понял, что это и есть та дудочка, которая звала его, что колесо его фортуны с этой минуты повернуло на истинную дорогу.

В своих способностях Джо не сомневался. Музыка жила в нем. Главное — решиться, шагнуть, оторваться... То есть уехать. В Европу, на родину музыки — в Италию, Францию, Германию. Окунуться в древнюю симфоническую культуру. Джо представил себя то за роялем с чистым листом нотной бумаги, то за дирижерским пультом.

Со стороны же его поведение выглядело странным. Друзья старались устроить ему работу, хлопотали, добились двух предложений. Одно, довольно лестное, — в компанию «Белл», другое — инженером по оборудованию диспетчерских. А Джо отказывается, покупает билет на пароход в Европу.

Единственный человек, который знает о его планах, это Вивиян. Роман с ней зашел далеко. Так далеко, что произошла помолвка. Для Вивиян, как и для любой женщины, церемония имела значение. Она любила Джо. Самая сильная любовь все равно боится разлуки, страдает от нее, как от засухи. Тем более что речь шла о расставании на неопределенный срок. Вивиян предъявила свои права, неоспоримые права нареченной: почему бы им не поехать вместе? Джо согласился, заказал двухместную каюту. Вивиян, однако, продолжала наступление: если мы едем вместе, то почему бы не сыграть свадьбу?

У нее были роскошные волосы, резкая талия и крепкая высокая грудь. Она любила расхаживать по квартире голой, в туфлях на тонком каблучке — Джо любовался ее походкой. Это была поступь женщины, сознающей победность своей плоти, — ни в каком наряде Вивиян не чувствовала себя так уверенно.

Свадебное путешествие — звучало неплохо, но беда в том, что Джо не собирался в путешествие. Он уезжал в неизвестность, в новую жизнь, в совсем

иное существование, он должен был завоевать музыку... Доводы Вивиан вызвали досаду. Произошло, по-видимому, еще что-то, что привело к размолвке. А что именно — неизвестно, агенты ФБР пытались и не могли установить. Вышли на Вивиан — она отмалчивалась. Тогда ФБР взялось за нее как следует, ей угрожали, сулили опубликовать кой-какие снимки, письма. Поединок был неравный. С одной стороны, могучая организация с психологами, сыщиками, юристами, аппаратурой, с другой — оскорбленная, покинутая женщина.

Но Вивиан проявила упорство, причины, которые представили агенты, она отвергла. Но и те аргументы, что спустя десятилетия выдвинул Джо, тоже не признала.

Друзья по партии были против отъезда Берта. Коммунист в такую пору, в разгар холодной войны, не имеет права на дезертирство. Надо защищать честь партии, бороться за ее существование. Юлиус Розенберг, правда, несколько успокоился, когда Джо показал ему рукопись своей работы об американской военищине. Его давно раздражала генеральская клика — заказчики, с которыми ему приходилось иметь дело. Напыщенные, гордые победой, которая досталась им так дешево, уверенные, что теперь, обладая атомной бомбой, они положат мир к своим ногам и будут диктовать всем что хотят; при этом они презирали физиков, шеголяли своим невежеством, хамством и откровенным желанием снова повоевать.

— Запомните, Берт, блюдо заказываем мы. Ваше дело стоять у плиты. И не задирайте нос, нам хватит одного умника — Эйнштейна. Не понравится стряпня — выбросим в мусоропровод вместе с вами.

Примерно так отчитывал его начищенный, отглаженный генерал, постукивая трубкой по столу.

Джо полагал, что Америка — основной враг Советов, остальные державы не смогут противостоять Кремлю. Во Франции и в Италии сильные компартии, они не позволят воевать с Советским Союзом. Индия и Китай — союзники СССР. У Джо все было разработано. Он был уверен, что знает, как решить проблему всеобщего мира. Политика, социология, право, история, психология и тому подобные науки — чтобы справиться с ними, достаточно здравого смысла. Если бы кто-то сказал, что это авантюра, он бы удивился. Он считал себя расчетливым, предусмотрительным и способным, весьма способным, разносторонне способным. Внутренний свой образ, каким Джо его видел, вполне его устраивал; это был образ, составленный из успехов: ни изъянов, ни поражений.

И вот теперь его ждала Европа. И музыка. Перед самым отъездом пришло приглашение от Гамбургского университета прочесть курс инженерной математики. Значит, он получит приют и возможность оглядеться.

Три месяца Джо провел в Гамбурге. Немецкий язык его измучил. Затем, кое-как покончив с лекциями, он уехал во Францию, в Париж. В Париж! Учиться музыке, к Местану, в известную музыкальную школу! Сочинять и играть! Несколько месяцев он действительно просидел за фортепиано. Но играть гаммы, этюды отказался. Дескать, стать пианистом можно и самоучкой, это ничуть не труднее, чем овладеть самостоятельно чужим языком, ведь клавиры — тот же язык. Его подбадривали детские воспоминания — как легко он усваивал то, что не давалось старшему брату...

Школа помещалась на Монпарнасе. Учитель играл им Бетховена, «Пасторальную» сонату отрывок за отрывком, анализировал, почему Бетховен написал так, а не по-другому. Джо честно пытался «по-другому». И всякий раз честно признавался, что получалось много хуже. Да, он достиг беглости, мог играть с листа, но все это оставалось любительством. Слишком поздно. Свое время он упустил. Надо было начинать тогда, в четыре года, когда он сидел под роялем, слушая упражнения брата.

Между тем в голове Джо постоянно звучали ритмы, складывались мелодии. Он бродил по бульварам, сидел в уличных кафе, рассеянно наблюдая за прохожими, музыка внутри него звучала, не заглушаемая ни гудками машин, ни стуком каблучков, ни звоном посуды. Он должен напеть эту музыку, записать на магнитофон, затем переложить на ноты! Увы, в записи она выглядела

жалко Он стал учить гармонию, вчитывался в Хиндемита, стараясь осилить его систему Мелодия, решил он сможет сама развиваться, надо только создать ей условия, а дальше уже — техника. Музыка представлялась ему самоорганизующейся системой первотолчок — и покатила, ожила, разрастаясь причудливыми ветвями

Специалисты отвергали его сочинения Он утешал себя тем, что новаторов всегда не понимали Композиции Франка, Шостаковича, Гершвина не воспринимали их наставники

Тем не менее его не покидали сомнения Кто он такой? Композитор? Исполнитель? Инженер? Исследователь? Существует ли какой-то наилучший вариант его судьбы?

Вековая мечта человека узнать свое предназначение — зачем он рожден?

Он почти не приобрел знакомых в Париже, не хотелось ни с кем общаться И не писал домой — писать было не о чем.

Однажды, стоя у гробницы Наполеона, Джо услышал, как гид рассказывает о спосособности императора к математике; по крайней мере сам Наполеон был уверен, что мог стать математиком, разумеется, великим. Гёте тоже мог стать оптиком, а Бородин — химиком и Ньютон — богословом. Каждый человек ищет в себе другого, не осуществленного. Джо тоже искал другого Джо Берта; легкий взмах руки — и запели валторны, их перебили скрипки, и вот уже весь оркестр подчинился его воле, его напору..

Одна из его тогдашних случайных женщин, певичка в ресторане у Трокадеро, попросила написать для нее песню Подарить ей на память. Маленькая, верткая, как пичужка, Тереза обладала неожиданно низким сильным голосом. Ему захотелось доставить ей удовольствие. Писалось легко, за два вечера Берт сочинил три песенки на стихи из какого-то журнала. Тереза расцеловала его и накормила за счет оркестра роскошным обедом. А через несколько дней сказала, что ничего не получается, песни его не прошли. Джо потребовал подробностей. Он увел ее из ресторана уже хмельную, по дороге они зашли в бар добавить и когда добрались до ее квартирки, ни о чем уже нельзя было говорить..

Утром он растолкал ее, напоил крепким кофе и заставил рассказать, почему их вшивый кабак привередничает, что они смыслят в музыке, ее барабанщики

Тереза сидела в постели, обхватив колени руками, в короткой рубашонке, покачиваясь из стороны в сторону и морщась от его громкого голоса.

— Заткнись! — вдруг выпалила она. — Меня высмеяли. Это старое, засохшее дерьмо, такое пели лет двадцать назад.

Но взглянув на него, она вскочила, стала его гладить, утешать. А он смотрел на ее блеклое, потрепанное лицо, на котором было всего лишь сочувствие неудачника к неудачнику, и видел себя тапером в какой-нибудь дыре. Пивная — шумная, пьяная, в табачном дыму, — он за расстроенным пианино, под запотелым потолком с медной люстрой. Оттолкнув Терезу, Джо выскочил из квартиры, яростно хлопнув дверью.

Появился он лишь на следующее утро — Тереза была дома. Стоя он отбарабанил на пианино марш, который приснился ему ночью. Лихой, чеканный ритм выскочил из-под пальцев совершенно готовый.

Тереза невольно замаршировала, отбивая шаг, запела:

Звезда рассвета зажжена,
Еще один глоток вина,
Еще глоток, и мы идем, идем, идем —
Иль победим, или умрем!

Ни дать ни взять маркитантка, как на старых картинах! Восторг ее был бескорыстен, она расцеловала Джо, объявив его гением.

Тем же вечером Тереза повторила все это. Со столиков ей подпевали, насвистывали — легкую шагающую мелодию приняли с удовольствием. А через неделю пригласили исполнить марш в фильме «Сын менестреля». К тому времени Джо сочинил еще одну песню. Он то и дело напевал, тут же подбирал на пианино, записывал голенький мотивчик без аранжировки. Мелодии выскаки-

вали неожиданно. Самые что ни на есть примитивные — пристраивались они легко, Тереза через приятелей сбывала их для радиорекламы. Платили хорошо, наибольший успех имела музыка к рекламе шоколадных конфет «Тулъе». Поступили заказы от варьете и цирка. Джо выполнял их немедленно. Его мотивчики были, в сущности, поделками. В них не было заимствования, но все они что-то напоминали...

— Один черт, — успокаивала Тереза. — Раз платят, значит — годятся.

Платили, однако, не зря: мотивчики Берта запоминались сразу и прилипали надолго.

Но чем легче у него получалось, тем меньше он ценил свою неожиданную удачу. И все-таки — деньги, это было приятно. Тереза ликовала. А для Джо французские деньги, сотенные, тысячефранковые бумажки, не имели ничего общего с долларами, казались такими же ненастоящими, как и его сочинительство — без мук, без поисков.

Когда мотивчики напевала Тереза, получалось мило, может, потому, что при этом блестели ее зубы и спадающая на лицо прядь рыжих жестких волос. Но когда Джо слышал свои опусы по радио, он морщился. В сущности, это была капитуляция, мелочная торговля, распродажа обанкротившегося дарования. А было ли дарование?

Однажды на Монмартре Тереза вдруг уселась на брезентовый стульчик, и уличный художник ножничками стал вырезать из черной бумаги ее силуэт. Из блеска мелких движений появились очертания спутанных волос, линия лба в профиль, без морщин, без голубых прожилок на висках.

Джо смотрел на прокуренные желтые пальцы художника, они действовали безошибочно, это была почти механическая работа, они обводили тень, ничего больше. На маленькой площади сидели художники, без конца писали одни и те же переулки, собор, прохожих. Силуэтчик наклеил тень Терезы на глянцевою картонку. Остался черный лист с вырезанной дырой, как бы след силуэта, его негатив.

— А это дайте мне, — попросил Джо. — Возьму с собой в царство теней.

— Зачем тебе это? — спросила Тереза.

— У тебя будет силуэт, у меня — его отсутствие. Именно отсутствие ощущает разлука.

Что-то ей не понравилось в этих словах, до нее не сразу дошло, но когда через неделю ее допрашивали агенты ФБР, она вспомнила эту фразу. Конечно, и раньше она замечала, что с Бертом творится неладное. Они собирались на юг. Теперь, когда завелись деньги, она затеяла поездку в Ниццу, договорилась о машине напрокат — белый «шевроле», — решили взять номер в классном отеле, благо не сезон и цены снижены. «Шевроле» было затаенным мечтанием Джо. Она знала, что он скучает без машины, она купила ему желтые шоферские перчатки, поездка предстояла сказочная, Джо никогда не видел Средиземноморья, ему нравилось слушать ее рассказы про солнечную синеву, про виноградники, шоссе вдоль побережья... Плотный солоноватый воздух, обтекающий горячее тело машины...

В газетах промелькнуло сообщение, что в Париже состоится конгресс по быстродействующим машинам. Джо тут же направился в подготовительный комитет Тереза увязалась с ним, и там они встретили Мака Фергюсона, который преподавал в Корнелевском университете. Он приехал в Париж как член комитета конгресса. Долговязый Мак, румяная обезьяна, добрейшая морда, — они обнялись. Мак хохотал, выставив длинные зубы, и просил Джо выступить на конгрессе с докладом, не важно каким — получит хороший гонорар. У Джо имелась одна идея, которая занимала его давно, — вычислительные машины на транзисторах. Надвигается эпоха компьютеров, вскоре они начнут захватывать научные институты, конструкторские бюро. Наверняка компьютеры проникнут повсюду, это будет их тоталитарный режим. Воображения не хватало сообразить, как переменится жизнь!

Джо только что прочел книгу Норберта Винера «Кибернетика». Термин понравился Джо. А сама книга произвела оглушающее впечатление. Винер вошел в тот дом, на пороге которого Джо остановился, нет, не в дом, а в страну, в неведомый волшебный мир. Винер словно подслушал мысли Джо! Конечно это носилось в воздухе, но Берта восхищало, как мастерски Винер опе-

редил всех, недаром книга стала бестселлером. Она протрубила начало новой эры, новой умной жизни. Взамен страшной бесчеловечности атома — царство послушных роботов, верных помощников, готовых, освободив человека от лишней работы, считать, запоминать, выдавать по первому требованию любые сведения. Сказки фантастов предстали техническим устройством, теорией информации, которая извлекается и передается мгновенно. Джо с Маком обговаривали эти потрясающие возможности, аж дух захватывало, когда они пытались заглянуть в будущее.

Мог ли кто во времена Эдисона предугадать судьбу электрической лампы, говорил Мак. — А уж про кибернетику и подумать страшно.

Предполагалось участие Джона Неймана, Хагельбаргера из лаборатории лла, возможно, пожалуй сам Винер. Теоретиков хватало, недоставало инженерной мысли. Мак уговаривал Джо выступить на тему применения транзисторов в ЭВМ.

Идея вычислительной на транзисторах появилась у Джо, когда он занимался радарам. От него требовали сократить габариты, увеличить объем памяти уменьшить потребляемую мощность. Решить эти задачи могли транзисторы. До воплощения было далеко, ясно, однако, что в новую область рванут десятки лабораторий.

Обдумывая выступление, Джо обнаружил, что у него мало практического материала. Один за другим возникали безответные вопросы. Ни цифр, ни данных, ни технологий. Общие места, дырявые рассуждения, которые легко опровергнуть и нечем защитить. Потом скажут: «Джо Берт?.. Тот самый, что провалился на парижском конгрессе?» Такое не забывают. В присутствии корифеев сесть в лужу значит поставить крест на карьере.

За год своих музыкальных потуг он поотстал от дела, а главное, потерял уверенность в себе, то, чего раньше некуда было девать.

Он поехал к Маку и выложил свои страхи. Мак понял. Бог с ним, с докладом, благодаря своей работе с радарам Джо вплотную подошел к богатейшим возможностям, тут настоящее эльдорадо. Решить всерьез эту проблему можно лишь в Штатах, получить грант, любой университет схватится. Надо торопиться, к этому нынче подбираются со всех сторон, растащат, как шакалы, присвоят, если не застолбить.

Ни о каких песенках, шлягерах Мак слушать не хотел — и как только Джо мог тратить время на такую чушь? Мак заставил его отправиться в агентство, заказать билет на теплоход, внести задаток.

Пришлось расторгнуть договор с рекламной фирмой. Он расплатился с хозяйкой пансионата, собрал вещи. Осталось самое тягостное — Тереза. Джо не знал, как подготовить ее. Они пошли в итальянский ресторан, где было хорошее мороженое и капучино. Сперва Тереза не желала слушать никаких объяснений. У него же открылся такой талант, он нашел себя. И откуда ему известно, что в этом мире пустяки, а что нет?

В самом деле — откуда?

Лучше хороший шлягер, чем еще одна машина, что толку с этих машин? Надо же ей было связаться с идиотом — все бросить в разгар везухи, когда деньги пошли... А как же их путешествие?

Ему еще не приходилось расставаться так тяжко. Тереза сникла, поняв, что его не остановить. Губы ее опустились, над верхней — белый след от сливок, волосы свесились, глаза потухли. Вот такая несчастная, некрасивая она была ему еще милее — она приедет к нему, обещал Джо, как только он устроится, она сразу приедет в Штаты.

— Врешь ты все, врешь.

— Клянусь тебе, — твердил он, уверенный, что так и будет, потому что сердце его разрывалось от жалости.

— Ты дурак... Дурак или подлец, я не знаю.

— Но ты же знаешь, что у нас не просто так.

— Что ты делаешь, что ты делаешь, — повторила она.

И он понимал, что покидает жизнь совсем особую, какой у него уже никогда не будет.

Осталось три дня до отъезда, и Джо уговорил Терезу все эти дни провести вместе.

Посреди ночи Джо проснулся. Кто-то позвал его, потряс за плечо. Никого в комнате не было. Лишь неясная бормочущая тишина ночного города. Он встал, подошел к окну

Накрапывал дождь. Подъехала машина, погасила фары. Блеснули дверцы. Из автомобиля вышли двое, оба в длинных плащах, остановились напротив пансионата. Тени их смутно угадывались в ночной мгле. Джо показалось, что они смотрят на его окно, он отступил в глубь комнаты. А когда снова выглянул, улица была пуста, блестела мокрая мостовая, дождь усилился, шумно стучал по крышам.

Утром он решил, что все это ему приснилось. Но что означал этот сон? Мышеловка... Мышеловка... Откуда-то появилось это слово, показалось, что его произнес тот, в кепке. Все двери закрыты, осталась только одна, а за ней — мышеловка.

Решение пришло внезапно и безотчетно. Когда его спросили в агентстве, почему он отказывается от рейса, Джо ничего не мог объяснить. Сотрудница, которая принимала у него деньги за неустойку, сочла его за больного, он стал читать ей какие-то стихи по-английски. Он читал ей из «Гамлета»:

Нас иногда спасает безрассудство,
А план обдуманый не удается,
Есть божество, ведущее нас к цели,
Какой бы путь ни избирали мы.

Еще недавно он мечтал написать оперу «Гамлет» и некоторые монологи знал наизусть.

В пансионате Джо тоже ничего толком не разъяснил — надо, мол, задержаться в Париже. По словам хозяйки, выглядел он растерянным.

Назавтра все утренние газеты вышли с сенсационным сообщением: в Соединенных Штатах раскрыта шпионская сеть коммунистов, арестованы супруги Розенберг, они передали Советам секреты создания атомной бомбы, вот в чем причина успеха русских — коммунисты проникли во все военные производства США, национальная безопасность Америки под угрозой.

Джо не верил своим глазам, перечитывал знакомые имена — друзья, приятели «Один из шпионов, Андреа Костас, сбежал, поиски ведутся, служба безопасности надеется, что в ближайшие дни его удастся задержать»

Обвинения выглядели сомнительными. Что за «секрет атомной бомбы», какие могли быть «чертежи»? Все это напоминало шпионский роман, бульварную туфту. Джо прочитывал газету за газетой и убеждался, что это грубая фальсификация, ложь от начала до конца. Он позвонил в американское посольство. Какой-то чиновник молча выслушал его излияния, потом холодно поинтересовался, какие у него есть доказательства, чем он может засвидетельствовать, знает ли лично Розенбергов и вообще кто он такой. Джо назвал себя, чиновник переспросил, закашлялся, голос его потеплел, он кому-то передал трубку, и она обрадованно заворковала — очень хорошо, приезжайте, мы запишем ваши показания.. Внезапная любезность насторожила Джо, он нерешительно поблагодарил — сегодня никак, разве что завтра вечером. Да ради бога, его будут ждать... Повесив трубку, стал соображать — его даже не спросили, американский ли он гражданин, сработали имя, фамилия, как будто уже были у них на слуху. С чего бы это? Возможно ли, чтобы их запрашивали? Но запросов в посольство присылают много. Запрос, следовательно, был недавний. Или же особый, потому что они даже не сверились... Вариант довольно вероятный — его разыскивают. Зачем разыскивают?

Ресторанчик, выбранный Максом Фергюсоном, представлял собой довольно унылое помещенье на шесть столиков, но был известен своей хорошей греческой кухней. Мак заказал не менее десяти наименований. После шестого блюда и трех порций виски он, приняв ночных визитеров за факт, выразил недоумение. Чего они, собственно, хотят? Арестовать Джо? На основании чего? По какому, спрашивается, пути шла обработка информации? Вероятно, статистическая? Дедукция следствий? Умозаключения по аналогиям?

Несколько раз они теряли нить разговора. Проблемы логических машин и логических ошибок увлекали их больше, чем вешие сны и предсказания.

— То, что выглядело на том, прежнем уровне информации нелепостью, на новом уровне вполне логично, — рассуждал Джо.

— Но на каком основании, находясь на нижнем уровне, ты выбираешь нужное решение? — рассуждал Мак. — Чтобы так расшифровать сигнал, надо иметь другой сигнал!

Они хорошо запутались, так, что не могли найти ни концов, ни начал, даже такое виски, как «Королевский салют», не помогло им выкарабкаться. К тому же выяснилось, что Мак уже побывал в посольстве и оставил там список участников конгресса, в списке был и Джо Берт.

Под вечер, возвращаясь в пансионат, Джо издала увидел у подъезда длинный серый «линкольн». Ощущение опасности заставило зайти в кондитерскую, что была наискосок от его дома. Он уселся за столик у окна, заказал себе кофе. Возле машины прохаживался плечистый парень в нейлоновом плаще, шляпе. Челюсти его мерно двигались. Фонари еще не зажгались, но Джо показалось, что он где-то его видел. Двери подъезда открылись, оттуда вышли хозяйка пансионата в накинутой на плечи кофте и мужчина постарше. Они о чем-то поговорили. Хозяйка вернулась домой, и теперь, когда эти двое остались у машины, картина напомнила ночное видение. Не будь его, Джо не обратил бы внимания на этих двоих, так же как не обращала на них внимания июльская улица. В том, что оба американцы, Джо Берт не сомневался, по каким-то неуловимым чертам он в парижской толпе всегда узнавал своих.

Опасность обрела физиономию. Выйдя из кондитерской, Джо не вернулся домой и не пошел к Терезе. Переночевал в гостиничке у Елисейских полей. Крохотный дешевый номер, широкая кровать, биде, туалетный столик и два облезлых полосатых стула. Запах табака, мочи, духов был запахом коротких сеансов любви, чем и жило это заведение. Снизу, от портье, он позвонил хозяйке, предупредил, что будет завтра, она засуетилась, сказала, что его ждут, передала трубку. Мужской голос сообщил, что ему привезли срочный пакет из посольства.

— Вы оставьте, — сказал Джо. — Я приеду завтра вечером.

— Дело-то срочное, может, я к вам подъеду?

— А чего там срочного? — равнодушно спросил Джо.

— Не знаю. Просили лично вам в руки передать.

— Это невозможно. Моя дама будет недовольна. Я должен соблюдать деликатность.

Он не мог отказать себе в удовольствии похихикать. Самоуважение его повисилось.

Он лежал, намечая на закопченном потолке возможные маршруты. Уехать в Ниццу? Вместе с Терезой? И что дальше? Наняться в какой-нибудь оркестрик? Но сезон закончился. Инженерная должность требовала документов, для этого надо заполнять анкету. Во Франции американцу укрыться труднее, чем в Англии. Зато там полно сотрудников ЦРУ. Брать визу в английском консульстве значит засветиться. В паспорте у него стоял штамп: «Запрещено в Китай и в СССР». Если попросить визу в советском посольстве, его наверняка задержат на границе французы. В Латинскую Америку? А что там делать? Самое безопасное — податься куда-нибудь в Рим, там затеряться, переждать.

За стеной хрипело радио, скрипела кровать. В шахматы выигрывает тот, кто сумеет рассчитать больше ходов вперед. На сколько ходов он может опередить этих парней?

IV

Вскоре после отъезда Джо в Европу Андреа Костаса вызвали в секретный отдел. Спросили: действительно ли является он коммунистом, членом партийки такой-то, с такого-то времени? Затем не стесняясь объявили, что увольняют.

Увольнять за политические убеждения? В Америке это невероятно! Еще невероятней было то, что все очень быстро смирились с этим. Не прошло и недели, знакомые стали его избегать, разговаривали, оглядываясь по сторонам. Талантливый, перспективный специалист, он очутился в пустоте. Фирмы, в

которые Костас обращался, смущенно отказывали. О государственной службе нечего было и думать. На предложения, посланные в провинциальные, самые скромные, университеты, ответа не приходило, либо сообщали, что «пока не требуется»

Однажды, позвонив профессору Оудену, он услышал, как жена крикнула: «тебя. этот.. Коста!» — профессор выругался, потом все же взял трубку и сказал: «Вот что, Костас, больше не звоните мне, у меня хватает своих неприятностей» Но это по крайней мере было честно. Другие вообще не отзывались на телефонные звонки. Страхи разлучали людей.

В конце концов он устроился — у себя в Итаке на малярные работы, они оплачивались хорошо. Надо было кормить семью, платить за дом, участок, страховку, электричество... Раньше Андреа даже не замечал, сколько приходит счетов. Его жена, ленивая сластена, как называл ее Джо, восприняла его увольнение спокойно. Научные интересы мужа были ей безразличны, а зарабатывал он теперь не меньше, чем в университете. Она грызла конфеты, болтала по телефону с родными, читала детективы.

Единственные, кто устроился на его беду, были соседи. Роберт высоко ценил талант Андреа, они часами обсуждали проблемы астрофизики. Но Роберт приезжал поздно, навеселе, он весь был в любовных похождениях.

Все-таки следует признать, что не только Роберт и его жена, но и все, кто посещал их дом, вся их шумная университетская компания, относились к Андреа сочувственно. Душой этого дома была Эн, жена Роберта, тоненькая, насмешливая, суховато-кокая, что всегда нравилось ироничной компании. Набивалось порой человек до полсотни. Эн иногда удавалось упросить Андреа спеть. Пел он греческие песни, испанские, албанские, что-то нездешнее. Черная небритая щетина шла ему, делала его похожим на чужеземца. Смуглый грек, словно бы спустившийся с Дельф, с высоты античных тысячелетий, он напоминал Эн о древних богах, которые покинули нынешних людей. Вообще это выглядело картинно: Андреа ставил ногу на стул, взгляд его становился невидящим, голос был слабый, сиповатый, но с особой, ни с чем не схожей интонацией.

Однажды, приехав из соседнего городка, Костас застал у своего дома машину, на ступенях сидели два сотрудника из Си-Би-Ай Их интересовало, зачем он так стремился работать на циклотроне, почему оставил свою прежнюю инженерную профессию. Расспрашивали, кто бывал на собраниях в партиячке, как познакомился с Розенбергами. Трудно было понять, чего они добивались. На следующий день взялись за допрос старательней — записывали. Опять про партийные дела, про Розенбергов. А также о Джо Берте, о работе над радарам. Назавтра снова допрос, с утра до вечера и про то же самое, старались, видимо, вытащить новые имена, даты... Но ни разговорить Андреа, ни вывести его из себя не удавалось. В ответ на их грубости он вздыхал и терпеливо повторял свои ответы. Тогда они изменили тактику. Ты на что надеешься? На свой талант, на свое имя? Не поможет. Мы тебя внесем в такой черный список, что ты еще лет пятнадцать только за кисть свою малярную и будешь держаться. Плакала твоя наука. Лучшие годы твои пропадут, никому ты не будешь нужен. Мы на тебе и на твоих детях такое клеймо поставим, вовек не отмоешься. Соседи и те отвернутся. Будешь как черномазый. Мы из тебя сделаем пособника советских шпионов. Прослынешь иудой, продажной падалью. Отец твой и братья от тебя откажутся. Это в том случае, если тебя не удастся засадить лет на десять.

Опытные ребята, они все же сумели нащупать его слабое место. Угроза лишить его возможности заниматься своим делом доконала Костаса. Как-то разом он скис, считай что сломался. Но этого им было мало, они еще произвели обыск в доме, не имея на то официального разрешения, им надо было его дожать. Запретили куда-либо отлучаться из Итаки. Уехали, захватив с собою письма, записные книжки, не сказав, когда вернуться.

Андреа перестал спать. Картины будущего в бессоннице возникали беспробудные, лишённые надежд. Жизнь теряла смысл, и непонятно было, как противостоять этому, с кем бороться

Эн уговорила Андреа пить джин перед сном, дала бутылку. А он никогда не пил, на вечеринках наливал себе молоко. Перед ним останавливались изумленно где ты достал сию жидкость? Он показывал на холодильник.

В эти растянутые ожиданием дни у него остался лишь один слушатель и советчик — Эн. Она понимала его чувства. Захлопнуть дверь в науку? Тут истинный ученый обязательно дрогнет! Она видела, как Андреа старается скрыть свой страх, и сердце ее болело от жалости. Может быть, именно через эту слабость она и увидела в нем мужчину, сильного и твердого, которого нельзя обидеть жалостью.

Вечерами, ожидая Роберта, они сидели вдвоем на террасе. Там стоял небольшой испанский шкаф черного дуба. На дверцах были вырезаны Адам и Ева. Перед Евой извивался змий с лицом ангела, над Адамом летал амур со змеинодлинной шеей и целился из лука. Яблоко еще не было съедено. Аллегория деревенского художника не поддавалась простому толкованию. Эн сидела на полу, обхватив руками колени, узкое ее личико светилось в сумерках, как пламя свечи. Андреа замолкал, опять начинал, медленно подбирая слова. Впервые в жизни кого-то занимали его переживания, его дела принимали близко к сердцу, и он позволял себе приоткрыться. Это было спасение.

Впервые за последние годы Эн почувствовала себя востребованной. Роберт не нуждался в ней, Роберт преуспевал, его романы остудили ее любовь.

Пока что ей было просто жаль Андреа, как попавшего в беду хорошего человека, хотелось чем-то помочь, как-то защитить. Но как-то днем, не сговариваясь, они ушли в холмы, и все произошло почти нечаянно. Если бы Эн с ее религиозным воспитанием подумала об этом заранее, она ни за что бы не решилась.

Во второй раз все было труднее, ей пришлось тормозить его, подлаживаться, и, как ни странно, стремление доставить удовольствие дало такую полноту радости, какой с Робертом не выпадало. Тайна греха и влекла друг к другу и мучала. Прежде всего Андреа. В течение супружеской жизни у него было немало «встреч на стороне». В компании то с Джо, то с тем же Робертом они славно проводили время в Нью-Йорке. Это было в порядке вещей — никто не терзался изменой жене. Эн также могла позволить себе многое. Но одно дело изменить супруге и совсем другое — предать друга.

Эн пыталась его успокоить:

— Напрасно ты себя казнишь. Я не его собственность, которую ты отнимаешь. Это я нарушаю обет, ты обета Роберту не давал.

Слова ее звучали обдуманно-четко, она решительно брала все на себя.

...Опять приехали его допрашивать. С утра пораньше. Повторялись те же вопросы, потом перешли к их городской квартире. Кто приходил туда? О чем там говорили? На этой ли квартире встречались коммунисты их ячейки? Розенберги бывали? Какие доказательства, что там они не бывали? Подробнее про их контакты. Еще подробнее...

Он послушно отвечал, повторял, вспоминал, пытался вызвать в памяти прошлогодние разговоры... А вот записная книжка, найденная при обыске. В ней адрес Розенбергов, вы утверждаете, что четыре года с ними не встречались, — из чего же следует? Может быть, три года? Может быть, вяло соглашался он. Но фактически отошел от партии четыре года назад. Докажите Костас обреченно пожимал плечами. Чувствовалось, что еще немного — и можно заставить его согласиться на любое свидетельство. Он еле ворочал языком и был в их руках, как готовая к лепке глина. Они явно переборщили. И что-то у них не сходилось. Какие-то сведения не удалось состыковать.

Андреа выглядел совсем измученным. Спросил, можно ли ему съездить в Лонг-Айленд — встретиться с отцом, братьями. В сущности, он просил разрешения попрощаться с ними. Дело шло к аресту — так понимал он, и агенты Си-Би-Ай его в этом не разубеждали. Они пошептались и разрешили. Куда он денется? Дом, двое детей, жена, да и к тому же слабак, как все эти тьюфаки, набитые формулами.

Характеристику Андреа Костасу составили не раздумывая: «Нервный, впечатлительный. Поддается нажиму. Даже когда нечего скрывать — тревожится, срывается. Легко довести до подавленности. Поддается на угрозы, связанные с научной карьерой. Разрешил произвести у себя в доме обыск, хотя мы не имели на то оснований. По своим взглядам несомненный коммунист».

V

В глубине фиордов среди елей и сосен стояли белые виллы. Гладкие багровые граниты спускались в неподвижную воду. Отражение повторяло подробности перевернутого мира. Облака плыли в зеленоватой воде, как ледоход.

Паром шел близко к берегу. Видна была мощенная камнем дорога с бесшумной телегой, вспыхивали стекла парников, висели розовые рыбацкие сети.

Северная природа успокаивала неяркими красками, неспешной, бережливой жизнью среди скал и холодной воды. Дикие утки летали над паромом. Джо не уходил с палубы. Берега будто оторочены белым. Ели, острые крыши словно аккуратно писаны белой краской. Джо не сразу понял, что это снег. Может, остаться здесь, в Швеции, где так легко затеряться в узких извилистых фиордах, бесчисленных островах, протоках? Мир велик, даже слишком велик для человеческой жизни!

А он — изгнанник, беглец, скиталец. Где-то его ищут. Вычисляют, куда он мог деться. На одну, может, на две фазы он опередил преследователей, но не больше.

Ели и сосны каким-то образом прорастали сквозь гранитные расщелины. Холодные валуны, холодная вода, холодное небо. Понятие родины условно. Он не помнил первых лет своей жизни, но был Нью-Йорк, а в Нью-Йорке — Бруклин, и это было его собственное: нора, убежище. Теперь его лишили и этого угла. За это он и возненавидел Америку. Если Америка посмела отторгнуть его, Джо Берта, своего преданного сына, — она недостойна любви.

Паром шел в Хельсинки. Из Швеции в Хельсинки можно было доехать беспрепятственно. Шведскую визу ему дали в Дании, датскую — в Париже, и сразу же. В Финляндию виза не требовалась, и след Берта среди финских хуторов должен был затеряться. В шведском консульстве его приняли почтительно. Он держался по-хозяйски, он не походил на преследуемого, он не стеснялся своего акцента, ведь это был американский акцент, и паспорт у него был не какой-нибудь, а американский. Наоборот, это он морщился и раздражался, когда парижские официанты не понимали, что значит *old socks*¹. Люди, которые не говорили по-английски, были для него второсортными людьми. Американцев он узнавал с первого взгляда по походке, жестам, раскованности, свободе поведения.

На палубе становилось холодно. У него был тоненький плащ, ничего теплого, он не рассчитывал на зиму. Все его вещи так и остались в пансионате. Хорошо, что при нем были деньги и паспорт.

Перед отъездом Джо позвонил в посольство, извинился, что не смог прийти, сказал, что готовится к международному конгрессу, и обещал появиться после конгресса. Попытка выиграть еще неделю...

В Хельсинки дул пронизывающий ветер, пришлось купить свитер. Он снял дешевый номер в отеле поблизости от порта, денег оставалось немного, хозяин гостиницы, бородатый финн, спросил, на сколько времени он рассчитывает. Джо ответил загадочно — «пока не подойдет мой пароход». Он и сам не знал, почему он так сказал. Он входил в свою роль беглеца. Чем-то ему даже нравилась бесприютность, чувство постоянной опасности. Эта бедная финская столица, рыбный базар на набережной, неведомый язык... Даже в этой роли он чувствовал свое американское превосходство, Америка гналась за ним, он бежал от нее, но все равно оставался американцем...

Примерно в таком состоянии Джо Берт и появился в советском посольстве, где не сразу разыскали сотрудника, знающего английский. Тот заставлял Джо медленно повторять слово за словом, оба злились. Водили его из кабинета в кабинет, подозрительно разглядывали. Никто не улыбался, лица у всех были непроницаемо холодные.

В кабинете консула висели портреты Ленина и Сталина. Консул сидел неподвижно, сцепив пальцы рук. Большая округлая его челюсть походила на височий замок.

Вдруг эта челюсть открылась и спросила по-французски:

— Кто за вас может поручиться?

¹ Голубчик (*американское устное*).

Джо растерялся, пожал плечами.

— Вы член ЦК?.. Нет? Жаль, — сказал консул удовлетворительно. — Если бы были членом ЦК американской компартии, мы бы знали, с кем имеем дело.

Дверь распахнулась, вошел человек в черном костюме, сутулый, с испитым, вялым лицом, коротко кивнул и стал прохаживаться, заложив руки за спину. Он не представился, слушал безразлично, потом спросил, чем Джо занимался в Штатах. Радарами (человек кивнул), ЭВМ, то есть кибернетикой (человек поморщился), радиолокацией низколетящих (человек кивнул). Он неплохо говорил по-английски, внимательно изучил паспорт, чувствовалось, что этот паспорт никакого почтения здесь не вызывает, а вот то, что товарищ Берт не понимает по-русски, не очень хорошо. Узнав, что Берт надеялся сразу же отправиться в Москву, консул хмыкнул, начал объяснять, насколько это сложно и проблематично, но был остановлен коротким жестом пришедшего, который и попросил Джо прийти через два дня по такому-то адресу.

Квартира оказалась в многоэтажном доме. Двери открыла седая женщина в синем халате, провела его в столовую с круглым дубовым столом и стульями с высокими резными спинками и пригласила Сергея Сергеевича, того самого, с испитым, вялым лицом.

Сергей Сергеевич опять задавал вопросы, женщина записывала, макая деревянную вставочку в чернильницу, это напоминало Джо детство, первые классы школы. Где работал, кем работал, кто был шеф, какая лаборатория... От некоторых вопросов Джо уклонялся, некоторые звучали странно: где родились мать и отец, кто из родных какие должности занимают... Когда Джо на вопрос о национальности ответил, что он неверующий, Сергей Сергеевич разъяснил, что национальность не вероисповедание.

— А что же?.. — удивился Джо.

— Судя по вашим данным, вы еврей, — сказал Сергей Сергеевич.

— Не знаю... Мать у меня была католичка. Я считал себя американцем.

— Это подданство, — терпеливо пояснил Сергей Сергеевич. — Нам надо знать, кто вы на самом деле. Мы запишем — американский еврей, так будет правильно.

Этот эпизод оставил неприятное чувство. То, что в СССР нет и не может быть антисемитизма, Джо знал, но, может быть, он лично чем-то не понравился этому господину? Ведь и ему не понравился этот чиновник.

Вошел маленький небритый человечек и быстро сфотографировал Джо со всех сторон. Договорились: если он потребуется — сообщает в отель.

— Сколько это может продлиться? — спросил Джо.

— Нам надо все проверить.

Джо вздохнул, попросил учесть, что его разыскивают и нельзя дать понять ФБР, что советское посольство собирает сведения.

— Вы уж, пожалуйста, нас не учите, — жестко прервал его Сергей Сергеевич.

Напоминание о еврействе надоумило Джо отыскать еврейскую общину. Это была маленькая бедная община, но приняли его там приветливо и направили в портовый кабак. По вечерам он играл там на пианино, получая за это ужин и двенадцать финских марок. Мороз донимал, пришлось купить кожаные рукавицы и шарф. Два раза в неделю Джо водил в порту автопогрузчик. В отеле он жил в кредит, американский паспорт еще действовал.

День шел за днем, он жевал эти пустые дни, как жвачку, монотонно, равномерно, входя в неторопливый ритм здешней жизни. Финны в своем тягучем времени чувствовали себя привычно, удобно, они очень нравились Джо лаконичностью: только необходимая информация. Он замечал, что им для общения необязательно разговаривать. Сидят, попивают свое пиво или водку, получая удовольствие от соседства.

По слуху он подобрал несколько скандинавских танцев и песен. Припомнил и американские — из кинофильмов, — остальное время уходило на импровизации. Он играл свое настроение, ожидание, надо, мол, жить, а не ждать, вспоминал Париж... Иногда получалось неплохо, Тереза похвалила бы. Никто из посетителей не замечал его неудач, большей частью его вообще не слушали. К полуночи становилось дымно, шумно, совсем как в той пивной,

что привиделась ему в Париже. Предзнаменования, что иногда посещали его, ставили его в тупик.

Ему не хватало Терезы. Обычно она, прижавшись к его спине, начинала подпевать своим простуженным голосом, который потом становился чище, старалась подхватить мелодию, обозначить ее. Груды ее лежали на его плечах она помахивала рукой перед его носом, а то и сама пробовала играть, он кричал, что мешает. Рыжие лохмы свисали, касаясь его щек. В кровати она садилась, скрестив ноги, закидывала волосы на лицо, глаза блистали сквозь них как у пуделя. Почему не позвонил ей перед отъездом? — спрашивал он себя И отвечал: боялся, что останется... Это было что-то новое, потому что он при вык рубить с маху. Пока любил, он отдавался женщинам полностью и так же полностью исключал их из своей жизни, как только покидал их.

Он не ожидал, что мысли о Терезе вернутся к нему. Вспоминал, как они ездили в Барбизон: озеро, плеск воды в камышах, жалобное пиликанье какой то птахи. Вспоминал, как они ругались из-за его прически, и когда он спал, Тереза взяла и остригла его. Теперь, когда ее не было, он любил ее больше прежнего. Во всяком случае, если бы она была здесь, все бы выглядело иначе, и этот город, и кабаки... В плаще во внутреннем кармане он нашел потрепанный конверт с черной бумагой, из которой был вырезан силуэт Терезы. Он наклеил эту бумагу на квадрат оконного переплета в своем номере. Когда он лежал, силуэтом было небо — то голубое, то серое; когда подходил к окну кусочек порта: краны, трубы, лоток с раковинами и чаном серебристых седелок...

Отверстие в черной бумаге, хранившее профиль, выражало отсутствие, но именно отсутствие наполнялось красками, движением, жизнь Джо происходила как бы в пределах ее силуэта, вернее антисилуэта...

В английской газете промелькнул короткий отчет о парижском конгрессе. Там же был материал о деле Розенбергов. Продолжались аресты, и в Штатах нарастала истерия. Его фамилию не упоминали, и о Костасе тоже не было ни слова. Но, судя по общему тону, пожар полыхает вовсю. И если здесь, в Хельсинки, его засекут, ФБР не посчитается ни с чем — доставят в Штаты в любом виде. А уж там так или иначе всунут его в какой-нибудь судебный процесс.

Раза два Берт побывал в городской библиотеке. Научные журналы взахлеб обсуждали проблему искусственного интеллекта, проблему памяти, теорию передачи информации. О технической стороне писали скупо Джо понимал, что именно тут начинается главная битва между фирмами, лабораториями, потому и секретили основные данные ЭВМ — объем, быстрдействие, вес, все то, что важно заказчику. Нетерпение и досада охватывали его — уходило золотое время...

В воскресенье, прогуливаясь по рыбному рынку, он встретил консула с женой. Джо кинулся к нему — когда же наконец?.. Физиономию консула заморозило, а Джо, не давая русскому раскрыть рта, заторопился: решающий период... кибернетика выбирает направление. очень важно именно в этот момент... его идея о транзисторах...

— Вы что, с ума сошли... здесь, на улице? — процедил консул — Кто вы такой?

— То есть как?.. Вы же знаете.

— Ничего мы еще не знаем, — твердо произнес консул. — Ни-че-го, — скривился брезгливо, как будто к нему прицепился попрошайка, и, сказав что-то жене, направился к машине.

Джо рванулся за ним, но остановил себя. В самом деле — кто он для них? Мало ли какой шпион может выдать себя за специалиста, лишь бы пробраться в Советский Союз. Известно, сколько агентов засылают в Россию империалистические разведки, кем они только не рядятся. Не мудрено, что советские дипломаты столь бдительны.

Конечно, могли быть и посимпатичнее и этот консул и другие, но работа накладывает отпечаток — мрачность, настороженность, на самом деле они же сердечные ребята...

Вечером в ресторане к Джо подошел парень, облокотился на пианино, не вынимая сигареты изо рта, сказал по-английски:

— Неплохо ты устроился. Небось и кормят, и денежку платят.

— Платят, но не за каждую ногу.

— То-то я смотрю, еле пальцами перебираешь. — У него был маленький, кошачий подбородок и толстая шея.

— А ты что, опаздываешь?

— Шутник, значит. Я вот чего не понимаю: если человек в ресторане работает, зачем ему на рынок таскаться?

— Рынок — место общения людей, — сказал Джо. — А общение дает радость.

— Кому дает, а кому поддает. — И парень хохотнул, обнажив острые маленькие зубки. — Мой совет тебе: сиди тихо. Бренчи себе и не пикай.

— Ты кто? — спросил Джо.

— Я? Не сообразил? Петя я, Петр Ильич. Достаточно? Так что имей в виду: будешь дергаться — ничего не дождешься. Могут неприятности быть.

— Какие неприятности?

Парень как бы мечтательно усмехнулся, задумчиво выпустил дым в лицо Джо.

— Попадешься местной полиции. А те возьмут и сдадут тебя америкаш-кам. Усек? Так что по рынкам незачем тебе шляться.

Он играл этакого гангстера — широченные, подложенные ватой плечи, расстегнутый воротник, челочка, узенький, сбитый набок галстук. За этот галстук Джо взялся двумя пальцами как бы поправить, вместо этого намотал его на руку, не поднимаясь со стула, потянул вниз, к себе. Наверное, сумасшедшие были у него глаза, парень забился, схватил его за руку, полузадушенно крикнул:

— Ты что, ты брось... кончай! — И что-то еще по-русски.

Джо дернул его так, что голова мотнулась, и еще раз. На них смотрели, привлеченные тем, что пианино замолчало. Подошел бармен, белокрысый молодой финн в меховой жилетке.

— Все о'кэй, — успокоил его Петя, потирая шею. Дружески похлопал Джо по плечу. — Мое дело передать. Понимаешь, мне здесь не положено вступать с тобой в дискуссию. Служба. Но мы с тобой, надеюсь, встретимся. Никуда ты не денешься. Так что мы еще договорим. Мы с тобой еще споем. Я ведь тоже играю. На аккордеоне.

VI

Андреа Костас исчез. В Нью-Йорке у родных он побывал. И затем исчез. Допросы отца, братьев ничего не дали. Куда он отправился из Нью-Йорка, никто из них не знал. По их словам, состояние его было такое тяжелое, что возникло предположение о самоубийстве. Последующие допросы, однако, выяснили, что приехал он не один, с какой-то женщиной. Не известной никому из членов семьи.

Кто была эта женщина, установили не сразу. Постепенно, по мере того как картина прояснялась, начальство приходило все в большую ярость. Прежде всего оно измордовало агентов. Пальцем деланные недоноски, все ведомство посадили в дерьмо! Когда журналисты узнали, что Костас сбежал, и не один, что политика связана с пикантной любовной историей, которую можно сказать, спровоцировало ФБР, то они, разумеется, подхватили этот материал и расцвелили, не жалея красок. Да еще и власть поиздевались над характеристикой, данной фабээровцами Андреа Костасу, — олух, слабак. А по версии журналистов, этот греческий прохиндей разыграл заправленного кролика так мастерски, что ФБР поверило ему, вообразив, будто он обделался со страху — дал показания. Между прочим, совершенно безвредные, пустые показания. Облапошил как цуциков, подхватил свою любовницу и был таков. Сразу видно опытного профессионального шпиона. Так профукать, так осрамиться! Теперь-то понятно, почему вольготно чувствуют себя в Штатах иностранные разведки...

На самом деле все было и проще и сложнее.

В распоряжении Андреа оставалось два дня. И он действительно хотел повидаться с родными. Эн же должна была утром уехать с Робертом в Бостон. На неделю. И он зашел к Эн. Она возилась в саду. Он сказал ей:

- Поехали?
- Куда?
- Со мной

Она выпрямилась, посмотрела на него. Куда — не важно, «со мной» — так говорит мужчина. Она вытерла передником перепачканные землей руки, прошла в дом, взяла чемодан, сунула туда платье, ночную рубашку мелочи

- Оставь Роберту записку
- Какую? — спросила Эн
- Чтобы не искал тебя хотя бы два дня

И она написала, что заедет к подруге в Бостон, оттуда даст о себе знать.

Они сели в автобус. В Рочестере сошли, здесь жил их знакомый физик Петерс. Студентом Петерс сидел в концлагере в Дахау, и Эн надеялась, что у него могли сохраниться какие-то связи с антифашистскими организациями, которые помогут Андреа скрыться.

К Петерсам Эн поднялась одна. Петерс развел руками: никаких связей не осталось. Предложил деньги — Эн отказалась, найдутся-де другие варианты. Никаких других вариантов у них не было. Денег тоже. Она не поняла, почему так решительно отказалась от денег Петерса, — мелькнула какая-то смутная мысль-предостережение.

Они спрятались в баре, обсуждая, как быть дальше. Все друзья Костаса зашвечены, оставались друзья Эн, и пока что для ФБР побег Андреа из Итаки никак не связан с ее отъездом. Значит, в запасе у них два дня и ночь. Вернее, полтора дня и одна ночь. Перелистав мысленно список, Эн выбрала одного старого приятеля их семьи, нью-йоркского адвоката, известного своими либеральными взглядами. Сам он жил с семьей на загородной вилле, его городская квартира пустовала. Эн дозвонилась на дачу, и адвокат распорядился, чтобы швейцар пустил их в квартиру. Она ничего не объясняла адвокату, и он, опытный юрист, ни о чем не спрашивал.

В огромной квартире на Пятой авеню были библиотека, концертный зал, столовая, спальня, бар, гостиная. Взявшись за руки, они ходили по толстым коврам из комнаты в комнату, качались на диванах, рассматривали картины, пили кофе, играли на рояле, слушали пластинки. Расходились, окликали друг друга, встречались, раскланивались. У них никогда еще не было такого большого вечера и такой огромной ночи. Они наслаждались каждой минутой, смаковали ее, подбирая все до крошки.

Наутро Эн проводила Андреа к его родным. Никого из них Андреа не стал посвящать в свои дела, не хотел вмешивать, особенно отца. Когда чело век ничего не знает, он и не проговорится, и не может отвечать за то, что ему неизвестно. Отец тоже ни о чем не расспрашивал. Настроение у беглецов было неприлично веселое, трудно было представить, что они беглецы. И все же отец, стоя в дверях, перекрестил обоих.

Старший брат Андреа раздобыл машину, потрепанный «паккард» неопределенного цвета, с драными сиденьями. Эн закинула в багажник свой чемодан, и они двинулись. Пересекли Манхэттен, какие-то малознакомые скучные кварталы, обогнули парк. Перед автовокзалом Андреа остановился, вопросительно посмотрел на Эн. Отсюда уходили автобусы на Бостон, и она могла как ни в чем не бывало вернуться в свою прежнюю жизнь — заехать в Бостон позвонить Роберту...

Эн неподвижно глядела через грязное стекло машины на площадь, где разворачивались длинные автобусы.

— Не уходи, — сказал Андреа. — Ты мне нужна.

Он подождал, потом добавил:

— Придется вести машину по очереди. Надо поскорее пересечь границу.

Много позже Эн призналась: не скажи он этого, она бы сошла, распрошлась и отправилась в Бостон. Поплакала, погоревала, но вернулась бы к Роберту. В тот миг ей, чтобы решиться, нужна была его просьба, именно такая — не мог же он вести машину сутками. По крайней мере до границы она была обязана проводить его. Когда Андреа забирался на заднее сиденье поспать и Эн садилась за руль, она мысленно обращалась к некоему Судье: «Вот видишь, а что бы он делал без меня? Стоит задремать за рулем — и все капут!»

Она часто потом возвращалась к этой минуте и все лучше понимала, почему Андреа так сделал — дал ей возможность рассмотреть его как бы под уве-

личительным стеклом. Некоторые моменты из пережитого она любила перебирать, разглядывать примерно так, как это делала с Библией, перечитывая темные места, уходя все дальше в их сокровенную даль.

VII

Когда агенты ФБР вышли на Терезу, она показалась им обыкновенной шлюшкой. Третьеразрядная ресторанный певичка, большеротая, грудастая, с вертявым задом, мочалка не первой свежести и небольшого ума. Достаточно жадная и любительница выпить. На таких стоит поднажать — и они поплывут.

Они посидели с ней в баре, разыгрывая из себя нью-йоркских друзей Джо. Но Тереза после третьей порции виски высмеяла их, от них за версту несло легавостью. Надо отдать им должное — они не отпирались. Джо Берт нужен как свидетель. Нужны его показания. Ему же лучше. А так власти сочтут, что уклонится. Значит — виноват. И если она не поможет связаться с ним, придется привлечь французскую полицию. Дело пойдет об исчезновении американского гражданина. А полиция, естественно, возьмется за нее, поскольку она, Тереза, была с Бертом связана, она последняя, кто его видел. В полиции же не станут распивать с ней вино. Когда они взяли так круто, Тереза призналась, что Джо отменил свой отъезд и остался в Париже из-за нее — «не мог оторваться», «боль разлуки оказалась невыносимой». Остался, и они «провели упоительный день». Должны были встретиться на следующий вечер, но он не явился. С ним это случалось. Исчезнет, потом вернется как ни в чем не бывало. Почему она так уверена, что он вернется? Да потому что лучшей любовницы у него не было и не будет.

Они умело подпаивали ее и подначивали: Джо Берт не из тех, кто чувствует себя связанным с женщиной, он бросает ее, думая только о себе. Они показали Терезе его фотографии с Вивиан, но зацепить ее этим не удалось. «Да со мной он о всех других бабах забыл». И тут началось такое, что даже эти ребята в своем отчете могли обозначить лишь как «интимные подробности». Несмотря на ссоры, уверяла Тереза, Джо Берт всякий раз возвращался к ней, его тащил к ней Джо-трахальщик, которому он не мог противиться. В каждом мужике живут двое — один деловой, другой — трахальщик. То один перебарывает то другой. Одному хочется поговорить, другому не терпится залечь с ней и один на всякий случай припасает презерватив, другой терпеть их не может.

Фабээровцы гоготали, признаваясь, что в этой бабехе что-то есть, у Джо Берта губа не дура. Знает ли она кого из приятелей Берта? Нет, вроде никого он не упоминал, Джо Берт — это человек, который много болтает, но мало рассказывает, разве что однажды случайно встретили у Трокадеро хромого американца, звали его Мак, кажется, он ученый. И все же в ее рассказах была какая-то несообразность. Если Джо Берт остался ради нее, то спрашивается, отчего они не вместе? Отчего, позвонив в посольство, он не приехал туда?

Знала ли она сама, где находится Джо Берт?

Они пообещали полтысячи долларов, если она сведет их с Джо Бертом. Сумма по тем временам приличная. Тереза обещала подумать. Назавтра она сообщила им, что Джо звонил откуда-то с севера, обещал приехать, ему надо быть на конгрессе, который открывается через два дня.

Ни на пленарном заседании, ни на секциях он так и не появился. Потеряна была целая неделя. Стало ясно, что в Париже Берта нет, то ли Тереза стукнула, то ли с самого начала валяла дурочку. Она клялась, божилась, плакала от того, что они ее обманули и она лишилась обещанных долларов. Ей не поверили. Спустили на нее парижскую полицию, обвинив в исчезновении американского гражданина. Из отчетов агентов известно, что в полиции Тереза вела себя агрессивно, заявила, что ее пытались подкупить, подпаивали, угрожали, шантажировали, чтобы она выдала Джо Берта, замечательного музыканта, которого преследует ФБР за политические взгляды. Что во Франции хозяйничают и командуют американские службы, что на самом деле никаких сведений о Джо Берте она не имеет, травила агентам ФБР только то, что могло выручить Берта.

Еще несколько недель за ее почтой присматривали, но писем от Берта не было. Вскоре Тереза сошлась с виноторговцем из Клиши, перебралась к нему, и наблюдение сняли.

Машина свернула с шоссе на заснеженную лесную дорогу. Шофер и двое провожатых были неразговорчивы. Холодно-любезное выражение делало по-польских людей похожими друг на друга. Человек в пушистой шубе открыл глухие железные ворота; по аллее, посыпанной желтым песком, они подъехали к двухэтажному особняку. Коричневые стены, белые переплеты окон с белыми каменными наличниками — все свежевыкрашенное, ухоженное. В большой гостиной пылал камин. Гостиная переходила в столовую, на длинном накрытом столе блестили винные бутылки, блюда с закусками. Стопки тарелок. Застекленная часть стены выходила в сад, заваленный снегом. Висели картины в золоченых толстых рамах. Вдоль стен стояли обитые полосатым шелком стулья. Бра — хрусталь с золотом, на каминной полке бронзовые часы, бронзовый торшер. Кресла желтой кожи, столы черного дуба, светлые столики карельской березы, разные гарнитуры кучковались, как в мебельном магазине.

Раскинув руки, к Джо направлялся восточного вида незнакомец с черными усиками и белозубой улыбкой. Она сияла такой неподдельной радостью, что Джо не удержался, тоже заулыбался. Оглядев Джо, белозубый удовлетворенно прищелкнул языком, крепко взял за плечи, потряс как бы взамен объятия, представился: Николай Георгиевич, а лучше просто Нико, без всяких отчеств, коротко и запросто, как Джо. Говорил он по-английски с южным акцентом и с некоторой церемонностью. Затем к Джо подошел, натужно улыбаясь, Сергей Сергеевич; за ним — консул с улыбкой старого приятеля. Чувствовалась некоторая торжественность, не хватало разве что музыки. Джо поднесли аперитив, подвели к столу с закусками. Потчевали наперебой. Все это походило на возвращение блудного сына, которого еле дождались. Официантка в белой наколке появилась с подносом горячих пирожков, поначалу она остановилась перед Нико, но он галантно переадресовал ее к Джо, как бы показывая, кто здесь главный. Судя по тому, как Нико любовался гобеленом и диваном «честерфильд» красной кожи, был он здесь и гостем, и в то же время хозяином. Принесли осетрину на маленьких вертелах. Сергей Сергеевич рассказывал про зимнюю рыбалку, которая, как он выразился, та же выпивка, но в валенках, и тут же без перехода вставил, что вопрос решен, для Джо подготовлен новый паспорт с чешской визой, завтра можно лететь в Прагу, за это и предлагается выпить. Почему в Прагу, удивился Джо, почему не в Москву? Это временно, временно, успокоил Сергей Сергеевич, пока что товарищ Джо поселится в Праге, поработает там, а затем и в Москву. Позвольте, в Праге ему нечего делать, в Прагу он не просился, если уж работать, то в Советском Союзе, сейчас решающий период, когда формируется направление, идея перехода на транзисторы имеет важнейшее значение..

Физиономия Сергея Сергеевича вернулась к привычной вялой невозмутимости; у чехов хорошая лабораторная база, передовое станкостроение.

— Да при чем тут станкостроение? — взвился Джо — Вы понимаете, что такое кибернетика?

— Я-то понимаю. — Голос Сергея Сергеевича внезапно отвердел. — Очень хорошо понимаю!

Нико поднял рюмку, и Сергей Сергеевич мгновенно замолчал.

— Прекрасное вино, но вам, Джо, рекомендую водочку, вам к ней надо привыкать. В России все важнейшие дела делаются за бутылкой водки. Пока не научитесь выпивать, вам туда нельзя ехать. — И он захохотал так заразительно, что и все засмеялись.

Жена консула, могучая крашеная блондинка, туго затянутая голубым шелком, пела старинные романсы. Большие лошадиные глаза ее зазывно смотрели на Джо.

Сергей Сергеевич обнимал Джо, жарко шептал в ухо:

— Хочешь? Она не прочь.

— Это странно, — говорил Джо.

— Ничего странного. Мы, русские люди, когда гуляем, так все можем. Ты еще узнаешь, что такое русская душа. Мы, к твоему сведению, самые большие интернационалисты. Мы всех принимаем. Война только кончилась, а уже немцев простили. Русская душа — это великий икс. Ученые всего мира не могут этот икс разгадать. А русское гостеприимство! — Он обвел рукой стол, гостиную. — Все в моем распоряжении!

— Я думаю, что это я в вашем распоряжении, — сказал Джо.

— Напрасно иронизируете, если такой человек сам приехал... — Сергей Сергеевич головой мотнул в сторону Нико.

Вот это и было непонятно. Джо напомнил, как его спрашивали про члена ЦК — не вышло ли какой ошибки? Сергей Сергеевич похлопал его по плечу:

— У нас ошибок не бывает. Ты выбрал социализм, и это пример для всех. Думаешь, мы не знаем, что ты мог укрыться где-нибудь в Италии, остаться в Швеции. А ты понял, что капитализм обречен. Согласен?

— Да, я думаю, что социализм побеждает, — подтвердил Джо

— Я тебе завидую

— В чем?

— Ты переходишь из царства врагов в царство друзей, из тьмы в свет. А мы совсем наоборот

— Да, наверное, — растроганно согласился Джо, прощая и жалея, он чувствовал себя почти счастливым оттого, что его хвалил советский человек, от внимания к нему, от праздника, который устроили в его честь. Среди таких людей ему предстоит жить, приветливых, широких, сердечных..

Сергей Сергеевич что-то сказал Нико, и тот подошел к Джо, нежно взяв его под руку

— Мы простые люди и мы ценим скромность. Но излишек скромности мешает нашим друзьям. Мы все делаем, чтобы вам было хорошо, не потому, что принимаем вас за какого-то князя. Вы наш гость. Вы пришли к нам, попросили помочь, этого достаточно. Вы даже не сказали нам, что вас преследуют. За вами охотятся агенты ФБР?

— У меня не было прямых доказательств.

— Зачем нам юридические тонкости? У нас в Грузии говорят: «Враг моего врага — мой друг».

— Я вообще-то поделился своими подозрениями с господином консулом.

— Поделились... — Нико задумчиво посмотрел на консула, тот вытянулся, руки по швам, заговорил по-русски, тяжелая челюсть его подпрыгивала, точно лязгала. Нико удрученно вздохнул. — Вы поделились, а он не поделился... Дорогой Джо, нам с вами надо думать и за себя, и за противника. Американские службы станут вас искать в Москве. А вы будете в Праге, где, как вы считаете, вам нечего делать. И они соответственно так же сочтут. Пока не убедятся, что в Союзе вас нет. Вот когда они уgomонятся, тогда можно появиться и в Москве.

Рокочущий низкий голос выстраивал убедительную цепь логических заключений

— За ваше здоровье! — заключил Нико

— Чего за него пить, только портить, — сказал Джо — Сколько, по-вашему, я должен просидеть в Праге?

— Водку пьют разом, — сказал Нико. — Ее опроки-ды-ва-ют! Поучитесь у Сергея Сергеевича. Прага — красивый город... Дорогой Джо, как вы думаете, мы для кого-то будем таскать каштаны из огня? Нет уж. — Он весело подмигнул и вдруг перешел на серьезный тон. — Мне товарищи рассказывали про ваше нетерпение. Будьте осторожны. Ваши земляки не постесняются.

И он рассказал с примерами, что американские агенты могут выкрасть, усыпить и доставить нужного им человека в Штаты на самолете, могут просто уничтожить — случайный укол в толпе, авария, угостят кофе, после которого инфаркт или паралич, техника у них отработана. Он не скрывал от Джо своей озабоченности, пугать не хотел, но и остеречь следовало, лучше знать «про наших оппонентов» правду. Что-то сказал он и консулу, и тут же в его руке очутился лист газеты «Фигаро» с заметкой, очерченной красным карандашом, о том, что полиция по ходатайству американского посольства ведет розыски исчезнувшего Джо Берта и допрашивает некую Терезу Рутли, которая подозревается...

Джо покраснел.

— Сволочи, какие сволочи! — Он выпил водку. — Надо телеграфировать.

— Никогда не делайте того, что сразу приходит в голову, — сказал Нико. — Они специально высвистывают вас.

— Но я должен что-то сделать.

Нико молча заходил взад-вперед пружинисто, голова пригнута, руки полусогнуты, как у боксера на ринге

— Мы дадим телеграмму, только не отсюда, а из Марселя, — сказал он. — Честно говоря, боюсь, боюсь за вашу жизнь. И в Праге тоже. Прага — проходной двор. Но ничего, — он потер руки, — как говорят финны, и у старой лисы голова в кувшине может застрять!

Его нескрываемый азарт игрока и в то же время уверенность действовали успокаивающе. Он пил вино, густо мазал черной икрой сухарики, аппетитно хрустел ими, выяснял, знала ли Тереза, куда он отправился, и не могла ли догадаться из каких-то обмолвок... Была в нем привычная для Джо чисто американская свобода поведения, умение не отвлекаться, не упускать главного. Паспорт заготовлен, осталось вписать фамилию, все будет новое, и год рождения и место рождения, фамилию консул предложил Гендерсон, Джордж Гендерсон из ЮАР, Йоганнесбург

— Видите, товарищи время не теряли, — примирительно сказал Нико. — Позаботились..

— Почему Йоганнесбург? — удивился Джо.

Сергей Сергеевич объяснил, что с ЮАР отношений нет, проверить будет трудно, вообще край света.

Фамилию Джо отверг. Не понравились ему и Торндайк и Парсонс, он хотел бы нечто поближе, например, Брук, Иосиф Брук.

Сергей Сергеевич скривился, пробормотал что-то, консул тоже сказал что-то по-русски, Джо понял, что тот поддержал его. Нико засмеялся, сказал, что товарищи хотели избавить его от подчеркнутого еврейства, тем более что внешность не ярко выраженная, к тому же откуда евреи в Южной Африке, это как-то не вяжется. Джо успокоил их: во-первых, евреи водятся всюду, во-вторых, «национальность — неотъемлемый признак каждого человека, как определил Сергей Сергеевич, такой же, как половой признак».

Нико отошел к камину, погрел руки перед огнем, не оборачиваясь проговорил:

— Лучше сделать, как просит Джо, чтобы ему удобно было.

Ночевал он на вилле. Перед сном долго рассматривал паспорт, привыкал. Некий Брук из ЮАР, тридцати лет, рожденный в Йоганнесбурге. Отец — Говард Брук, мать — Ивонна Брук. День рождения — 7 января. Где этот Йоганнесбург, Джо представлял смутно.

Все его прошлое смыто. Он перестал быть американцем, лишился американского гражданства. То есть как бы лишился, потому что внутри он американец, раз он родился в Америке, значит — на всю жизнь американец. Этого никому не ведомый Брук, непутевый сын никому не ведомых эмигрантов.

Синий, пахнувший луком передник матери, в который Джо утыкался мокрым от слез лицом, пальцы ее почесывали ему голову, зарывались в чашобу волос.. Кофейник, коричневый, эмалированный, брэнчал крышкой, отец надевал золоченые запонки, напевая глупую песенку про корову. У отца был длинный мундштук белой кости, часы, которые он то закладывал, то выкупал, на толстой серебряной цепочке... Ничего из той первой жизни, ни одной самой малости, он не взял с собой в новую жизнь... Даже жалкое шмотье, брошенное в его номере, и то было приобретено здесь, в Хельсинки. Единственный сувенир — оконное стекло с профилем Терезы, за которым он съездил в отель. Пришлось вынуть его из решетчатой рамы ножом — бумага не отклеивалась.

...В отель Джо вырвался со скандалом

Согласно предписанию он должен был ночевать на вилле, дожидаясь, пока его отвезут в аэропорт. За номер в отеле рассчитаются без него и возьмут вещи по его записочке, где он сообщит, что уезжает в Данию. Если что-то надо в дорогу, купят в универмаге. Пусть даст список — рубашки, носки и прочие принадлежности. Короче, все было предусмотрено. Однако Джо хотел поехать в отель сам. Почему — не объяснял: нужно, и все. Сергей Сергеевич заявил, что это невозможно — по некоторым, мол, сведениям американского посольство в Хельсинки получило шифровку и наводит справки о Джо Берте по всем гостиницам. Не стоит рисковать. Тон становился все более жестким, но Джо упрямо твердил свое.

— Мы за вас отвечаем — настаивал Сергей Сергеевич — Мы вас не отпустим
 — Интересно, — сказал Джо, — как это не отпустите? Что же вы меня силой держать будете? Тогда я ни в какую Прагу не полечу
 — Полетите
 — Посмотрим
 Гнев безрассудный, хмельной ударил ему в голову Губы пересохли он стиснул кулаки готовый сопротивляться Никто, однако, его не гронул
 Джо спустился по лестнице надел плащ Ни дежурный в холле ни сторож у ворот его не остановили

Тут мы сталкиваемся с гайной человеческих поступков Почему человек поступает вопреки, казалось, очевидным своим интересам, обнаруживая упорство, в котором нет ни предчувствия, ни осторожности? Назвать Джо Берта бесстрашным нельзя — для этого он всегда был достаточно расчетлив Все свои действия просчитывал наперед по всем законам логики ища оптимальный вариант Но вдруг все отбрасывалось

Лесная дорога была пустынна Снег скрипел под его ногами Джо Берт шагал, не чувствуя ни мороза, ни ветра, не представляя, сколько надо пройти до шоссе Потом он услышал позади легкое рокотание мотора Машина обогнала его, остановилась, из нее вышел Нико в меховой куртке в вязаной шапочке

— Садитесь, — сказал он — Поедем в отель

По дороге он ни о чем не расспрашивал, не успокаивал, жаловался, что в посольстве не умеют варить кофе, да и в Москве и в этой Скандинавии тоже. Джо был благодарен ему Первые советские люди, которых он встретил в консульстве вызвали у него разочарование Угрюмые, подозрительные, бестактные, они никак не подходили под его представление о людях из страны социализма. Он даже признался себе, что они какие-то некрасивые, физически неприятные Один Нико был совсем другой Наверное потому, что недавно приехал из Москвы и здешняя капиталистическая жизнь еще не испортила его. Даже внешне он выглядел свежее и здоровее консульских чиновников Но почему же он сразу не поехал с ним? Нико скосил черные блестящие глаза

— Во-первых, дорогой Джо, я хотел выпить этот паршивый кофе Во вторых, мне интересно было выяснить, на что ты способен

Джо расхохотался и они подъехали к отелю друзьями

Когда Джо появился с мешком, где умещались его пожитки Нико покачал головой с такой кладью выходят из тюрьмы а не приезжают из ЮАР В универмаге они купили чемоданчик из какого-то легкого белого металла не сколько хороших рубашек меховую шапку меховые сапоги Нико денег не жалел

Считайте что вы мой гость, — приговаривал он когда гость приходит он становится господином когда ест — пленником когда уходит — поэтому

Вечером в день отъезда Нико устроил прощальный ужин Сергея Сергеевича он не позвал, был консул с женой, веселые молодые девицы, которые хорошо пели, Джо аккомпанировал им на пианино Открыли шампанское, Нико с чувством произнес тост за Сталина Выпили стоя Джо разволновался и сказал, как он счастлив быть среди советских людей Какая богатая, могучая Советская страна — он показал на заставленный блюдами стол, на зал отделанный дубовыми панелями Впервые в жизни он пировал, можно сказать, жил в такой роскоши Он ничем еще не заслужил такого приема, он, рядовой инженер Нико сильно сокращая, переводил его речь «Социализм Сталин Москва», — настойчиво повторял Джо по-русски, чтобы они поняли, он был действительно счастлив оттого что все понимали его улыбаясь чокались с ним, женщины целовали его, называли Иосиф

Потом долго не мог заснуть Предстоящий отъезд в Прагу его почему-то не волновал, занимало другое — почему с ним так возятся? Он ощущал какое-то несоответствие может его принимали за кого-то другого? Но он ведь ни чего не обещал не обманывал не хвастал не был самозванцем

Успокоить себя было чем, но успокоения не получалось.

Вопросы эти возникнут у всех американцев, которые занимались изучением жизни Джо Берта, вопросы безответные, ибо с этого момента следы его теряются. В Америке, в Париже их еще можно было разыскать, за железным занавесом судьба его проступает редким пунктиром, сквозь который проваливаются существенные подробности.

VIII

Исчезновение Эн спутало все предположения. Сперва считалось, что она уехала в Бостон. Из Бостона в Итаку пришло письмо с первым ее, еще неясным признанием. На самом деле письмо с бостонским штемпелем отправила бостонская подруга, получив его вместе с запиской от Эн. В записке была и фраза о том, что она, Эн, «влекома обстоятельствами против ее воли». В письме же Роберту она просила сжечь его сразу после прочтения. Сделал он это или нет — неизвестно, но категорически отказался обсуждать этот сюжет с агентами ФБР.

Надо отдать должное ФБР: привлеченные к этому делу спецы сумели-таки установить связь между бегством Костаса и отъездом Эн. Каким-то образом они выяснили, что те уехали вместе и что Эн в Бостоне не было. В результате сложилась версия, что политика, атомная бомба, Розенберги и коммунисты тут ни при чем. Однако, по общему мнению, Эн была прекрасной матерью, безупречной женой, домовитой хозяйкой. Луиза Костас, та действительно была когда-то связана с коммунистами. Что касается Эн, то ее муж на всех допросах утверждал ее полную аполитичность, он вообще упорно защищал ее, ничем не компрометируя. Следствие не могло получить от него никакой помощи. У тех, кто бывал в их доме, не возникало никаких подозрений. Правда, было замечено, что Эн близко приняла к сердцу неприятности соседа. Но не более того.

Роберта тем не менее предупредили: его семейная история будет обнародована, его сделают посмешищем, героем скандального процесса. Чтобы до этого не дошло, он должен помочь следствию — назвать возможные адреса... Но Роберт с ходу отвергал любые сделки. Никто не ожидал, что обманутый муж так твердо будет защищать честь жены.

— Где ваше самолюбие? — недоумевал следователь.

— Оно отдыхает вместе с вашей порядочностью, — отвечал Роберт.

Его поведение разъярило службу безопасности. А что, если он участвует в хитрейшем спектакле, поставленном коммунистами, и вызывает огонь на себя? Допросы ожесточились. Вновь всплыла квартира, снятая в Нью-Йорке. Роберта чуть ли не мордой тыкали в найденный там проектор для микрофильмирования. Но у него и на это был разумный резон: у любого фотолюбителя есть такой. Но ФБР был нужен крупный, технически оснащенный заговор для постановки процесса века, грандиозного шоу — спасение отечества.

Гончие ФБР загоняли в круг причастных все новых и новых людей. То, что упустили Костаса, усиливало их рвение — они вымещали на Роберте свою досаду. Что с того, что он не имел касательства к коммунистам, слыл лояльным, добропорядочным, к тому же исправным католиком? Они добились-таки его увольнения из лаборатории.

Машина шла на юг. План созрел постепенно. В Аризоне жил муж покойной сестры Эн с двумя сыновьями, единственные ее родственники. Единственность настораживала Андреа, он предпочитал считать преследователей достаточно умными. Но Эн напомнила ему старую поговорку: нельзя съесть свой пирог и в то же время сохранить его. Если считать, что ФБР умнее их, то не стоит и прятаться...

Ночью, особенно в городах, полиция часто останавливала машины, проверяя документы. Поэтому по ночам они предпочитали автострады. Ночью машину вела Эн. Как-то утром, набрав в термос кофе и купив сыру, они, возвращаясь к бензоколонке, увидели у своей машины полицейских. Эн замедлила шаг, полицейские смотрели на них, Андреа взял ее под руку. «Откройте багажник», — попросили полицейские. Оказалось, что искали похищенного ребенка...

Вскоре миновали Канзас. В Топине Андреа сбрил усы, чтобы издалека сойти за индейца. Эн тоже подстригла свои кудряшки и сразу помолодела.

Однажды, сбившись с дороги, они угодили в какой-то развлекательный ковбойский поселок для туристов. Сувенирные лавки, ярмарки — все яркое, разукрашенное... старомодные фермерские дома, кибитки переселенцев, конюшни... К тому же там снимался кинофильм Шла пальба, жарилось мясо, скакали каскадеры

Они вышли из машины — поглазеть. Киношники, увидев Эн, стали уговаривать ее сняться, что Андреа не понравилось. Дошло до потасовки Андреа разбила губу и чем-то огрели по ноге, так что он долго хромал Они еле выбрались. В лавке приобрели револьвер, совсем как настоящий.

Серебристые силосные башни проплывали за стеклом машины, неразличимо похожие, мелькали поля, пашни, красные трактора, изгороди, скотные дворы — бескрайняя трудовая, благословенная солнцем, плодородная страна.

Расщелина Большого Каньона потрясла Андреа. Ничего более величественного нельзя было представить. Не верилось, что эта фантастическая картина — результат тысячелетних бессознательных усилий маленькой речки. Сотни миль Каньона казались произведением гениального мастера — единый замысел словно бы связывал эти красно-коричневые уступы, врезанные в глубь тела земли, гигантские каменные башни восходили из пропастей... Размах и вдохновение Творца ощущал Андреа в этой картине. Ни фотографии, ни фильмы не могли передать присутствие Бога, которое явственно ощущалось здесь...

Краски непрерывно менялись. Золотистые водопады превращались в седые, синяя мгла поднималась снизу, из холодной тьмы ущелий, к раскаленно-оранжевым каменистым отрогам. В час заката Андреа почувствовал, что хотел бы поселиться здесь. Каньон казался ему таинственным существом, духом земли, созданным в первый день творения. Человек здесь словно бы лишался своего величия, и это было приятно. Андреа не был ни религиозным человеком, ни атеистом. Гармония мира и красота мира не укладывались в законы науки. Было в жизни нечто уму непостижное Например, Каньон. Зачем он создан? Ум невольно отступал перед неведомым замыслом.

В индейских деревнях их раздрызганная старенькая машина вызвала братское чувство, помогала находить уют

Индейцы навайо справляли свой праздник. Горел маленький костер, светились стеклянные плошки с маслом. Били барабаны, юноши исполняли танец на травяной площадке Женщины пели. Смуглый черноволосый Андреа ничем не отличался от индейцев. Он тихо подпевал, рука Эн лежала на его плече Угроза разлуки висела над ними Они избегали говорить о ней Будущее ограничивалось завтрашним днем.

Никогда они не ощущали так явственно уходящее время Они и торопились и медлили, петляя на пути к Аризоне, и, переехав границу штата, зачем-то опять свернули в индейскую деревню. На самом деле они знали, зачем они заехали сюда — переночевать. Все эти дни они не позволяли себе остановиться в отеле, чтобы уснуть в кровати обнявшись, чтобы просыпаться и вновь уходить в сон, чувствуя друг друга.

Мгновения близости — самородки времени, говорил Андреа. Вернее, напевал, придумывая песенку о безостановочном потоке времени. О том единственном случае, когда ход времени нарушается.

Ночевали они на складе, зарывшись в ворох стружек и прикрывшись циновками. В лунном свете поблескивали пилы, пахло смолой. Глаза Эн безумно и счастливо останавливались. Все останавливалось. Ветер стихал, смолкали цикады, останавливалось сердце...

Существовали две Эн. Одна та, которую знали все окружающие — друзья, гости: приветливая, аккуратно причесанная, подтянутая, деловая, постоянно занятая, холодно-разумная. Не мудрено, что никто из друзей не мог представить себе Эн, сбжавшую из дома с любовником. Само существование любовника у этой женщины представлялось странным, не шло ее расчетливой натуре Она могла помочь Костасу, в доброте ей не откажешь, дать ему денег, проводить его, — но бежать с ним? Долгое время все были уверены, что Костас

просто увез ее силой, похитил, чтобы запутать погоню. Один Роберт не принял эту версию, он знал или догадывался о существовании второй Эн.

Лицо Андреа светилось с утра, с той минуты, как они проснулись, с него не сходила та внутренняя улыбка, которая ярче наружной, она-то отмечает человека сиянием, почти нимбом. Он сам это чувствовал, потому и сказал тогда, по дороге в Бенсон, что святые были, наверное, счастливые люди, вряд ли несчастный человек может стать святым.

Муж сестры Эн работал в Бенсоне на железной дороге. Эн позвонила ему из пригорода. Но все было в порядке, пока еще никто не навещался. Со дня на день, конечно, вычислят и его, но пока что они могли день-два спокойно провести в Бенсоне.

Шурин ни о чем не спрашивал Эн, ни о Роберте, ни о детях, по-видимому, даже при беглом взгляде на этих двоих все становилось ясно. Вечером, разложив карту, прикинули, как лучше перебраться в Мексику. На границе в последние дни охрану усилили. Шурин советовал ехать на поезде, в служебном вагоне, там можно будет укрыться.

Ночью Эн босиком прошла в спальню мальчиков. Племянники спали, маленький внизу, старший наверху. Она смотрела на них и беззвучно плакала. Она ужасалась себе, тому, что добровольно бежит с Андреа. На этом последнем повороте он уже ни о чем не просит, не настаивает, она сама бросает дочь и сына, совсем малышей. Не осталось никаких оправданий, и ей нечего сказать Судье — все прошлые аргументы оказались ложью.

Был последний шанс: остаться здесь, в Бенсоне, а затем вернуться в Итаку. Совершенно естественно вернуться, с поднятой головой, и Роберт, она знала, никогда ни в чем не упрекнет ее. Не боясь ни властей, ни пересудов, она помогла честному человеку уйти от несправедливого преследования, от этой гнусной травмы, которая бесчестит страну... Пусть попробуют осудить ее! Она бы многое могла рассказать о том, как калечат жизнь ни в чем не повинных людей, на примере Андреа она бы показала, как обращается Америка с талантами.

Ей вдруг пришло в голову: если бы не ФБР, тайная их связь продолжала бы тянуться, обрастая ложью, притворством. Вряд ли они решились бы на бракоразводные процессы. Обычный адюльтер не требовал скандальной рокировки. Стопроцентная американка, она бы аккуратно вела двойную жизнь.

А дети спят — здесь племянники, а там, в Итаке, ее малыши.

Машину они оставили мальчикам. Восторгу их не было конца — вертели руль, включали фары, гудели, принялись тут же во дворе мыть машину, и когда Эн уходя обернулась, они наспех приветственно помахали мокрыми тряпками.

Границу переехали благополучно, заночевали в Чиуауа, утром сели на автобус и двинулись дальше.

Была вторая половина июля. Жара в автобусе невыносимая. Пеоны осоловели покачивались. Пахло потом, персиками, чесноком; сиденья, стенки — все было раскалено. Эн впервые в жизни вынуждена была пить пиво.

В Эрройке пересели на поезд. Совсем измученные, через два дня добрались до Мехико-Сити. В этом гигантском городе среди лагул, небоскребов, базаров, кабаков, мастерских можно было затеряться и хоть несколько дней отдохнуть. Они нырнули в первый попавшийся отель, заплатили вперед за неделю, но наутро обнаружили, что в пансионате полно молодых американцев, скрывшихся от войны в Корее. Это было опасное соседство. За таким пансионатом наверняка наблюдали, могли устроить проверку документов. Пришлось уходить. Задержались, только чтобы принять душ.

Вещей минимум — шикарную кожаную сумку Эн пришлось отдать горничной, чтобы не удивлять портье в дешевых отелях. Горюя и вздыхая, она подарила другой горничной свое модное красное пальто. Надо было стать незаметными бедными туристами. Без всяких примет. Они нигде не задерживались дольше чем на две ночи. Ехали автобусами, набитыми мексиканцами. Эн немного говорила по-испански. Андреа — вполне прилично, у него вообще были способности к языкам. Деньги приходилось экономить. Те небольшие, что дал Джордж, старший брат Андреа, таяли, Эн продала кольцо с бриллиантом.

На некоторое время пристроились у дальних родственников Андреа в пригороде Мехико. И здесь никто не спрашивал Андреа, развелся он или нет, откуда взялась эта женщина. Их свежая любовь светилась слишком явно. Они сами не замечали, что их руки, глаза все время искали друг друга. Иногда в церкви, куда они заходили отдохнуть, Эн спохватывалась, отодвигалась от Андреа.

Семейство родственников мастерило сувениры, Андреа старательно помогал — резал из дерева маски, раскрашивал, пилил, тесал. Эн шила передники. Они погружались в трудовую бедную жизнь. Важно было отсидеться, уйти, залечь. Гулять выходили только в сумерки. Андреа надевал темные очки, Эн вела его как слепого.

Мания преследования мучила их, в то время многие страдали ею. Все стало казаться подозрительным: приход соседа, продавца газет, такси, почему-то остановившееся на углу. Они постоянно ощущали на себе чей-то взгляд. Ужинали в рабочих мексиканских закусочных. Иногда заходили в бар, но стоило Эн выпить, она тут же начинала плакать. Мерещилось, что дети больны, а позвонить домой она не могла, чтобы не навести на след, да и боялась, что не выдержит, услышав их голоса.

Чтобы ее отвлечь, Андреа стал устраивать вылазки на рынки. Среди пестрой суматохи огромных городских толкучек они были в безопасности. Эн покрасила волосы, Андреа нацепил сомбреро и шейный платок. Его почему-то принимали за перуанца. Мексиканский рынок походил на представление. Эн, зачарованная, стояла перед чудищами на палках, фантазией давно исчезнувших племен.

В это время в газетах напечатали сообщение, что один из руководителей американской компартии бежал в Мексику. Его задержали прямо у советского посольства. Значит, американские службы уже осведомлены об этом маршруте бегства и уже работают здесь. Несколько раз Эн с Андреа все же попробовали пройтись по парку, разглядывая здание советского посольства. Все выглядело мирно, порхали желтые и краснохвостые попугаи, рабочий катил тележку с песком. Потом подъехали мусорщики. Стояло несколько машин. У посольства ни души.

Покой капкана, вспомнил Андреа поговорку. Что чаще всего подводит людей? — банальность мышления. Многие американские коммунисты сейчас, очевидно, пытаются скрыться тем же путем — через Мексику. Это первое что приходит в голову.

— Мы тоже приняли самое очевидное решение, — признался он, — а всегда лучше второе.

— Если оно есть, — сказала Эн.

Они присели на железную скамейку — подальше от посольства. Бегали детишки, играли в мяч. Под платаном сидели матери с колясками. Черные кружевные шали, высокие гребни придавали им вид старинных придворных. Твердые рыжие листья слетали в пруд. Надвигалась осень. Пахло горечью отцветающих трав.

Новенький синий «опель» несколько раз медленно проехал мимо них, затем остановился неподалеку. «Спокойно», — сказал Андреа, и они принялись целоваться. Потом побежали через газоны к автобусу. Несколько кварталов «опель» не отставал от автобуса.

IX

Устроили Джо в фирму «Тесла», по имени Никола Теслы, знаменитого чешского электротехника.

В Европе фирма считалась известной. Однако на Джо после американских производств она не произвела впечатления. Все здесь совершалось как в замедленном кино, в раздражающе вялом темпе. То и дело происходили длинные совещания, много говорили, уговаривали друг друга. Оборудование было старое, и его не собиравшись менять. В лаборатории болталось много лишнего народу. К Джо, однако, отнеслись внимательно. Руководил отделом профессор Карел Голан, автор нескольких хороших работ по полупроводникам. Ему доставляло удовольствие практиковаться в английском. Чехи нравились Берту

мягким юмором, умением подшучивать над собой — миролюбивый народ, никому не завидующий. Особенно милыми показались ему чешские женщины. Совершенно незаметно, сам собой у него завязался роман с медсестрой, которая работала в поликлинике. Когда Джо пригласил ее на чашку кофе, она весело расхохоталась его немыслимому чешскому языку. Холостяцкая квартира, большой радиоприемник — первое, что купил себе Джо, — женский силуэт, прилепленный к оконному стеклу, — все вызывало у нее радостное удивление. Ее нельзя было считать искусной в любви, но в ней была какая-то спортивная свежесть. Ногти, губы, зубы — все благоухало чистотой и молодостью. У нее была смешная привычка: «Раздевайся в темноте, — просила она, — когда я вижу голого мужчину, я чувствую себя в больнице, у меня пропадает всякое желание».

По вечерам она водила его по пражским пивным, помогала учить чешский язык и сама училась говорить по-английски. Однажды Карел Голан заметил, что его чешский продвигается неплохо. Наверное, лучше, чем у Милены английский. Он что, знает Милену? — удивился Джо, но Карел отрицательно помотал головой и усмехнулся. А в следующей раз спросил Джо, как им понравился вчерашний фильм. И что-то в его тоне удержало Джо от прямого вопроса. Он попытался узнать у Милены, нет ли у нее общих знакомых с Голаном. По ее словам, не было, да и про кино она вроде бы никому не сообщала. Обдумав все, Джо пришел к выводу, что Карел дает понять: за ним наблюдают. В самом факте не было ничего особенного, — но откуда об этом мог узнать Карел?

Примерно месяц спустя Джо, которого теперь называли Иозеф Брук, был вызван в министерство безопасности. Помощник или порученец — или как он там называется — встретил его внизу, провел через посты к какому-то большому начальнику. Там его угостили хорошим кофе с печеньем, расспрашивали о работе, о жилье, просили не стесняться, если есть в чем нужда. Разговор вел хозяин кабинета, бледный, наголо обритый, прямой, как трость, человек во френче; время от времени подавал реплики болезненного вида толстяк, который, задыхаясь, подсказывал английские слова. Речь зашла и о том, что Иозефу Бруку не мешало бы обосноваться прочнее, а для этого надо жениться. Джо отшучивался, все смеялись, и тут хозяин кабинета, сохраняя улыбку, сказал, что имеются подходящие невесты, две или даже три. Товарищу Бруку дается возможность выбрать, все они знают английский язык, проверенные люди. Взгляд его светлых глаз стал безулыбчив, и Джо понял, что это говорится всерьез. Тем не менее, сохраняя веселый тон, он поблагодарил за заботу и обещал сам заняться поисками, потому как при заполнении анкет у него не поинтересовались, какого типа женщин он предпочитает. Но иронию проигнорировали. Женитьба в данном случае не есть его личное дело. Рядом с ним должен находиться неотлучно надежный человек.

— И нам будет лучше, и вам. Считайте, что это задание партии. Мы не хотим, чтобы вы попали в ловушку.

— Зачем торопиться?

— Вы же не монахи... Мы же знаем, что вы не монахи. — И толстяк одышливо хихикнул.

Незаметная дверца между шкафами открылась, и в кабинет вошел человек — в домашней куртке, усталый, с тускло-сонными глазами и трубкой в руке. Собеседники Джо вскочили, почтительно выпрямились. Джо остался сидеть, закинув ногу на ногу.

— Ну как, договорились? — спросил вошедший.

— Не совсем, — ответили ему.

— Вы бы показали товарищу фотографии.

И сразу же перед Джо было положено несколько фотокарточек анфас и в профиль. Но тот даже не взглянул на них.

— Вам объяснили ситуацию?

Джо молча пожал плечами.

— Это не каприз. Мы заботимся о вас. Будь нам наплевать, мы бы не занимались этим. Мы не можем рисковать делом, которое собираемся вам поручить.

— Браки заключаются на небесах, — попробовал отшутиться Джо.

Человек в куртке пососал трубку, задумчиво глядя на Джо, и вдруг рассмеялся, взгляд его при этом оставался безучастным.

— Считайте, что мы и есть небеса.

— Да уж — выше ничего нет, товарищ председатель, — подхватил толстяк, колыхаясь от смеха.

Джо молчал.

— Ну что же, не хотите выбирать, тогда мои сотрудники выберут по своему вкусу, — сказал председатель.

Джо облизнул губы.

— Ничего не получится. Личные вопросы я решаю сам.

Сонный взгляд оживился, интерес слабо вспыхнул в глубине тусклых зрачков и погас.

— Вы не знакомы с нашими порядками. Здесь так не разговаривают. Это не личный вопрос, речь идет о государственных интересах, и мы не будем считаться ни с чем.

Он произнес это без гнева, великодушно, как может говорить человек с автоматом с безоружным чудаком.

В биографии Джо почти не встречается безрассудных поступков. Есть необъяснимые предчувствия, есть глупости и явные промахи. Похоже, что и тут безрассудства не было, а был приступ ослиного упрямства. Так когда-то называл отец эти странные выходки сына, когда выключались чувство страха и осторожность и его ничем нельзя было сдвинуть с места.

— Нет, этого не будет, — тупо пробормотал он.

— Как? — переспросил председатель.

— Не будет, — повторил Джо по-чешски.

— Ну-ну, — председатель направился к дверям, — напрасно вы...

— Мы так не договаривались, — повысил голос Джо.

— С кем? — настороженно спросил бритый.

— Вы знаете с кем, — сказал Джо. — Мне нужна жена русская... Я буду выбирать из советских, — вырвалось у него неожиданно, он еле успел спрятать свое торжество.

Председатель остановился у дверей, посмотрел на него испытующе.

— Полагаю, это вас устроит, — сказал Джо.

Председатель помолчал, медленно повел головой.

— Нет. Пока вы здесь, вы живете по нашим правилам. В Союзе сможете получить другую подругу.

...Приложив палец к губам, Карел Голан вывел его на улицу, и там Джо продолжил рассказ. Судя по описанию, им занимался сам шеф безопасности страны — Сланский. Не следовало так говорить с ним. Человек не в состоянии бороться с учреждением, тем более с системой. Это нелепо. Профессор был расстроен. Откровенность Джо его тяготила. Вряд ли положено сообщать о таких разговорах. Даже если Джо не давал подписки.

— Мне не с кем поделиться, — оправдывался Джо. — Мне надо с кем-то посоветоваться.

— Я вас понимаю.

— Вы тоже были со мной откровенны.

— Я знал, что вы поймете.

— Откуда вы знаете про Милену? От них?

— Они просили предупредить вас. Но я сделал это немного иначе. Я хотел, чтобы вы знали и про меня...

— Зачем?

— Чтобы вы остерегались меня.

— Вы что же... — Джо поискал подходящее выражение, — связаны с ними?

Карел промолчал.

— Как это получилось? Вы же крупный ученый.

— Ах, вам этого не понять. — Карел остановился, снял толстые очки, стал протирать их. Влажные глаза его близоруко уставились на Джо. — Я не знаю... Наверное, вы тоже должны информировать, судя по всему... — Он надел очки, морщась, покачал головой — Невозможно жить. У меня мания... Мне всюду

мерещатся ускользающие глаза, никто не смотрит прямо. Вы спрашиваете, как это получилось. Чтобы сделать мои работы, чтобы опубликовать их, чтобы выступить на Лондонской конференции... Понятно? Иначе бы не пустили. — Он взглянул в глаза Джо, спросил вызывающе: — Стоит того? А?

— Не знаю.

— Перед вами тоже могут такой вопрос поставить. Собственно, они уже поставили

— Но как они могут заставить?

— Вы их не знаете Я вам скажу честно: я боюсь. Разве вы не испугались?

— Я не верю! — заторопился Джо. — Это же социалистическая страна! У власти коммунисты!

— Позвольте поставить перед вами и такой вопрос. Вы верите партии и социалистическому строю? Вера не терпит вопросов. Вы должны поступать, как вам велят. Справедливо это или нет, не вам решать. Помните Книгу Иова?

— Но они не испытывают меня. Они лишают меня свободы. Неужели в Советском Союзе то же самое?

— Не думаю, — сказал Карел. — Это наша маленькая трусливая Чехия, мы всегда стараемся приспособиться. Знаете зачем? Сохраниться хотим. Выжить. Послушанием. Но это пройдет. Мы только что освободились от капитализма. У нас еще много внутренних врагов. Все же карающий меч органов необходим. Без него нельзя.

— Поэтому я должен отныне спать с вашим карающим мечом?

Карел усмехнулся.

— А я бы согласился. По крайней мере при мне был бы управляемый источник информации. Хуже нет, когда не знаешь, кто к тебе приставлен. Всех подозреваешь.

— Я не намерен соглашаться. Я не привык, чтобы со мной так обращались!

— Тихо, не кричите! А с вашими неграми в вашем Иоганнесбурге как обращаются?

— Но я приехал в страну социализма.

— Я завидую вашей непосредственности. Боюсь, что скоро вас укоротят. Посадят на привязь.

Перед глазами Джо возникла вялая усмешка председателя, и волна злости вновь накатила на него.

— Силенок не хватит у вашего Сланского!

— Не надо так, — печально сказал Голан. — Не забывайте, что меня будут расспрашивать. А что касается привязи, то не тот силен, кто посадит на нее, — сильна сама привязь.

К этому времени они уже сидели в пивной «У Томаша», где все знали профессора и где у него был отдельный столик, и пили третью пару пива.

Профессор выглядел старше своих пятидесяти лет. Блестящую лысину окружали вспученные черно-седые волосы. У него был толстый нос, толстые губы, толстые уши. И сам он был как бы весь вспухший, красно-воспаленный. Он был некрасив и чувствовал свою некрасивость. Стеснялся женщин, они же относились к нему заботливо, как относятся к вдовцу. В отделе его уважали, хотя многих раздражала его слишком стремительная сообразительность. На семинарах рядом с ним многие чувствовали себя туповатыми. Жена у него умерла два года назад. Дети уехали в Германию. Он жил со старенькой теткой, бывшей баронессой Штольберг, которая уверяла, что ее нельзя назвать бывшей: нельзя же рассказывать овчарку и считать ее бывшей.

Голан много рассказывал о себе. В первый и последний раз они так посидели, и, может, потому, что это был единственный раз, Джо запомнил многие его высказывания. А может, эта как бы постпамять была связана с тем, что случилось позднее.

— Я урожденный идеалист. Мир слишком гармоничен, чтобы считать его результатом эволюции. Он не мог возникнуть постепенно, он — чудо, которого не достигнуть перебором проб и ошибок. Он появился внезапно и далее рос. Для нас, занятых наукой, всегда стоит вопрос: имеем ли мы право улучшать, поправлять природу? То есть совершенно ли творение Бога — Земля, космос, природа, человек? Как судить об этом нашему разуму, тоже сотворенному

кем-то? Нам кажется, что человек несовершенно. Но разве мы знаем, для чего он предназначен природой? Мы хотим исправлять природу, поправлять ее вместо того чтобы постигать ее совершенство. Возьмите, к примеру, проблему электростатики. Как ее решает природа?..

Мысли Карела Голана об электростатике через несколько лет Джо использовал весьма удачно. При этом он всегда упоминал профессора Голана, не ссылаясь на публикации, ибо таковых не последовало.

Отворив дверь, Джо увидел, что в квартире горит свет. Потом он почувствовал запах жареной рыбы и лука. Потом в передней появилась женщина. В фартуке, раскрасневшаяся. Она поздоровалась и встала у кухонной двери, чуть улыбаясь. Джо молча снял туфли, пиджак, причесался у зеркала. Женщина вздохнула и заговорила. Ее звали Магда. С той же маленькой улыбкой она сообщила, что отныне будет жить здесь на правах жены. Сейчас она привезла только самое необходимое. Конечно, в этой двухкомнатной квартире тесновато, но она надеется, что удастся получить трехкомнатную в этом же доме. Ей обещали. Тогда у него будет отдельный кабинет и она не будет ему мешать. Пока же устроит себе постель на диване в столовой.

Говорила Магда по-английски медленно, аккуратно выговаривая каждое слово, каждый артикль. Коренастая, крепкая, примерно лет тридцати, она выглядела грубовато. Гладко зачесанные на пробор пегие волосы открывали крутой маленький лоб, лицо бесцветное, слегка одутловатое. Морщинки под глазами. Большие руки. Золотое кольцо. Как бы не замечая своего двусмысленного положения, она держалась скромно и в то же время твердо. Довольно резко он заявил, что привык жить один. Она ответила, что тоже привыкла жить одна, но ничего не поделаешь. И тут же спокойно предупредила: квартира ведомственная, комендант получил указание, что отныне здесь будут жить двое. «Каждый в своей комнате», — заявил Джо. «Как будет угодно», — согласилась Магда. И вообще он может выбрать любую, но, очевидно, ему хочется занять большую. Если желает, может давать ей деньги на хозяйство, готовит она неплохо, и вообще — ужин давно готов.

Не собирается ли она, ублажая его чревоугодие, добиться своего?

А ей ничего не надо добиваться. Есть указание поселиться здесь и считаться женой пана Иозефа Брука, что она и выполняет.

Он надеется, что нет указаний целовать его на ночь, ходить с ним в гости и выяснять, почему он не ночует дома?

Как часто ей надо докладывать об их супружеских делах?

Сколько ей платят за ее обязанности?

Хотелось довести ее до слез, чтобы хлопнула дверь..

Тишина в соседней комнате раздражала, он заглянул туда. Магда сидела на диване, сложив руки на коленях, и смотрела прямо перед собой. Две ночи он провел у Милены. Она жила с матерью, но он напел, что дома у него ремонт, пахнет краской. Когда он наконец появился, то тихо, про себя ахнул: в квартире все блестело от чистоты, полы были натерты, в комнатах стояли цветы. Магда в темном платье с белым кружевным воротничком встретила его как ни в чем не бывало, предложила поужинать. Он сел на кухне, спросил, нет ли у нее градусника, она тронула его лоб и побежала к соседке...

Несколько дней с температурой под сорок он провалялся в grippe. Магда сидела у его кровати.

— Вы меня ставите в унижительное положение, — сказал он. — Я не хочу быть вам обязан.

На это она тихо проговорила:

— Мое положение еще более унижительно.

Были вопросы, на которые она отвечала охотно. Оказывается, она была замужем. Три года. Муж погиб в 1945 году во время Пражского восстания. Фашисты расстреляли трех человек, прямо на Карловом мосту. Английский изучала в университете. Работала переводчицей в туристской фирме. Потом ее взяли переводчицей в органы.

— Что вам сказали про меня? — внезапно спросил он.

Магда ответила не сразу. У нее была манера отвечать помедлив, как будто фразу она складывала в уме. Поэтому ее никогда не удавалось заставить врасплох...

Сказали, что наверняка будет провокации и он нуждается в защите. Что на него будут охотиться иностранные разведки, подсылать к нему женщин...

И как же она собирается его защищать? У нее есть оружие? Чем же она отразит нападение? У нее даже нет кочерги.

Кажется, ему удалось ее рассмешить. Ее крупному лицу не хватало красок.

— Вам бы пошла косметика..

Вам бы тоже пошли плечи пошире а шевелюра погуще, — ответила она.

Оказывается, она умела постоять за себя! Однажды он застал ее за картами

— Это что, пасьянс? — поинтересовался он, потому что любил пасьянсы.

— Нет, я гадаю.

— На кого?

— На вас.

— Что получается?

— Долгая жизнь. Вам предстоит большое дело.

— А в личной жизни?

Она подняла глаза.

— Я не могу на себя гадать.

— А на других?

— Не хочу.

После выздоровления, в первый день, когда он вернулся с работы, Магды не было дома, а его книги были сложены на подоконнике. Джо разозлила эта бесцеремонность. Но он сразу успокоился, заметив, что и книги и бумаги были перенесены в том же порядке. Джо открыл шкаф — его белье было аккуратно разложено. Но доконали его носки. Он их всегда стирал себе сам и никогда не гладил. А тут... Выглаженные носки, выглаженные трусы. Квартиры, комнаты, гостиничные номера — обычно это были захлапленные помещения, кое-как прибранные горничными или приходящей уборщицей...

Он посидел в кресле, зажег торшер, на кухне заглянул в холодильник, там тоже все было разложено по отделениям — помидоры, морковка, бутылки молока. Возникло ощущение налаженного домашнего порядка, уюта, какого-то непривычного ему, слишком аккуратного существования, приготовленного для спокойной работы. Эта демонстрация преимуществ семейной жизни забавляла и одновременно раздражала. Очевидно, делалось это исподволь, пока он болел. Он посмотрел на грязные следы своих сапог, скинул их, подтер пол щеткой.

Когда Магда пришла, он сказал:

— Вы здорово постарались.

— Я думала, вы не заметите, — смутилась она. Потом добавила виновато — Для меня это было удовольствие.

Он заметил, что она слегка напудрена, надушена и белесые брови чуть подведены. Это ей шло.

Впервые они вместе поужинали. Кнедлики в мясном соусе, тушеная морковка и чай с горячими гренками. Ничего особенного, но Магда покраснела и была явно довольна. Разговор шел о пустяках. Магда вдруг спросила, не хочет ли он пригласить послезавтра кого-либо на свой день рождения, это неприятно поразило Джо. Гостям придется представить ее. Интересно, в качестве кого?

— В качестве жены, — сказала она, глядя в стол. Пальцы ее больших рук были крепко сцеплены. — Я думаю, противиться нет смысла. Раз уж нам выпала такая судьба. Зачем вы осложняете себе жизнь?.. Я здорова. Я хочу иметь детей. Я знаю цену покою и верности... Вам надо много работать. — Она подняла на него глаза, слегка покраснев. — Сколько браков начинались любовью и кончались ненавистью. Любовь быстро исчезает. Вам это известно. Брак по расчету надежнее. Если бы мы с вами встретились случайно, мне было бы проще. А так... — Бледные губы ее дрогнули. — Мне трудно, я не могу держаться естественно. Вы все время думаете, что я выполняю поручение...

Она не сорвалась ни на крик, ни на слезы, не прибежала ни к каким уловкам. И Джо слушал ее с любопытством. Она домогалась не его любви, ей нужен был брак. Сам Джо тут мало что значил, для этой женщины он был лишь возможностью завести семью, очаг, детей, возможностью заботиться о ком-то, чувствовалось, что это ее горячая неистраченная потребность.

Вспомнив правила, рекомендуемые профессором Голаном, Джо предложил пройтись перед сном. В центре вечерняя Прага шумела, сияла огнями, группы подростков толпились на Старомястной площади. Осенний ветер гонял листья по мостовым. Черные деревья стояли мокрые и тихие. Магда заставила его поднять воротник, закутаться шарфом. Они останавливались у ярких витрин. Магда держала его под руку, с ней было тепло и покойно. Он разоткровенничался, рассказал ей о Терезе, о том, что скучает по ней.

— Это ее силуэт на окне, — догадалась Магда.

Время не приглушило воспоминания о Терезе, наоборот, голос его дрогнул. Магда сжала его руку, но ничего не сказала.

— Такая вот причина, — сказал Джо.

Они задержались перед витриной часового магазина. В стеклянной глубине маятники качались, крутились, время проживало в деревянных футлярах, фарфоровых, в крохотных золотых цилиндриках, в дешевых будильниках, в бронзовых дворцах.

— Вы надеетесь с ней встретиться? — спросила Магда. — В ближайшие годы не получится. Чуда не будет. Я тоже ждала чуда. Теперь я поняла, что чудеса не про мою честь. Но мы с вами гуляем — это уже кое-что. — Она смущенно засмеялась.

С Миленой было приятно зайти в ресторан, в пивную, на нее заглядывались. Она украшала его. С Магдой же он не замечал окружающих, она была как бы под стать ему и в чем-то опытной. У нее была практическая хватка, она, например, в первые же дни посоветовала потребовать, чтобы дирекция фирмы выписывала для него американские научные журналы. Вместо того чтобы самому ловить их в библиотеке. С ней он мог говорить на родном языке не упрощая, это тоже много значило. Карел Голан, который навестил его во время болезни и познакомился с Магдой, сказал: «Вы не должны жаловаться, вам достался удачный вариант». Джо не удержался: «Господи, какие у нас разные понятия!» — «О чем?» — «О свободе!» Карел Голан виновато улыбнулся. Он не умел обижаться. Но, кажется, в его словах что-то было.

Джо спросил Магду, почему она не вышла замуж вторично. Неужели не было подходящего?

— Были, — сказала она.

Помолчала.

— Не могла, — сказала она.

— Как это?

— А вас водили к дому Моцарта? — вдруг спохватилась она. — Он тут рядом.

— Вы не ответили.

— Почему я должна отвечать?

— Не мешает мне кое-что о вас узнать, раз вы уже решили стать моей женой.

— Меня не интересует ваше прошлое.

— Я решаю или вы?

— Все решено за нас... Там пороховая башня, ее построил Матиас Рейсен, о нем есть легенда...

— Магда, я не экскурсия.

Но она продолжала рассказывать про Национальный театр, Влтаву, художников, которые живут тут, бегство гестаповцев — отработанный текст с рекламной театров, выставок и чешского стекла.

— Я понимаю, — сказал Джо, — но я не про это прошлое.

— Я бы не хотела.

Потом она сказала:

— Я не имею права.

И еще через некоторое время уточнила:

— Мне пришлось выполнять некоторые задания. Если бы у меня был муж, это было бы нечестно.

— То есть вы должны были жить с иностранцами? — жестко спросил Джо.

— Правительственные делегации. Особые задания. — Она говорила об этом буднично, без отвращения, без хвастовства, работа есть работа, ничего не поделаешь. — И поэтому-то теперь я не хочу никакой косметики, — конфузливо призналась она, ее лицо на мгновение стало девичьим, почти детским.

Перед сном Магда, постучавшись, вошла к нему в халатике но остановилась в дверях

Пан Иозеф я решилась вам сказать, что с ними лучше Не надо их дразнить

Вы про что?

— Не стоит вам встречаться с Миленой У нее могут быть неприятности

Что-то она еще сказала, он не обратил внимания на ее слова, он раздумывал не попросить ли ее остаться Голые ноги ее блестели, стоило только сделать жест, подойти, но тут же он представил, как это могут преподнести Милене и как он сразу лишится нынешних преимуществ перед Магдой, здесь все просматривалось, может прослушивалось, кто-то наблюдал и за его колебаниями

Спокойной ночи — сказал он

На следующий день в лаборатории старшая лаборантка пани Кучера обрадованно возвестила, что видела его вчера у театра с барышней

Одобрюя ваш выбор, пан Брук, она со вкусом одевается, видно, что душевный человек и вас любит

«Почему бы и нет» неожиданно мелькнуло у него

Собственная его тема в лаборатории продвигалась еле-еле Кроме профессора Голана, никто в ней ничего не понимал Транзисторы не имели прямого отношения к высокочастотной аппаратуре Предприятие занималось традиционными аппаратами, имеющими сбыт но не имеющими будущего. И никого почему-то не беспокоило, что их могут обогнать конкуренты «Какие еще конкуренты?» — недоумевали сотрудники Мнение нового инженера мало кого интересовало Бывший гражданин ЮАР, по-чешски еле ковыляет, по-немецки ни гугу к пивному общению не тянется Когда он вмешивался в рецепты составления схем, его ловко подсекали — откуда, мол это известно в ваших джунглях? Африканец — это еще не иностранец

Американские газеты доходили случайно по ночам Джо слушал радио. В одном только госдепартаменте утверждал сенатор Маккарти, удалось обнаружить более двух сотен коммунистов Выискивали коммунистов, им сочувствующих, во всех учреждениях создавали комиссии по расследованию. Проверяли гысячи сотни тысяч американцев на лояльность ФБР составляло списки на представляющих угрозу Пытались выявить тайных коммунистов. Создано было бюро по контролю за подрывной деятельностью Бестселлерами стали антикоммунистические детективы Психоз разрастался Эфир истошно вопил об угрозе существованию страны требовали сменить правительство! То там, то тут вспыхивали процессы, нелепость которых отсюда, из Праги, была очевидна Слушать это было страшно, до глубокой ночи Джо крутил ручки приемника не в силах оторваться, не в состоянии понять, что случилось с Америкой. Никаких прямых доказательств вины Розенбергов не приводили, тем не менее петля затягивалась все туже Главным свидетелем обвинения был Давид, брат Этель, который якобы видел, как Юлиусу передавали какие-то чертежи, по словам журналистов — наброски, сделанные от руки. Это и был весь пресловутый секрет атомной бомбы Эксперты ловко уклонялись от определения, к чему относятся эти схемы. Покрывало секретности делало сообщения туманными Что за сведения передали Розенберги в Советский Союз, оставалось неясным Впрочем, технические подробности меньше всего интересовали правосудие Выступающие твердили лишь о том, что секрет бомбы выкрасть могли только американские коммунисты, они одни способны на такое чудовищное предательство

После взрыва атомной бомбы в июле 1945 года генерал Гровс заявил конгрессу, что русским понадобится минимум пятнадцать лет, чтобы догнать американцев. Прошло четыре года и сорок шесть дней — и на семипалатинском полигоне поднялся к небу атомный гриб советского происхождения. Взрыв потряс Америку Ясно, что русским помогли шпионы, из-за них Америка лишилась преимущества, отныне Москву нельзя будет остановить, демократия в опасности, худшие предсказания Черчилля сбылись. Жажда найти виноватых обуяла власти прессу Розенберги были обречены, их швырнули на арену. Из-

вечный крик толпы был удовлетворен. Возможно, один Джо спасся. Беглец. Почетный дезертир. Что-то постыдное, незаслуженное было в его обеспеченной безопасности. Ему удалось сбежать, улизнуть — не от агентов, а от общей судьбы. Ни на минуту он не верил в предательство друзей. Какие они шпионы? Особенно сейчас, когда война давно кончилась. Они ненавидели американский капитализм и боготворили свою Америку. Не было страны лучше, красивей. Самая великая, самая свободная в мире. Чтобы как следует выругать Америку, надо очень любить ее. После воскресного отдыха Господь учел все ошибки и сделал Америку и американцев, это лучшее, что у него получилось.

И не с кем поделиться. Кому дело тут, в Праге, до американских судебных процессов? И какое могло быть дело до них инженеру из Йоганнесбурга? Почему его должна волновать судьба Розенбергов в Нью-Йорке?

X

Итак, путь в советское посольство был закрыт. От родственников Андреа и Эн съехали в пансионат, из пансионата — в отель. Снимали самые дешевые комнаты. С железными кроватями, кувшином воды, железной сеткой в окне. Вонь и шум перенаселенных кварталов, полицейские сирены, проститутки, скандалы. Зарботки уходили на жилье, питались бананами, сорго, вареной кукурузой. Прошел еще месяц. Они обносились. Советское посольство оставалось недоступным. Все другие посольства могли стать ловушками, выдать их американцам. Даже формально: у них потребовали бы заграничные паспорта США. Паспортов не было.

Починив приемник в гостинице, Андреа на полученные деньги купил гитару. Вечером они отправились в таверну. Увидев его с гитарой, мексиканцы попросили спеть. Для виду он отказался, потом спел две песни команчи и одну апачей. Ему аплодировали. Он осмелился спеть мексиканскую косиону и котридо. Акцент его пришелся по душе. Набилось много народу. Эн не стесняясь прошлась между столиков с его сомбреро. Андреа разошелся, исполнил несколько негритянских песен и песню местного композитора Понсе Мануэля, что вызвало восторг. Они заработали целых сорок долларов! Хозяин пригласил его выступать каждый вечер. На четвертый день они увидели расклеенные на улице афиши с его фотографией — американский певец Андреа! Они сдирали со всех стен эти желтенькие афишки и переехали в другую часть города.

Изукрашенный скульптурами и мозаиками богатый дом, куда привел ее Андреа, был выбран в результате множества умозаключений и наблюдений. Раз советское посольство заблокировано, остается попробовать посольства других социалистических стран. Андреа выбрал польское. Ему казалось, что поляки наиболее независимые, свободолюбивые люди.

Оно располагалось на втором этаже жилого дома. Улочка была узкая, парковаться там было негде. На всякий случай они прошлись несколько раз мимо. Ничего подозрительного не заметили. Поднялись на верхний этаж, оттуда пешком спустились на второй, позвонили, их проводили в кабинет, где сидел седоусый старик в белом костюме. Он молча выслушал их рассказ. Глаза его за выпуклыми стеклами очков ничего не выражая. Он сидел, утопив голову в плечи, неподвижный, похожий на сову. Наконец он сказал:

— Напрасно вы пришли сюда. Вас наверняка заметили.

— Мы проверили, — сказал Андреа, — никого не было.

— Взгляните в окно. Не вставайте, не подходите. Видите дом напротив? Оттуда они снимают каждого, кто к нам заходит.

— Нам все равно, — сказал Андреа. — У нас нет выхода.

— Вы что, хотите в Польшу?

— Да.

— Зачем?

— Мы хотим помочь строить социализм в Польше.

Движение пошло по его морщинистому лицу. Потом оно снова замерло. Он погладил усы, спросил:

— Почему в Польше?

И вопрос и тон показались Андреа странными. Он стал излагать свои идеи социалистического общества, основанного на высшей технике с применением счетных устройств, роботов.

Желтые глаза старика полужакрылись. Он слушал не прерывая, потом сказал.

— Сейчас из офиса на первом этаже пойдут служащие, и вы с ними. Повернете направо, через два квартала будет маленький парк. За каменной статуей на второй скамейке сидите каждый вечер в восемь часов. Хотя бы полчаса. Каждый вечер. Кто-нибудь подойдет к вам. А сюда больше не приходите.

Больше этого старика они никогда не видели. Но по вечерам аккуратно являлись в парк. Андреа садился на скамейку, Эн ходила вокруг, так было безопаснее. Полчаса проводили в ожидании, к ночи добирались к себе.

Миновала неделя, пошла вторая. Однажды на их скамейку присел маленький человек в каком-то зеленом поношенном мундире с золотыми пуговицами, в надвинутой на глаза шляпе. Не представляясь стал по-испански расспрашивать, кто такие, где работали, как здесь очутились. Не темните, оборвал он Андреа, выкладывайте все как есть. Их ответы его не удовлетворили. Спросил, как у них с деньгами, где живут, сколько платят за жилье. Узнав, зашипел: «Вы платите вдвое больше, чем положено. Вас обирают. И наверняка уже заподозрили. Переезжайте туда-то»

Они переехали. Встретились, как и было условлено, в парке Чапультепен. Там было гулянье. Мистер Винтер, так он представился, взял их под руки, повел сквозь толпу и опять стал расспрашивать с дотошностью следователя. Бесцеремонно копался в их отношениях, уточнял даты, адреса. Память у него была исключительная. Довел Эн до слез, выясняя, как же она решилась бросить детей. Перешел на английский, придирался не скрывая, что не верит ни одному их слову, убежден-де, что они брехуны, авантюристы, подсланы ЦРУ. Андреа не выдержал, сравнил его с агентами ФБР, — те вели себя тактичнее. Мистер Винтер довольно потер волосатые руки.

— Вы кто такой? Ах, инженер! Откуда это следует? Где ваши документы? В ФБР знали, кто вы, а для меня вы свалились с луны. Полагаете, что поляков легче провести, чем советских чекистов? Посмотрим. Моя задача — поймать вас на вранье. Вы небось ждали, что от вашего воркованья я уши развешу? Очаровательная легенда — сбежавшие любовники ищут, где бы им пристроиться строить социализм! Такое диво мне еще не попадалось.

Они остановились у прилавка, заваленного тканями и украшениями из птичьих перьев.

— Мне жаль, что вы не можете себя вести достойно, — сказал Андреа. — Поляки, мне казалось, джентльмены. Но у нас нет выбора.

Мистер Винтер притянул его к себе за отвороты куртки и, обдавая нечистым дыханием, проговорил:

— Форсу у вас много. Не стоит передо мной заноситься. Вы у меня вот где. — Он похлопал себя по затылку. — Не устраивает — катитесь к чертовой матери. А нет, так терпите.

Они учились смирению. Самому трудному из всех человеческих качеств, утверждал Андреа, во всяком случае для любого американца, для них особенно. Потому что они все же считали себя особенными, тут Винтер их раскусил.

В следующие встречи Винтер появлялся то удрученный, то придирищиво-капризный, требовал, чтобы они оделись иначе, купили себе то-то и там-то. Они покупали то-то и то-то, там-то и там-то. Андреа сочинил песенку про того-то и ту-то, которые делают то-то и то-то, докладывают кому-то, который посылает их туда-то. Мистер Винтер, сердито рассмеялся. Новый облик их, новая прическа Эн, хлопчатобумажные брюки, старые шерстяные куртки, плетеные корзинки несколько успокоили его. По его теории, чтобы тебя запомнили, надо чем-то выделиться. «Обращают внимание на мой дурацкий мундир, а не на меня. Стоит его снять — и меня никто не узнает!»

Это был большеголовый, большерукий, костлявый человек, всклокоченный, всегда как бы занятый чем-то другим, его рассеянно бегающие мышиные глазки были как бы от другого, а не от этого боксерского, изувеченного, картофельного лица. Казалось, что мистер Винтер — некое устройство, собранное из нескольких людей: был среди них военный, был мелкий деляга, был порто-

вый грузчик, мафиози, бандюга, урка и даже молодой папаша. Из его бурчаный, ругани выяснилось, что из Варшавы его внезапно отправили в Лондон, оттуда в Мехико. Даже не мог заскочить домой — попрощаться с женой. А у них двое маленьких — два года и полгода. И от первого брака у него сын — пятнадцати лет. А теперь вот приходится торчать тут из-за каких-то америкашек, которые наверняка ничего из себя не представляют, туфта, рисуют слона, а получится дворняга. По его словам, о его приезде сюда пронюхали, чуть не накрыли. Эн умилялась, переживала, Андреа успокаивал ее: эта агентурная братия любит цеплять на себя ленты-бантики приключений, пугать балаганскими тайнами с холостой пальбой.

Как выразился Андреа, мистер Винтер существовал в режиме призрака. Появился, бесследно исчезал неизвестно куда и все же оставался единственно реальной надеждой.

На этот раз Винтер явился в клетчатой кепке, обтрепанных гольфах и рывом дырявом пуловере с вышитым алым быком. Глаза прикрывали дымчатые очки. «Образ падшего гринго» — так он определил «стиль» своего костюма. Встречные в луна-парке невольно оглядывались...

Настроение у Винтера было неплохое. Он помахал какой-то бумагой и объявил, что дело стронулось. Во-первых, оказывается, что Костас, за которого выдает себя Андреа, судя по фотографии, совпадает в основных чертах с греком, которого он видит перед собой, во-вторых, их засекли. И он прочитал им фотокопию расшифрованной телеграммы № 1904/26 из Вашингтона в американское посольство: «Из достоверных источников стало известно, что готовится отправка АК из Мехико-Сити в Париж и оттуда в Варшаву силами польских служб, что надо предотвратить. Министерство юстиции вторично обращает внимание на необходимость доставки АК в следственные органы как чрезвычайно важного свидетеля обвинения и, очевидно, соучастника ряда антигосударственных акций. Предлагается привлечь к содействию управление разведки госдепа». Какие-то фразы Винтер опускал, кричал, хмыкал, но в общем и целом не скрывал своего удовлетворения. «Польские службы» — это был он! Он получал высшую оценку противника! С ним вступали в поединок. Недаром он с самого начала почувствовал, что Андреа — стоящий субъект, чутье профессионала его не обмануло. Он не сдерживался в похвалах себе и ругани в адрес шнырей, из-за которых придется менять планы. Факт, что из Мехико рискованно, придется кантоваться через какую-нибудь бананово-ананасную мелочевку. Новый маршрут будет и длиннее, и дольше, и опаснее.

Похлопав по плечу опекавшегося Андреа, пошутил: «Лучше, чтобы молоко скисло, чем подгорело» — и повел их утошаться мороженым. Сегодня он был щедр, праздничен, без обычной осторожности. Сказал, что под наблюдение взяты аэропорты и отчасти шоссе, к ним ведущие.

Цветные шарики мороженого, украшенные сливками, бисквитами, засахаренной вишней, составили целую гору на фарфоровой подставке. Посреди пиршества Винтер попросил Андреа пойти позвонить по такому-то номеру и спросить, когда можно забрать машину — красный «додж».

Теперь, когда они оказались за столиком вдвоем, приветливость давалась Винтеру с трудом. Посетовав на измученный вид Эн, на то, как она похудела, заговорил о трудностях предстоящих переездов. Придется, мол, нелегально переходить границы, ночевать где попало, карабкаться по горам, вряд ли ей такое под силу. Винтер поднял руку, не давая прервать себя. Перед Костасом не придется оправдываться, Винтер просто ее не берет, у него нет сил проташить обоих через столько препятствий, и с одним-то научается. Костас — тот вынужден бежать, за ним гонятся, а она может и подождать. Не давая ему кончить, Эн спросила, почему же он раньше не заикался об этом.

Да потому, что раньше можно было лететь из Мехико, через Париж, а теперь...

— Нет, я не могу его оставить, — решительно сказала Эн. — Это невозможно.

— Невозможно остаться здесь — это вы хотели сказать?

— Какая разница.

— Большая. Вы думаете о себе, а не о нем.

— Он тоже не согласится без меня.

— Вы должны его уломать. Вот что, Эн, давайте будем говорить прямо. Вы ему не жена — раз, вы не специалист — два. Для нас вы ценности не представляете — три. Вы что, думаете, там, у нас, он не найдет себе женщины?

— Мистер Винтер, мы любим друг друга. Вы любите свою жену? Может, вам это неизвестно, но есть чувства, когда невозможно расстаться.

Винтер присвистнул.

— Только не вздумайте мне плести про любовь до гроба. Погуляли — и хватит. Скажите спасибо, что судьба подарила вам прекрасное приключение. Ах, какая трагедия — вернуться к своим маленьким детям, в шикарный дом. Как вам не стыдно! В вашем возрасте глупо строить из себя Джульетту.

Эн сосредоточенно следила, как таяло мороженое. Шоколадные, фисташковые, сливочные разводы...

— Я не могу вернуться, — проговорила она.

— Можете, вас доставят в Штаты.

— Я беременна.

Он недоверчиво оглядел ее тоненькую фигурку.

— Не знаю, не знаю... Тем более! — Он ожесточенно обрадовался. — Я вас не имею права брать.

— Какое право, какие у вас права?

Винтер наклонял голову в одну сторону, в другую, как бы высматривая нужное место, и Эн отодвинулась, прижалась к спинке стула.

— Ваш брак не оформлен? Так ведь? У нас перед вами нет никаких обязательств. Юридических и моральных. О вас и ФБР не упоминает. Следовательно, вам ничего не грозит. Правильно? Так что нечего смотреть на меня как на злодея. — С некоторой нерешительностью он накрыл ее руку своей волосатой ручищей и принужденно бодро сказал: — Остаться в живых — это еще не самое худшее в вашем положении.

Эн вопросительно вскинулась. Щеки ее ввалились, веки покраснели, но глаза были сухие и тусклые.

— Видите ли, неизвестно еще, как у нас там... — сказал Винтер.

Морщины между его бровей углубились, что-то там происходило. Он оставил себя, заговорил с хищной веселостью:

— Что мы уговариваем друг друга? Ведь можно все упростить. Вместо этого я нянчусь с вами. Смотрите вот туда. — Он пальцем показал на двух полицейских, стоящих у пивной стойки. — Мне ничего не стоит сделать так, чтобы вас забрали в полицию. Документов нет — и прощайте. Не Костас пошел бы звонить, а мы оба, и вас тем временем пригласили бы в полицию. Делается это кивком головы. Прощай, как сказал Байрон, и если навсегда, то навсегда прощай. Ничего не поделаешь, нам придется двигаться дальше вдвоем. Существует много способов от вас избавиться.

— Так ведь и с вами можно сделать то же самое, — сказала Эн.

Он с любопытством посмотрел на нее, словно увидел Эн впервые.

— Пожалуйста, хоть сейчас, — чужим голосом произнесла она.

Винтер покачал головой.

— Господи, куда вы суетесь? Разве это вам под силу? Я-то выкручусь, а вы пропадете. Милая вы моя, это же профессия. Вы ничего не можете, запомните — ничего! Вы мне нравитесь, и тем не менее я вас выдам, если вы не останетесь. Такая у нас работа... Идет ваш Ромео, не вздумайте переключивать решение на него, вы же уверяете, что действительно любите его... Господи, от этих слов меня тошнит.

— Все в порядке, — сказал Андреа, он вопросительно посмотрел на Эн. — Что-нибудь случилось?

— Мы тут обсуждаем наше путешествие, — опережая Эн, сказал Винтер и выложил то же самое, что говорил Эн, но как бы улаженное, принятое обеими сторонами как печальная необходимость.

Андреа внимательно оглядел обоих.

— Ты тоже так решила?

— Решаю здесь я, — сказал Винтер. — Она разумная женщина и думает о вас больше, чем о себе.

Андреа не спускал глаз с Эн.

— Что ты скажешь?

— Нехорошо взваливать на нее ответственность. Это не по-мужски, — сказал Винтер. — Хватит того, что она помогла вам добраться до Мехико.

— Да заткнитесь вы, черт подери!

Эн вынула пудреницу, отвернулась, стала приводить себя в порядок.

Крутилась карусель, вагончики неслись вверх, неслись вниз, дети вскрикивали, мулы тащили старинные высокие коляски. В теплом лиловом небе обозначились звезды. Андреа подозвал официанта, заказал три порции кофе.

— Без меня вам будет легче. Мистер Винтер прав, — сказала Эн, пряча пудреницу.

— Без нас обоих будет еще легче.

— Но он не сможет...

— Не сможет — не надо, — холодно сказал Андреа. — Будем искать другие варианты.

— Какие? — спросил Винтер. — Где?

— Мало ли. Ткнемся к болгарам. Что-нибудь придумаем.

Принесли кофе. Андреа пил с удовольствием, положил туда остатки мороженого. Его нельзя было принять за человека, убитого случившимся.

— Извините нас, мистер Винтер, за доставленные хлопоты. Врозь у нас с Эн не получится.

— Глупо.

— Никто не бывает дураком всегда, изредка каждый.

— Мне жаль вас, потому что если я не сумею, то никто не сумеет. Уверяю вас. Я профессионал. Я отличаюсь от других тем, что меня наградят посмертно.

— Верю вам на слово.

— Вы думаете, что это бахвальство?

— Я думаю, что у нас нет выбора.

— У меня тоже.

Андреа пожал плечами. Он вел себя как человек, у которого в запасе есть выход из положения. Не чувствовалось ни малейшей фальши в его поведении. На последние деньги он заказал по рюмочке ликера отметить прощание, и было неясно, скорбит ли он о случившемся, доволен ли, во всяком случае черные его глаза оживленно блестели. Все трое подняли рюмки, Винтер повертел свою в пальцах, разглядывая на свет густую зеленоватую жидкость.

— Жалко с вами расставаться, — начал он и замолчал. Он ждал, он умел ждать, но и эти двое тоже это умели. — Хорошая вы пара... — И опять пауза. — Дай Бог, чтобы лет через двадцать об этой минуте вы вспомнили с удовольствием.

Эн вопросительно подняла брови, но ничего не сказала.

— А-а-а! Была не была! — Винтер отчаянно зажмурился. — Не рискуя не добудешь. — И выпил.

— Что добудешь? — спросил Андреа.

Не ответив, Винтер перешел к делам. В путь отправляться завтра, лучше всего в час пик. Все запланировано на двоих, на него и Костаса, считалось, что Эн останется. Придется перестраиваться уже на ходу.

— Эх, не дает судьба мне никаких поблажек, — вырвалось у него. — Все обходится втридорога.

Эн поймала его взгляд, блеснувший, как нож. Вечером она спросила у Андреа, что имел в виду Винтер, сказав про эту минуту спустя двадцать лет. Андреа тоже не знал. Не пожалеют ли они, что не расстались? Он ляпнул это с мужской нечуткостью, и на них из тьмы потянуло знобким холодком предстоящего.

(Продолжение следует)

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

*

ИСПАНСКИЕ ПИСЬМА

I

Дорогой! Я живу все блаженнее, то есть — бездумней, чудесней: не копаюсь в себе, а беру что ни попадя, с края, говорю невпопад и ни к месту, испанские песни на ходу напевая...

Жить с тоскою российских затурканных интеллигентов, замороженных миром и городом, — сушая мука! Все зависит, как в музыке, только от пауз, акцентов, да еще — чистоты, долготы одиночного звука.

И пока напрягают собратья свои сухожилия, морщат лоб, говоря «за народ», под метелью шикарной, здесь, под белую шубкой овечьей сгорает Севилья от испанской любви, как всегда — и слепой, и коварной!

II

Дорогой! Все, что забыла сказать вчера, говорю сегодня. Мне бы хотелось обзавестись домом, наряжаться, принимая гостей, устраивать вечера «с направленьем», держать салон, выходить с альбомом к именитым гостям, чтобы, запечатлев свое присутствие здесь словами «милой хозяйке», целовали мне руку, и какой-нибудь светский лев на конюшне давал уроки зарвавшемуся всезнайке... Потому что Испания наша, растаптываемая ногой разночинца, хама и нигилиста, больше жертв никаких не требует, дорогой! А испанского гранда полюбит больше артиста.

III

Дорогой! Испания — это сухая, выработанная земля. Вспыхивает от каждой спички. Чадит, дымится. Никого не чтит, даже испанского короля, а при этом ищет, кому бы ей поклониться.

И служить не любит. Но о тайном своем и чрезвычайном служенье твердит открыто. Сонная и неприбранная, она бродит днем, оттого лицо ее ближе к вечеру измученно и сердито.

Слово «провинциальный» много скажет уму
 про испанский апломб, амбиции, сумасбродство.
 И сынов Израиля здесь не жалуют, потому
 что учивают подозрительное с ними сходство.

Все это пишут в местных газетах. Но —
 как ты ни пробуй прижиться, врати искусно —
 иезуитом здесь быть противно,
 аристократом — сомнительно,
 шутом — грешно,
 чернью — гнусно.

IV

Любопытно, что те — из кидальщиков, шулеров и катал,
 выходцы из низов, а некоторые, отмотавшие здесь по сроку,
 то есть те, которые первоначальный делали капитал
 рэкето́м — детей воспитывают уже по доктору Споку.

Отдают в классические гимназии — грызть гранит,
 сокрушать латынь,
 узнавать, кто такие стоики,
 читать Писанье,
 учить на нескольких языках «Отче наш» и «Господь простит»,
 выправлять генотип золотою печатью знания.

То есть попросту — выходить в дворяне испанские,
 в верхний слой.
 Называться «новой элитой», ходить в европейских шляпах.
 Презирать отцов — за плебейство, за дурновкусие, за дурной
 тон,
 неправильные ударенья и — запах, запах!..

V

Дорогой! Вчера до полуночи сидели и говорили
 о том, кто кого не любит. Донна Анна
 призналась, что недолюбливает французов,
 как она выразилась, «за суетливость».
 Дон Хосе терпеть не может арабов —
 за развал Испании милой.
 Что ж до нашего падре — он ответил намеком
 из уважения к своему сану,
 отсылая нас к «торгующим в храме»,
 а это, без сомнения, — итальянцы.
 Вечер был, впрочем, славный, хотя на скорую руку
 пришлось сварганить лепешки из риса, маслин и сыра.
 Но мадера была отменной, погода выдалась теплой,
 и сели мы на веранде под большим абажуром.
 Спросили и о тебе. Я им прочитала письма,
 конечно, не целиком — выдержки, описанья...
 Но тамошние порядки, признаться, их поразили,
 и каждый подал идею, как все исправить...
 Видишь ли ты теперь — не всему следует верить,
 что болтают у вас о испанцах как людях диких,
 непредсказуемых и опасных — весьма приятным
 может быть проведенное с ними время.

VI

Посреди моей Испании милой,
под жасмином пылким, огненным мандрагором,
неизвестная донна поет печальную песню,
оплакивая своего кабальеро.

Вместо пояса — теперь у него веревка,
вместо шпаги — кипарисные четки,
вместо камзола — грубая ряса
монаха-доминиканца.

Постучится он в золотые ворота,
отворит ему суровый игумен,
и войдет он туда, куда святой Петр
пускает только доминиканцев.

А печальная донна состарится и иссохнет,
выцветет, почернеет, как лист осенний,
и поместится вся в печальную песню,
которая особенно хороша по-испански.

VII

Дорогой! Заблудившись в Испании,
так далеко от дома,
перепутав свои и чужие слезы,
с удивленьем и страхом оглядываю незнакомый
и убогий берег, пригодный для жесткой прозы.

Словно после того, как Господь повелел: «Изыди!»,
чуждый дух отошел и укрылся в камнях, в корягах,
среди выросших здесь, в Севилье, и там, в Мадриде,
в перепадах рельефа и климата, в передрыгах.

Но ты знаешь — когда поживешь в изгнание,
прочтешь разлуку,
перепишешь память, себя саму вместе с нею,
то и снег нежнее и мягче ложится в руку,
а слова «дорогой» и «здравствуй» звучат вернее!



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

«РУССКИЙ ВОПРОС» К КОНЦУ XX ВЕКА

Сегодня — хочется если что читать, то коротко, как можно короче, и — о сегодняшнем. Но каждый момент нашей истории, и сегодняшний тоже, — есть лишь точка на её оси. И если мы хотим нащупать возможные и верные направления выхода из нынешней грозной беды — надо не упускать из виду те многие промахи прежней нашей истории, которые тоже толкали нас к теперешнему.

Я сознаю, что в этой статье не разработаны ближайшие конкретные практические шаги, но я и не считаю себя вправе предлагать их прежде моего скорого возврата на родину.

Март 1994

Нельзя обойтись без исторического взгляда, и даже начать его издалека. Однако при этом выделим только две линии: как соотносились в нашей истории внутреннее состояние страны и её внешние усилия.

Существующий миф о расцвете новгородской демократии в XV — XVI веках опровергается акад. С. Ф. Платоновым¹. Он пишет, что это была олигархия небольшого круга богатейших семей, что господство новгородской знати выросло до степени политической диктатуры; а в междоусобицах враждующих партий, так и не выработавших приёмов компромисса, использовалась народная толпа — и до степени анархии; что в быстротечном развитии социальный и политический порядок Новгорода успел обветшать ранее, чем его сломила Москва.

Однако заповедный край демократической среды, обильного свободного крестьянства, образовался именно освобождаясь от Новгорода, — в Поморьи. (Москва не насаждала там своих помещиков, ибо с севера не видела врагов.) В Поморьи русский характер развивался свободно, не в сжатии московских порядков и без наклонов к разбою, заметно усвоенному казачеством южных рек. (Не случайно и свет Ломоносова пришёл к нам из Поморья.)

В Смуту XVII века, после всех разорений Руси и разврата душ, — именно русский Север, с опорой на Поморье, сперва был надёжным тылом для отрядов Скопина-Шуйского, потом — ополчения Пожарского, принесшего Руси окончательное освобождение и замирение.

И Платонов отмечает, что мучительный и душеразпадный период Смуты принёс и благодетельный переворот в политические понятия русских людей: в обстановке безцарствия, когда Русь перестала быть «вотчиной» Государя, а люди — его «слугами» и «холопами», — государство не должно пропасть и без Государя, надо спасать и строить его самим. Повсюду усилилась местная власть, выносились постановления местных «ми-

¹ С. Ф. Платонов. Смутное время. Прага. 1924.

ров», происходила «обсылка» послов и вестей из города в город, в городах создались всесословные советы, они соединялись в «совет всея земли». (Подобной же самодеятельностью было и 16-месячное стояние Троицкой Лавры и 20-месячное Смоленска.) Всё это — примеры поучительной русской народной организованности для нас, потомков.

Так рядом с привычным «государевым делом» стало «великое земское дело». И Михаил с первых же шагов искал помощи Земского Собора — а Собор охотно помогал Государю. Не было никакого формального ограничения власти Государя, но — тесная связь царя и «всея земли». И первые 10 лет царствования Михаила Собор заседал непрерывно, позже периодически. (И вся эта русская государственность создавалась никак не под западным влиянием и никого не копируя.)

Не касаясь здесь последних царствований рюриковской династии, напомним, что и там, наряду со всецельной царской властью, действовали местные жизнеспособные управительные учреждения (хотя ещё при самом невежественном состоянии правосознания), выборные власти: губной староста (по уголовным делам), земский головной староста, «земская изба» (раскладка податей, развёрстка земли, нужды посадских). Правда, владельческие крестьяне почти не имели влияния там (хотя были у них общинные старосты и сотские)². Так что местные управления, столь спасительно повлиевшие в Смуту, выросли не на пустом месте. Однако военные нужды государства всё более закрепляли крестьян на землях служилых людей, а крестьяне, в поисках воли, бежали на незаселённые окраины, отчего одновременно оскудевал людьми и трудом центр государства, а на окраинах усиливалась мятежная вольница — и то и другое разорительно сказалось в Смуту и не только тогда: четырёх-трёхвековой процесс крепостничества губительно просквозил Новую русскую историю.

«Соборный» после-смутный период, однако, быстро кончался при Алексее Михайловиче, по историческому недоразумению увековеченном «Тишайшим». При нём всё больше брало верх в государственном управлении «приказное» начало над «земским», вместо здоровых земских сил — плохо организованная бюрократия, — и это тоже на 300 лет вперёд. Царствование А. М. всё наполнено бунтами — народным протестом против управления воевод и приказных. Уложение 1649 года не только оставило в прежнем закабалении холопов и крепостных, но даже усилило его³. (Ответом была — серия бунтов, кончая разинским.) Война, которую вёл Алексей, была необходимой и справедливой, ибо он отвоёвывал исконно-русские земли, захваченные поляками. Наряду с тем военное столкновение открывало Алексею и меру нашей отсталости от Запада, и острую необходимость перенимать оттуда знания и технику, но всеяло и «моду» не отстать ни в чём от западных влияний, поспешно угодить даже и в исправлении богослужебных книг. И это привело его к жесточайшему преступлению анафемы собственному народу и войны против него за «никонианскую реформу» (когда уже и сам Никон отошёл от «греческого проекта»)⁴. Через 40 лет после едва пережитой народом Смуты — всю страну, ещё не оправившуюся, до самой основы, духовной и жизненной, потряс церковный Раскол. И никогда уже — опять-таки на 300 лет вперёд — православие на Руси не восстановилось в своей высокой жизненной силе, державшей дух русского народа больше полутысячи лет. Раскол отозвался нашей слабостью и в XX веке.

И на этот сотрясённый народ и не выздоровевшую страну — налетел буйный смерч Петра.

Как «служитель прогресса» Пётр заурядный, если не дикарский, ум. Он не возвысился до понимания, что нельзя переносить (с Запада) отдель-

² Л. А. Тихомиров. Монархическая государственность. Изд. «Русское слово». Буэнос-Айрес. 1968.

³ С. Ф. Платонов. Москва и Запад. Изд. «Обелиск». Берлин. 1926, сс. 111 — 114.

⁴ С. Зеньковский. Русское старообрядчество. Wilhelm Fink Verlag. München. 1970, сс. 290 — 339.

ные результаты цивилизации и культуры, упустя ту психическую атмосферу, в которой они (там) созрели. Да, Россия нуждалась и в техническом догоне Запада, и в открытии выхода к морям, особенно к Чёрному (где Пётр действовал бездарнее всего, а чтобы выкупить свою окружённую на Пруте армию, уже велел Шафирову подарить Псков: через турок шведам. О полководческих действиях Петра меткие критические замечания находим у И. Солоневича⁵). Нуждалась — но не ценой того, чтобы ради ускоренного промышленного развития и военной мощи — растоптать (вполне по-большевицки и с излишеством крайностей) исторический дух, народную веру, душу, обычаи. (По нынешнему опыту человечества мы можем видеть, что никакие материальные и экономические «прыжки» не вознаграждают потерь, понесенных в духе.) Пётр уничтожил и Земские Соборы, даже «отбил память о них» (Ключевский). Взнуздal Православную церковь, ломал ей хребет. Налог и повинности росли без соотношения к платёжным средствам населения. От мобилизаций оголились целые области от лучших мастеров и хлеборобов, поля зарастали лесом, не прокладывались дороги, замерли малые города, запустеневали северные земли — надолго замерло развитие нашего земледелия. Крестьянских нужд этот правитель вообще не ощущал. Если по Уложению 1649 года крестьянин хотя и не мог сходиться с земли, но имел права собственности, наследования, личной свободы, имущественных договоров, то указом 1714 о единонаследии дворянства — крестьяне перешли в прямую собственность дворян. Пётр создал — на 200 лет вперёд — и слой управляющих, чуждый народу если не всегда по крови, то всегда по мироощущению. А ещё эта безумная идея раздвоения столицы — перенести (чего *нельзя* вырвать и перенести) её в призрачные болота и воздвигать там «парадиз» — на удивление всей Европы — но палками, но на той фантастической постройке дворцов, каналов и верфей загоняя вусмерть народные массы, уже так нуждающиеся в передышке. Только с 1719 по 1727 население России убыло умершими и беглыми почти на 1 миллион человек⁶, т. е. едва ли не каждый десятый! (Не случайно в народе создалась устойчивая легенда, что Пётр — самозванец и антихрист. Его правление сотрясалось бунтами.) Все великие и невеликие дела Петра велись с безоглядной растратой народной энергии и народной плоти. Трудно сохранить за Петром звание *реформатора*: реформатор — это тот, кто считается с прошлым и в подготовке будущего смягчает переходы. Как пишет Ключевский: в реформах управления «Пётр потерпел больше всего неудач». Наследованные от него неудачи и ошибки «будут потом признаны священными заветами великого преобразователя», указы его последних лет — «многословные расплывчатые поучения»⁷. Ключевский выносит уничтожительный приговор гражданским действиям Петра. Пётр был не реформатор, а — *революционер* (и большей частью — без надобности в том).

А за Петром — катил и остальной XVIII век, не менее Петра расточительный на народную силу (и с капризным дёрганьем ломаной линии наследования, опять же по вине Петра). После лихорадочной деятельности Петра открылась, по словам Ключевского, «бездна», «крайнее истощение сил страны непосильными тяготами, наложенными на народный труд»⁸. Никак не согласиться с распространённым мнением, что «кондиции», предьявленные аристократами из Верховного Тайного Совета Анне Иоанновне, были бы шагом к либерализации России: слишком мелка была эта княжеская вспашка, и век не дойти бы и ей до народной толщи. А уж при Анне — резко усилилось немецкое влияние и даже властвование, попрание национального русского духа во всём, крепко дворянское землевладение, крепостное право, в том числе и фабричное (создаваемые фаб-

⁵ Иван Солоневич. Народная монархия. Изд. «Наша страна». Буэнос-Айрес. 1973.

⁶ С. М. Соловьёв. История России с древнейших времён. М. 1963, кн. XI, с. 153.

⁷ В. О. Ключевский. Сочинения. Курс русской истории. 1958, т. 4, сс. 190, 198.

⁸ Там же, с. 304.

рики могли покупать крестьян без земли), народ отдавался тяжким поборам и расходу живых сил на неуклюже ведомые войны.

Неразумными и неудачными войнами и внешней политикой царство **Анны Иоанновны** весьма отметно. Правда, уже и Пётр в своём необдуманном размахе мог заботиться, чтобы Пруссия приобрела Померанию и Штеттин, теперь его наследники хлопотали о Шлезвиге для Дании, а Миних предлагал в услугу Франции держать для её интересов наготове 50-тысячный русский корпус, только бы получить субсидию. Не проявляя заботы о потерянном под Польшей обширном русском, белорусском и малороссийском населении, правительство Анны, однако, было сильнее заинтересовано, как бы посадить на польский престол саксонского курфюрста. В то время (1731) как крымский хан угрожал, «что может Россию плетью заметать»⁹ (а татарские набеги с юга уже изведаны были и Русью и Малороссией, и всегда могли повториться); в то время (1732) как Россия едва вытягивала ноги из дальней персидской войны, отдавала не только Баку и Дербент со всем краем, куда без опоры и без расчёта сил закатился Пётр, но даже и Святой Крест; когда в России разразился (1733 — 34) голод и началось (1735) восстание башкирцев, — в это самое время (1733 — 34) Анна начала войну с Польшей за посадку саксонского курфюрста на польский трон. (И чем это лучше, чем польское вторжение в Россию в Смуту и планы Сигизмунда захватить трон московский?) «Смысл польской войны был русским совсем непонятен» (С. Соловьёв). А вмешательством этим Россия создавала против себя фронт из Франции, Швеции, Турции и татар — и при одном неверном союзнике Австрии. Тут же (1734) татары и стали нападать на русские границы — между тем Россия (по договору ещё Екатерины I) вынуждена послать 20-тысячный русский корпус в Силезию на помощь Австрии. С 1735 неизбежно разразилась и тяжёлая война с Турцией. Стратегически только она одна и была на линии русских интересов, так как Россия задыхалась без выхода к Чёрному и Азовскому морям. Но как она велась! Водительство русского войска Минихом было худым, изнурительным для солдат и бездарным по тактике. Ещё не столкнувшись с турками, он уже против татар потерял половину наличного состава, с каким вышел. Позорно-неумело штурмовал (1737) Очаков — с самой тяжёлой и невыгодной стороны (упустя легко проходимую), взял его с огромными потерями, а дальше и бросил, сменил направление на юго-западное, в помощь австрийцам. Тут он действовал, наконец, успешно — но Австрия предала Россию внезапным сепаратным миром с турками, и Россия была вынуждена закончить войну срытием всех добытых крепостей: Очакова, Перекопа, Таганрога и Азова. Но самая тяжкая наша потеря была в людях: война обошлась нам в 100 тысяч убитых. Население же всей России в то время было — 11 миллионов (меньше, чем за столетие раньше, при Алексее Михайловиче, так проредил его Пётр!). И вообразим судьбу тогдашних рекрутов: срока службы для солдат не было, брали, по сути, на всю жизнь; выход был — или смерть, или дезертирство.

Что же касается духовного состояния русского народа в ту пору, то ко времени Анны высказан и вывод С. Соловьёва: «Низшее, белое духовенство, удручённое бедностью, а в сёлах и тяжёлыми полевыми работами, не дававшими возможности священнику выделиться из паствы своими учительскими способностями» — такое положение духовенства «было причиною страшного нравственного вреда для массы народонаселения»¹⁰.

Время Анны он называет и самым мрачным — по безраздельному властвованию в России иностранцев, от гнёта которых русский национальный дух стал освобождаться только в царствование Елизаветы. (Впрочем, презрение к русскому чувству, к своему родному и к вере своих мужиков — пропитало правящий класс в XVIII веке.) Но здесь нас интересуют другие события и линии её царствования.

⁹ С. Соловьёв, ук. соч., кн. X, с. 282.

¹⁰ Там же, с. 547.

Перед возвышением на трон Елизавета вела весьма рискованную и морально сомнительную игру с французскими и шведскими дипломатами в Петербурге. Франция рассчитывала, что при Елизавете будет *русское* царствование, что она вернёт столицу в Москву, перестанет заботиться о морских силах, о западных задачах — и так уведёт Россию с европейского театра. Со Швецией Елизавета опасно переговаривалась, чтоб та объявила бы войну России (это и произошло в июле 1741) и требовала бы восстановления петровской династической линии. (Шведы же требовали, наоборот, возврата им всех петровских завоеваний, на что Елизавета и не думала идти.) Но елизаветинский переворот в Петербурге произошёл без помощи Франции и Швеции — и новая царица взошла на трон со свободными руками.

В ней, правда, было живо русское национальное чувство, и православие её было совсем не показным (как затем у Екатерины II). Перед воцарением она, в молитве, дала обет никого не казнить — и, действительно, при ней ни один смертный приговор не был приведен в исполнение — явление ещё совсем необычное для всей Европы тогда. Она смягчила и другие наказания по многим видам преступлений. Простила (1752) все недомимки — от кончины Петра, за четверть столетия. Она «успокоила оскорблённое народное чувство после долголетней власти иностранцев», «Россия пришла в себя». Она не раз порывалась (1744, 1749, 1753) перевести столицу назад в Москву, и перевозила весь двор даже на годовые периоды, вела восстановление Кремля — русское чувство её требовало так, а дочернее — не подрывать замысел отца. Но в облегчении народной участи она не шла последовательно и далеко. Продолжались и при ней безмысленные и жестокие преследования старообрядцев (а те — самосжигались) — истребление самого русского корня. Но крестьяне изнемогали от новых податей, вятские — бежали в лес жить тайными посёлками, а из центральных губерний — бежали, хотя и на горемычную, униженную жизнь — через польскую границу, также и старообрядцы, ещё и за Днестр, спастись свою веру — и всех таких беглецов уже накопилось *до миллиона!* Повсюду образовался недостаток рабочих рук — и власти применяли усиленные попытки возвращать беглецов с Дона. В Тамбовском, Козловском, Шацком уездах вспыхивали крестьянские восстания — и целыми деревнями убегали на Нижнюю Волгу в поисках воли. И отмечено много восстаний монастырских крестьян (и как же неприлично монастырям эксплуатировать крестьянский труд). — Не случайно же в 1754 П. И. Шувалов предложил «проект сбережения народа» (избавить от рекрутских наборов тех, кто платит подушный оклад; в случае недорода давать поселянам вспоможение из хлебных складов, а при большом урожае, напротив, возвышать цены на хлеб, чтоб они не падали к убытку поселян; особым комиссарам разбирать споры между помещиками и крестьянами; пресечь чиновничьи взятки, но и увеличить чиновникам содержание; охранять поселян от грабительств и притеснений, в том числе и от своей армии; содержать и обучать малолетних солдатских детей; и даже вести «полезное государству свободное познание мнения общества»). — Однако, Елизавета взошла на трон силой дворянской гвардии и незримо оставалась зависимой от дворянства, укрепляя, по выражению Ключевского, «дворяновластие». (Так, в 1758 помещик уполномачивался наблюдать за поведением своих крепостных; в 1760 — ссылая крепостных в Сибирь. С другой стороны, дворяне, как уже и при Анне, получали ряд облегчений в своих служебных повинностях.)

И при таком-то тяжком состоянии государства и уже вековой народной усталости — неустойчивая духом Елизавета, вместо «сбережения народа», озабочена была «опасностями для европейского равновесия» — и непростительно кидала русскую народную силу в чужие для нас европейские раздоры и даже в авантюры. — Быстро и сокрушительно выиграв шведскую войну, дальше увлеклась нелепым династическим замыслом утвердить шведским наследником одного из голштинских принцев (впрочем, кто из королей того времени не строил большой политики на

династических браках и расчётах?) — и в тех целях, в 1743, уступила Швеции освобождённую от неё Финляндию (упустя возможность выгодного для России свободного развития Финляндии, уже в XVII веке имевшей свои сеймы); и втягивалась дальше: чтобы защитить Швецию от Дании — слали туда русский флот, и в Стокгольм русскую пехоту, не жалко... (И ещё потом два десятилетия российское правительство было напряжённо занято внутришведскими делами, платило субсидии за сохранность нашего с ней пустопорожного «союза», подкупало депутатов шведского сейма, и русские дипломаты там страстно занимались задачей «не допустить восстановления самодержавия» в Швеции — чтоб она была слабей.) — Ещё жаждали иметь верного союзника в Дании — но такому союзу противоречила голштинская гордость Петра Фёдоровича, наследника русского престола. — Также безрассудно брала Елизавета отягощающие нас, вовсе нам не выгодные обязательства перед Англией, от которой Россия никогда не видывала ни добра, ни помощи, — это в 1741, а в 1743 и прямой союз, обязательство России действовать на европейском континенте в интересах Англии (по глубочайшему расчёту, что тот голштинско-шведский принц да женится на английской королеве, то-то создадим коалицию! В 1745 пронизательный австрийский канцлер Кауниц докладывал Марии-Терезии: «Политика России истекает не из действительных её интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц».) А в 1751 Россия дала секретное обязательство защищать личные владения английского короля в княжестве Ганновер — на западе Германии, близок свет! чудовищно!

Рядом с нами располагалась всё слабеющая от внутренних шляхетских раздоров Польша; в предыдущие века она захватила и притесняла обильное православное население — но не о выручке его хлопотала Елизавета, а: как защитить целостность ослабевшей Польши (ведь там королём — наш излюбленный саксонский курфюрст...), а заодно, конечно, постоянно защищать и Саксонию. (Почему это всё — наши заботы?) — В начале царствования Елизавета хорошо понимала, что союз с Австрией нам совершенно не выгоден. Но вот Пруссия, воинственный и предприимчивый Фридрих II, захватил у Австрии Силезию — и Елизавета простила Австрию (за интриги против себя самой) и возобновила (1746) — ещё на 25 лет! — уже устаревший союзный с ней договор. И защищая Австрию и Саксонию от Фридриха — направила русские войска через независимую Польшу! — Да, Фридрих действовал грубо агрессивно — но как ещё далеко-далеко до опасности для России. Да разве осмелился бы Фридрих, хоть и захватя Польшу, вторгаться на великанскую территорию России? — Российские финансы к этому времени начисто подорваны, рекрутов не хватает, набор скуден — но мы шлём войска на Фридриха (а без гарнизонов на наших дорогах и реках прямой разбой, опасно ездить и плыть), а между тем Фридрих получил от Австрии, что хотел, и заключил мир. И мы идём, значит, впусую? Нет, мы в 1747 посылаем-таки 30-тысячный корпус за Рейн, на участок Нидерландов, в помощь Австрии, без надобности ссорясь на том с Францией. (И не слышим ропота солдат и своего населения: кто может понять этот поход?..)

Зато в Европе наступает всеобщее замирение (только на конгресс в Аахене Россию не позвали, и Россия вообще ничего не получила). Зато, спасибо, историки записали: вмешательством России остановлена война за польское наследство, война за австрийское наследство и дерзкий Фридрих.

Но остановлен он не надолго: всё шныряет по Европе да захватывает. И в 1756 Россия настойчиво побуждает Австрию: вместе скорей нападать на Пруссию (пока Англия столкнулась в Францией в Америке). Между тем мы «не имеем ни одного порядочного генерала» (С. Соловьёв), ибо при Анне Иоанновне не воспитывали русских генералов, всё было отдано в руки наёмных из немцев. Австрия мнётся, Фридрих молниеносно захватывает Саксонию — и русская армия уходит за границу на Семилетнюю войну (с обязательствами: что вернуть Австрии, что — Польше, а России —

ничего). Елизавета жаждала «признательности союзников и всей Европы за доставленную им безопасность» и понукала своих четырёх сменяемых бездарных фельдмаршалов (надо признать: из Петербурга лучше их смеекая обстановку, да ведь пока гонцы домчатся!). Воевали так: лето (не всякое) — боевые действия, а с ранней осени загодя уходили от противника далеко назад на покойные зимние квартиры. (В Пруссии наши войска платили жителям за каждый урон.) Война вскрыла много недостатков в обучении и в состоянии русских армий. Умели наши генералы (битва при Цорндорфе) и так поставить своё войско в бою, чтоб ему било в лицо солнце и ветер с песком. Во всех главных битвах нападал первый Фридрих — но русские войска либо устаивали, либо побеждали, а с 1757 уже вторгались в Пруссию. После битвы под Куннерсдорфом (август 1759) Фридрих бежал, считая проигранной не только кампанию, но всю свою жизнь. В 1760 русские войска вошли в Берлин, но через 2 дня ушли, не закрепляя его за собой. Теперь-то Елизавета захотела получить кусок Пруссии, но не сам по себе, а чтобы выменять у Польши на Курляндию (однако и Австрия, и Франция сильно противились этому, и помешали). А ведь крымский хан все эти годы подбивал Турцию (натравливала её и Англия) начать войну с Россией (и как бы Россия выдержала?); Турция колебалась, но после Куннерсдорфского сражения отказалась. — Промаялись в Семилетней войне больше в бездеятельности (а уж Австрия особенно) ещё и 1761 год. И всё меньше было сил и средств содержать русскую армию в дальнем походе; уже просили Англию посредничать в мире с Фридрихом, а он, и сам уже без сил, но понимая положение, не шёл ни на какие уступки. И тут — Елизавета умерла.

Взошёл на русский трон её племянник — ничтожный человек, скудно-мелкий ум, остановившийся в развитии на ребячьем уровне, и голштинской выучки душа — сумасброд Пётр III. «Дворяновластие» он закрепил (1762) указом «о вольности дворянской», после которого — и на столетие вперед — огрузло на России отныне государственно бессмысленное крепостное право. (От этого указа, в частности, армия теряла многих офицеров и предстояло снова заменять их иностранцами.) «Вознамерился переменить религию нашу, к которой оказывал особое презрение», распорядился выносить иконы из храмов, а священникам сбривать бороды и носить платье, как иностранные пасторы. (Обратной положительной стороной был и указ о нестеснении в вере старообрядцев, магометан и идолопоклонников.) — Но самый чувствительный крутой поворот Пётр III успел, за свои полгода, совершить во внешней политике: Фридриху II, проигравшему войну и уже готовому уступить Восточную Пруссию, он предложил *самому* составить договор в пользу Пруссии, вернуть все земли, занятые русскими, и даже заключить прусско-русский немедленный союз, помочь Пруссии против Австрии (для чего передал Фридриху 16-тысячный корпус ген. Чернышёва), а русские силы в Померании уже отправлял против Дании — отвоёвывать Шлезвиг для своей родной Голштинии. (Нежелание гвардии выступить теперь ещё и против датчан — и послужило к ускорению екатерининского переворота.) «Сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей... отзывалось насмешкою над кровью, пролитую в борьбе»¹¹, не только Пётр окружил себя голштинцами и немцами, но всей русской внешней политикой стал руководить прусский посланник Гольц. Русские люди «с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя»¹².

Екатерининский переворот в отличие от елизаветинского всё же не был всплеском русского национального чувства. По порыву Екатерины к не доведенному до конца Уложению (её «Наказ», 1767, столько и так смело говорил о *правах*, что был *запрещён* в дореволюционной Франции, с такой дерзостью она «сеяла европейские семена» того века) можно было бы

¹¹ С. Соловьёв, кн. XIII, с. 58.

¹² Там же, с. 66.

ожидать, что она много сделает для подъёма народного состояния, для какого-то ограждения прав униженных миллионов. Но лишь небольшие движения к этому были: ослабление давления на старообрядцев, указание не применять излишних жестокостей при усмирении крестьянских восстаний. (Щедрой она отнеслась к позванным ею немецким колонистам: наделение обширной землёй, постройка домов для них и освобождение от податей и служб на 30 лет, и с беспроцентными ссудами.) Екатерина ещё и ещё расширяла, «чтоб не скудали бедные помещики», права дворянства, не достаточно довольного и «указом о вольностях». Подтвердилось право каждого помещика ссылать своего крестьянина в Сибирь (затем — и на каторжные работы) без объяснения судье, за что ссылается (но с выгодным для помещика зачётом в счёт рекрута). «Помещик торговал им [крепостным] как живым товаром, не только продавая его без земли... но и отрывая от семьи»¹³. Ещё не хуже ли в беззащитности было положение крестьян, посланных работать на заводы: нередко вдали от места их жительства, и оставлено им мало дней в году для собственного прокормления. При том Екатерина ещё «пожаловала» своим любимцам или награждаемым ещё до миллиона живых душ из числа крестьян, дотоле свободных; и устрожила крепостное право в Малороссии, где ещё оставалось дотоле право свободного перехода крестьян. В Комиссии, выработывавшей Уложение, предполагалось дать дворянам беспредельную власть над крестьянами (да она, по сути, уже такой и была, ещё и в соображениях административных) — и от крепостных и холопей не принимать жалоб на господ. В 1767 во время волжского путешествия Екатерины её всё же достигло сколько-то крестьянских жалоб, она распорядилась «впредь таких не подавать», и, по её указанию, Сенат приговорил: «чтобы крестьяне и дворовые люди отнюдь не отваживались на помещиков своих бить челом», а дерзнувших — наказывать кнутом. Заводским же крестьянам: «войти в безмолственное повиновение под страхом жестокого наказания»¹⁴. А за польскую границу императрица посылала воинские отряды — силой возвращать убежавших туда крестьян. — Со страниц подробной соловьёвской «Истории» — встаёт перед нами множество картин лихоимства на местах. Депутаты, собранные Екатериной, заявляли: «Кто кого сможет, тот того и разоряет». — Но вникала ли во всё то Екатерина? Её окружала неумеренная лесть и ложь, приятно загораживая от неё суровое бытие народа. — Наш славный поэт Державин, служивший на крупных государственных постах при трёх императорах и близко наблюдавший придворную жизнь, пишет: «Душа Екатерины более занята была военною славою и замыслами политическими... Управляла государством или правосудием более по политике и своим видам, нежели по святой правде... Царствовала политически, наблюдая свои выгоды или побрякая вельможам»¹⁵.

Тем более ожесточилась она от бунта Пугачёва (1773 — 74). В ответ на пушкинскую формулу (мимоходом сказанную, но с тех пор безудержно затрёпанную повторителями и особенно образованщиной наших дней) «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», И. Солоневич¹⁶ справедливо спрашивает встречно: а почему уж такой «бессмысленный»? через 11 лет после указа о дворянских вольностях (воистину бессмысленного государственно) и при крепнушем екатерининском гнёте — неужели не было причины к восстанию? А вот из манифеста Пугачёва: «ловить [дворян], казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими крестьянами... по истреблении которых противников и злодеев дворян всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои и до века продолжаться будут». Верил ли сам так Пугачёв? — «волю» он представлял как коллективное своеволие большин-

¹³ В. О. Ключевский, ук. соч., т. 4, с. 319.

¹⁴ С. Соловьёв, кн. XIV, сс. 54 — 56.

¹⁵ Сочинения Г. Р. Державина, с объяснительными примечаниями Я. Грота. 2-е Академическое изд. СПб. 1878, т. VII, сс. 627 — 632.

¹⁶ И. Солоневич, ук. соч.

ства, понятия не имея об организованной, устроенной свободе (С. Левицкий). А «не имея в себе христианства» — ведь верно! При том характерно, что и в пугачёвском бунте, как и во всех бунтах Смуты, народные массы никогда не стремились к безвластию, а увлекались обманом (как и от декабристов потом), что действуют в пользу законного государя. Не оттого ли Пугачёв свободно брал города, даже Саратов, Самару (встречавшую его с колоколами), примыкали к нему иргизские старообрядцы. (Кстати, Державин же, служивший в районе бунта, в ходе его отмечает надменность, глупость и коварство вельмож, давивших восстание Пугачёва.)

Зато, чувствуя себя передовой европейкой, Екатерина тем более остро была заинтересована в проблемах европейских. Ещё не укреплённой на троне, ей пришлось принять позорный мир Петра III с Пруссией, но тут же вослед (1764) она вошла с нею и в союз, совсем невыгодный для России, и подчинила себя политике Фридриха. Вместе с ним стали сажать на польский трон Понятовского (бесцельные усилия; как находит Ключевский, по свойствам польской конституции дружественный нам польский король был бесполезен, враждебный безвреден; а Понятовский, едва избравшись, стал изменять покровителям и дружить с французским королём). — Никита Панин многие годы увлекал Екатерину в бесплодный проект «Северного союза», выгодного только для Англии (он и не состоялся, да от Англии, Швеции, Дании нам никакая помощь и прийти не могла. Англия же не стеснялась, 1775, потребовать от России 20-тысячного корпуса в Канаду; Екатерина, всё-таки, отказала).

В отношении Польши разумна была забота Екатерины, чтобы православные люди там «пришли бы в законное положение по правам и справедливости», чего были вовсе лишены, их принудительно ополячивали (полное упущение Петра I, он этим не занимался, да и Елизавета), хотя в ослабленной своими беспорядками Польше XVIII века Россия имела большое влияние. И Екатерина добилась некоторого заступничества за православных, хотя и опасалась: добиться больших прав — усилится побег русских людей туда. (В виде реакции на уступки, данные в Польше, польские чиновники и униатское духовенство стали разнузданно преследовать православных на Украине, что привело к ужасному восстанию «гайдамаков», 1768, со многими жестокими жертвами. Клич его был — «за веру!», а прикрывался и он тенью монарха — поддельным приказом Екатерины.) — Наличие русских войсковых отрядов в Польше, местами столкновения с отрядами «конфедератов» вели к напряжению в Турции, тогда соседствовавшей с Польшей. А нападение одного гайдамацкого отряда на татарский посёлок под Балтой послужило и прямым поводом: в сентябре 1768 Турция (ещё и всячески подталкиваемая Англией и Францией) объявила России войну (и застала её не готовой). — И вскоре хан Крым-Гирей с 70-тысячным войском грабил и жёг Елизаветградскую губернию (последнее татарское нашествие в русской истории, 1769). В Польше же нападение Турции на Россию было воспринято с огромным подъёмом, а последствие его — уступка в пользу Турции Киевской области с крестьянами православной веры.

И тут Екатерина совершила важные дипломатические ошибки: она рассчитывала, что Пруссия — союзник, что Австрия перед лицом мусульманской Турции окажет благоприятствование христианской России, и взяла целью не просто пробиваться к Чёрному морю, что только и было для России жизненно необходимо, но схватилась «поджигать Турцию с четырёх сторон», замыслила неисполнимый «греческий проект»: восстановить византийскую империю на развалинах турецкой (кстати, и Вольтер давал ей такой совет; на византийский трон уже намечала посадить внука, Константина Павловича), посылала в Грецию эскадры в обгиг всей Европы и посылала агентов-возмутителей к балканским христианам. Химерический этот план и близко не мог быть выполнен, и греков на то собрать и поднять было невозможно — но, вот, впервые Европе замаячила грозная тень вмешательства России в дела Балкан.

Увы, эта ложная, дутая и заклятая идея погоняла и русских правителей, и потом русское общество весь XIX век и естественно настраивала против нас всю Европу, а более всего — соседнюю с Балканами Австрию, и так — в упор до I-й Мировой войны.

Ход военных действий был весьма успешен для России: был взят Азов, Таганрог, к осени 1769 и Бухарест; в 1770 Измаил, одержаны крупные победы под Фокшанами, на реке Кагул, в Чесменском морском бою, даже взят с моря Бейрут; летом 1771 русские войска и в Крыму, взята Керчь. Но при непрерывных русских успехах никак не достигался результат. Русские победы были подорваны дипломатически — в который раз европейская дипломатия оказывалась для российской дипломатии непредсказуемой или неразгаданной. «Союзник» России Фридрих, не забывший жестокого урока Семилетней войны, теперь искал, как сорвать выгодный для России мир. Русско-турецкая война сильно сблизила Пруссию с Австрией. Австрия не хотела мириться с независимостью Молдавии и Валахии (чего хотела Россия ради ослабления Турции: отделить её по суше от татар), но охотно намечала их для себя; в случае успешного русского продвижения к Константинополю готовилась нанести удар в спину (ситуация, которая повторится и в XIX веке). — Тем временем Россия испытывала истощение средств. Кроме того в турецких областях русские войска заражались чумой, чума перекинулась и в Москву, где принесла большие опустошения, из-за того что жители не понимали и пренебрегали карантинными требованиями. — Начались с Турцией мирные переговоры в 1772, а мира всё не было (Турция колебалась), он был заключён (Кучук-Кайнарджийский) лишь в 1774, когда заступил новый султан, а выдвигавшийся Суворов одержал новые победы. По миру крымские татары сохраняли независимость, но оставались под признанным духовным подчинением Турции. Россия получала степь — сперва до Днестра, потом лишь до Буга, берега Азовского моря, Тамань и Керчь; Молдавия, Валахия и Забужье оставались Турции. А ещё Россия получала право покровительствовать православному веру по всей Османской империи. (Это понималось тогда искренно в религиозном смысле — но уже отбрасывало на будущее грозную политическую тень. Европейские державы, из которых когда-то ходили в Малую Азию крестовые походы, отныне взяли дружно охранять Турцию от христианской России.) — Но ещё и этим война, по сути, не кончилась, Турция, чувствуя поддержку Европы, колебалась выполнять договор — и к 1779 Россия уступила ещё: ушла из Тамани и из Крыма.

Тем временем сметливый Фридрих сообразил, что на фоне кровобильной русско-турецкой войны очень удобно разделить Польшу. (Этот замысел был у него и раньше. К чести Марии-Терезии надо отметить, что она находила раздел противоречащим христианской совести и долго спорила со своим наследным сыном Иосифом. Потом «венский двор, для уменьшения несправедливости раздела, счёл своей обязанностью принять в нём участие».) Впрочем, Австрия же получила и наибольший кусок Польши, а ещё и кусок северной Буковины от Турции (которая тоже была бы непрочь принять участие в разделе). «Червонная Русь» (Галиция и Закарпатье), наследие Киевской Руси, перешло тоже к Австрии. Россия по тому 1-му разделу (1772) вернула себе родную Белоруссию, а Фридрих — взял собственно польскую землю. Однако, укороченное польское государство ещё сохранилось тогда.

В 1787 — 90 годах произошла ещё одна война с Турцией; Россия стояла снова в неверном союзе с Австрией, та снова заключила перемирие неожиданно для России. Тут русские войска снова одержали крупные победы — всё под тем же не дающимся Очаковым, Бендерами, Аккерманом и особенно — решающее взятие Измаила Суворовым. И по мере развития этих побед Россия снова ощутила, что европейские державы не допустят её воспользоваться их плодами. Англия заявила, что не допустит изменения турецких границ (это когда турки стояли на Буге и нижнем Днепре!). Пруссия заключила с Турцией тайный договор в подготовке к войне. Дер-

жавы собрали конгресс (Райхенбах, 1790), который только один и брался выработать русско-турецкий мир. (В том деле брались помогать и Голландия, Испания, Сицилия.) Но тут, парадоксально, вмешалась Французская революция: она перепугала всю Европу и, между тем, дала возможность России в 1791 заключить победоносный мир в Яссах. (Ключевский пишет, что этим и должна была кончиться ещё предыдущая турецкая война, если бы не вмешательство Европы.)

Тем самым, Россия получила выход на свои естественные южные рубежи: к Чёрному морю, включая Крым, и на Днестр. (Как и достигнуты уже были и Ледовитый океан, и Тихий.) И надо было понять, что на этом отныне и остановиться — после четырёх русско-турецких войн XVIII века. Увы, Россия и в следующем веке вела ещё четыре войны с Турцией, уже не оправданных национальным смыслом и государственными интересами.

За протуберанцами той же Французской революции произошли ещё два раздела ослабевшей Польши (1792 и 1795). Россия получила Волынь, Подолию, западную часть Белоруссии (чем, кроме Галиции, оканчивалось объединение восточных славян или, как тогда понимали — *русского племени*, наследие Киевской Руси). «Россия не присвоила ничего исконно польского, отобрала свои старинные земли, да часть Литвы»¹⁷. Пруссия же взяла чисто польские области, включая Варшаву.

Кауниц и тут отметил, что Екатерина была увлечена иметь влияние на Западе и маньеры заниматься чужими делами. (Сюда может быть отнесен и «сумбурнейший», по оценке Ключевского, договор с Австрией в 1782: из Молдавии, Валахии и Бессарабии создавать несуществующую «Дакию», Сербию и Боснию отдать Австрии, а Морею, Крит и Кипр — Венеции.) Державин пишет, что она «под конец жизни ни о чём другом не думала, как о завоевании новых царств». Вмешательство её во франко-австрийский конфликт было идеей не только бесплодной, но вредной. Екатерина провела шесть войн (одно из самых кровопролитных наших царствований) и перед смертью готовилась к седьмой — против революционной Франции.

Эту войну несчастным образом перенял Павел. И героические походы Суворова по Италии и по Швейцарии, так восхищающие нас (и швейцарцев тоже, по сей день) — были ведь *абсолютно не нужны* России, только потеря русской крови, сил и средств. Как — и обратный затем рывок: в союзе с Наполеоном воевать против Англии, бредовая посылка донских казаков в Индию (на что истратили, свидетельствует Державин, 6 миллионов рублей¹⁸; и есть более чем основательное подозрение, что заговор по устранению Павла питался из Англии).

О коротком царствовании Павла и о самой личности его существуют оценки противоречивые. Ключевский называет его «антидворянским царём», проф. Трефилов пишет, что Павел «близко принимал к сердцу нужды крепостного крестьянства». И правда, как не оценить, что в день своей коронации (1797) он ограничил барщину тремя днями в неделю и распорядился о «непринуждении к работе в воскресенье», а в 1798 запретил продажу крепостных без земли — это был важный перелом в крепостном праве, с роста на убыль. Он отменил и указ Екатерины, запрещающий крестьянам подавать челобитные на своих господ, и ввёл ящики для жалоб. — А близкий свидетель Державин (не без личной обиды на Павла) пишет о его избалованности, часто невникании в дело (на спорных проектах с двумя мнениями — резолюция «быть по сему»); что при Павле прежние учреждения Петра и Екатерины коверкались без нужды, и «по наветам многие подверглись несчастьям»; что при восшествии на престол и коронации Павел раздавал «скоровременно и безрассудно, кому ни попало, дворцовых казённых крестьян» и отнимал у них лучшие казённые земли, «даже из-под пашен и огородов». В окружении Павла, пишет он, «никто ни о чём касательно общего блага отечества, кроме своих собственных

¹⁷ В. О. Ключевский, ук. соч., т. 5, с. 60.

¹⁸ Державин, ук. соч., т. VII, с. 718.

польз и роскоши, не пёкся». (Но в этом мы можем укорить вельмож разных стран и времён, и не только монархических, а и раздемократических, до самых новейших.)

Кончая XVIII век, как не поразиться цепи ошибок наших правителей, их направленностью не на то, что существенно для народной жизни. А ведь и Ломоносов предупреждал: «Против Западной Европы у нас может быть только одна война — оборонительная». Уже к концу XVII народ нуждался в длительном отдыхе — но и весь XVIII мотали его. Теперь уж, кажется, все внешние национальные задачи были выполнены? — так остановиться и целиком обратиться бы ко внутреннему устройству? Нет! и на этом далеко не кончились внешние простягания российских правителей. — Кажется бы, словами С. Соловьёва, обширность российского государства «не только не давала развития в русском народе... желанию чужого» — в народе-то да, а в правителях? — но «нежелание чужого могло перейти в невнимание к своему»¹⁹ — и переходило же... — Близкое к тому наблюдение сделал Д. С. Пасманик: благодаря своим просторам русский народ легко развивался в горизонтальном направлении, но по той же причине не рос в вертикальном; «буйные головы» и «критические личности» уходили в казачество (тогда как в Западной Европе плотнились в городах и строили культуру); русские правители испытывали зуд колонизации, а не упорство концентрации.

К горю нашему, и в XIX веке это ещё долго шло так же. И наши XVIII — XIX века и по смыслу слились в единый *петербургский период*.

Современники и историки сходятся в оценке характера Александра I: романтически мечтателен, любил «красивые идеи», затем уставал от них, «преждевременно утомлённая воля», непоседлив, нерешителен, неуверен, многолик. Под влиянием своего воспитателя Лагарпа, швейцарского революционера, придавал «преувеличенное значение формам правления» (Ключевский), охотно обдумывал и соучаствовал в разработке либеральной конституции для России — для общества, половина которого состояла в рабстве, затем и подарил конституцию Царству Польскому, на столетие опережая Россию. Освободил священников от телесных наказаний (ещё чудовищно сохранявшихся!), разрешил крестьянам вступать в брак вне воли помещика и неопределённо склонился их освобождать, но вовсе без земли (как, впрочем, и декабристы), однако и не сделал ничего, кроме (1803) «закона о вольных хлебопашцах» — освобождении при добровольном согласии помещика, да запрета новой раздачи казённых крестьян помещикам. Безволие проявил Александр и к деятельности тайных обществ, смолоду и сам соучастник рокового заговора. «Охуждая без разбора правление императора Павла, зачали без разбора всё коверкать, что им сделано», — пишет Державин, — окружающие царя «были набиты конституционным французским и польским духом», между тем «попущением молодого дворянства в праздность, негу и своеволие подкапывались враги отечества под главную защиту государства». К 1812, свидетельствует он, высшие сановники «привели государство в бедственное состояние»²⁰. При Александре I бюрократия развивалась всё дальше.

Да, Западная Европа в эти годы шаталась и ломалась, Наполеон крушил и создавал государства — но это не относилось к России с её сторонним расположением, с её пространствами, пугающими всякого завоевателя, и населением, так нуждающимся в покое и разумной заботливой администрации. Зачем надо было нам вмешиваться в европейские дела? Но Александр I ушёл именно в них, забыв о русских (в захваченности западными идеями он сильно походил на Екатерину). — Французские историки пишут так: Александр I был окружён проанглийскими советниками и начал ненужную войну против Наполеона, навязанную Англией: коалиция с Австрией (1805) и с Пруссией (1806). Сколько потерь мы отдали этим не-

¹⁹ С. Соловьёв, кн. XIII, с. 438.

²⁰ Державин, ук. соч., т. VII, сс. 723 — 753.

нужным битвам, ту «отчаянную храбрость русских солдат, о которой французы не имели представления». Теперь Александр I не мог простить Наполеону Аустерлица и набирал новые войска против Франции. Грозил войну с Турцией и Персией — нет, Александр готовился к долгой кампании: отбрасывать Наполеона за Рейн. Тут агент Наполеона склонил султана объявить войну царю²¹.

Тогда, обидясь на Англию за её безучастность, Александр кинулся в дружбу с Наполеоном — Тильзитский мир (1807). Нельзя не признать этот шаг наивыгоднейшим в то время для России — и держаться бы этой линии нейтрально-благоприятственных отношений, презрев ворчание петербургских высших салонов (впрочем, способных и на новый проанглийский заговор) и помещиков, лишившихся вывоза хлеба из-за континентальной блокады (больше бы оставалось для России). — Но и тут Александр совсем не хотел оставаться бездейственным. Нет, Тильзитского мира и начавшейся турецкой войны Александру было мало: в том же 1807 он объявил войну Англии; Наполеон «предлагал Финляндию» взять от Швеции — и Александр вступил (1808) в Финляндию и отобрал её у Швеции — а зачем? ещё один нестерпимый груз на русские плечи. И перемирия с Турцией он не хотел ценой вывода войск из Молдавии и Валахии, снова русские войска в Бухаресте. (Наполеон «предлагал» России и Молдавию-Валахию, да, впрочем, и Турцию, разделить совместно с Францией, открыть путь Наполеону на Индию), а после переворота в Константинополе ещё ярее рвался наступать на Турцию. — Но без этих всех разгарных захватов — отчего было не держаться столь выгодного России Тильзитского мира, остаться в покое от европейской свалки и укрепляться и здороветь внутренне? Как бы ни расширялся Наполеон в Европе (впрочем, завяз в Испании), он не замахивался на Россию (только что втягивал в досадные активные союзы), до самого 1811 он пытался избежать столкновения с Россией. *Отечественной войны могло и не быть!* — всей её славы, но и всех её жертв — если бы не ошибки Александра. (Из турецкой войны, не погашённой в 1809 из-за того, что Александр требовал независимости Сербии — уже зажглась панславистская идея! — мы почти чудом, усилиями Кутузова, вытащились уже в 1812, за месяц до нашествия Наполеона, а персидская — так и ещё тянулась год...)

Но вот, с величайшим напряжением и с сожжённой Москвой (мало известно, что в московских госпиталях сторело 15 тыс. русских, раненных под Бородином²²), мы выиграли Отечественную войну. Так — остаться бы на своих границах (такие голоса и раздавались среди генералов)? Нет, Россия должна помочь навести порядок в Европе (и создать на будущее против себя две мощных империи — Австрийскую и Германскую). После люценского сражения «Александру отдельным договором можно было всего добиться от Наполеона», но «в идее этой самому себе навязанной миссии всесветного умиротворения потонула мысль о русских интересах» и «мы уложили на полях Люцена и Бауцена, Дрездена, Лейпцига и пр. целую армию, задолжали сотни миллионов, уронили рубль... даже до 25 коп. серебром, затруднили своё развитие на десятки лет»²³. (И ещё в «Сто дней» великодушно послали своих 225 тыс. солдат, теперь Александр, во гневе, готов был вести войну «до последнего солдата и до последнего рубля».) — Гнал ли Александр русские войска в Париж по соображениям монархическим, ради восстановления Бурбонов? — нет, он до последнего момента в этом колебался (это устроил Талейран), и вынуждал Бурбонов присягать конституции²⁴, сообщил либеральные настроения и Людовику XVIII. Искал ли он территориального вознаграждения для России после столь кровопролитной и победоносной войны? Нет, он не поставил в 1813 Австрии

²¹ «История XIX века». Под ред. Лависса и Рамбо. ОГИЗ. М. 1938. т. 1, сс. 125 — 140.

²² Лависс, Рамбо, ук. соч., т. 2, с. 269.

²³ В. О. Ключевский, т. 5, сс. 454 — 455.

²⁴ Лависс, Рамбо. т. 2, сс. 351 — 352.

и Пруссии никаких предварительных условий своей помощи. Единственно разумное, что он мог сделать, — это вернуть к русским владениям Галицию, закончив бы объединение восточных славян (и от каких бы разрушительных проблем он избавил бы нашу историю на будущее!). Австрия не держалась тогда особо за Галицию, она больше нуждалась вернуть Силезию, присоединить Белград, Молдавию-Валахию, простеревшись от Адриатического до Чёрного моря. Но Александр не использовал возможность, столь реальную для России в той ситуации. Нет, неискоренимо заражённый «красивыми идеями» и на примере той же Австрии не видя, какой вред для ведущей в государстве нации создавать многонациональную империю, — он потребовал присоединить к России центральную часть разделяемой Польши — герцогство Варшавское, с тем, чтоб ослативить его добавкою русских губерний в «Царство Польское», своей личной милостивой опекой и передовой конституцией; и получил для России на столетие ещё один отравленный дар, ещё одно гнездо восстаний, ещё одно бремя на русские плечи и ещё одну причину польской неприязни к России.

А войны с Персией имели уже долгую историю, и главный смысл их был — оборона Грузии, это началось ещё с Бориса Годунова, которому просился под руку грузинский царь Александр. По религиозным понятиям мнилось необходимым и естественным — помогать христианскому народу, зацемлённому по ту сторону Кавказского хребта, — интересы русского народа и русского государства и тут отодвигались на второй план. В 1783 с той же мольбой обратился грузинский царь Ираклий. В последний свой год Екатерина отправляла 43-тысячную армию в Азербайджан, Павел отозвал её обратно. При Александре военные действия возобновились, был завоёван Дагестан — *для какой русской надобности?* для плаванья по Каспийскому запертому морю? До Тильзита и Наполеон подталкивал персидского шаха на вторжение в Грузию, после Тильзита уже не он, но Англия. По миру 1813 за Россией были признаны и вся Грузия и Дагестан — опасное влезание во всё новые и ненужные для России капканы.

Во 2-й половине своего царствования Александр I впал в консерватизм. Душа Священного Союза, он доходил до того, что в 1817 настаивал удовлетворить просьбу испанского короля — слать войска на подавление восставших южно-американских колоний, — вот куда ещё не поспели русские войска! (Отговорил Меттерних.) В 1822 Александр горячо предлагал давить революцию в самой Испании. Но восстание христиан (греков) против турок готов был поддерживать и русскими силами, вёл переговоры с Англией о совместных действиях — и тут пришло то, что называется его кончиной.

Николай I считал, что он прежде всего *русский* государь, и русские интересы ставил выше общих интересов европейских монархов, поэтому от Священного Союза он отдалялся. Но, непреклонный враг революций, он не выдержал: в 1830 был готов и уже сговаривал германских монархов — совместно давить июльскую революцию во Франции, затем и в Бельгии (тут помешало польское восстание); также и в 1848 предлагал прусскому королю русские войска для подавления берлинской революции; в 1848 — 49 послал-таки обильные русские войска для чуждой нам и вредной задачи: спасти Габсбургов от венгерской революции. И ещё раз поддержал Габсбургов, против Пруссии (1850), — с какой пользой для России? объяснить невозможно; если писать и ещё о многих подробностях, то наше постоянное вызволение Австрии выглядит ещё нелепее. (И в благодарность Николай получил от Австрии удар в спину в Крымскую войну.) И в 1848 же Николай послал войска в Молдавию-Валахию давить и тамошние волнения — да совместно с Турцией — это против христианского населения... До всего чужого было нам дело. Русская дипломатия и в долгий век Нессельроде оставалась бездарной, недалёковидной и не в интересах собственно России.

Сквозное настойчивое зложелательство к Николаю I всего российско-го либерального общества через весь XIX век (увы, не миновав и Толсто-

го) и ещё многократно раскачанное при большевиках — истекает главным образом из того, что Николай подавил восстание декабристов (без затруднения довели до него и смерть Пушкина). Теперь уже никого не тревожит, что некоторые черты декабристских программ обещали России революционную тиранию, иные декабристы на следствии настаивали, что свобода может быть основана только на трупах. (Не пропустим и такие детали. Николай выходил из Зимнего к возбуждённой толпе, в него стреляли, и в брата Михаила, убили ген. Милорадовича — Николай всё ещё не отдавал приказа к разгонным выстрелам. Казалось бы нам, с советским опытом, следовало бы оценить: все нижние чины были прощены через 4 дня; при допросах 121 арестованного офицера не было никакого давления и искажения; из приговорённых судом к смерти 36 Николай помиловал 31. А в день казни пятерых был оглашён манифест о родственниках всех осуждённых: «Союз родства передаёт потомству славу деяний, предками стяжённую, но не омрачает бесчестьем за личные пороки или преступления. Да не дерзнёт никто вменять их по родству кому-либо в укоризну». (В наш бы советский век — так.) Когда же польский сейм на основании *своего* закона помиловал декабристов-поляков, то разгневанный Николай, уважая закон, утвердил.)

Со стороны, французские историки XIX века, пишут о Николае: «Прилежен, точен, трудолюбив... бережлив»²⁵ (последнего качества очень не хватало нашим императорам после Петра и включая Екатерину). От многих своих предшественников он как раз отличался настойчивым поиском государственного смысла и сознанием русских интересов. Но многолетняя безкрайняя власть над необозримой империей укрепляла в нём повышенную оценку возможностей своей *воли* — и это ещё было огрублено его негибкой прямолинейностью. Они и привели к бедам конца его царствования.

Тем временем крепостное право, от Петра III уже 7-й десяток лет как потерявшее всякий государственный смысл, развилось, отмечает Ключевский, до жестоких и неумных пределов, затормозило и развитие сельского хозяйства как такового и производительность всей страны, затормозило и общественное и умственное развитие. «Новый император с начала царствования имел смелость приступить и к крестьянскому вопросу», «мысль об освобождении крестьян занимала императора в первые годы его царствования», но «обдумыва[лись] перемены осторожно и молчаливо», «тайно от общества» (собственно — в опасении сильного дворянского сопротивления). Да «трудные сами по себе, поодиночке, эти реформы своей совокупностью образовывали переворот, едва ли посильный для какого-либо поколения». Император замялся от предупреждений окружающих. Но и «реформа слишком замедленная теряет много условий своего успеха». Николай «внимательно высматривал людей, которые могли бы совершить это важное дело» — и остановился на графе П. Д. Киселёве — «лучшем администраторе того времени»²⁶. Киселёв (а он собрал самых просвещённых сотрудников) получил заведование государственными крестьянами, которых насчитывалось 17 — 18 млн. (при 25 млн. частных крепостных и общем населении страны 52 млн.); он получил право выкупать крестьян у помещиков, а также отбирать за жестокое обращение — и энергично занялся делом. Тому следовало: запрещение продавать крестьян в розницу (1841), запрещение приобретать крестьян дворянам безземельным (1843) и ещё другие законы в облегчение крестьянской участи — в выкупе и в приобретении недвижимой собственности (1842, 1847). «Совокупность этих законов... должна была коренным образом изменить взгляд» на крепостных: «что крепостной человек не простая собственность частного лица, а прежде всего подданный государства», и что «личная свобода приобрета[ется] крестьянином даром, без выкупа»²⁷.

²⁵ Лависс, Рамбо, т. 3, с. 163.

²⁶ В. О. Ключевский, т. 5, сс. 272, 275, 460 — 461.

²⁷ Там же, сс. 273, 278 — 279.

Нет, зачатое наше крепостное право, с которым так уютно смирилось дворянство в своих поэтичных поместьях, да в которое уже душевно вросли и миллионы крестьян, — тяготело над Россией и ещё полтора десятка лет.

Продолжая попытки Александра I поддержать восставших против Турции греков, Николай I, вскоре после своего воцарения, в 1826, послал ультимативную ноту Турции, и держал этот тон, несмотря и на начавшуюся (в тот же 1826) войну с Персией, добился (по Аккерманскому договору, 1826) дальнейшего закрепления русских прав, и русской торговли в турецких портах, и обещаний для Сербии (наша «балканская идея» укреплялась... Ко многим промахам вела Николая I его неоглядчивость). После того что Англия и Франция содействовали России в 1827 (бой в Наваринской бухте) — и они, и вся Европа прислушались к возызу султана, что «Россия — вечный, неукротимый враг мусульманства, замышляющий разрушить Оттоманскую империю» (весьма и ослабленную в 1826 уничтожением корпуса янычар). И русскому императору трезво было бы — остановиться. Но, под маловажными предложениями и всё более настраивая против себя Европу заявлением «русских интересов» в Молдавии, Валахии и Сербии, Николай начал в 1828 войну с Турцией. Она имела большой успех на кавказском побережье (от Анапы до Поти), в Закавказьи (Ахалцах, Карс, Эрзерум и почти до Трапезунда, уже на коренной турецкой территории), однако на Балканах неудачная (смотровые качества наших войск перевешивали боевые, по бедности России не было нарезных ружей, слабая разведка, хотя Мольтке-старший в анализе этой войны весьма хвалит всё выносящего русского солдата). Правда, в 1829 уже прошли Болгарию (где, к славянскому нашему удивлению, встретили вовсе не дружественное отношение болгар), взяли Адрианополь (Турция была сотрясена), — но на том выдохлись. Добились — независимости Греции и вассального (от Турции) статуса Сербии, опять чужие интересы, для России — свободный проход судов через Босфор. В этой турецкой войне (6-й по счёту!) Россия достигла наибольшего внешнего успеха, но для самой себя ей и нечего было больше реализовать.

Более того: через 4 года Николай уже взялся спасать Турцию от успешно восставшего египетского пашы: русский флот поспешил в Константинополь на выручку султану. Тоже русские интересы...

А персидской войной между тем освободили Армению.

А ответственность за Грузию и Армению вынуждала Россию на новую долгую — 60-летнюю! со многими потерями — войну: покорение Кавказа. Если бы Россия вовсе не касалась чуждого нам Закавказья — покорение Кавказа тоже не было бы необходимостью: лишь держать в северных предгорьях перед Кавказским Хребтом сильную оборонительную казачью линию от постоянных разбойных набегов горцев, вот и всё: Кавказ не был единым государством, но многочислием разноречивых племён и сам по себе не представлял для России государственной опасности, а особенно после ослабления Турции. (Да был момент — Николай уже готов был признать государство Шамиля — так Шамиль, кавказский характер, заявил, что дойдёт до Москвы и Петербурга.) Однако и в XIX веке мы продолжали и продолжали платить и платить по чужим счетам... И расходы на содержание Кавказа и Закавказья — и до самой революции превышали доходы от него: Российская империя платила за счастье иметь эти территории. И, отметим, нигде «не ломала чужих обычаев» (Ключевский).

Сходная проблема была и с Хивой и Бухарой, регулярно нападавшими ещё в 30 — 40-е годы на южные границы России: далеко в глубь пустынь два сильных государства, содержавшие рабами многих пленников, в том числе и русских, доставляемых им набегами туркмен и «киргизов» (казахов), доходивших и до Нижней Волги. Этих уведенных продавали в Хиве и Бухаре на невольничьих рынках²⁸. Надо было либо учреждать от тех набе-

²⁸ Лависс, Рамбо, т 4, сс. 373 — 376

гов крепкую оборонительную линию, либо — начинать завоевание. (Да ведь маячил и путь в Индию? но и столкновение с Англией?) В 1839 — 40 и был совершён завоевательный поход Перовского — через пустыни, на тысячу вёрст, — но неудачный.

В 1831, а затем в 1863, Россия дважды заплатила за мечтательно-вздорную затею Александра I держать под своим «попечительством» — Польшу. Насколько надо было не чувствовать времени, века, чтобы столь развитой, культурный и интенсивный народ, как польский, держать при Империи в подчинённой роли! (Оба эти польские восстания вызвали большое сочувствие в Западной Европе и отделили России новой враждебностью и изоляцией.)

Десятилетиями бестолково металась нессельродовская дипломатия Николая: то (1833) соглашение с Австрией и Пруссией о борьбе против революционного движения; то (1833) оборонительный союз с Турцией, защищать её от всякой внутренней и внешней опасности (раздражение западных держав, первый толчок к будущей Крымской войне); то (1840) тайное соглашение с Англией: Россия относительно Турции будет действовать лишь по полномочию Европы (зачем эти путы обязательств?); то (1841) Россия отказывается гарантировать перед западными державами целостность и независимость Оттоманской империи; то (с 1851) Россия горячо вмешалась в поверхностный спор между католиками и православными о приоритете в святых местах в Палестине (отягчённый и личной ссорой Николая I с Наполеоном III), быстро переходивший во всеевропейское политическое столкновение. — Английскому послу Николай открылся: «Турция — больной человек», может внезапно умереть; в случае раздела Турции пусть Англия возьмёт Египет и Крит, а Молдавия, Валахия, Сербия и Болгария найдут себе независимость под покровительством России — не в составе её, ибо и без того обширную Российскую империю было бы опасно ещё расширять. (Это — он понимал, но панправославная и панславистская идеи гибельно толкали его на расширение в другой форме.) А русский посол в Константинополе требовал: решить вопрос о святых местах и предоставить России протекторат над всем православным населением Оттоманской империи. Когда же английский посол в Константинополе стал искусно улаживать вопрос о святых местах, к общему удовлетворению, — российский посол потребовал «в 5-дневный срок нерушимых гарантий» о защите православных, а вослед покинул Константинополь с угрозами.

Русское правительство явно не понимало, что от возвышения России над Европой после победы 1814 г. — Англия стала врагом России на столетие. Теперь — Россия восстанавливала против себя всю Европу. Между тем, свободный проход через проливы Турция гарантировала нам ещё с 1829 — чего ещё? (А в случае европейской войны — кто угодно закупорит Дарданеллы снаружи.) Но уже полвека как выйдя к Чёрному морю, Россия так и не построила там сильного современного (хотя бы частично винтового) флота, только парусные суда. (Не говоря уже, что мы не умели освоить черноморское побережье сельскохозяйственно, не хватало культуры. Да по всей российской обширности звали, стонали нерешённые запутанные или неначатые внутренние дела.) Николай I и не осознавал степени технической и тактической отсталости нашей армии: ни рассыпного строя, ни окопной подготовки, кавалерия приучена к манежной езде, а не к атакам. И пренебрег уже тогдашней обзлённостью российского общества против его администрации (так что впервые зазяло *желание поражения* своему правительству). Но он — не сомневался в поддержке от Австрии и Пруссии... (Между тем: Австрии грозил русский охват уже с третьей стороны; Англия была дополнительно встревожена утверждением России на Сыр-Дарье; Наполеон III искал проявить себя как новоявленный император; Виктор-Эммануил II — возвысить Сардинию среди европейских держав; в Турции — патриотический подъём, Египет и Тунис поддерживают его; и Пруссия фактически присоединилась к требованиям коалиции.) А Николай I рвался шеей в петлю, какова ж была эта надменная самоуверен-

ность! Он отклонил несколько предложений переговоров. (А ведь уже по 1790 году должен был усвоить эту опаснейшую конфигурацию всех европейских держав против России.)

Ход войны известен. После крупной русской морской победы под Синопом над турками англо-французский флот вошёл в Чёрное море. Мы и не пытались помешать высадке союзников у Евпатории (хотя её уже предсказывала английская пресса) и, ещё до осады Севастополя (не укрепленного с суши), не использовали своего огромного превосходства в кавалерии и значительного в числе штыков, маршировали батальонными колоннами под сильным стрелковым огнём французов. (Впрочем, вот французская оценка русского «противника, одаренного редчайшими военными качествами, бесстрашного, упорного, не впадавшего в уныние, напротив, после каждого поражения бросающегося в бой с новой энергией»²⁹.) Австрийская угроза заставила русское командование очистить все свои завоевания на Балканах и Валахию-Молдавию. Севастополь самоукрепился (Тотлебен) и выдержал 11 месяцев осады, до августа 1855.

Но на полгода раньше того, в феврале 1855 умер (не без загадочности) Николай I. Смена царствования — всегда поворот политики, крутая смена советников, и Александр II после бесполового боя у Чёрной речки (где наши потери были вчетверо больше) стал поддаваться расслабляющим советам о капитуляции.

Из нашей исторической дали ясно: самоуверенным безумием было — Крымскую войну начинать. Но после двух лет войны, и такой стойкости Севастополя, и стольких уложенных жертв — следовало ли так расслабиться? Гарнизон Севастополя в полном порядке занял сильно укрепленную Северную сторону; он численно уступал союзникам, но был грозно закален стоянием в долгой осаде. Крымская армия не имела недостатка ни в боеприпасах, ни в провианте (ежедневно солдату — фунт мяса), и не была отрезана от массива русской территории, и могла перенести вторую зимнюю кампанию. Не было из России хороших дорог, — но это ещё более отяжелило бы союзникам задачу наступать по бездорожью (при том, что их морские коммуникации уже растянулись на 4000 км). К тому же «по соображениям национального самолюбия за всё время войны у союзных войск не было общего командования, три армии имели три отдельных генеральных штаба», которые согласовывали, как дипломаты, каждую операцию. К тому же «англичане, привыкшие к большому комфорту, оказались совершенно неподготовленными к суровому климату и потеряли предприимчивость и бодрость... смертность царяла среди них ужасающая: из 53 000, прибывших из Англии, боеспособных оставалось только 12 000»³⁰ — к весне 1855. Австрия, после ухода русских с Бадкан, уже не грозила выступить, — да запасные крупные русские армии стояли и на австрийской границе, и в Польше, и на Кавказе, и у Финского залива (а балтийский флот успешно отразил атаки союзного флота). К весне 1856 вооружённые силы России были до 1 млн. 900 тыс., крупней, чем к началу войны. По мнению С. Соловьёва (которому, кстати, в 1851 запретили чтение публичных лекций по русской истории): «Страшный мир, какого не заключали русские государи после Прута» (унизительный мир Петра). Соловьёв считает: «тут-то и надо было объявить, что война не оканчивается, а только начинается, — чтобы заставить союзников кончить её»³¹. Борьба за русскую землю (если бы союзники ещё оказались способны продвигаться вглубь) могла бы возобновить в русских дух 1812 года, а дух союзников бы падал.

Этот поспешный мир (1856, по которому Россия теряла и право содержать военный флот в Чёрном море и дунайскую дельту) был худым началом правления Александра II, но и первой победой общественного мне-

²⁹ Лависс, Рамбо, т. 5, с. 212.

³⁰ Там же, сс. 212, 220.

³¹ «Русский вестник», май 1896.

ния. (Российские либералы боялись успехов русского оружия: ведь это придаст правительству ещё больше силы и самоуверенности; и облегчены были падением Севастополя.) Всё вместе явилось точным и роковым предвозвещем 1904 года. (Впоследствии Александр сказал: «Я сделал подлость, пойдя тогда на мир»³².)

Зато крестьянскую реформу Александр II провёл с необычной для себя (при его «опасливой мнительности») энергией, опираясь против дворянского сопротивления на неограниченность своего самодержавия. С 1857 заработал секретный комитет по крестьянским делам, поначалу не имевший ни сведений о положении дела, ни плана: освободить ли с землёй или без земли. Летом 1858 был снят оброк с казённых и удельных крестьян — тем самым они и получили хозяйственную свободу, а личная у них была. В редакционных комиссиях по реформе шли долгие споры, кому земля и сохраняя ли крестьянскую общину, работали в большой неопределённости, — наконец Александр потребовал, чтобы манифест был готов к 6-й годовщине его восшествия на трон. И решающий шаг — был сделан (1861), но и с несомненными ошибками; как и тридцать лет спустя определил Ключевский, «выступ[или] иные начала жизни. Начала эти мы знаем... но не знаем их последствий»³³. И, действительно, все последствия отделились нам только в XX веке.

В личной собственности крестьян остались лишь подворные усадьбы (проступает призрак сталинской коллективизации?..). Земля же — частью оставлена у помещиков, по их противлению, частью — передана общинам (по славянофильской вере в них...). Наделение крестьян землёй (разное в разных местностях) было и недостаточным, и дорогостоящим: крестьяне должны были заплатить за «дворянскую» (этого как раз — они и не могли принять в сознание) землю — выкупные платежи. Взять этих денег им было неоткуда, до сих пор они за всё платили либо своим трудом, либо его продуктами; к тому же эти назначенные платежи местами значительно превышали доходность земли и были непосильны. Теперь для уплаты выкупов государство давало крестьянам *ссуду* (4/5 от нужной суммы), с рассрочкой на 49 лет, однако под 6%, — и эти проценты с годами накапливались и добавлялись к податям. (И лишь события начала XX века оборвали накопление тех долгов и счёт этих 49 лет.) Местами сохранялись ещё временные обязательства за крестьянами по отработке трудом. Во многих местах крестьяне от *освобождения* потеряли права на лес и на выгон. Манифест 19 февраля одарял личной свободой — но для русского крестьянина владение землёй и её дарами было важнее личной свободы. От Манифеста разлилось в крестьянстве и недоумение, кое-где возникали волнения, ждали следом *другого* манифеста, более щедрого. (Однако западные историки дают, по сравнению, такой комментарий: «Несмотря на все ограничения, русская реформа оказалась бесконечно более щедрой, чем подобная же реформа в соседних странах, Пруссии и Австрии, где крепостным была предоставлена «совершенно голая» свобода, без малейшего клочка земли»³⁴.)

Из-за общинного строя реформа оставляла крестьян, по сути, и без полной личной свободы, всё крестьянское сословие — в отчуждении от прочих сословий (*не общий суд, не общая законность*). Был временно введён институт *мировых посредников* из среды местных дворян, для практического споспосовствования проведению реформы — но этого было мало: реформа не создала ещё одного важного административно-попечительного звена, которое бы в ходе немалых лет помогало бы крестьянам совершить трудный психологический поворот от полного изменения жизни и приноровиться к новому образу её. Мало того, что ошеломлённый крестьянин был брошен в *рынок* — у него ещё и руки были связаны общиной. На

³² Лависс, Рамбо, т. 5, с. 227, примеч. Е. Тарле.

³³ В. О. Ключевский, т. 5, сс. 283 — 290, 390.

³⁴ Лависс, Рамбо, т. 6, с. 73.

крестьянстве же осталась и главная тяжесть государственных податей, а денег — взять неоткуда, и так попадал крестьянин в руки бессовестного скупщика и ростовщика. — Недаром Достоевский тревожно писал о пореформенной поре: «Мы переживаем самую переходную и самую роковую минуту, может быть, изо всей истории русского народа». (Сегодня мы с ещё большим основанием добавим пору нынешнюю.) Он писал: «Реформа 1861 года требовала величайшей осторожности. А встретил народ — отчуждённость высших слоёв и кабатчика». К тому же: «мрачные нравственные стороны прежнего порядка — рабство, разъединение, цинизм, продажность — усилились. А из хороших нравственных сторон прежнего быта ничего не осталось».

Сильно недооцененный, глубоко искренний Глеб Успенский, пристальный наблюдатель пореформенного крестьянского быта, — представляет нам ту же картину («Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд», 1880-е годы). Мысль его: что после 1861 года «нет внимания к массам», «нет организации крестьянской жизни», а хищничество уже так внедрилось в деревню, что, может быть, и поздно исправлять. А неправда административно-бюрократическая — тоже никуда не ушла и, само собою, давит на крестьянина (вопиющая глава «Узы неправды»). Успенский приводит длинную цитату из Герцена о таинственной силе, сохранившейся в русском народе, которую, однако, Герцен не берётся выразить словами. А Успенский берётся: это *власть земли*, это она давала нашему народу терпение, кротость, мощь и молодость; отнимите её у народа — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, наступает душевная пустота. 200 лет татарщины, 300 лет крепостничества народ перенёс только потому, что сохранял свой земледельческий тип. Это власть земли держала крестьянина в повиновении, развила в нём строгую семейную и общественную дисциплину, сохранила его от тлетворных лжеучений — деспотическая власть «любящей» мужика матери-земли, она же и облегчала этот труд, делая его интересом всей жизни. «Но эта таинственная и чудесная сила не сохранила народ под ударом рубля». (И даже, по честности своего взгляда и вопреки своему революционно-демократическому сознанию и даже партийной принадлежности, Глеб Успенский не удержался высказать: при крепостном праве наше крестьянство было поставлено к *земле* в более правильное отношение, чем в настоящее время. Земли у помещичьих крестьян было вдвое больше против теперешнего; помещик должен был поддерживать в своих крестьянах всё, что делает их земледельцами. Даже и воинская повинность при крепостном праве была верней: в первую очередь шли многосемейные, ещё раньше — весь негодный и спившийся народ, так что пролетариата в деревне не было, и он не мешал мужику быть земледельцем. Старая хозяйственная система была правдивей и по налогам: богатый всегда платил больше бедного. «Наши прародители знали свой народ, хотели ему добра — и дали ему христианство, самое лучшее, до чего дожило человечество веками страданий. А теперь — мы роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе, в мусорных ямах». Так и — «в основу церковной народной школы было положено: превратить эгоистическое сердце в сердце всекорбящее. Воспитание сердца было настойчивое: учёба тиранская, но касалась не выгоды, не ненужного знания, а проповедывала строгость к себе и ближним».)

А тут грянула эпоха: *удар рубля!* — и соображения *выгоды* и только выгоды! И патриархальное крестьянство наше — ещё и при всех несправедливостях реформы — не выдержало этой резкой перемены. Многие писатели пореформенной поры оставили нам описания этого душевного стеснения, потерянности, пьянства, лихого озорства, непочтения к старшим. (16.3.1908 пятьдесят членов Государственной Думы, крестьян, единодушно заявили: «Пусть водку уберут в города, если им нужно, а в деревнях она окончательно губит нашу молодёжь».) Ко всему этому добавлялась униженность православного духовенства, падение православной веры. (А у старообрядцев она сохранялась! вот какими мы могли бы быть, если б не

реформа Никона; в «Соборных» Лескова прочтём и о диких способах борьбы со старообрядцами даже в XIX веке.) К 1905 и 1917 все эти качества органически перелились в мятеж и революционность.

К концу XIX века крестьянское население опустело в труде. Редели доступные леса — и на топливо пошёл навоз с соломой в ущерб сельскому хозяйству. (Отмечают историки: и на сельскохозяйственное образование в нашей стране в это время тратилось куда меньше средств, чем на латынь и древнегреческий.) В 1883 подушную подать отменили, но возросли земские сборы. К началу XX века проступил упадок земледельческой деятельности в центральной России (всё — соха, и борона часто деревянная, и веянье от лопаты, и плохие семена, и трехполье, принудительно сжатое общинной чрезполосицей, и продукты труда задёшево отдаются скупщикам и посредникам, учащались безлошадные хозяйства, накоплялись недоимки). В эти годы и появилось тревожное выражение: «оскудение Центра». (Именно этот термин с большой верностью, хотя и с иным содержанием, применяет С. Ф. Платонов и к периоду перед Смутой XVII века...) Недоделанная александровская земельная реформа потребовала реформы столыпинской, встретившей сплочённое сопротивление правых, кадетов, социалистов и худо работающей части деревни; а затем и накрытой всё той же Революцией...

Оставшаяся и после реформ опасная сословная разорванность России сказалась и на неполноте реформы судебной. Для крестьян (когда обе стороны крестьяне) остался нижний волостной суд по деревенским обычаям; выше — мировые судьи для гражданских исков и мелких уголовных дел; затем — известный по реформе, целиком взятый из западного опыта, состязательный процесс при несменяемости судей, самостоятельной организации адвокатов и присяжных заседателей. — Суд присяжных — вообще сомнительное благоприобретение, ибо умаляет профессионализм суда (в противоречие с современной ценностью всякого профессионализма), порой ведёт к парадоксальной некомпетентности (можно приводить примеры и из нынешнего английского суда, достаточно одряхлевшего). В пореформенной России, в обстановке общественного упоения адвокатскими речами (которые безцензурно шли в печать) он сопровождался аргументами и оканчивался решениями порой трагикомическими (это ярко высвечено Достоевским, «блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное», — если уж не помянуть зловещего оправдания террористки Веры Засулич — полоска розовой зари для жадно желаемой революции). Из этих-то адвокатских речей выросла удобная традиция перелгать ответственность с личности преступника на «проклятую российскую действительность».

Земская реформа Александра II была наиболее плодотворной: постоянная земская управа с широкими исполнительными функциями по своим возможностям превосходила, например, даже французское местное самоуправление³⁵. Однако она не дошла до нижнего уровня народного самоуправления — до волостного земства (что больно сказалось в XX веке и в Первую Мировую войну). Выборы же крестьянских депутатов в земство уездное происходили под влиянием местных чиновников. (Достоевский об этом: «народ оставлен у нас на свои силы, никто его не поддерживает. Есть земство, но оно — «начальство». Выборных своих народ выбирает в присутствии какого-то «члена», опять-таки начальства, и из выборов выходит анекдот».) К тому же земствам не хватало государственных дотаций, они усиливали земские сборы с населения, чем возбуждали крестьян против себя как против ещё одного паразита.

Александр III, пытаясь угадать пропущенные реформами своего отца административное звено, ввёл институт земских начальников (1889), «сильную власть, близкую к народу» — как бы тех самых (но сильно опозданных) попечителей крестьянского быта, которые бы облегчили крестьян

³⁵ Лависс, Рамбо, т. 6, с. 81.

янам столь трудный для них переход от прежней традиции к новой, способствовали бы упорядочению деятельности и начинаний. Но набранные из резерва незанятых дворян (а из кого было и набирать?), часто вовсе не преданные своей задаче, да через три десятка лет после недоделанной реформы, — эти земские начальники часто оказывались только ещё одним отяготительным слоем власти над крестьянином (так, распущены были выборные крестьянские суды, суд вершил единолично земский начальник). — Серьёзной ошибкой Александра III была (1883) отмена статьи Манифеста 1861 года, дававшей право выхода из общины тем крестьянам, которые уплатили полностью выкупные платежи: ради идола общины, сковывавшей русское сознание от императора до народовольцев, ищущих, как этого императора укокошить, преграждался путь свободного развития для самой энергичной, здоровой, трудоспособной части крестьянства.

В 1856 Горчаков, заменивший Нессельроде, 40 лет мутившего нашу иностранную политику, заявил поначалу очень трезво, что Россия должна сосредоточиться на себе для «собираания сил». Давно бы нам это понять и проводить. Но этого лозунга не хватило и на год: Россия снова окунулась в европейские дипломатические игры. Ещё не просохшую от крови военную вражду с Наполеоном III Александр II внезапно (1857) поменял на тёплую дружбу. Демаршем Горчакова (1859) Россия не позволила Германскому союзу вступить за Австрию в итальянской войне, а Франция помогла России вытеснить Австрию с захваченных позиций в Молдавии-Валахии (те вскоре соединились в Румынию) и подкрепить русское влияние на Балканах — сколь важное для нас? — Однако из-за польского восстания (1863) Франция обернулась, напротив, врагом России и вместе с Англией и Австрией (повторение коалиции Крымской войны?) выступила в пользу восставших, и снова казалась вероятной угроза войны. Но тут заявила себя нашим другом Пруссия, и получив за то благожелательный нейтралитет России — Бисмарк последовательно отнял Шлезвиг-Гольштейнию у Дании (1864), ошеломительно разгромил Австрию (1866), — и ещё этого усиления Пруссии не испугавшись, в 1870 — 71 Россия своим дружественным нейтралитетом обеспечила Бисмарку и разгром Франции. (За что вскоре, в 1878, на Берлинском конгрессе получили от Бисмарка лукавую отплату: он примкнул к европейской сплотке отнять у России плоды побед в турецкой войне.) Внешнеполитические шаги России при Александре II продолжали оставаться недалёковидны и проигрышны. В 1874 находим у Достоевского («Подросток», гл. 3) восклицание: «Вот уже почти столетие, как Россия живёт решительно не для себя, а для одной лишь Европы». (Точней бы сказать: к тому времени — уже полтора столетия.) Да что — Европу? в 1863 Россия не упустила поддержать флотом и американский Север против Юга — а туда зачем нам простягаться (только что — отомстить Англии?)?

Две несчастные идеи неотступно мучили и тянули всех наших правителей кряду: помогать-спасать христиан Закавказья и помогать-спасать православных на Балканах. Можно признать высоту этих нравственных принципов, но не до полной же потери государственного смысла и не до забвения же нужд собственного, тоже христианского, народа. Всё мы хотели вызволять болгар, сербов и черногорцев — подумали бы раньше о белорусах и украинцах: под дланью Державы лишали мы их культурно-духовного развития в их традиции, хотели «отменить» вряд ли уже отменяемое наше различие, возникшее между XIII и XVII веками. — Есть-таки правда, когда упрекают российские государственные и мыслящие верхи в мессианизме и в вере в русскую исключительность. И покоряющего этого влияния не избежал и Достоевский, при его столь несравненной пронизательности: тут — и мечта о Константинополе, и «мир с Востока победит Запад», даже и до презрения к Европе, что давно уже стыдно читать. Что ж говорить о несчастной «всеславянской» и «царьградской» разработке Н. Я. Данилевского — в его книге «Россия и Европа» (самой по себе во многом интерес-

ной), при появлении её (1869) почти и не замеченной, но имевшей большой резонанс в русском обществе с 1888.

При нарастающей третий век народной усталости, при наших внутренних экономических и социальных неурядицах, при «оскудении Центра», при угрожающем росте бюрократического своеволия, не способного к высокой эффективности, но подавляющего народную самодеятельность (писали: «Ссохлась и русская личность, натуры смелые и широких способностей стали встречаться всё реже», — и правда, много ли их в русской литературе XIX века?) — при этом всё неустанные войны за балканских христиан были преступлением против русского народа. Защита балканских славян от пангерманизма — была не наша задача; а всякое насильственное включение в Австрию всё новых и новых славян — только ослабляло эту лоскутную империю и её позицию против России.

Такой очередной войной за Балканы была тяжёлая война с Турцией в 1877—78 — Россия ринулась в неё, не позаботясь иметь союзников или верных благожелателей, нетерпеливо опережая вялые протесты европейских держав против турецких жестокостей (так сыграл Дизраэли, и так втраивал Бисмарк). С боевой стороны война была проведена сенсационно, со впечатляющими всю Европу успехами, зимним переходом балканского хребта (и со множеством жертв и солдатских страданий). Уникально было и то, что российское общество, уже сильно враждовавшее с властью, теперь соединилось с ним в патриотическом подъёме (угар панславизма охватил и общество). Но русское наступление и в этот раз не было доведено до Константинополя, добровольно оставлено. По Сан-Стефанскому миру, кажется, добились для Балкан всего, чего хотели: независимости Сербии и Черногории (на расширенной территории), Румынии, расширения Болгарии, самоуправления в Боснии и Герцеговине и полегчаний для всех прочих христиан, оставшихся под турецким владычеством. Торжество столетней мечты и триумф? Теперь Англия прямо грозила войной (флот у Принцевых островов), Австрия — мобилизацией, все европейские державы требовали конференции, чтобы отнять у России достигнутое и поживиться самим. Так и произошло. На Берлинском конгрессе Англия ни за что ни про что получила Кипр, Австрия — право занять Боснию и Герцеговину, Болгарию опять раздробили, Сербию и Черногорию подрезали, а Россия только вернула себе Бессарабию, потерянную после Крымской войны. (Весь конгресс Горчаков провёл с ничтожным слабоволием, Дизраэли же был встречен в Англии с триумфом.)

Такая «выигранная» война стоит проигранной, а дешевле бы — и вовсе её не начинать. Подорваны были военные силы России и финансовые, угнетено общественное настроение — и как раз отсюда началась, раскатилась эра революционности и террора, вскоре приведшая и к убийству Александра II.

В долгой веренице наших императоров Александр III, без недуга нерешительности своего отца, может быть, первым, за полтора столетия, хорошо понимал гибельность российского служения чужим интересам и новых захватов, понимал, что главное внимание должно быть обращено на внутреннее здоровье нации («Долг России — заботиться прежде всего о себе самой», из манифеста 4.3.81). Сам командующий армией в турецкую войну, он, однако, от воцарения не вёл ни одной войны (лишь закончил — мирным взятием Мерва — завоевания отца в Средней Азии, у границы Афганистана, что, впрочем, едва и не вызвало столкновения с Англией). Но именно в это безвоенное царствование сильно укрепился внешнеполитический вес России. Александр III проглотил горечь от болгарской «неблагодарности»: образованные болгары вовсе не ценили огромных русских жертв в только что минувшую войну и поспешили освободиться от русского влияния и вмешательства. Проглотил горечь и от измены Бисмарка — и пошёл (1881) на весьма равновесное и разумное «соглашение о взаимных гарантиях» с Германией: не расторгни его Вильгельм несколькими годами позже, оно исключило бы войну между Россией и Германией в начале

XX века. После же отмены соглашения Александру III и не оставалось ничего, как продолжать сближение с Францией, и то после осторожного выжидания.

Во внутренней политике удавшийся террор народовольцев уже сам по себе закрывал Александру III путь каких-либо уступок, ибо они теперь выглядели бы капитуляцией. При неуклонном характере Александра III убийство его отца 1 марта уже и обрекало Россию на твёрдые консервативные меры в ближайшие годы, и даже «положение об усиленной охране» (1882). Вскоре составленный совет министров почти и не менялся в годы его царствования, но, в целях государственной бережливости, сокращались излишние придворные должности и отменено всё «кавказское наместничество». Были уменьшены крестьянские подати, даны отсрочки по выкупным платежам; от начавшегося вывоза русского хлеба за границу хлебные цены повысились, к выгоде и крестьян. Как уже сказано, Александр III ввёл земских начальников (с результатом двойственным), однако ослабил роль крестьян в земстве (большая ошибка) и усилил над земством государственный контроль. Годы шли, состояние страны стабилизировалось — и вот, очевидно, следовало вместо мер исключительно задерживающих — предложить свой многосторонний вариант активного развития — например, давно назревшая мера, расширить правовой строй на крестьянство. Но ни сам царь, ни его ближайшие советники не предложили такого проекта и, значит, не чувствовали неудержимого ритма века. — Так и в состоянии православной церкви, слабевшей сквозь весь петербургский период, Александр III не усмотрел тревожного омертвления, не дал импульса к оживлению церковного организма, не протянул помощи униженным сельским священникам в их бедственном положении, оставил церковь — а с ней и народное православие — в тяжёлом кризисе, хотя ещё не всем ясном тогда. — Что же касается мусульман, то они в России «продолжали пользоваться той же терпимостью... Россия была уверена в своих мусульманских подданных на Кавказе»³⁶. (И в Первой Мировой войне отборные полки кавказских добровольцев, «туземная дивизия», это отменно подтвердили.)

Однако царствование Александра III было много короче всех остальных, трагически прервано в вершине его возраста и в полноте душевных сил, и нельзя гадать, как он вёл бы себя в наступающие острокритические годы России или даже не допустил бы их. (По словам Л. Тихомирова, Николай II «просто с первого дня начал, не имея даже и подозрения об этом, полный развал всего, всех основ дела отца своего»³⁷.)

К концу XIX века Российская империя достигла своего замысленного или, как тогда говорили, «естественного» (для незащищённой огромной равнины) территориального объёма: во многих местах до географических рубежей, поставленных самою природой. Но странная это была империя. Во всех других известных тогда империях метрополии жирно наживались за счёт колоний, и нигде не было такого порядка, чтобы жители какой колонии имели больше прав и преимуществ, чем жители метрополии. А в России было — как раз всё наоборот. Не говоря о Польше, имевшей значительно более либеральную конституцию и строй жизни (которой всё равно это не услаждало подчинения), нельзя не отметить широчайших льгот для Финляндии. Ещё от Александра I финны имели права шире, чем пользовались под шведским управлением; до конца XIX в. народный доход возрос в 6 — 7 раз, Финляндия достигла процветания, во многом потому, что не выплачивала своей пропорциональной доли общегосударственных расходов. Так же и рекрутский набор из Финляндии брался втрое меньше среднероссийского, так что «в вооружённой до зубов Европе Финляндия делала для своей защиты меньше, чем Швейцария» (а при Николае II и вовсе освобождена от воинского набора, Мировая война её не отяготила). Затем: «высшие русские правительственные учреждения

³⁶ Лависс, Рамбо, т. 8, с. 297.

³⁷ Журн. «Красный архив», т. 74, с. 175

были переполнены финляндцами, они занимали важнейшие военные должности в русской армии и в русском флоте, а русские могли занимать в Финляндии какие-либо должности и приобретать там недвижимых только при условии перехода в финляндское подданство», «в нескольких километрах от своей столицы русские должны были подвергаться осмотру на финляндских таможах... объясняться по-фински с чиновниками, упорно не желавшими говорить по-русски»³⁸ — и зачем же было Финляндию держать в Империи? (Благодаря такой изумительной экстерриториальности, да по соседству с Петербургом, Финляндия стала бесценным прибежищем и отстойником всех российских революционеров до эсеровских боевиков и ленинских большевиков; это много послужило не только терроризму и подпольщине в России, но развязыванию самих революций 1905 и 1917.) — Не в такой разительной форме, но и азиатские национальные окраины России получали огромную финансовую помощь из центра, все они стоили затрат бóльших, чем приносили государству доходов. И от рекрутской повинности многие из них («киргизы», т. е. казахи, и среднеазиаты) были освобождены — притом без замены её военным налогом. (Революционная пропаганда ликующе обыгрывала Тургай-Семиреченское восстание в 1916, между тем оно — во время Мировой войны! — возникло в ответ на попытку всего лишь *трудо*вой мобилизации туземных жителей.) Но искусственный отлив средств от центра к окраинам — усугублял «оскудение Центра». Население, создавшее и державшее Россию, всё ослаблялось. Подобного явления мы не наблюдаем ни в одной из европейских стран. Д. И. Менделеев («К познанию России») указывал, как много сделано в России для туземных национальностей — и что пришла пора пристальной позаботиться о русском племени. Но если б этот призыв и был усвоен правящими верхами — у нас уже для того не оставалось исторического времени.

Эта картина своеобразно дополнялась и сильным присутствием иностранных промышленников в России (англичане на ленских золотых приисках, бельгийцы в железодельной промышленности Юга, иностранный синдикат по платине, Нобель на бакинской нефти, французы в соляном деле в Крыму, норвежцы — в рыбном промысле мурманского побережья, японцы — на Камчатке и устьи Амура, и многое, многое ещё, а в самом Петербурге — две трети заводчиков иностранцы, и фамилии их, названия заводов, переполняют революционную хронику 1917 года). А в «Географическом описании нашего отечества» Семёнова-Тян-Шанского поездные перечни цензовых землевладельцев избытают множеством иностранных фамилий.

Густой приток иностранных промышленников и капиталистов может быть объяснён особенно тем, что в России — этому нельзя не изумиться! — и к началу XX века так-таки и не было строго проведенного подоходного налога: с огромных прибылей платилась непропорциональная для Европы доля, этим пользовались и богатый класс в России и иностранцы, вывозившие свои доходы в мало ущерблённом виде. Для России же это оборачивалось грубейшим провалом в её финансах: несравненно богатая Россия то и дело выпрашивала иностранные займы (нередко получая и демонстративные отказы); с 1888 Россия систематически впадала в долги по французским займам, и это делало её зависимой от Франции во внешней политике, что повлияло и на роковые события лета 1914.

Именно в царствование кроткого **Николая II**, столь неуверенно осваивавшегося в первые годы на троне, Россия — недопустимо морально и недопустимо даже из практического расчёта — превзошла в своём расширении те необъятные границы, которыми она владела. Начав с 1895 на Дальнем Востоке действовать заодно с европейскими странами, российское правительство не удержалось (1900) от постыдной посылки русского корпуса в Пекин для соучастия в подавлении китайского восстания: уже кото-

³⁸ Лависс, Рамбо, т. 7, сс. 417 — 418

рое десятилетие Китай был крайне слаб, в разломе, — и все хищные державы наперебой пользовались этим. В 1898 Россия принудила Китай сдать ей в аренду Порт-Артур и Даляньван, а концессия (1896) на железную дорогу через Маньчжурию во многом отдавала эту область под русское влияние. По русско-японскому протоколу 1898 г. Корея признавалась независимой, однако, по мере того как Япония проникала в Корею с юга, небескорыстные советчики Николая II убедили его, что Россия должна проникать в Корею с севера. Тут-то смертно и столкнулись русско-японские интересы: ещё был путь принять компромисс: японское предложение, чтобы Россия ограничилась влиянием в северной Маньчжурии; но противник казался так несерьёзен, от прежних лёгких российских завоеваний выросла такая надменность, а Николай II не ощущал всех уязвимых мест ещё неустроенной, ещё недоразвившейся России, из которых вражда правительства с обществом и революционное движение были далеко не единственными слабостями государства — и внутри себя, и во внешних отношениях. Так началась война с Японией, уже потому губительная, что мы ещё только кончали Великую Сибирскую магистраль; а продолжая соперничать с Австрией из-за Балкан, Россия не могла снять с западной границы своих наилучших войск, а посылала на Дальний Восток корпуса второго разряда и резервные войска. В 1904 в Японии не только студенты, но даже подростки стремились попасть в армию, а наши столичные студенты слали микадо телеграммы с пожеланием победы... Российское общество охватила *жажда поражения* в этой дальней, непопулярной и даже необъяснимой войне — в верном расчёте на политический успех от русского поражения, и он вспыхнул ещё сильнее, чем от войны Крымской. Осенью 1905, в дни наибольшего накала революции, кончалась точно половина царствования Николая II — и за эти 11 лет он уже почти выпустил всю власть из рук — однако в этот раз её вернул Столыпин. (Через следующие 11 лет уже некому было вернуть.)

Внешнеполитические промахи следовали и дальше. Вильгельм II, подчеркнута, даже театрально игравший роль сердечного друга Николая II («благословивший» его и воевать на Дальнем Востоке, впрочем и помогший дружественным нейтралитетом), на свидании в Бьёрке в конце 1905 не без дружества предложил Николаю *вдвоём* подписать тройственный дружественный договор с Францией, а та — «потом присоединится». И Николай подписал (без ведома совета министров, а позже взял подпись обратно). Конечно, тут была немалая игра оттеснить Францию на второй план; конечно, Германия в 1904 уже навязала России угнетающий торговый договор, и трудно было счесть её другом России. Однако система прочного союза *и* с Пруссией, *и* с Францией — это была проверенная система Петра I; и всё же, остриё-то договора в Бьёрке было направлено против Англии — страны, которая уже 90 лет кряду была настойчивым недоброжелателем России и всегда и повсюду искала, как причинить России вред, и часто это ей великолепно удавалось, и вот только что, в японскую войну, Англия была союзницей Японии. Вильгельм, предвидя жестокую войну с Англией, всё же искал пути не воевать с Россией, и при нашем сухопутном соседстве и крупной численности обеих армий — от какой кровавой бойни мы были бы избавлены в 1914 (а значит, и от революции 1917)! Кажется невозможным, необъяснимым, чтобы Николай II всё-таки предпочёл союз с ненавистницей России, с которой столько раз и во стольких местах сталкивались интересы. Но Николай сделал именно этот шаг: англо-русский союз 1907, отсюда доформировалась Антанта, — и расстановка сил в Первой Мировой войне была роково определена.

Вскоре (1909) в ответ Австрия присоединила Боснию и Герцеговину, а Вильгельм в ультимативной форме заставил Россию ещё и унижительно *признать* законность захвата. Правда, этот захват уже предопределялся и Берлинским конгрессом (1878) — но в 1909 в России он был болезненно воспринят и правительством, и обществом: роковое наше панславистское

увлечение взывало едва ли не к немедленной войне (невозможной при Столыпине, но крайне бы выгодной для Англии).

И конечно, при нашем панславистском накале мы не могли снести грубого австрийского ультиматума Сербии в 1914 (а на это и был германо-австрийский расчёт). И потому так смело на нас напали в 1914, что перестали уважать российскую военную силу с 1904. И наши войска в Восточной Пруссии были брошены поспешною, неподготовленной жертвою ради спасения Парижа.

До сего места мы односторонне проследили трёхсотлетний период русской истории: по линии упущенных возможностей внутреннего развития и безжалостной растраты народных сил на ненужные России внешние цели: заботились о европейских «интересах» больше, чем о своём народе.

Однако, несмотря на всё это, поразишься же и богатству народной энергии, уж не говоря о Поморьи или Доне — и на примере Сибири же. («Завоевание Сибири» неверно расширяется от западносибирского эпизода борьбы Ермака с чингисидом Кучумом, завоевавшим тобольских татар, а в 1573, ещё до Ермака, совершившим набег и на район Соликамска. XVII век в Сибири не отмечен большим числом серьёзных военных столкновений — сравнительно с предыдущей историей континента, волной завоеваний монгольских и тюркских, или сравнительно со зверонаравным уничтожением майя, североамериканских индейцев, пагагонцев, тасманийцев; напротив, с приходом русских прекратились многочисленные междоусобия у якутов, бурят, чукчей с юкагирами и др.; у якутов время до прихода русских так и названо «время кровавых битв»³⁹, более того: русские не нарушали внутренней организации аборигенных народов; крупные столкновения были только с маньчжурами и монголами, остановившими на верхнем Амуре русское продвижение.) За XVII век малочисленные предприимчивые русские люди освоили огромный Сибирский континент — до Охотского моря, устей Яны, Индигирки и Берингова (Дежнёва) пролива, и основывали пашенное хозяйство на просторах, никогда его (кроме малых местностей) не знавших; уже к концу XVII вся Сибирь питалась своею рожью. Пашни доходили на север до Пелыма, Нарыма, Якутска, а в начале XVIII были уже и на Камчатке; и повсюду коренные народы обменивались с русскими хозяйственным и охотничьим опытом. В 1701 на всю Сибирь было 25 тыс. русских семей, одна семья на 400 км², в Восточной Сибири были деревни по 1 — 2 двора. (По ревизии 1719 в Сибири аборигенов 72 тыс. члв., русских 169 тыс.⁴⁰, к 80-м годам — более миллиона.) И при такой слабой населённости (вольнонародным переселением; беглыми, но не возвращаемыми за Урал крестьянами; ссыльнопоселенцами) — XVIII век в Сибири поражает нас, что могут дать мирные народные усилия, направленные на внутренние, а не на внешние задачи: гигантский размах русского труда, ремёсел, уже и значительного заводского и металлургического производства и русской торговли — от Урала через всю Сибирь до Кяхты, Чукотки, Алеутских островов и Аляски (в 1787 основана мещанином Шелиховым «Американская торгово-промысловая компания»)⁴¹. Уже в XVIII в Сибири действовали школы геодезические, навигационные, горнозаводские, медицинские, возникли библиотеки и типографии; произведена тщательная картография Ледовитого и Тихоокеанского побережий⁴².

Таково было богатство народной энергии, что через полвека после падения крепостного права — Россия вступила в полосу бурного промышленного развития (5-е место в мире по промышленной продукции), желез-

³⁹ «История Сибири с древнейших времён до наших дней», т. II. Изд. «Наука». Л. 1968, с. 99.

⁴⁰ Там же, с. 55.

⁴¹ Там же, сс. 181 — 282.

⁴² Там же, сс. 323 — 331, 343 — 353.

нодорожного строительства, стала крупнейшим экспортёром зерна и сливочного (сибирского) масла. В России была полная свобода частной экономической деятельности («рынок», который мы сегодня всё собираемся достичь или у кого-то перенять), свобода выбора занятия и места жительства (кроме еврейской черты оседлости, но и она шла к отмене). Крупный бюрократический аппарат, однако, не был замкнут ни национально (видим в нём на видных постах представителей множества национальностей), ни социально (становились министрами помощник машиниста Хилков, крестьянин Рухлов, начальник станции Витте, помощник присяжного поверенного Кривошеин, и на военные верхи взошли из самых низов генералы Алексеев, Корнилов). По свидетельству последнего Государственного секретаря России С. Е. Крыжановского, в смысле восхождения отдельных лиц Россия была страна весьма демократическая: высшее чиновничество складывалось не из лиц высокого происхождения; по свидетельству министра путей сообщения Кригера-Войновского: кроме особого положения крестьянства, сословных перегородок к XX веку уже не оставалось, «права определялись образованием, служебным положением и видом занятий»⁴³. Независимость и открытость суда, строгая законность следствия утвердились с 60-х годов XIX века, также и печать без предварительной цензуры, а с 1906 — истинный парламент и многопартийная система (которая сегодня жадится как новейшее достижение). Отметим и то, что для народа действовала бесплатная земская медицина высокого качества. Было введено рабочее страхование. В России был самый высокий в Европе прирост населения. И высшее женское образование в России стояло на одном из первых мест в Европе.

И всё это обрушилось с 1917 года, а в мире представлено и поныне крайне искажённо.

Но и в этот краткий благополучный период 1906 — 1913 прозорливые люди видели запущенность государственной болезни, опасную разорванность общества и власти и упадок русского национального сознания. Лев Тихомиров, в прошлом виднейший народоволец, позже государственный теоретик, перешедший в патриотизм, писал в своём дневнике в 1909 — 10 годах: «Нельзя ничего сделать в современной России, нечего делать. Мы, по-видимому, идём к новой революции и, кажется, — неизбежно... все, все даже частные меры власти, — как на подбор ведут к революции»; «с Россией я совсем недоумеваю. Стою на своих бастионах, знамени не опускаю, палю из орудий... но родная армия уходит от тебя всё дальше и — по разуму человеческому — немислимо и ждать от неё ничего...». О молодёжи: «Они уже не потомки наши, а что-то новое»; «Народ русский!.. Да и он уже потерял прежнюю душу, прежние чувства»⁴⁴, — тут Тихомиров имел в виду утерю православного и национального сознания, «умственное и нравственное принижение вообще нации»⁴⁵.

Духовную суть кризиса Тихомиров отмечал верно. В 1909 вопрос о русском национальном сознании неожиданно попал в центр обсуждения либеральной прессы. «Когда недержавные национальности стали самоопределяться, явилась необходимость самоопределения и для русского человека». Происходит «в прогрессивной русской печати невозможное ещё так недавно: дебатруется вопрос о великорусском национализме», «первое выступление того сознания, которое просыпается, наподобие инстинкта самосохранения, у народов в минуту угрожающей им опасности». — «Не шутка и опозорение самого слова „русский“, превращённого в „истинно-русский“». — «Как не следует заниматься «обрусением» тех, кто не желает «русеть», так же точно нам самим не следует себя «оброссиивать», тонуть и обезличиваться в Российской многонациональности» (П. Б. Струве). — «Попытка обвеликорусить всю Россию... оказалась гибельной для

⁴³ Из фонда Всероссийской Мемуарной Библиотеки.

⁴⁴ «Красный архив», т. 74, сс. 165 — 177.

⁴⁵ Там же, т. 38.

живых национальных черт не только всех недержавных имперских народностей, но и прежде всего для народности великорусской... Для великорусской национальности — только полезно интенсивное развитие вглубь, нормальное кровообращение». Русское общество в прежние годы «устыдилось не только ложной антинациональной политики, но и истинного национализма, без которого немислимо национальное творчество. Народ должен иметь своё лицо». — «Как 300 лет назад, история требует нас к ответу, чтобы в грозные дни испытаний» ответить, «имеем ли мы как самобытный народ право на самостоятельное существование»⁴⁶.

Однако эта поучительная и для нашего времени дискуссия, читаемая сегодня как самая современная, в оставшемся простенке до Мировой войны уже не имела плодотворного развития. Динамичная эпоха перестигала неторопливую Россию. Возрождения русского национального сознания — в русском обществе не произошло. И В. В. Розанов (в 1911) выразил это так: «Душа плачет, куда же все русские девались?.. Я ужасно плачу о русских, ибо думаю, что погибает само племя, что вообще попирается всё русское»⁴⁷.

Так и попытки православной общественности около 1905 года через Предсоборное совещание выйти к Поместному Собору и выборам Патриарха были остановлены тормозящей резолюцией царя. Русская православная Церковь в неизменности достаивала уже отмеренный оставшийся исторический срок. И справедливый упрёк Бердяева, обращённый к интеллигенции, демократам и социалистам, — «Вы ненавидели церковь и травили её. Вы думали, что народ может существовать без духовных основ, без святынь, достаточно материальных интересов и просвещения»⁴⁸ — другим тяжёлым концом ложится на дремавшие правительственные верхи. Православная церковь встретила революцию 1917 неготовой и в полной растерянности. Лишь через несколько лет, под свирепыми преследованиями большевиков поднялись и народные бунты в защиту храмов (1918), и с решимостью античных первохристиан потекли в ГУЛаг и на смерть десятки тысяч священнослужителей. (Но большевицкий расчёт был безошибочен: ведь они материально *вычитались* из живого сопротивления.)

В Первой Мировой войне как-то сказала — накопленная, неизбежная народная усталость от всех прежних, прежних, прежних русских войн, от которых народ всегда оставался невознаграждён, — и к той усталости добавилось такое же накопленное в поколениях и поколениях недоверие к правящему классу. И всё это — отозвалось в солдатах двухтысячевёрстного фронта, когда дошли вести о перевороте в Петрограде, скоропостижном податливым отречении царя, вскоре и заманчивых лозунгах большевиков.

С 1917 года — мы стали ещё заново и крупно платить за все ошибки нашей предыдущей истории.

Всю предысторию Февраля, саму Февральскую революцию и неумолимые последствия её — я уже изложил предостаточно в «Красном Колесе», и здесь полностью миную. Большевицкий переворот — был логическое и неуклонное завершение Февраля.

Но так как в предыдущем обзоре мы много касались то бескорыстных, то бессмысленных вмешательств России в европейские дела, — уместно здесь кратко отозваться о роли западных союзников в гражданской войне в России. Пока Германия ещё сопротивлялась, союзники, естественно, предпринимали усилия — то вызволять чехословацкий корпус через Сибирь, чтоб успеть использовать его против Германии; то высадку в Архангельске и Мурманске, чтобы помешать сделать это немцам. Но кончилась Мировая война — и союзники потеряли интерес к белым, — к русским генералам, своим прямым и персональным союзникам по минувшей войне. На Севере — англичане топили в море амуницию и армейские запасы,

⁴⁶ Газ. «Слово», 9 — 25 марта 1909.

⁴⁷ «Новый мир», 1991, № 3, с. 227.

⁴⁸ Н. А. Бердяев. Философия неравенства. ИМКА-пресс. Париж. 1923, с. 20.

только бы не оставить белым. Белых правительств — не признавали (Врангеля — только де-факто и коротко, пока он мог облегчить положение Польши), но тотчас признавали всякую нацию, отколовшуюся от России (и Ллойд-Джордж того же требовал от Колчака). За военное снабжение требовали русского сырья, зерна, золота, подтверждений о выплате русских долгов. Французы (вспомним спасение Парижа в 1914 жертвами русских армий в Пруссии) от ген. Краснова требовали возместить все убытки французских предприятий в России, «происшедшие вследствие отсутствия порядка в стране», и с процентами компенсировать их утерянную с 1914 доходность; в апреле 1920 союзники слали ультиматум Деникину — Врангелю: прекратить борьбу, «Ленин обещал амнистию»; за помощь в эвакуации Крыма французы забрали себе русские военные и торговые суда, а с эвакуированных в Галлиполи врангелевцев в оплату за питание брали военное имущество, вплоть до армейского белья. — Поражение России от большевиков было весьма выгодно союзникам: не надо было делиться долей победы. Таков *реалистический* язык международных сношений.

По исконной неразвитости правосознания, национального сознания и поблеклости религиозных устоев за последние перед тем десятилетия — наш народ достался верховым большевицким выжигам — экспериментальным лепным материалом, удобным для перелепливания в их формы.

Эти идейные интернационалисты начали с безоговорочного разбазаривания российских земель и богатств. На Брестских переговорах они проявили готовность отдать любой охват русских земель, лишь бы самим уцелеть у власти. — В дневнике американского дипломата Уильяма Буллита можно прочесть и о бóльшей цене, которую в 1919 Ленин предлагал американской делегации: советское правительство готово отказаться от западной Белоруссии, половины Украины, от всего Кавказа, Крыма, от всего Урала, Сибири и от Мурманска: «Ленин предлагал ограничить коммунистическое правительство Москвой и небольшой прилегающей к ней территорией, плюс город, известный теперь как Ленинград»⁴⁹. (Этот крик Ленина важно бы усвоить всем тем, кто сегодня всё ещё восхищается, как большевики «воссоздали Державу».) — Так панически Ленин предлагал тогда, когда опасался вполне бы естественного «похода Антанты» на его мятежную кучку, в защиту союзницы России. Но скоро он убедился, что такое не грозит, и уступал русскую землю уже в меньших размерах. В феврале 1920 Эстонии, взамен за первое международное признание советского правительства, прорыв изоляции, — уступил русское население у Ивангорода — Нарвы и какие-то там «святыни» Печор и Изборска; вскоре за тем — и Латвии отдал обильное русское население. — По интернациональным замыслам ища дружбы Турции (в декабре 1920 оккупировавшей почти всю Армению), советское правительство с зимы 1920 на начало 1921, кажется само едва встающее от гражданской войны в своей разорённой стране, начинает широкую помощь Турции всеми видами оружия, а также «безвозмездную финансовую помощь» в 13 миллионов рублей золотом (в 1922 ещё добавили 3,5 миллиона)⁵⁰.

Примеры эти можно множить и множить. А прямое раскрадывание большевицкой бандой сокровищ российского алмазного фонда и всего награбленного ими из государственного, царского и частных имуществ вряд ли вообще кем учтено, только в редких мемуарах встретишь, как в кремлёвской кладовой просто пригоршнями, без счёта, злодеи и проходимцы набирали драгоценностей для очередной коминтерновской операции за границей. (Для тех же целей тайно распродалась и сокровища государственных музеев.) — Наверно и целую книгу можно написать о хищническом расхвате *концессий* на территории России: с Вандерлипом вели переговоры о сдаче на 50 лет (!) нефтеносных участков, угольных копей и рыбной ловли Приморской и Камчатской областей⁵¹; пресловутому «антисо-

⁴⁹ Цит. по «Время и мы», № 116, с. 216.

⁵⁰ «Документы внешней политики СССР». М. 1959, т. III, с. 675.

⁵¹ Там же, сс. 664 — 665, 676 — 681.

ветчику» Лесли Уркарту — долгосрочной концессии на его прежние предприятия по добыче цветных металлов и угля (Кыштым, Риддер, Экибастуз)⁵²; англичанам — на 25 лет (до 1945 года!..) нефтяную концессию в Баку и Грозном; начинающему сопляку делового мира Арманду Хаммеру — алапаевские асбестовые рудники (а дальше сердечная взаимопомощь и дружба с ним длилась и до его смерти, уже в горбачёвское время). — Не все планируемые тогда концессии состоялись из-за того, что утверждённая ленинской кучки у власти ещё казалась западному взгляду хлипкой.

История 70-летнего коммунистического господства в СССР, воспетого столькими бардами, добровольными и покупными, господства, сломавшего органическое течение народной жизни, — уже сегодня наконец видна многим во всей своей и неприглядности и мерзости. По мере раскрытия архивов (если они откроются, а многие уже проворно уничтожены) об этом 70-летию будут написаны тома и тома, и такому обзору не место в этой статье. Здесь приведём только самые общие оценки и соображения.

Все потери, которые наш народ перенёс за огляженные 300 лет от Смуты XVII века, — не идут и в дальнее сравнение с потерями и падением за коммунистическое 70-летие.

На первом месте здесь стоит физическое уничтожение людей. По косвенным подсчётам разных статистиков — от постоянной внутренней войны, которую вело советское правительство против своего народа, — население СССР потеряло не менее 45 — 50 миллионов человек. (Проф. И. А. Курганов пришёл к цифре 66 миллионов.) Причём особенность этого уничтожения была та, что не просто косили подряд, кого придётся, или по отдельным территориям, но всегда — *выборочно*: тех, кто выдавался либо протестом, сопротивлением, либо критическим мышлением, либо талантом, авторитетом среди окружающих. Через этот *противоотбор* из населения срезались самые ценные нравственно или умственно люди. От этого непоправимо падал общий средний уровень остающихся, народ в целом — принижался. К концу сталинской эпохи уже невозможно было признать в народе — тот, который был застигнут революцией: другие лица, другие нравы, другие обычаи и понятия.

И чем же как не физическим уничтожением своего народа назвать безоглядную, безжалостную, безрасчётную укладку красноармейских трупов на путях побед Сталина в советско-германской войне? («Разминирование» минных полей ногами гонимой пехоты — ещё не самый яркий пример.) После сталинских «7 миллионов потерь», после хрущёвских «20 миллионов», теперь, наконец, в российской прессе напечатана и фактическая цифра: 31 миллион. Онемляющая цифра — пятая часть населения! Когда и какой народ укладывал столько на войне? Наша «Победа» 1945 года овеществилась в укреплении сталинской диктатуры — и в полном обезлюживании деревень. Страна лежала как мёртвая, и миллионы одиноких женщин не могли продолжить жизнь народа.

Но ещё и физическое массовое уничтожение — не высшее достижение коммунистической власти. Всех, кто избегал уничтожения, — десятилетиями облучали оглуляющей и душу развращающей пропагандой, и от каждого требовали постоянно возобновляемых знаков покорности. (А от послушной интеллигенции — и ткать эту пропаганду в подробностях.) От этой гремющей, торжествующей идеологической обработки — ещё и ещё снижался нравственный и умственный уровень народа. (Только так и могли воспитаться те нынешние старики и пожилые, кто вспоминает как эру счастья и благоденствия, когда они отдавали свой труд за грошовую зарплату, но под 7-е ноября получали полкило печени, перевязанное цветной ленточкой.)

Зато во внешней политике — о! вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии, каких много мы уже отмети-

⁵² Там же, т. IV, с. 774.

ли в этой статье. Коммунистические вожди всегда знали верно, что им нужно, и каждое действие направлялось всегда и только к этой полезной цели — никогда ни одного шага великодушного или бескорыстного; и каждый шаг верно смечен, со всем цинизмом, жестокостью и пронизательностью в оценке противников. Впервые за долгий ход истории российской дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна — и всегда превосходила и побивала западную. (Те же и Балканы коммунисты полностью забрали, без большого усилия; отхватили пол-Европы; без сопротивления проникали в Центральную Америку, Южную Африку, Южную Азию.) И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена, что вызывала восторженное сочувствие у западного же *передового общества*, отчего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы. (Но заметим: и советская дипломатия служила не интересам своего народа, а — чужим, «мировой революции».)

И эти блистательные успехи ещё одуривали и одуривали ослабевшие головы советских людей — новоизобретенным, безнациональным *советским патриотизмом*. (Так и воспитались нынешние, постаревшие, радители и болельщики Великого Советского Союза.)

Не повторяем здесь теперь уже общеизвестной оценки «промышленных успехов» СССР: безжизненной экономики, уродливого производства неспрашиваемых и некачественных товаров, изгаживания огромных природных пространств и грабительского истощения природных ресурсов.

Но и во всём высасывании жизненных соков из населения — советская система не была равномерна. По твёрдому наследству ленинской мысли надо было (и так и делалось): главный гнёт налагать на республики крупные, сильные, т. е. славянские, и особенно на «великорусскую шваль» (Ленин), главные поборы — брать с неё, притом первоначально опираться на национальные меньшинства, союзные и автономные республики. Сегодня тоже уже не новость, опубликовано многократно, что главную тяжесть советской экономической системы несла на себе РСФСР, с её бюджета брались непропорционально крупные отчисления, она меньше всего получала вложений, а её крестьяне продавали продукт своего труда двадцатикратно дешевле, чем, скажем, грузинские (картофель — апельсины). Подрубить именно русский народ и истощать именно его силы — была из нескрываемых задач Ленина. И Сталин продолжал следовать этой политике, даже когда произнёс свой известный сентиментальный тост о «русском народе».

А в брежневское время (всё державшееся на паразитстве от продажи за границу сырой нефти — до полного износа нефтяного оборудования) — совершены были новые жуткие и непоправимые шаги по «оскудению Центра», по разгрому Средней России: «закрытие» тысяч и тысяч «неперспективных деревень» (с покиданием многих удобий, пашен и лугов), последний крушащий удар по недобитой русской деревне, искажение всего лика русской земли. И уже был взнесен страшный удар, добивающий Россию, — «поворот русских рек», последний одурелый бред маразматического ЦК КПСС, — на последнем краю и в последний момент, слава Богу, отведенный малой мужественной группой русских писателей и учёных.

«Противоотбор», который методически и зорко коммунисты вели во всех слоях народа от первых же недель своей власти, от первых же дней ЧК, — предусмотрительно заранее обессиливал возможное народное сопротивление. Оно ещё могло прорываться в первые годы — кронштадтское восстание с одновременными забастовками петроградского пролетариата, тамбовское, западносибирское и ещё другие крестьянские восстания, — но все они были потоплены в смертях с такой запасливой избыточностью, что больше не вздымались. А когда и поднимались малые буржки (как стачка ивановских ткачей в 1930), то о них не узнавал не только мир, но даже и само советское пространство, всё было надёжно заглушено. Прорыв реальных чувств народа к власти мог проявиться — и как же зримо

проявился! — лишь в годы советско-германской войны: только летом 1941 больше чем тремя миллионами легко сдавшихся пленных, в 1943 — 44 целыми караванами жителей, добровольно отступающих за немецкими войсками, — так, как если б это были их отечественные... В первые месяцы войны советская власть легко могла бы и крахнуть, освободить нас от себя, — если бы не расовая тупость и надмение гитлеровцев, показавшие нашим истстрадавшимся людям, что от германского вторжения нашему народу нечего хорошего ждать, — и только на этом Сталин удержался. О попытках формирования русских добровольческих отрядов на германской стороне, затем и о начатке создания власовской армии — я уже писал в «Архипелаге». Характерно, что даже *в самые последние месяцы* (зима 1944—45), когда всем уже было видно, что Гитлер проиграл войну, — в эти самые месяцы русские люди, оказавшиеся за рубежом, — многими десятками тысяч подавали заявления о вступлении в Русскую Освободительную армию! — вот это был голос русского народа. И хотя историю РОА заплевали как большевицкие идеологи (да и робкая советская образованщина), так и с Запада (где представить не умели, чтоб у русских могла быть и своя цель освобождения), — однако она войдёт примечательной и мужественной страницей в русскую историю — в долготу которой и будущность мы верим даже и сегодня. (Генерала Власова обвиняют, что для русских целей он не побрезговал войти в показной союз с внешним врагом государства. Но, кстати, как мы видели, такой же показной союз заключала и Елизавета со Швецией и Францией, когда шла к свержению бироновщины: враг был слишком опасен и укоренён.) — В послесталинское время были и ещё короткие вспышки русского сопротивления — в Муроме, Александрове, Краснодаре и особенно в Новочеркасске, но и они, благодаря непревзойденной большевицкой заглушке, десятилетиями оставались неизвестны миру.

После всех кровавых потерь советско-германской войны, нового взлёта сталинской диктатуры, сплошного вала тюремных посадок всех, кто хоть как-то соприкоснулся за время войны с европейским населением, затем лютейшего послевоенного колхозного законодательства (за невыработку трудодней — ссылка!), — кажется, и наступил конец русского народа и тех народов, которые делили с ним советскую историю?

Нет. И ещё то был — не конец.

К концу мы придвинулись — как ни парадоксально — от лицемерной и безответственной горбачёвской «перестройки».

Немало было разумных путей постепенного осторожного выхода из-под большевицких глыб. Горбачёв избрал путь — самый неискренний и самый хаотический. Неискренний, потому что искал, как сохранить и коммунизм в слегка изменённом виде и все блага партийной номенклатуры. А хаотический — потому что, с обычной большевицкой тупостью, выдвинул лозунг «ускорения», невозможный и гибельный при изношенности загнанного оборудования; когда же «ускорение» не потянуло, то сочинил немислимый «социалистический рынок», следствием которого стал распад производственных связей и начало разворовки производства. — И этакую свою «перестройку» Горбачёв сопроводил «гласностью», в близоруком расчёте на единственное следствие: получить интеллигенцию в союзники против уж крайних зубров коммунизма, не хотящих понятия и собственной пользы от перестройки (другой системы кормушек). Он и во сне представить не мог, что этой гласностью одновременно же распаивает ворота всем яростным национализмам. (В 1974, в сборнике «Из-под глыб» мы предсказывали, что национальной ненавистью СССР поджечь очень легко. Тогда же, в Стокгольме, я предупреждал: в СССР «если объявить демократию внезапно, то у нас начнётся истребительная межнациональная война, которая сметет эту демократию вообще в один миг». Но вождям КПСС это было недоступно понять.) — В 1990 я с уверенностью писал (в «Обустройстве»): «Как у нас теперь всё поколесилось — так всё равно «Советский Социалистический» развалится, всё равно!» (Горбачёв пришёл во гнев и

метко обозвал меня за то... «монархистом». Не удивлюсь: ведущая американская газета прокомментировала мою фразу так: «Солженицын всё ещё не может расстаться с имперскими иллюзиями», — это когда сами они ещё больше всего боялись развала СССР.) Тогда же и там же я предостерегал: «Как бы нам, вместо освобождения, не распылиться под его [коммунизма] развалинами». И — именно так получилось: в августе 1991 бетонные блоки стали падать и падать на неподготовленные головы, а поворотливые фюреры некоторых национальных республик, десятилетиями, до последнего дня усердно и благоуспешно тянувшие коммунистическую выслугу, тут — разом, в 48 часов, а кто и в 24, объявили себя исконными ярыми националистами, патриотами своей, отныне суверенной республики, и уже безо всякого коммунистического родимого пятна! (Их имена — и сегодня сверкают на мировом небосклоне, их с уважением встречают в западных столицах как первейших демократов.)

Блоки и глыбы, в разных областях народной жизни, хлопались и в следующие месяцы с большой густотой, придавливая массы застигнутых людей. Но введём в рассуждение — черёд.

Первое следствие. Коммунистический Советский Союз был исторически обречён, ибо основан был на ложных идеях (более всего опирались на «экономический базис», а он-то и погубил). СССР держался 70 лет обручами небывалой диктатуры — но когда издряхлело изнутри, то уже не помогут и обручи.

Сегодня далеко не только бонзы, закоснелые в коммунистических идеях, но и немало простых рядовых людей, омороченных нагнемевшим «советским патриотизмом», искренно жалеют о распаде СССР: ведь «СССР был — наследник величия и славы России», «советская история была не тупик, а закономерное развитие»...

Что касается «величия и славы», то в историческом обзоре мы видели, какой ценой и для каких посторонних целей мы часто напрягались истинно в минувшие 300 лет. А советская история была именно тупик. И хоть в эти 20-е — 30-е... 60-е — 70-е правили *не мы с вами* — а отвечать за все содеянные злодеяния и перед всем миром достаётся — кому же? да только нам, и, заметим: только русским! — вот *тут* все охотно уступают нам исключительное и первое место. Да если безлика корыстная свора вершила, что хотела, чаще всего от нашего имени, — так нам и не отмываться, как быстро отмывались другие.

Что советская империя для нас не только не нужна, она губительна — к этому выводу я пришёл в первые послевоенные годы, в лагерях. Я давно так думаю, уже полвека, не из сегодня. И в «Письме вождям Советского Союза» (1973) я писал: «Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы. И мы не смеем изобретать интернациональные задачи и платить по ним, пока наш народ в таком нравственном разорении». И в «Обустройстве»: «Держать великую Империю — значит вымертвлять свой собственный народ. Зачем этот разнопёстрый сплав? — чтобы русским потерять своё неповторимое лицо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке её». Не надо нам быть мировым арбитром, ни соперничать в международном лидерстве (там охотники найдутся, у кого сил больше), — наши все усилия должны быть направлены *внутри*, на трудолюбивое *внутреннее* развитие. Восстанавливать СССР — это верный путь уже навсегда забить и заглушить русский народ.

Надо же, наконец, ясно понять: у Закавказья — свой путь, не наш, у Молдавии — свой, у Прибалтики — свой, а уж у Средней Азии — тем более. Почти все среднеазиатские лидеры уже заявили об ориентации своих государств на Турцию. (Не все заметили в декабре 1991 многообещающую конференцию в Алма-Ате о создании «Великого Турана» — от Анатолийского полуострова до Джунгарского Алтая. В XXI веке мусульманский мир, быстро растущий численно, несомненно возьмётся за амбициозные задачи — и неужели нам в то мешаться?)

Беда не в том, что СССР распался, — это было неизбежно. Огромная беда — и перепутаница на долгое будущее — в том, что распад автоматически произошёл по фальшивым ленинским границам, отхватывая от России целые русские области. В несколько дней мы потеряли 25 миллионов этнических русских, 18% от общего числа русских, — и российское правительство не нашло мужества хотя бы отметить это ужасное событие, колоссальное историческое поражение России, и заявить своё политическое несогласие с ним — хотя бы, чтоб оставить право каких-то же переговоров в будущем. Нет... В горячке августовской (1991) «победы» всё это было упущено. (И даже — национальным праздником России избран день, когда РСФСР возгласила свою «независимость» — и, значит, отделённость от тех 25 миллионов тоже...)

Тут надо сказать о нынешней Украине. Не говоря о быстро перелицевавшихся украинских коммунистических вождях, — украинские националисты, в прошлом так стойко боровшиеся против коммунизма, во всём как будто проклинали Ленина, — отначала же соблазнились на его отравленный подарок: радостно приняли фальшивые ленинские границы Украины (и даже с крымским приданым от самодура Хрущёва). Украина (как и Казахстан) сразу стала на ложный имперский путь.

Груза великодержавности — я не желаю России, не пожелаю и Украине. Я выражаю самые лучшие пожелания развитию украинской культуры и самобытности и сердечно люблю их, — но почему начинать не с оздоровления и духовного упрочения национального ядра, не с культурной работы в объёме собственно украинского населения и украинской земли, — а с порыва к «великой Державе»? Я предлагал (1990) решать все национальные, хозяйственные и культурные проблемы в едином Союзе восточнославянских народов — и до сих пор считаю это решение наилучшим, ибо не вижу оправдания разрубу государственными границами миллионов семейных и дружественных связей. Но, в той же статье, я и оговаривал, что конечно никто не посмеет удерживать силой украинский народ от отделения, — однако же с полным обеспечением прав меньшинств. Вполне ли представляют нынешние руководители Украины и её общественного мнения — какой огромности культурная задача простирается перед ними? Даже этнически украинское население во многом не владеет или не пользуется украинским языком. (Для 63% населения основной язык — русский, тогда как русских только 22%, то есть: на Украине на каждого русского приходится двое «нерусских», считающих, однако, русский язык своим родным!) Значит, предстоит найти меры перевести на украинский язык *всех* номинальных украинцев. Затем, очевидно, станет задача переводить на украинский язык и русских (а это уже — не без насилия)? Затем: украинский язык поныне ещё не пророс по вертикали в высшие слои науки, техники, культуры — надо выполнить и эту задачу. Но и более: надо сделать украинский язык и необходимым в международном общении. Пожалуй, все эти культурные задачи потребуют более чем одного столетия? (А пока что мы читаем сообщения — то о притеснении русских школ и даже детских садов в Галиции, даже хулиганских нападениях на русские школы, о пресечении трансляции русского телевидения местами, и вплоть до запрета библиотекам разговаривать с читателями по-русски, — неужто же это путь развития украинской культуры? А звучат и лозунги «Русские — вон с Украины!», «Украина для украинцев!» — хотя на Украине множество народностей; и с практическими мерами: кто не принял украинского гражданства, тот испытывает стеснения в работе, пенсии, владении недвижимостью, тем более лишается участия в приватизации — а ведь люди не из-за границы приехали, они тут и жили... Но ещё хуже, что по непонятному накалу ведётся антирусская пропаганда; офицерам, принимающим присягу, задаётся отдельный вопрос: «а вы готовы воевать против России?»; армейское Социально-Психологическое Управление создаёт из России образ врага, нагнетается тема «военной угрозы» со стороны России. А по каждому прозвучавшему из России политическому несогласию с

отходом русских территорий к Украине, официальные украинские лица реагируют истерически звонко: «Это — война!», «это — выстрел в Сараеве!». Почему пожелания переговоров — это уже война? зачем накликать войну, где её нет и никогда не будет?)

Ещё более уязвимый державный промах допустил Назарбаев, намерясь с помощью казахского меньшинства переработать *большинство* — других, совершенно инородных наций. (И вот: русских устраниют с ответственных должностей, подавляется самодеятельность уральских и сибирских казаков, нападают на православные храмы, русские поселения — а вот уже и большие города — переименовывают по-казахски, отпускают 5 лет на изучение казахского языка даже в местностях, где 90% — русские. Местное телевидение почти полностью переводят на казахский язык, хотя казах составляют только 43% населения. Что ждёт остальных — выпукло показали извращённые «выборы» 1994 года. Ко мне приходят жалобы и от немцев — на насилия со стороны казахов, непроницаемо покрываемые местными властями.) Примыкание к идее «Великого Турана», весьма лёгкое для Средней Азии, окажется для Казахстана совсем-совсем нелёгким. (Ныне объявленная *словесная* программа надгосударственного Евразийского Союза — с чудовищной бюрократической наднациональной надстройкой — находится в полном противоречии с неуклонно идущей в Казахстане национальной подавительной *практикой*.)

Как я писал в «Обустройстве»: наилучшее решение вопроса — это государственный Союз трёх славянских республик и Казахстана. И в Беловежском соглашении, судя по прессе, Кравчук и обещал коллегам реальный неразрывный союз, «прозрачные» границы, единую армию и валюту. Но всё это оказалось лишь кратковременным обманом. Ничего этого не образовалось, а спустя время Кравчук и прямо заявил: «Кончать надо с мифом о «прозрачных» границах». Однако с существеннейшей поправкой: переход на мировые цены по нефти — это «со стороны России неприкрытый шантаж» (премьер Кучма), даже «приближение к мировым ценам по нефти есть *экономическая война*» (украинский посол в Москве; и тут опять «война». А как же все в мире и торгуют по мировым ценам — и никто не зовёт это «войной?»).

Однако же Россия-то попала — в разорванное состояние: 25 миллионов оказались «за границей», никуда не переезжая, оставаясь на отеческих и дедовских местах. 25 миллионов — самая крупная диаспора в мире; ни у кого такой нет, и — как мы смеем от неё отвернуться?? Тем более, что местные национализмы (как мы привыкли — весьма понятные, простибельные и «прогрессивные») — всюду идут на притеснение и угнетение наших отколотых соотечественников. (А желающих уехать — из Средней Азии не дают вывозить личного имущества: не признают такого понятия.)

Принципиально отказываясь от методов силы и войны, мы можем усмотреть только такие три пути:

1) из стран азиатских (закавказских и среднеазиатских), где вряд ли что доброе наших ждёт, — надо методично, пусть в немалые сроки, увозить желающих русских и добротнo поселять их в России; а для остающихся — искать защиты либо в двойном гражданстве, либо, либо... через ООН? худая надежда;

2) от стран Прибалтики требовать неукоснительного и полного выполнения всеевропейских норм о правах нацменьшинств;

3) с Белоруссией, Украиной и Казахстаном надо искать возможных степеней объединения в разных областях и добиваться-таки по меньшей мере — «прозрачных» границ; а для областей со значительным перевесом русского населения добиваться реального местного самоуправления, гарантирующего их национальное развитие.

А мы? За эти годы мы гостеприимно нашли в России место и для 40 тысяч месхов, выжженных из Средней Азии и отвергнутых грузинами, где месхи исконно жили; и для армян из Азербайджана; и, разумеется, повсюду для чеченов, хотя и объявивших своё отделение; и даже для тад-

жиков, у которых есть своя страна, — но никак не для русских из Таджикистана — а их там хоть и более 120 тысяч, но, спохватясь вовремя, уже бы многих мы приняли в Россию — и не надо было бы посылать русские войска на защиту Таджикистана от Афганистана, чужое это дело, не русским там кровь проливать. (Вопрос защищённых *границ*, которые у России разом перестали существовать, — отдельный, сложный. И всё же направление его решения: не русское военное присутствие в тех республиках, а — ужиматься нам надо в территорию собственно российскую.) А разве не обязаны были мы управиться забрать всех русских из Чечни, где над ними издеваются, где ежеминутно грозит им грабёж, насилия и смерть? И многих ли мы взяли из Тувы, когда оттуда начали выживать русских?

Нет, у нас в России для русских нет места, нет средств, отказ.

Это — и предательство своих и унижение передо всем миром: кто ещё в мире поступает так? Посмотрите, как тревожатся и хлопочут западные страны о двух-трёх своих подданных, застрывших где-либо в опасности. А мы — 25 миллионов отбросили и забыли.

Меру нашего унижения и слабости мы можем ощутить и по непреклонным приговорам, которые нам выносят с Запада. Хельсинкское соглашение, толковавшее (по вынуждению СССР, защитить свои захваты в Европе) о нерушимости *государственных границ*, западные государственные деятели бездумно и безответственно перенесли на границы *внутренние, административные* — да с такой неоглядчивой поспешностью, что подожгли в Югославии многолетнюю истребительную войну (где фальшивые границы нагородил Тито), да и в распадающемся СССР — в Сумгаите, в Душанбе, Бишкеке, Оше, Фергане, Мангышлаке, Карабахе, Осетии, Грузии (однако заметим: не в России и не русскими вызваны те резни). А на самом деле: не границы должны быть незыблемы, а воля наций, населяющих территории. — Президент Буш мог бестактно вмешаться *перед* украинским референдумом: выразить сочувствие отделению Украины, при ленинских границах. (Стал бы он что-нибудь этакое высказывать, например, о Северной Ирландии?..) — Американский посол в Киеве Попадюк имел авантаж заявить, что Севастополь есть подлинно украинская территория. По какой исторической эрудиции или на каких юридических основаниях он вынес это своё учёное суждение? — не пояснил. Да и не надо: тотчас же и Госдепартамент подтвердил мнение г-на Попадюка. Это — о Севастополе, которого и сумасбродный Хрущёв не догадался «подарить» Украине, ибо он исключён был из Крыма как город центрального подчинения. (А спрашивается: какое дело Госдепартамента вообще высказываться о Севастополе?)

И одновременно же пустovesный Жириновский, далеко захлестывая за всё худшее, что когда-либо говорилось о российской политике в её осуждение, — в своих сумасбродных, крикливых и безумных заявлениях зовёт то превратить Среднюю Азию в пустыню, то — к Индийскому океану, то проглотить Польшу или Прибалтику, то воцариться на Балканах. Нельзя соорудить худшей карикатуры на русский патриотизм и нельзя предложить прямее пути, чтобы потопить Россию в крови.

Несомненна живая заинтересованность многих западных политиков в слабости России и желательном дальнейшем дроблении её (такое настойчивое подталкивание уже который год несёт нашим слушателям американское радио «Свобода»). Но скажу уверенно: эти политики плохо просматривают дальнюю перспективу XXI века. Ещё будут в нём ситуации, когда всей Европе и США ой как понадобится Россия в союзники.

Вторым следствием краха коммунизма в СССР должно было стать, как вгоряче объявлено в те августовские дни, — немедленное установление демократии. Но на 70-летней тоталитарной почве какая демократия может вырасти мгновенно? По окраинным республикам — мы слишком вполноне наблюдаем, что там выросло. А в России? Только в виде язвительной насмешки можно назвать нашу власть с 1991 — демократической, то есть властью народа. Демократии у нас нет уже потому, что не создано живое нескованное местное самоуправление: оно осталось под давлением тех же

местных боссов из местных коммунистов, а до Москвы — и тем более не докричишься. Народ у нас — никак не хозяин своей судьбы, а — игрушка её. На местах — настроение отчаяния: «о нас никто не думает», «мы никому не нужны», — и ведь верно. На народ легли только новые, невиданной формы тяготы — а коммунистическая номенклатура, ещё с горбачёвской подготовки, извернулась, отлично приспособилась и в «демократы» и не пострадала так, как жизненный фундамент страны. (А «золотые сынки» номенклатуры, выкормыши привилегированных коммунистических институтов, либо прямо пошли в управление страной, либо, по охотке, утекли в Америку, которую их отцы проклинали, даже и стуча ботинком; да и другие подготавливают себе на Западе посадочные площадки.) Исполнительная и так называемая законодательная власть — полтора года изнурительно, до взаимного бессилия, сражались друг с другом — на позор всей страны. (И тут не упустим отметить парадоксальную ситуацию: Верховный Совет, сторонники тоталитарной власти, по тактическим расчётам изо всех сил вынуждены были отстаивать «принципы демократии»; а «демократы», из таких же тактических соображений, стояли грудью за авторитарность власти. Столь тверды были принципы тех и других.) Обе борющиеся стороны безответственно, наперебой, заигрывали с сепаратизмом автономных республик, толкнули негодующие области и края объявлять и себя республиками, какой оставался им выход? И если бы этот балаган двоевластия не окончился — Россия бы уже распалась на куски. («Федеративным договором» Ленин ещё раз кусает нас из мавзолея. Но Россия никогда не была федерацией и не создавалась так.)

А когда этот кризис разрешился — кровью, избиением посторонних и опять на позор страны, — демократия потекла не снизу, а *сверху*, от центрального парламента, и по худшему руслу — через «партийные списки», там партия решит, кто именно будет радеть вашего избирательного округа; и это — при роскошных привилегиях парламентских депутатов и опять-таки нищете страны. Наше закоренелое несчастное русское свойство: *снизу* мы всё никак не научимся организовываться — а склонны ждать указаний от монарха, или вождя, или духовного или политического авторитета, — а их, вот, нет как нет, — мелюзговая суетня наверху.

Третьим следствием падения коммунизма должен был стать возврат к вожделенному (утраченному со старой России) *рынку* (по нашему коммунистическому обычаю так и звали — к будущему светлому рынку!). Но ещё Горбачёв потерял, протоптался 7 лет, в какие можно было этот переход начать с разумной постепенностью — оживлением экономического организма с самого низу, с мельчайшего бытового предпринимательства, чтобы народ сперва подкормился и обчинился, и лишь потом забирать выше и выше. Нет, с января 1992 поспешно обрушили на страну кабинетный (Международного Валютного Фонда и гайдаровский) проект («решали на ходу», «некогда было выбирать лучший вариант» — вспоминал потом Президент), — проект не «сбережения народа», а жестокого «шока» по нему; проект — невежественный, даже для простого дилетантского глаза: объявить «свободные цены» без наличия в стране конкурентной среды производителей, то есть свободу монопольных производителей как угодно высоко и сколь угодно долго повышать цены. (Автор реформы сперва выражал необдуманную надежду, что цены стабилизируются «вот, через два месяца», «вот, через полгода» — но не было причин, зачем бы им останавливаться. И никто не нашёл мужества объявить о своём близоруком промахе.) Вот когда нам до конца отпрыгнулись все последствия коммунизма. Производство ничем не стимулировалось, резко падало, цены резко росли, народ повергался в глубочайшую нищету — и за два протекших года это пока и есть главное действие реформы.

Нет, и ещё не главное. Самое-то страшное следствие этой безумной «реформы» — даже не экономическое, а психологическое. Беззащитный ужас, потерянности, которые охватили нашу народную массу от гайдаровской реформы и зримого торжества резвых акул беспроизводительной

коммерции (в безумии самодовольства они не стесняются выставлять своё ликование и по телевизору), можно сравнить только с тем, по Глебу Успенскому, «ударом рубля», которого не выдержал пореформенный мужик — и с тех-то пор поползла Россия в Катастрофу.

Самое отчётливое отображение и оценка нынешних реформ — в нашей демографии. Вот данные, уже известные теперь и мировой статистике. В 1993 смерти в России превзошли рождаемость на 800 тыс. В 1993 на 1000 чел. пришлось 14,6 смертей — на 20% выше, чем в 1992 («реформа!»), рождений 9,2 — на 15% ниже, чем в 1992. Именно за последние два года («реформа!») резко возросло число самоубийств — до трети от всех неестественных смертей. Отчаявшиеся люди не видят: зачем жить? и зачем рожать? Если в 1875 в России приходилось в среднем на одну женщину 7 детей, перед второй мировой войной в СССР — 3, ещё 5 лет назад — 2,17 ребёнка, то сегодня — чуть больше 1,4. Мы в мире аем. Вероятная долгота жизни взрослого мужчины опустилась до 60 лет, т. е. как в Бангладеш, Индонезии и частично в Африке⁵³. От демографов слышим: «трудно в это поверить, даже видя реальные цифры»; «такое явление впервые наблюдается в индустриальной стране вне войны и эпидемий», «такое драматическое снижение длительности жизни никогда не происходило в послевоенном мире. Это воистину потрясает»; «Россия стоит перед лицом небывалого демографического кризиса»⁵⁴.

Нынешний «удар доллара» — это ещё одна, ещё одна (и последняя ли?) расплата за наше остервенение и крах Семнадцатого года. Мы сейчас создаём жестокое, зверское, преступное общество — много хуже тех образцов, которые пытаемся копировать с Запада. Да можно ли вообще копировать уклад жизни? — он должен органически слиться с традициями страны; вот Япония — не копировала, вошла в мировую цивилизацию, не потеряв своеобразие. Как определял Густав Ле-Бон: национальную душу составляет сочетание традиций, мыслей, чувств и предрассудков; этого всего — не отбросить, и не надо. Мы третий год ни о чём другом не слышим, как об экономике. Но кризис в нашей стране сейчас — намного глубже, чем только экономический, — это кризис сознания и нравственности, настолько глубокий, что не посчитать, сколько десятилетий — или век — нам нужны, чтобы подняться.

Однако сузимся на нашей теме — на «русском вопросе» (потому беру в кавычки, что их часто так употребляют).

Русском — или российском?

В нашем многонациональном государстве оба термина имеют свой смысл и должны соблюдаться. Александр III говорил: «Россия должна принадлежать русским». Но с тех пор историческая эпоха стала взрослее на столетие — и неправоммерно бы уже сказать так (или, копируя бы украинских шовинистов, — «Россия для русских»). Вопреки предсказаниям многих мудрецов гуманизма и интернационализма — XX век прошёл при резком усилении национальных чувств повсюду в мире, и этот процесс ещё усиляется, нации — сопротивляются попыткам всемирной нивелировки их культур. И национальное сознание надо уважать всегда и везде, без исключений. (Я и писал в «Обустройстве»: в России «утвердить плодотворную содружность наций, и цельность каждой в ней культуры, и сохранность каждого в ней языка») — И «российский» и «русский» — имеет каждое свой объём понимания. (Лишь слово «россиянин», может быть и неизбежное в официальном употреблении, звучит худосочно. Не назовёт себя так ни мордвин, ни чуваш, а скажут: «я — мордвин», «я — чуваш».)

Справедливо напоминают, что на просторах российской равнины, веками открытой всем передвижениям, множество племён перемешивалось с русским этносом. Но когда мы говорим «национальность», мы и не имеем

⁵³ «Нью-Йорк Таймс», 6.3.94.

⁵⁴ Там же.

в виду *кровь*, а всегда — *дух, сознание*, направление предпочтений у человека. Смешанность крови — ничего не определяет. Уже века существует русский дух и русская культура, и все, кто к этому наследству привержены душой, сознанием, сердечной болью, — вот они и суть *русские*.

Ныне патриотизм во всякой бывшей окраинной республике считается «прогрессивным», а ожесточённый воинственный национализм там — никто не посмеет назвать ни «шовинизмом», ни, упаси Бог, «фашизмом». Однако к русскому патриотизму — ещё от революционных демократов начала XX века, прилипло и сохраняется определение «реакционный». А ныне всякое проявление русского национального сознания — резко осуждается и даже поспешно примежуется к «фашизму» (которого в России и не бывало никогда и который вообще невозможен без расовой основы, однорасового государства.)

Мне приходилось давать определение патриотизма в статье «Раскаяние и самоограничение» (1973). Спустя и два десятилетия я не берусь его поправить: «Патриотизм — это цельное и настойчивое чувство любви к своей родине и к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков и грехов». На *такой* патриотизм — имеет право любая нация, и русские — никак не меньше других. Иное дело, что после пережитых русскими кровопусканий, потеря от «противоотбора», подавления и обморочения сознания — сегодня патриотизм в России раздроблен в разрозненных единицах, не существует как единое, осознавшее себя движение, а многие из тех, кто зовут себя «патриотами» — прислонились за подкреплением к коммунизму и измазались в нём. (А то ещё и — поднимают, слабыми ручёнками, снова призрак панславизма, уже столько раз губившего Россию, и уж вовсе непосильный нам ныне.)

С. Н. Булгаков однажды написал так: «Те, сердце которых истекало кровью от боли за Родину, были в то же время её нелицемерными обличителями. Но только страждущая любовь даёт право на это национальное самозаушение; там же, где её нет... поношение родины, издевательство над матерью... вызывает чувство отвращения...»⁵⁵

В таком сознании и в таком праве я и пишу сейчас здесь.

Краткий и частный обзор русской истории четырёх последних веков, сделанный выше в этой статье, мог бы показаться чудовищно пессимистическим, а «петербургский период» несправедливо развенчанным, если бы не нынешнее глухое падение и падшее состояние русского народа. (Под обаянием этого блеска «петербургского периода», — да уж по сравнению с периодом большевицким, три года назад жители города на Неве с большим энтузиазмом восстановили — совсем не в лад и к XX веку, и к нашей растерзанной стране в лохмотьях — как белое крахмальное жабо название «Санкт-Петербург...») Как же некогда могучая и избывающая здоровьем Россия — могла вот так пасть? Три таких великих болезненных Смуты — Семнадцатого века, Семнадцатого года и нынешняя — ведь они не могут быть случайностью. Какие-то коренные государственные и духовные пороки привели к ним. Если мы четыре века растрчивали народную силу на ненужное внешнее, а в Девятьсот Семнадцатом могли так слепо клюнуть на дешёвые призывы к грабежу и дезертирству, — то когда-то же пришло время и платить? Наше сегодняшнее жалкое положение — оно как-то накоплялось в нашей истории?

И вот, мы докатились до Великой Русской Катастрофы 90-х годов XX века. За столетие многое вплеталось сюда, — Девятьсот Семнадцатый год, и 70 лет большевицкого развращения, и миллионы, взятые на Архипелаг ГУЛаг, и миллионы, уложенные без бережи на войне, так что в редкую русскую деревню вернулись мужчины, — и нынешний по народу «удар Долларом», в ореоле ликующих, хохочущих нуворишей и воров.

⁵⁵ С. Булгаков. Размышления о национальности. «Два Града», вып. II, с. 289.

В Катастрофу входит — прежде всего наше вымирание. И эти потери будут расти: в нынешней непроглядной нищете сколько же женщины решатся рожать? Не менее вчислялся в Катастрофу и неполноценные и больные дети, а они множатся от условий жизни и от безмерного пьянства отцов. И полный провал нашей школы, не способной сегодня возвращать поколение нравственное и знающее. И жилищная скудость такая, какую давно миновал цивилизованный мир. И кишение взяточников в государственном аппарате — вплоть до тех, кто по дешёвке отпускает в иностранную концессию наши нефтяные поля или редкие металлы. (Да что терять, если предки в восьми изнурительных войнах лили кровь, пробиваясь к Чёрному морю, — и всё это как корова слизнула в один день?) Катастрофа и в раслоении русских как бы на две разных нации: огромный провинциально-деревенский массив — и совсем на него не похожая, иначе мыслящая столичная малочисленность с западной культурой. Катастрофа — в сегодняшней аморфности русского национального сознания, в сером равнодушии к своей национальной принадлежности и ещё большем равнодушии к соотечественникам, попавшим в беду. Катастрофа и в изувеченности нашего интеллекта советской эпохой: обман и ложь коммунизма так наслонились на сознание, что многие даже не различают на своих глазах эту пелену. — Катастрофа и в том, что для государственного руководства слишком мало у нас людей, кто бы одновременно был: мудр, мужественен и бескомпромисстен, — всё никак эти три качества не соединятся в новом Столыпине.

Сам русский характер народный, так известный нашим предкам, столько изображённый нашими писателями и наблюденный вдумчивыми иностранцами, — сам этот характер угнетался, омрачался и изламывался во весь советский период. Уходили, утекали из нашей души — наша открытость, прямота, повышенная простоватость, естественная непринуждённость, уживчивость, доверчивое смирение с судьбой, долготерпение, долговыносливость, непогоня за внешним успехом, готовность к самоосуждению, к раскаянию, скромность в совершении подвига, сострадательность и великодушие. Большевики издёргали, искрутили и изожгли наш характер — более всего выжигали сострадательность, готовность помогать другим, чувство братства, а в чём динамизировали — то в плохом и жестоком, однако не восполнив наш национальный жизненный порок: малую способность к самостоятельности и самоорганизации, вместо нас всё это направляли комиссары.

А рублёво-долларовый удар 90-х годов ещё по-новому сотряс наш характер: кто сохранял ещё прежние добрые черты — оказались самыми неподготовленными к новому виду жизни, беспомощными негодными неудачниками, не способными заработать на прокормление (страшно — когда родители перед своими же детьми!) — и только с растарашенными глазами и задыхаясь обкатывались новой породой и новым кликом: «нажива! нажива любой ценой! хоть обманом, хоть разворотом, хоть растлением, хоть продажей материнского (родины) добра!» «Нажива» — стала новой (и какой же ничтожной) Идеологией. Разгромная, разрушительная переделка, ещё пока никакого добра и успеха не принесяшая нашему народному хозяйству и не видно такого, — густо дохнула распадом в народный характер.

И не дай Бог нынешнему распаду стать невозвратным.

(Отразилось всё и в языке, зеркале народного характера. Наши соотечественники весь советский период неизменно теряли, а сейчас — обрушило потеряли собственно *русский язык*. Не буду говорить о биржевых дельцах, ни о затасканных журналистах, ни о столичных комнатных писательницах — но даже литераторы из крестьянских детей с отвращением отталкиваются: как это я смею использовать коренные сочные русские слова, от веку существовавшие в русском языке? Даже им теперь понятнее, не вызывают *ничего* нарекания такие дивные новизны русского языка, как брифинг, прессинг, маркетинг, рейтинг, холдинг, ваучер, истеблишмент, консенсус — и многие десятки их. Уже полная глухота...)

«Русский вопрос» к концу XX века стоит очень недвусмысленно: *быть* нашему народу или *не быть*? Да, по всему земному шару катится волна плоской, пошлой нивелировки культур, традиций, национальностей, характеров. Однако сколько выстаивают против неё без пошата и даже гордо! Но — не мы... И если дело пойдёт так и дальше — то ещё через век слово «русский» как бы не пришлось вычёркивать из словарей.

Из нынешнего униженного, потерянного состояния мы обязаны выйти — если уж не для себя, то в память предков и ради наших детей и внуков.

Сегодня мы слышим толки об одной лишь экономике — и наша загнанная экономика вправду душит нас. Однако экономика сгодится и для безличного этнического материала, — а нам надо спасти и наш характер, наши народные традиции, нашу национальную культуру, наш исторический путь.

Русский эмигрант проф. Н. С. Тимашев как-то отметил, верно: «Во всяком общественном состоянии есть, как правило, несколько возможностей, которые, становясь вероятными, превращаются в тенденции общественного развития. Какие из этих тенденций осуществляются, а какие нет, — предсказать с абсолютной уверенностью нельзя: это зависит от встречи тенденций друг с другом. И поэтому человеческой воле принадлежит гораздо бóльшая роль, чем это допускается старой эволюционной теорией». Материалистической.

И это — христианский взгляд.

Наша история сегодня видится как потерянная — но при верных усилиях нашей воли она, может быть, теперь-то и начнётся — вполне здравая, устремлённая на своё внутреннее здоровье, и в своих границах, без заносов в чужие интересы, как мы навидались в начальном обзоре. Ещё раз напомним Успенского, как он написал о задачах школы: «Превратить эгоистическое сердце в сердце всескорбящее». Нам и предстоит построить такую школу: в первый класс её сядут дети уже развращённого народа — а из последнего чтобы вышли с нравственным духом.

Мы должны строить Россию *нравственную* — или уж никакую, тогда и всё равно. Все добрые семена, какие на Руси ещё чудом не дотоптаны, — мы должны выберечь и вырастить. (Поможет ли нам православная церковь? За годы коммунизма она более всех разгромлена. А ещё же — внутренне подорвана своей трёхвековой покорностью государственной власти, потеряла импульс сильных общественных действий. А сейчас, при активной экспансии в Россию иностранных конфессий и сект, богатых денежными средствами, при «принципе равных возможностей» их с нищетой русской церкви, идёт вообще вытеснение православия из русской жизни. Впрочем, новый взрыв материализма, на этот раз «капиталистического», угрожает и всем религиям вообще.)

Но из многочисленных писем из русской провинции, с просторов России, я эти годы узнаю рассеянных по этим просторам духовно здоровых людей, и часто молодых, только разрозненных, без духовной подпитки. С возвратом на родину я надеюсь многих из них повидать. Надежда — именно и только на это здоровое ядро живых людей. Может быть, они, возрастая, взаимовлияя, соединяя усилия, — постепенно оздоровят нашу нацию.

Минуло два с половиной столетия — а всё так же выситя перед нами, по наследству от П. И. Шувалова неисполненное **Сбережение Народа**.

Ничего для нас нет сегодня важнее. И именно — в этом «русский вопрос» в конце XX века.

ПУБЛИЦИСТИКА

ДМИТРИЙ ШУШАРИН

*

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОНТЕКСТ

По-настоящему трагична свобода

Надежда Мандельштам

В своей полемической статье «С кем вы, мастера культуры?», опубликованной в 1981 году в эмигрантском журнале «Голос зарубежья» (№ 20 — 21), а затем в сборнике «Земля за бугром» («Эрмитаж», США, 1983), публицист и историк Д. Штурман так определила одну из главных отличительных особенностей советской интеллигенции:

«Этот круг, по роду своих занятий и дарований вынужденный десятилетиями подвизаться на советской идеологической барщине, испытывает отвращение ко всякой тенденциозности, почти независимо от содержания самих тенденций. Полное неприятие тенденциозности становится их тенденцией.

Этим людям так долго навязывали не только обязательные высказывания и поведение, но и обязательное миропонимание, что они почитают обскурантизмом всякую мировоззренческую определенность. Им кажется деспотической любая попытка отстаивать такую определенность. Они делают исключение только для апологии неопределенности и недействия, для все уравнивающей иронии и беспечной игры словами, которые легче всего считать свидетельством широты взглядов и глупокомыслия».

Нечто подобное писала про интеллигентскую среду (правда, не 70 — 80-х, а 30-х годов) Надежда Мандельштам. В этой среде, по ее свидетельству, «называть вещи своими именами считалось неприличным, жесткая логика воспринималась как излишняя грубость».

Совершенно так же обстоит дело и сегодня. За добродетель среди большинства наших интеллигентов почитаются мировоззренческая двойственность и неопределенность, а наибольшую неприязнь вызывает даже не та или иная позиция, но само наличие позиции. Ясность и однозначность воспринимаются многими как неприличный радикализм или того хуже — экстремизм. Ныне у интеллигенции в почете превратно понятое и дурно истолкованное смирение — точнее сказать, смиренничество, все чаще находящее свое выражение в воинственном пустосвятстве, агрессивном ханжестве.

За ясность, последовательность, определенность, твердую веру в начатое дело многие интеллигенты невзлюбили Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Когда в Москве 3 октября 1993 года пролилась первая кровь и президент занял непримиримую позицию по отношению к советской власти, предоставив генералу Грачеву те полномочия, которые «смирный» Керенский не предоставил однажды генералу Корнилову, большинство вчерашних «демократов» возопило: «Чума на оба ваших дома! Нужен третий путь!» Какой именно, правда, никто уточнить не потрудился. Это с успехом сделал Жириновский двумя месяцами спустя.

Смирение, оказывается, может быть и агрессивным, если это то самое смирение, которое описал Честертон в своей «Ортодоксии», книге, вышедшей в свет

Статья историка Дмитрия Шушарина публикуется в рамках ведущейся на страницах «Нового мира» дискуссии об истории России, ее культуре, о сложных социокультурных и духовных процессах, идущих сегодня в молодом Российском государстве. Эта дискуссия была начата нами в прошлом и продолжена в этом году материалами Андрея Быстрицкого «Приближение к миру» и о. Александра Шмемана «Духовные судьбы России» (1994, № 3), Д. Штурман «В поисках универсального со-знания» (1994, № 4) и Ю. Каграманова «На стыке времен» (1994, № 5).

почти одновременно (возьмем этот факт на заметку) со знаменитыми российскими «Вехами». Католический мыслитель утверждал: «...сегодня мы страдаем оттого, что смирение не на своем месте. Скромность умеряет теперь не уверенность в себе, но веру в свои убеждения, — а это вовсе не нужно. Человек задуман сомневающимся в себе, но не в истине — это извращение»¹.

«Самоубийство мысли» — так назвал Честертон главу своей книги, в которой он рассуждал о ложном смирении. Сказано все это было в иное время, при иных обстоятельствах, но как будто о нас, о дне сегодняшнем, когда часть нации, именуемая себя интеллигенцией, становится все смиреннее и смиреннее именно в том смысле, на который указывал Честертон. Но при всем этом интеллигенция продолжает сохранять незыблемую уверенность в собственных прикладных социальных знаниях и общественных способностях, как бы компенсируя уверенностью в своей кажущейся сиюминутной моральной правоте отсутствие общей идеи, незнание того, чего же, собственно, она, интеллигенция, в конечном счете добивается и ради чего пытаются действовать. Именно пытаются. Ведь, как справедливо говорил тот же Честертон, «надо верить во что-то вечное, если хочешь действовать быстро»². Однако же такой веры у большинства нынешних общественных деятелей — политиков, всевозможных экспертов и аналитиков, журналистов и литераторов — по всему судя, не обнаруживается. В душах и делах этих людей отсутствует сам источник веры, позволяющей видеть события, происходящие в стране и мире в их культурном и историческом объеме и масштабе, в их ретроспективе и перспективе, в их взаимообязанности и взаимообусловленности.

Отсюда отсутствие у нашей интеллигенции христианского чувства и христианского понимания истории, неумение соизмерять с ней, историей, свои знания, слова и поступки.

Отсюда — внеконтекстуальность восприятия наследия социальной мысли прошлых лет. Поверхностное, некритическое, сугубо механическое использование и произвольная интерпретация различных идей и концепций, вырванных из единого исторического социокультурного контекста, в котором они рождались и в котором существуют сейчас.

Отсюда — утрата представителями так называемой культурной элиты навыков ясного, определенного самоанализа и самоидентификации.

Отсюда — неспособность большей части теперешних российских интеллектуалов к сколько-нибудь четкому и трезвому стратегическому целеполаганию.

Отсюда — постоянно увеличивающаяся в своих размерах пропасть между этикой и социальной практикой, между духовными и социальными аспектами жизни современного российского общества.

И необходимо прямо сказать, если эта пропасть не будет в ближайшее время преодолена, самоубийство общественной мысли станет неизбежным. Тогда переживаемый нами в настоящее время кризис национального сознания может обернуться новой, быть может, еще более страшной социальной катастрофой, нежели та, что случилась в России в 1917 году.

1

Очевидно, что наследие русских религиозных мыслителей XX века основной частью мыслителей «позднесоветских», так называемых шестидесятников, ставших вдохновителями горбачевских реформ и вошедших затем в интеллектуальный «штаб перестройки», в расчет не принималось. И это вполне закономерно.

Суть «шестидесятничества» изначально состояла в стремлении его адептов переосмыслить в контексте культуры принципиально и изначально внекультурные, внецивилизационные явления с тем, чтобы окультурить, цивилизовать их. Возможно, это было только в условиях существования вне традиции, вне контекста мировой и русской культуры. Историческая и культурная внеконтекстуальность шестидесятников во многом объяснялась тем, что они выросли и сформировались в ту эпоху, когда, по словам Надежды Мандельштам, «под корень вырубали все основы социальной жизни, на которой строилась европейская, а следовательно, и русская культура: христианское понимание времени, истории и личности». Но это не значит, что шестидесятники вовсе не искали в истории и культуре ориентиров (лич-

¹ Честертон Г. К. Вечный человек. М. 1991, стр. 376.

² Там же, стр. 437.

ностей и явлений) для самоидентификации. Они их искали и находили. Особенно интересовались советские вольнодумцы деятелями российской асоциальной оппозиции XIX столетия — декабристами, народовольцами. (Не случайно демократически настроенные писатели с энтузиазмом участвовали в работе над книгами из серии «Пламенные революционеры». Достаточно вспомнить повесть о Павле Пестеле «Глоток Свободы», написанную Б. Окуджавой, или произведения, посвященные видным народовольцам Ю. Трифонову и Ю. Давыдову.) Восхищаясь революционерами прошлого, их личным свободолобием, благородством, жертвенностью и т. д., наши внутренние оппозиционеры совсем не брали в расчет того очевидно-го обстоятельства, что борцы с самодержавием стремились насильственным, то есть неестественным путем низвергнуть пусть и далекий от совершенства, но эволюционировавший и в целом органичный, веками формировавшийся государственный уклад. Выбранные нашими интеллигентами в качестве предмета для преклонения деятели представляли собой асоциальные силы, борющиеся с социальными явлениями, в то время как сами советские вольнодумцы как бы находились в социальной оппозиции (да к тому же еще и половинчатой) к асоциальному режиму.

Следует заметить, что декабристы, конечно, декабристами, но все же главными своими предшественниками наши шестидесятники в массе своей назначили революционеров-демократов — шестидесятников XIX века. Случилось это, видимо, и в силу ощущения «классовой близости» — межсословного, «прослоечного» положения в социуме и тех и других, и ввиду общих перманентно оппозиционных взаимоотношений с властью, сходного полулегального, межумочного существования, и в силу конгениальной безбожной «духовности», склонности к внецерковному, светскому жизнеучительству. (Показательно также, что советские интеллигенты «оттепельной» и «постоттепельной» эпох охотно обыгрывали совпадение временных рамок бытования термина «шестидесятничество» применительно к нынешнему и прошлому столетиям.)

И здесь уместно сделать небольшое литературное отступление.

Один из крупнейших писателей русского зарубежья Владимир Набоков посвятил отдельную главу, может быть, лучшего своего романа «Дар» жизни и деятельности наиболее видного — «культового» шестидесятника прошлого века — Николая Чернышевского.

Позволю себе напомнить ход мыслей главного героя романа писателя-эмигранта Годунова-Чердынцева, оставившего планы написания книги об отце — путешественнике-естествоиспытателе, с тем, чтобы создать другую книгу, названную им «Жизнь Чернышевского». Изменение планов героя произошло потому, что он, просматривая советский журнал, испытал неприятные чувства: «Вдруг ему стало обидно — отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться». И вот Годунов-Чердынцев занялся легендарной личностью великого революционера-демократа, оказавшегося при внимательном знакомстве с его биографией человеком в высшей степени нелепым, нескладным, «безруким», совершенно не приспособленным к той самой реальной жизни, которую он столь страстно желал переиначить, к какой-либо позитивной деятельности (штопал панталоны, окунув нитки в чернила, в результате чего забрызгал чужую книгу, а потом протер до дыр те места, где были пятна). С женой своей Ольгой Сократовной Чернышевский справиться не мог — она ему постоянно изменяла; не было у Николая Гавриловича и общего языка с сыновьями. Все выходило у него «плохонько, коряво и серо». Перед обычным, материальным, вещественным миром Чернышевский ужасно терялся. Годунов-Чердынцев (или Набоков) объясняет эту растерянность так:

«Нам вообще кажется, что материалисты его типа впадали в роковую ошибку: пренебрегая свойствами самой вещи, они все применяли свой сугубо-вещественный метод лишь к отношениям между предметами, а не к предмету самому, т. е. были по существу наивнейшими метафизиками как раз тогда, когда более всего хотели стоять на земле».

Материализм, таким образом, для Набокова есть средство «овеществления», а значит, примитивизации и фальсификации причинно-следственных и иных связей, отношений между явлениями и предметами. Он разрушает гуманитарность как особую форму научного мышления, делает картину мира плоской и не черно-белой даже, а бесцветной, пошлой. (Мне уже приходилось писать о том, что пошлость есть прежде всего несовпадение ментальности и реальности. И в

этом смысле она, пошлость, является системообразующим принципом, поскольку подменяет действительность отвлеченно-рассудочной схемой на любом уровне сознания — религиозном, научном, социальном, обыденном.) Материализм совершенно не нуждается даже в элементарном знании об окружающем мире. Он невосприимчив к сложной — многозначной и многомерной — информации о мире. Годунов-Чердынцев (или Набоков) отмечает: «Вот какая страшная отвлеченность получилась в конечном счете из „материализма“! Чернышевский не отличал плуга от сохи, путал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы; но характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял „общей мыслью“, добавляя с убеждением невежды, что „они (цветы сибирской тайги) все те же самые, какие цветут по всей России“».

И окончательный вывод: «Такие средства познания, как диалектический материализм, необыкновенно напоминают недобросовестные рекламы патентованных снадобий, врачующих сразу все болезни». С помощью таких «универсальных» снадобий и взялись лечить шестидесятники прошлого (а отчасти и нынешнего) столетия серьезные общественные недуги, требующие куда более сложных и квалифицированных способов врачевания.

Годунов-Чердынцев (или Набоков) подметил еще одну существенную черту образа мыслей Чернышевского — его неприязнь к монографии, то есть индивидуальному творению, и благоговение перед энциклопедией, которая безлична и коллективна (даже если написана одним человеком). И здесь можно обнаружить значимую параллель с одним из духовных наследников Николая Гавриловича — М. Горьким.

«Думаю, что вся его огромная и поражающая эрудиция сводится именно к этому — к номенклатуре. Он верит в названия, в собственные имена, в заглавия, в реестр и каталог»³. Или вот еще: «Горький — малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке... Горький именно потому и икона теперь, что он не психологичен, несложен, элементарен»⁴. Здесь же приводит Чуковский и отзыв о Горьком Мережковского: «Горький не чувствует мира, не чувствует вечности, не чувствует Бога. Горький — высшая и страшная пошлость»⁵.

Есть нечто общее в характеристиках и наблюдениях, сделанных столь разными людьми, как Набоков и Чуковский. Это общее — в ощущении серости, внутренней пустоты (в христианском понимании этого слова), примитивности, пошлости той псевдокультуры, носителями которой выступали, каждый в свое время, Чернышевский и Горький. Причем что касается последнего, то в дневнике Чуковского можно без труда найти детали, обличающие в Горьком еще и мизантропа, крестьяноненавистника, с презрением и неприязнью относившегося ко всякому крепкому труженику — купцу, хозяину-мещанину и т. д. — как к человеку, будто бы нуждающемуся в непременной переделке, перековке, культурном перевоспитании. В этом отношении Горький также прямой наследник шестидесятников XIX века и предшественник шестидесятников века XX.

«Народ», «массы», «революционные классы» были и для российских шестидесятников, и для большевиков (сколько бы сами они ни говорили о своем народолюбии и чтобы ни писал по этому поводу Ульянов-Ленин), и для шестидесятников советских исключительно объектом их «преобразующей» деятельности. Но поскольку в реальной жизни прямые субъект-объектные отношения между двумя (или теми, кто к этой власти стремится) и обществом если и возможны, то их результаты всегда предельно разрушительны, деструктивны, их неизбежным следствием является умертвление реальности, фальсификация мира, его пересоздание, пере моделирование на свой лад и аршин. (А на свой-то аршин ничего, кроме «плохонького, корявого и серого», не выходит.)

Подобный «творческий» подход к жизни, миру и людям и составляет существо внецивилизационной (или асоциальной, а в государственном плане антиинституциональной) радикальной парадигмы общественного сознания.

Причем следует помнить, что парадигма эта может развиваться как в крайне левых, так и в крайне правых формах.

Русский мыслитель и публицист И. Ильин, на которого так любят ссылаться наши национал-патриоты, писал в своей малоизвестной до самого последнего вре-

³ Чуковский К. Дневник. 1901 — 1929. М. 1991, стр. 110.

⁴ Там же, стр. 122.

⁵ Там же, стр. 120.

мени широкому современному читателю статье «Черносотенство»: «Государство и государственная власть суть учреждения не классовые, а всенародные; их задача в создании общего блага, а не личного, не частного и не классового. Люди могут расходиться в понимании общего блага, но не ставить чью бы то ни было частную корысть выше интереса родины. И если это делается, то они разрушают государство и родину, безразлично — делают это правые или левые.

Если корыстная политика справа есть черносотенство, то корыстная политика слева есть большевизм; это явления однородные, ядовитые и разрушительные...

...Классовой диктатуре справа соответствует классовая диктатура слева. И в этом смысле можно было бы сказать, что большевизм суть „черносотенцы слева“, а черносотенцы суть „большевики справа“»⁶.

Теперь можно уже с полным основанием констатировать, что российский коммунизм оказался явлением универсальным, успешно аккумулировавшим в себе одновременно как левую, так и правую формы крайнего радикализма, что помогло ему довольно уверенно адаптироваться к постоянно меняющимся внешне- и внутриполитическим условиям и обеспечило сравнительно долгое и устойчивое существование. Если Ленин использовал преимущественно «левый» потенциал большевизма, то Сталин актуализировал его «правый», национал-шовинистический потенциал, а Хрущев вновь воспользовался слегка откорректированным «левым» и т. д.

Поэтому сколько-нибудь успешно противостоять тоталитарному коммунистическому монстру можно было не внутри (как то пытались делать шестидесятники), а только будучи вне его догм, постулатов и структур, вне всей его парадигмы, то есть находясь в иной системе координат, в другом — культурном, этическом, духовном, цивилизованном контексте. Борьба же со сталинизмом под знаменем Ленина и водительством Хрущева было столь же нелепо и бессмысленно, как и, используя выражение публициста Максима Соколова, изгонять бесов посредством Вельзевула⁷.

Как убедительно доказывает история XX века, единственной и наиболее действенной силой, способной противостоять и левому большевизму и правому социализму, является просвещенный либерально-христианский консерватизм, провозвестниками которого в России, собственно, и были наши религиозные мыслители — С. Булгаков, С. Франк, П. Струве, Г. Федотов, И. Ильин. Однако, как уже говорилось, их наследие как раз и не принималось в расчет равнявшимися главным образом на материалистов-демократов прошлого столетия нашими шестидесятниками.

Духовный, исторический, культурный и политический инфантилизм был и остается основным родовым свойством советской шестидесятнической интеллигенции.

Можно по-разному относиться к творчеству М. Булгакова. Но нельзя не признать, что появление в конце «демократических реформ» 60-х его романа «Мастер и Маргарита» пришлось очень кстати и не случайно вызвало столь восторженный, зачастую лишенный всякой сколько-нибудь серьезной рефлексии отклик у читающей публики. Критик В. Лакшин, помнится, даже написал, что евангельские истины выражены в этой книге точнее, чем в Евангелии. Между тем в булгаковском романе вообще нет Христа. «Га-ноцири» — «другой» — это талмудическое именование Спасителя, и оно чрезвычайно значимо для серьезной оценки книги.

Рискуно предположить, что успех «Мастера и Маргариты» был обусловлен не только «метафизическим голодом» интеллигенции, но и содержащимся в книге обоснованием возможности (если не благотворности) сотрудничества с сатаной (выведенным Булгаковым хотя и циничным, но все же — или именно поэтому — мудрым и обаятельным). По душе шестидесятникам пришелся и финал романа, из которого следует, что бывшее можно сделать не бывшим. Интересно, что подобно-го рода манипуляциями с историей занимались служащие Министерства Правды из романа Оруэлла «1984». Однако же даже сегодня, когда Оруэлла прочитали

⁶ Иван Ильин, «Черносотенство» («Сегодня», 21.12.93).

⁷ Так и нынче многие наши демократы заявляют о своей готовности объединиться с коммунистами Зюганова против радикал-шовинистов Жириновского, хотя после октябрьских 1993 года событий, когда большевики-анпиловцы весьма дружно и слаженно действовали заодно с нацистами-баркашовцами, такие заявления выглядят по меньшей мере легкомысленными. Будто не про нас сказано: волка на собак в помощь не зови.

многие, такие аналогии никому в голову не приходят. Как мало кто задумывается и над тем, что даже не во власти Бога, способного простить любого преступника и негодяя, сделать бывшее небывшим и снять тем самым с человека личную ответственность за жизнь и историю. И лишь дьявол может создать иллюзию избавления от ответственности.

Плоть от плоти антихристианской, антицивилизационной системы ценностей, шестидесятники, естественно, не умели распознавать духов, видеть и понимать события в свете истины и оттого так легко поддались прелести «оттепели». Они были очарованы и прельщены тем, чем не могут прельщаться духовно зоркие, духовно зрелые деятели.

Действительно, после XX съезда, после наступления вслед за эпохой массового и открытого сталинского людоедства эры относительного вегетарианства, людям, никогда не знавшим свободы, живого, полноценного бытия, даже не знакомым с христианскими основами культуры и этики, могло казаться, что страна вот-вот станет цивилизованной и свободной.

Но, конечно же, ни о каком гуманном, свободном, гражданском обществе не могло быть и речи, поскольку незыблемой оставалась та асоциальная общественная модель, основу которой составлял все тот же субъект-объектный характер отношений государства и общества. Иначе говоря, человек по-прежнему рассматривался властью предержащими не как самоценный, полноправный субъект истории, полностью отвечающий перед Богом за свою жизнь и судьбу, но как объект, лишенный самостояния и подлежащий непрерывной силовой опеке, насильственно-му прямому воздействию и управлению со стороны тоталитарной власти. Несколько изменились лишь способы этого воздействия, ставшие более циничными и замаскированными: там, где Ленин и Сталин давили, насильствовали и уничтожали, там на первых порах Хрущев и пришедшие затем ему на смену вожди обольщали, соблазняли и развращали. Впрочем, когда требовалось, не гнушались они и применением грубой силы. Особенно в отношении внешнего мира.

Послевоенная, постсталинская активизация советской внешней политики ознаменовалась созданием Варшавского пакта и вторжением в Венгрию. Затем последовало решительное вмешательство в ближневосточный конфликт, в дела ряда африканских и азиатских стран. Хрущев с присущими ему энтузиазмом и энергией принялся расширять коммунистический мир аж до Египта и Кубы. И здесь советским агрессорам как нельзя кстати пришлась новая программа КПСС, явившаяся плодом интеллектуального холяужа «птенцов гнезда Хрущева» — образованцев «оттепельной» формации, объявивших себя спустя тридцать лет идейными предтечами перестройки. Новая партийная программа, провозгласившая троичную схему «современного мирового революционного процесса» (включающего в себя в качестве составляющих «социалистический лагерь», «международное коммунистическое и рабочее движение» и движение «национально-освободительное») и обещавшая скорое торжество коммунизма как в СССР, так, по сути дела, и на всей остальной планете, реанимировала уже было забытую на период сталинского национал-империализма ленинскую идею торжества мировой революции и стала в дальнейшем основным фактором, оправдывавшим все последующие военные авантюры большевиков: под знаменем «пролетарского интернационализма» уничтожалась «пражская весна» и оккупировался Афганистан.

Что же до внутренней политики, то здесь все оказалось куда проще. Пробудившийся в народе после окончания второй мировой войны на фоне лукавых заигрываний Сталина с Церковью и ограниченного вовлечения последней в общественную жизнь «метафизический голод» был Хрущевым довольно быстро и эффективно «удовлетворен»: началась новая волна разрушения и закрытия храмов и массовых гонений на верующих, сравнимая по своим масштабам разве что с репрессиями против Церкви первых лет советской власти. А интеллигенцию (молодых шестидесятников), в общем, по-настоящему и даже репрессировать не потребовалось. Состоялось несколько идеологических разборок с поэтами и художниками — те немного расстроились, насупились, обиделись. Ну да у большинства это скоро прошло⁸.

Более того, воспевшая «оттепель» «демократическая» интеллигенция (чем в решающей мере споспешествовавшая ренессансу коммунистической идеологии в ее

⁸ Конечно, любое обобщение, подобно сравнению, хромает. Но в данном случае я говорю не об исключениях (а они были), но о правиле, о тенденции.

большевистско-утопическом, прельстительно романтическом варианте) в массе своей (кроме небольшой группы последовательных диссидентов-антикоммунистов, как А. Солженицын, В. Буковский, А. Амальрик, отринувших большевизм как таковой во всех его ипостасях) полностью примирилась с отведенными ей правителями функциями (власти-знания, власти-науки, власти-искусства и т. д.), позволяя себе разве что кухонное, брюзжащее фрондерство. Правда, на рубеже 60 — 70-х годов несколько оживилась внутрихудожественная, внутрилитературная жизнь, а вместе с ней как будто бы вновь возник давний и плодотворный для русской культуры спор о судьбах страны между западниками и славянофилами. Всплывший вроде бы из небытия спор этот не был культурной мистификацией (спорили яростно, до посинения, до разрыва личных отношений, журналы и газеты пестрели нешуточно хлесткими, направленными друг против друга статьями). Он был внекультурной фикцией.

Во-первых, потому, что западники и славянофилы прошлого века участвовали в одном, общем и свободном процессе — становлении национального самосознания, в развитии национальной рефлексии. Те и другие, хотя в разной степени, находились в оппозиции к современным им формам самодержавного правления. Те и другие искали пути, ведущие к формированию гражданского общества, и поэтому, очевидно, сами их идейные расхождения иной раз могли показаться не столь уж значительными: западники, обращаясь к европейскому опыту, нередко возвращались в своих поисках к русской общине, а славянофилы, выявляя в отечественной истории истоки «общественных начал», стремились осмыслить их в европейском контексте.

Во-вторых, спор, начатый советскими литераторами в конце 60-х годов и продолженный уже при генсеке-реформаторе, не был, строго говоря, общественным. Он был придворным и как бы являл собой борьбу профессора Преображенского со Швондером и Шариковым в рамках телефонного права — чей покровитель брал верх, кому удавалось повлиять на власть в большей степени, тот и отвоёвывал жилплощадь. Борьба тут опять шла между двумя составляющими большевизма. Кстати, сами правители, хотя и жестко контролировали подобные споры, следя, чтобы кто-нибудь чего лишнего не сболтнул, в известном смысле нуждались в них. Ибо уже в начале 70-х годов власть осталась без ясно определенного идеологического фундамента: коммунистическая идея, актуализированная Хрущевым, постепенно сходилась на нет, а шовинистический, имперский потенциал большевизма никак не мог получить адекватную времени артикулированность.

Так что необходимо признать, что реальной, массовой и последовательной оппозиции всей антицивилизационной, антихристианской системе большевизма внутри страны не было. Нравится нам это или нет, но приходится констатировать — свобода пришла к нам извне, с Запада⁹.

Мой коллега историк Георгий Дерлугьян, работающий ныне в США, предложил такую интерпретацию предшествующих перестройке событий. Я позволю себе процитировать фрагмент из его рукописи, любезно предоставленной мне автором:

«В брежневскую эпоху, которая, несмотря на все разрядки и совещания, все равно была частью холодной войны, внутри советской мироимперии был достигнут желанный внутренний покой. Это касалось и правящих слоев и простого народа. На какое-то время стране хватило и еды и одежды, в основном за счет иррационально растрачивавшихся нефтедолларов. Некие подобие системы стала приобретать и социалистическая интеграция в рамках СЭВ — значительная часть потребительских товаров поступала в СССР от партнеров по этой организации в обмен на сырье. При этом, правда, все стороны считали себя обделенными, пересчитывая свой товарообмен с братскими странами почему-то в ценах мирового, то есть капиталистического, рынка.

Кризис, охвативший СССР в последние предперестроечные годы, можно вслед за Александром Зиновьевым рассматривать как «кризис перепроизводства ста-

⁹ Собственно, это было предсказано некоторыми русскими мыслителями зарубежья, например Г. Федотовым, писавшим: «Свобода в общественно-политическом смысле не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе».

бильности». В самом деле, поскольку основные характеристики так называемого социалистического общества негативно, «зеркально» соотносятся с базовыми параметрами общества, которое принято называть капиталистическим, то было бы методологической ошибкой судить о состоянии социализма по шкале оценок капитализма. Если при капитализме показателем успешного функционирования системы служит высокая продуктивность при терпимых и нейтрализуемых социальных издержках, то у близнеца-антипода это будет воспроизводство общественного спокойствия при терпимо низкой производительности труда. Из этого следует, что при исторически известном, «реальном» социализме должны циклически возникать кризисы перепроизводства социальной статики.

Если бы Советский Союз мог существовать в полной изоляции от капиталистической миросистемы, то никакой цикличности не было бы, ибо понятие исторического времени и исторического прогресса изначально отсутствует в антимиротемном мифологическом пространстве. Аналогия с «черной дырой» вполне уместна. Была бы некая тоталитарная утопическая идиллия, при которой лидеры никогда бы не умирали и были бы «вечно живыми», только население бы сокращалось от недоедания, болезней да от регулярно взрывающихся атомных станций, нефтепроводов, железнодорожных катастроф.

Однако и капитализм — умозрение, абстракция, нуждающаяся в историческом воплощении. В послевоенное время западные страны начали переходить от индустриальных производительных сил к постиндустриальным, научно-техническим. Дымящиеся трубы и серебристые газгольдеры перестали быть признаком прогресса, такой пейзаж начал приличествовать развивающимся странам полупериферийного типа. Но социализм по времени своего возникновения скопировал, отразил индустриальную модель развития, которая стала матрицей, генетическим кодом его существования».

Продолжая мысль Георгия Дерлугьяна и используя присущую ему терминологию, можно сказать, что к середине 80-х Советский Союз оказался в глубоком кризисе. Индустриальное развитие перестало быть развитием. Еще не принято было называть вещи своими именами, но становилось ясно, что политический, культурный и социальный террор большевиков сменился террором экологическим — разграблением и уничтожением природных богатств России. Геноцид сменился экоцидом. Таким способом режим продлевал свою агонию, но уцелеть уже не мог. Вот тогда и возник соблазн заимствовать с Запада комплекс технологий, дабы использовать их для нового промышленного скачка, для оздоровления коммунистической миримперии. В этом замысле как нельзя полно проявилась ограниченность материалистического понимания истории. Ибо современные информационные технологии возможны и эффективны лишь в открытых обществах. Советские вожди задумали невозможное: совместить сущностные цивилизационные элементы современного западного общества и тотальную антицивилизационную власть. Естественно, их затея изначально была обречена на провал. И случилось то, что случилось: коммунистический колосс вместе со всеми своими структурами — политическими, экономическими, военными — рухнул. В этих условиях распад прежнего Советского Союза оказался неизбежным. Жаль, что происшедшее расценивалось и до сих пор расценивается многими нашими согражданами именно и только как распад. Между тем произошло еще и нечто иное — обретение национальной независимости всеми народами бывшего СССР, в том числе и русскими. Но даже те, кто правит Россией, так и не осознали тогда (а может, не осознали еще и теперь), что начинается не возрождение, даже не воссоздание, а строительство новой русской государственности.

К тому же большинством россиян было забыто, что жизнь в ее христианском понимании предполагает признание непреложности причинно-следственной зависимости между прошлым, настоящим и будущим, неотвратимости, обязательности личной ответственности каждого человека и всей нации как целостного культурно-исторического субъекта перед Богом не только за непосредственно совершенный грех, но и за молчаливое потакание ему. В истории за все приходится платить.

Такой расплатой по высшим историческим счетам за смиренность перед злом, за духовную слепоту, за пассивное соучастие в насилии над жизнью и историей, за миллионы загубленных большевиками людей, за уничтожение культуры и разграбление природных богатств страны (принадлежавших, кстати, и будущим,

еще не родившимся поколениям) стали тяжелые, но неизбежные реформы, начатые Ельциным и Гайдаром.

Русский историк, мыслитель и публицист Г. Федотов в своей статье «Завтрашний день», опубликованной в 1938 году на страницах парижских «Современных записок», так представлял состояние России сразу после ее освобождения от большевиков:

«Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России «после большевиков» как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной революционной ночи, будет скорее то туманное «седое утро», которое пророчил умиравший Блок. И каким же другим может быть утро после убийства, после оргии титанических потуг и всякого дурмана, которым убийца пытался заглушить свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений... После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, о физиологическом бессмертии, о земном рае — у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства — может быть, национального унижения. Седое утро...»¹⁰

Сходную картину первых посткоммунистических лет рисовал другой публицист и философ, идеологический оппонент Г. Федотова, рыцарь «русской идеи» И. Ильин:

«Русский народ выйдет из революции нищим... Нищее крестьянство, пролетаризованное вокруг «агрофабрик» и «агрородов»; нищий рабочий в промышленности; нищий ремесленник, нищий горожанин... Конечно, вынырнет перекрасившийся коммунист, награбивший и припрятавший... все будут бедны, переутролены и ожесточены.

Государственный центр, ограбивший всех, исчезнет; но государственная монетная единица, оставшаяся в наследство наследникам, будет обладать минимальной покупательной силой на международном рынке и будет находиться в полном презрении на внутреннем рынке. И трудно себе представить, чтобы государственное имущество, награбленное и настроенное, было оставлено коммунистами в хоззяйственно-цветущем виде...

Итак, предстоит нищета граждан и государственное оскудение...»¹¹

«...даже неполная доля свободы резко выделяет свободного человека из толпы. У него прямая походка и глубокое сознание греховности», — писала в свое время Надежда Мандельштам. Она все задавалась вопросом: «...как отражаются на потомках преступления отцов и дедов?»¹² Теперь мы знаем ответ.

Потомки испугались свободы и обусловленных ею личной ответственности и сознания своей греховности.

Перестройка, начавшаяся с сетований интеллигенции по поводу потери народом своего «исторического сознания» в российском (тогда советском) обществе, закончилась болезненным страхом той же интеллигенции перед свободой и историей.

И причин тому несколько.

Я уже отмечал, что наиболее существенные — исторические, социально-экономические — сдвиги в стране произошли помимо воли вдохновителей и зачинателей перестройки и даже вопреки их желаниям и планам.

Основной, существенный изъян реформ середины 80-х годов состоит в том, что наиболее образованная, интеллектуальная часть российского общества решила отказать от коммунистической идеологии не столько по этическим и нравственным причинам — по причинам ее варварства и бесчеловечности, сколько из сугубо прагматических, так как большевизм в конце XX века перестал соответствовать их представлениям о собственной респектабельности.

«Старая — новая» элита — бывшие «архитекторы» и «прорабы» перестройки и сплотившиеся вокруг них сравнительно молодые жрецы обществоведения партийной и комсомольской выделки, всякого рода политологи, игротехники, эксперты-консультанты и т. д., собиравшиеся искренне и добросовестно подновлять фасад

¹⁰ Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2-х томах. СПб. 1992, т. 2, стр. 198.

¹¹ Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948 — 1954 годов. В 2-х томах. М. 1992, т. 1, стр. 342, 343.

¹² Мандельштам Надежда. Вторая книга. М. 1990, стр. 231, 242.

старого государственного здания, никак не могут примириться с тем, что здание рассыпалось, потому что сами его конструкции и фундамент были негодными, что общество само пришло в движение и начало саморазвиваться и самоорганизовываться, а потому их бывшее положение общественных манипуляторов, положение, определявшееся не столько их собственно профессиональными и деловыми качествами, сколько отношениями с властью, в новой России ничем не гарантировано.

Всеми этими людьми так и не было осознано, что:

именно благодаря экстремистски настроенным наследникам и последователям шестидесятников, чернышевских, горьких и т. д. оказался насильственно прерван едва начавшийся на рубеже XIX — XX веков процесс органической модернизации и культурного обновления России, шедший путем взаимопроникновения и взаимодействия христианских ценностей и социокультурных, общественных реалий;

именно советская интеллигенция, усвоившая идеи материалистического «народолюбия», «социалистического гуманизма», своим конформизмом, безбожным смиренничеством перед молохом большевизма несет огромную долю моральной ответственности за кровавые злодеяния коммунизма 20 — 30-х годов;

именно из-за многих новых шестидесятников (и взращенной ими молодой поросли левых «образованцев» и плюралистов-соглашателей), их духовного инфантилизма, социального невежества (а то и трусости) страна четверть века деградировала, управляемая кликой выживших из ума кремлевских геронтократов, потом семь лет топталась на одном месте, не решаясь начать настоящие реформы, затем в октябре 1993-го едва не оказалась втянутой в очередную кровавую гражданскую войну, учиненную Ручкиным — Хасбулатовым, и, наконец, в декабре того же года выдвинула в качестве одного из своих лидеров безответственного демагога-маргинала Жириновского, олицетворяющего собой нецивилизованность и антиисторичность.

Впрочем, страх перед историей одолевает сегодня не только тех, кто был непосредственно связан с прежним режимом, но подавляющее большинство всей российской интеллигенции, получившей в свое время, как и автор этих строк, бесплатное образование, отдававшей своих детей в детские сады, не особенно перегружавшей себя на работе, ездившей по профсоюзным путевкам на курорты, в санатории и дома творчества и при этом не затруднявшей себя размышлениями над вопросом: откуда взялось все это, в общем-то, довольно средненькое, сиротское благополучие? (Мало, очень мало кто понимал, что так называемые блага социализма оплачены кровью миллионов, превращенных в рабов — промышленных ли, сельских — наших сограждан.) И теперь, когда за все пришлось расплачиваться, эти люди клянут всех и вся, кликушествуют и юродствуют, глумятся и злорадуют, пытаются убедить и самих себя и общество в целом, что никаких значимых событий в России не происходит, не произойдет и произойти не может (а если что и случается, то лишь нечто мелкое, гадкое и дурное). Катастрофичность сознания российской интеллигенции, ее склонность к апокалиптизму, бесстыдной истерии и психопатии в немалой мере способствовали и успеху на декабрьских выборах в Думу Жириновского, взявшего себе имидж самоуверенного, деятельного, решительного политика-оптимиста и заразившего собственной уверенностью и энергией не слишком разбирающегося в политико-экономических реалиях избирателя, и январскому уходу из правительства Гайдара и некоторых других последовательных реформаторов, не получивших у нашей интеллигенции столь необходимой им идейной и деятельной поддержки.

Итак, Россия, стремительно и внезапно для самой себя, попала в контекст мировой цивилизации. Именно внезапно, будучи растерянной и очень плохо к этому подготовленной не только в экономическом, но и прежде всего в социокультурном отношении. Вот здесь мы и подходим, а вернее, возвращаемся к главному в нашем разговоре — к тому, с чего, собственно, и начали.

2

Страх перед историей, о котором я говорил, есть одно из основных пагубных следствий дехристианизации современного российского общества. Еще одним следствием этого процесса стал разрыв между духовной, культурной и социальной жизнью. Ведь совершенно ясно, что сегодня наиболее социально активная часть нации недостаточно цивилизована и культурна (либо вообще бескультурна). С

другой стороны, наиболее образованные, просвещенные слои по большей части социально пассивны, дезориентированы (либо просто асоциальны).

Так вот, повторю в несколько иной, более четкой интерпретации то, о чем я говорил в самом начале этих заметок.

Для преодоления нынешнего всестороннего кризиса (экономического, политического, культурного, нравственного) и обретения своего места в современном мировом историческом процессе нам необходимо соединение — взаимопроникновение и взаимообогащение вечных духовных основ христианской жизни и повседневной социальной практики.

«Мы привыкли... спрашивать себя об одном: скоро ли падут большевики? Что за падением большевиков начинается возрождение России, в этом не было ни искры сомнения. В революции мы привыкли видеть кризис власти, но не кризис национального сознания»¹³, — отмечал еще в 1929 году уже не раз упоминавшийся и цитировавшийся здесь историк и философ Г. Федотов. Тем самым он констатировал, что причиной кризиса власти в России в 1917 году, а значит, и главной причиной революционной катастрофы был прежде всего кризис национального сознания, а потом уже все остальное.

Революция с этим кризисом не справилась. Новая коммунистическая власть лишь искусственно «заморозила», «законсервировала» его. Теперь же, с падением большевизма, он перешел из латентной формы в открытую, обострился и вышел на первый план.

В чем же состоит этот кризис? Каковы его исторические истоки и конкретные пути преодоления?

Давно и ни для кого не новость, что основы современной западной цивилизации закладывались в Европе во время Реформации и Контрреформации, ознаменовавших переход от средневековой религиозности к более глубокой христианизации человека и общества. В России же все это имело иные формы и происходило не синхронно с западноевропейскими процессами.

В последнее время все чаще делаются попытки — не столько академические, сколько публицистические; не столько письменные, сколько устные — уподобить западноевропейской Реформации раскол русской Церкви в XVII веке. До определенных границ такие параллели представляются возможными. Главной предпосылкой Реформации являлись качественные изменения в уровне и характере религиозности, превышение общественной требовательности к церковным институтам. Все эти намерения прослеживаются и в реформах Никона, упорядочившего службу, потребовавшего от клириков и мирян изменения поведения в церкви. Реформация была ознаменована возвращением к традиции, к Писанию как единственному источнику авторитета. Было это и у Никона, уточнившего переводы с греческого, вернувшего текстам их первоначальное значение. Но историки почему-то находят параллели с Реформацией у старообрядцев, особенно у купеческих родов, пошедших в гору в XIX веке, полагая, что именно у них можно найти «протестантскую этику» на русский манер. Наверное, какие-то функциональные совпадения имеются. Но нет и не может быть сущностного тождества между Реформацией и расколом.

На мой взгляд, точнее и тоньше всего оценил раскол Василий Ключевский. По наблюдениям историка, самосознание русских в XVII столетии стало приобретать черты самостоятельности, получившие распространение в среднем грамотном слое — мелком и среднем духовенстве, мелкой и средней протобюрократии, у посадских и слободских людей (русский аналог бюргерства). Именно эти слои в Западной Европе, добавлю я, и составили социальную базу Реформации, особенно протобюрократические группы. В России же в сознании именно этих социальных слоев произошло отождествление православия и русскости, что привело к тому явлению в духовной жизни России, которое Ключевский назвал «латинобоязнь» (латинофобией). И это бы еще было полбеды. Но дело в том, что латинофобия не ограничилась только собственно латинским миром, западной Церковью, а постепенно переросла в ксенофобию. Очень неприязненно, в частности, отнеслись московские богословы к киевским, к тем, кто после присоединения Украины предстал перед ними в качестве носителей православной, но греческой традиции.

¹³ Федотов Г. П. Судьба и грехи России, т. 1, стр. 173.

Неприятие никоновских реформ Ключевский определил не только как неприятие чуждого — нерусской, греческой традиции, но и как несогласие с нормой, зафиксированной в книге. На первый взгляд, старообрядцы предстают в роли защитников книжности, верности Писанию. Однако Ключевский пришел к выводу, что борьба шла за другое. Старообрядцы боролись прежде всего за право передавать традицию тем способом, который уже был, — не совсем устным, но и не совсем письменным. Писание становилось Священным не от греческого происхождения, а оттого, что передавалось из поколения в поколение. Таким образом, раскол в социокультурном отношении оказывается явлением, весьма далеким от европейской Реформации. А главное, ядром Реформации и Контрреформации было обновление трактовки отношений между Богом и человеком, освящение человеческой личности, человеческой субъектности. В России же подобные проблемы тогда не поднимались.

Произошло это гораздо позже, когда на исходе XIX столетия Владимир Соловьев провозгласил: «Субъект веры есть прежде всего живое лицо, а потом уже социальная группа или учреждение, и религиозная свобода прежде всего есть свобода для всякого индивидуального человека исповедовать и проповедовать то, во что он верит»¹⁴. Однако, кроме этих слов, мыслителю принадлежит вот такое наблюдение: «Россия именно, как огромная сельская страна, имеет величайшую нужду в помощи города с его сосредоточенными силами, материальными и духовными. Этого своего назначения наш городской класс, неустроенный, разрозненный и в общем недостаточно просвещенный, исполнить с успехом не может. Разрастание наших городов (особенно в последние тридцать лет) породило лишь особую полуевропейскую буржуазную цивилизацию с разными искусственными потребностями, только более сложными, но никак не более возвышенными, чем у простого сельского народа»¹⁵. Так Владимир Соловьев констатировал отсутствие в России города как центра качественно иной, чем сельская, культуры, как центра новой цивилизации.

Если таким было положение города к концу XIX века, то что тогда говорить о XVI или XVII столетиях, когда ничего подобного феномену западноевропейского урбанизма в России не существовало. Города Западной Европы — это центры ее модернизации. Многие институты, городские слои, включая, что особенно важно, государственную бюрократию, обязаны своим происхождением городу. Характеризуя в целом значение городской цивилизации для исторических судеб много государства, надо сказать и о вовлечении в сферу этой цивилизации достаточно больших масс людей. Одну из причин начала и успеха западной Реформации усматривают не столько в количестве городов и численности населения, сколько в плотности этого населения, в концентрации городов в некоторых областях Европы. А плотность и концентрация — характеристики уже не количественные, а качественные, как и распространение грамотности, усложнение социальной жизни, вызвавшие коммуникативный переворот и потребовавшие трансформации механизмов нормотворчества.

Русский город, в отличие от западноевропейского, никогда не был особым социально-политическим институтом. Если центром западноевропейского города являлась ратуша, то центром русского — резиденция князя, а позже — резиденция чиновника, представляющего центральную власть. (Разумеется, нечто подобное наблюдалось и в Западной Европе, но там городское самоуправление находилось в равноправном диалоге-противостоянии с иными властными структурами.)

А главное — городская культура России так и не стала до конца городской. Только в нескольких городах сложилась коммуникативная среда, чем-то сопоставимая с западноевропейской. И вот в этих условиях в самом начале нынешнего века несколько христиан-интеллигентов затеяли нечто такое, что положило начало тому, что теперь принято называть русским христианским возрождением.

Прежде чем перейти к объяснению (разумеется, объяснению не окончательно, а лишь к изложению моей точки зрения, не более) того, почему же это дело не удалось, — а оно не удалось, ибо произошла катастрофа, — должен сказать вещь банальную, а именно то, что историческая неудача духовного подвига не делает сам подвиг чем-то иным. Трагедия духовных подвижников начала века (как,

¹⁴ Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. М. 1989, т. 2, стр. 487 — 488.

¹⁵ Там же, стр. 434.

впрочем, и многих русских людей, живших в другие времена) состоит в том, что они выполнили свой долг, не достигнув своих целей.

Сначала существовала идея «создать открытое, по возможности официальное, общество людей религии и философии для свободного обсуждения вопросов церкви и культуры»¹⁶. Так в 1901 году возникло Религиозно-философское собрание, а затем Религиозно-философское общество, появился журнал «Новый путь», а затем — «Вопросы жизни». Отношения между различными людьми, вовлеченными в дело, которое нам теперь кажется общим (и в этом мы более правы, чем те, кто это дело делал), строились по-разному, было все: и интриги, и склоки, и многое другое. Но не менялось, увы, главное. Как сказали бы нынешние социологи-политологи, деятели русского христианского возрождения не овладели коммуникативным аппаратом. Иначе говоря, у русской элиты не оказалось социокультурных механизмов воздействия на русский средний класс. Достаточно почитать воспоминания Зинаиды Гиппиус, чтобы заметить главное: как трудно было тем, кого сейчас принято называть «активными христианами», стремившимися осуществить свою духовную миссию среди интеллигенции, пробиться в печать, как запрещались собрания, какой правке подвергались статьи. Создание новых журналов повлекло за собой маргинализацию деятелей христианского возрождения — на страницы влиятельных изданий их просто не пускали.

И тем не менее, сколько бы ни поминать недобрым словом и власти духовные, и власти светские, препятствовавшие свободному развитию религиозно-философской мысли, однако же не станем и забывать, что со временем в России внешние ограничения, в частности цензура, постепенно перестали играть столь уж существенную роль. Значит, было нечто такое и в самом религиозном возрождении, что обрело его на неудачу.

Слова о том, что исторические параллели рискованны, были сказаны не так давно. А вот история была названа учительницей жизни во времена незапамятные. Я вовсе не считаю, что чем древнее, тем вернее, просто не стоит так уж бояться этих самых параллелей. Русские христианские мыслители, не нашедшие в свое время адекватных средств воздействия на общество, не сумевшие, в частности, достаточно убедительно объяснить ему всю пагубность радикального, воинствующего материализма и грядущего коммунизма, в каком-то смысле являются предшественниками тех современных русских политиков, которые не смогли воспользоваться в 1993 году достижениями информационной революции и оказались не в состоянии вразумительно втолковать миллионам россиян, почему не стоит голосовать за Жириновского.

Безусловно, параллель эта рискованна, но отнюдь не бессмысленна. Христианская интеллигенция начала века и дехристианизированная интеллигенция нашего времени, разумеется, сильно отличаются друг от друга, но задачи интеллигенции и методы ее воздействия на общество принципиально не меняются — она обязана владеть теми средствами, которые наиболее эффективны в данное время.

Современный читатель уже хорошо знаком с «Вехами» и даже с полемикой вокруг них. А вот о дискуссиях, которые шли на заседаниях первых Религиозно-философских собраний, в России писалось мало. Между тем эти дискуссии чрезвычайно интересны. (Впервые «Записки» собраний удалось выпустить отдельным изданием лишь в 1906 году — прежде не позволяла цензура.)

Краеугольным камнем развернувшейся на собраниях полемики, по словам Гиппиус, стал самый первый доклад Валентина Тернавцева, в котором речь шла об отношениях Церкви и интеллигенции. Все старания возродить приходскую жизнь Церкви разбивались, как сказал Тернавцев, о «безземность» ее учения. «В положении, исторически унаследованном русскою Церковью от прошлого, — говорилось в докладе, — невозможны никакие улучшения без веры в Богозаветную положительную цену общественного дела»¹⁷. Но основными делателями, отметил Тернавцев, в России традиционно были далекие от Церкви интеллигенты. И это понятно, ибо Церковь скована «худшими и тягостными формами приказно-бюрократических порядков, исходящих из недоверия к человеку и жестокого невнимания к его

¹⁶ Мережковский Д. С. 14 декабря. Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский. Роман. Воспоминания. М. 1991, стр. 353.

¹⁷ «Записки Петербургских Религиозно-Философских Собраний (1902 — 1903 гг.)». СПб. 1906, стр. 16.

нуждам»¹⁸. Что же касается образованной части общества, то в докладе говорилось: «Вопрос об истинном устройстве труда, о его рабском отношении к капиталу; проблема собственности, противообщественное значение ее, с одной стороны, и совершенная неизбежность, с другой, — это для людей интеллигенции составляет предмет мучительных и бескорыстнейших раздумий»¹⁹.

Впервые было четко и ясно указано на то обстоятельство, что православие нуждается в выработке социальной доктрины. Но сама эта доктрина выработана не была. И виноваты в этом не только духовные и светские власти тогдашней России.

Первый доклад Тернавцева сам по себе производит сильное впечатление, которое, однако, портят другие его выступления. Так, при обсуждении доклада князя Волконского о свободе совести он занял непримиримую антикатолическую позицию (более того, его рассуждения об отношениях Церкви и государства могли быть повторены в наше время теми советскими нардепами, которые летом 1993-го, по существу, запретили деятельность иноконфессиональных проповедников в России) После знакомства с этой частью «Записок» становится ясным, почему Тернавцев, сформулировав, по сути дела, те же проблемы, которые за десять лет до петербургских собраний стали темой энциклики папы Льва XIII *Reverentiam*, и не подумал сослаться на католический опыт. А стоило бы, потому что в этой энциклике, утверждавшей принцип незыблемости частной собственности и принцип достоинства труда, снимались многие социально-этические противоречия, казавшиеся прежде неразрешимыми.

Гиппиус призналась в мемуарах, что, когда они с Мережковским оказались в Париже, для них стало открытием многое в жизни Католической Церкви. И это несмотря на то, что они были весьма далеки от конфессионализма, формировали свои убеждения (как сама Гиппиус об этом писала) под влиянием идей Владимира Соловьева о Вселенской Церкви. Таким образом, можно отметить (только отметить, а не окончательно заключить — до выводов еще далеко и не в этих заметках их делать), что с самого начала русское религиозное возрождение развивалось если не в изоляции, то на периферии тех процессов, что происходили в западном христианстве. Более того, даже в зарубежье, в изгнании спор с иными конфессиями занимал очень важное место в трудах русских мыслителей. Справедливости ради надо напомнить, что, в частности, католицизм в период между двумя мировыми войнами готовностью к межконфессиональному диалогу тоже не отличался — ему еще предстояло пройти долгую эволюцию до Второго Ватиканского собора. Но речь идет о нежелании признавать очевидное. Так, о Сергий Булгаков в книге «Православие», полемизируя с Львом XIII, утверждал, что православие не может признавать незыблемости принципа частной собственности, ибо оно (православие) освящает не конкретную форму собственности и основанный на ней общественный строй, а только тот строй, при котором человеку будет гарантирована свобода, независимо от того, что лежит в основе экономического устройства общества. На первый взгляд подобное утверждение как будто бы представляется вполне правомерным, но слишком уж оно умозрительно для христианского мыслителя. Такая логика, такой стиль мышления более подобают какому-нибудь «левому» публицисту.

Мне кажется, что принципиальной слабостью, метафизическим изъяном, недостатком — трудно подобрать слово, как-то все неидеально получается — русского религиозного возрождения являлось то, что оно было слишком поверхностным, общественно-морализаторским. Слова Владимира Соловьева о «субъекте веры», процитированные выше, так и не были услышаны, поняты, развиты. А между тем в них заключалась потенция русской Реформации — потенция, так и не актуализировавшаяся.

Теперь, когда знаменитый сборник «Вехи» стал доступен самому широкому кругу русских читателей и минул не один десяток лет с момента его публикации, думается, настала пора для непредвзятого критического переосмысления его действительного значения для формирования и развития национального сознания, переосмысления как нашего собственного исторического опыта, так и опыта становления богословия западной Церкви.

Я начал свои заметки с цитат из «Ортодоксии» Честертона, опубликованной почти одновременно с «Вехами». Этот факт — еще одно напоминание о единстве

¹⁸ «Записки Петербургских Религиозно-Философских Собраний (1902 — 1903 гг.)», стр. 16.

¹⁹ Там же, стр. 12 — 13.

христианского мира и о сходстве того, что происходило в разных его частях в начале века. Но были и различия. Авторы «Вех» более всего интересовались общественным бытием интеллигенции вообще, а вот Честертон занимал человек как таковой, субъект, его отношения с Богом, проявившиеся в его общественной жизни. Да, конечно, «Вехи» можно разбить на цитаты, можно вспомнить попытки Сергея Булгакова (еще не отца Сергия) основать Союз христианской политики, своего рода прообраз будущих христианско-демократических партий XX века. И все же остается главное: тон, стиль, общий смысл всех статей, напечатанных в этом сборнике, в которых речь шла прежде всего о неприятии социальной активности в той крайне радикальной форме, в какой она в основном проявлялась в России без должного уточнения и определения приемлемых — нормальных — цивилизованных форм участия православных в делах общества и государства. Да, именно с «Вех» берет свое начало русский либеральный консерватизм (или, что, по сути, одно и то же, русская христианская демократия). Но нельзя даже сказать, что он существовал хотя бы теоретически, ибо как раз теории либерального консерватизма создано не было. Теоретическим могло бы считаться то обоснование, которое связывало бы социальную активность человека с самой сущностью христианства, как это, например, делал тот же Честертон, менее всего думавший о чистой теории, а просто и как бы даже невзначай постулировавший: «...христианское преклонение перед божеством, отличным от верующего, связано с потребностью в активной этике и социальных реформах»²⁰.

За кажущейся простотой слов Честертон стоял многовековой опыт западнохристианского богословия, центральной темой которого были живые отношения между Богом и человеком. (Поэтому закономерно, что конкретные социальные проблемы, такие, например, как «рабочий вопрос» — взаимоотношения между трудом и капиталом, в знаменитой энциклике Льва XIII уверенно и убедительно трактовались и разрешались Католической Церковью в контексте разработанных ею прежде взглядов на человеческую личность и ее уникальное значение в свете Божественного замысла о мире.)

Увы, богословие в русском православии, в отличие от западного христианства, не прошло стадии схоластического развития и, по существу, не выделилось в особую область знания. В результате социальная мысль в России оказалась лишена такого необходимого качества, как гуманитарность — умения видеть и интерпретировать существенные проблемы бытия в нескольких измерениях, — источником которой и является богословие. Уделом социальной мысли остался плоское, схематичное и прямолинейное — грубо материалистическое моделирование (о его последствиях шла речь в предыдущей главе).

Что же до русских мыслителей начала века, то они, столкнувшись с острейшим общественным кризисом, в большинстве своем не устояли перед эсхатологическим соблазном и, не сумев ответить «да-да», «нет-нет» на те вопросы, на которые призывы были ответить, как бы передоверили решение конкретных исторических, мирских проблем вечности²¹.

Так случилось, и это, видимо, закономерно, что православная богословская мысль получила мощный творческий импульс и стала динамично развиваться только в изгнании, в зарубежье, в непосредственном, тесном соприкосновении с европейской религиозной мыслью и культурой. Особую роль здесь сыграли Русский православный богословский институт в Париже и начавшие издаваться здесь же «Вестник Русского Христианского Студенческого Движения» и журнал «Путь», вокруг которых были собраны наиболее крупные интеллектуальные и философские силы русской диаспоры. (Достаточно назвать только некоторые имена — С. Булгакова, В. Зеньковского, Б. Вышеславцева, кн. Г. Н. Трубецкого, Г. Флоровского, Н. Бердяева, С. Франка, Н. Лосского, Г. Федотова — всех не перечить.)

²⁰ Честертон Г. К. Вечный человек, стр. 455.

²¹ Надо сказать, что излишняя, иной раз и болезненная склонность к эсхатологизму была не единственным из одолевавших наших мыслителей духовных соблазнов. Одни, в особенности евразийцы, так и не захотели наладить взаимообогащающего диалога с другими христианскими конфессиями, прежде всего с католицизмом (и даже находили нечто общее между «латинством» и большевизмом). Другие, как, например, Бердяев (постоянно подчеркивающий, что в России социальная идея была всегда сильнее индивидуальной, а социализм более привлекателен, нежели либерализм, и положительно отозвавшийся о сталинской конституции ввиду того, что она, мол, создала лучшее в мире законодательство о собственности), так до конца и не расстались с социалистическими иллюзиями.

Именно в эмиграции сформировались и развились в талантливейших, самобытных и ярких православных богословов новейшего времени В. Н. Лосский, о. Иоанн Мейендорф и о. Александр Шмеман, сумевшие показать и доказать, что Православие не только историческая форма восточного христианства, но непреходящая и католическая истина.

И все же... Все же достижения русского богословия XX столетия хотя, в принципе, и стали сейчас наконец-то доступны любому желающему ознакомиться с ними историку, ученому-богослову, священнику и мирянину, однако же так и не обогатили собой в полной мере повседневную богослужебную и проповедническую практику Русской Православной Церкви (не говоря уже о приходах, находящихся под юрисдикцией «карловчан» и превратившихся, по сути, в герметичные, лишенные внутренней динамики и возможности развития подобия этнографических музеев).

Очевидно, что не в последнюю очередь и в силу этого обстоятельства у Православной Церкви по-прежнему нет сколько-нибудь ясной социальной доктрины, оценивающей в свете христианских истин наше прошлое и настоящее, прогнозирующей и определяющей будущие духовные и общественные пути развития свободной России и могущей служить жизненным ориентиром для миллионов верующих.

В самом деле, когда сегодня речь заходит о современных социальных ориентирах Православия, наши священнослужители чаще всего утверждают, что Православие, дескать, в таких вот все не нуждается, поскольку они давно уже определены отцами Церкви. Когда же кто-нибудь пытается расспросить у наших батюшек о православных богословских началах учения о личности, они обыкновенно отсылают вопрошающего к «Житиям святых» — чтению, бесспорно, для христиан полезному и благодатному, но уж больно далекому от современных проблем.

В этой, конечно же, ненормальной ситуации, когда Церковь оказалась отделена не только от государства (что естественно и единственно возможно), но и от общества и от культуры, нами оказалось забыто главное: мировая христианская цивилизация, в которую мы теперь возвращаемся, своими основными фундаментальными социокультурными достижениями (гражданскими свободами, политической терпимостью, эффективными механизмами, позволяющими учитывать и уравнивать различные — зачастую противоположные интересы и устремления всех социальных групп и слоев, высоким уровнем автономности личности и высокой мерой самоорганизации и стабильности общества и даже высоким материальным уровнем жизни) обязана прежде всего давно начавшемуся и никогда не прекращавшемуся (только проходившему с разной степенью напряжения, интенсивности и успеха) диалогу Церкви, культуры и общества.

Если мы подобного действенного диалога, подобного жизнеобразующего взаимоотношения наладить не сумеем, то трагедия, однажды постигшая Россию, может повториться на новом историческом витке.

* * *

Каков же итог?

После катастрофы 1917 года Россия вопреки воцарившимся в ней варварам вновь соприкоснулась с христианским миром, «делегировав» туда цвет своей духовной, интеллектуальной и культурной национальной элиты, как бы призванной подготовить ее возвращение в контекст живой культуры и истории. Конечно же, о восстановлении духовного и социокультурного единства России и остального христианского мира до самого последнего времени речи быть не могло. И вот теперь можно наконец-то говорить не о соприкосновении, но о возвращении. Надолго ли и какое место после семидесяти пяти лет скитаний по духовной пустыни займет наша страна в этом вновь обретаемом контексте, сохранив собственное культурное лицо, зависит от нее самой, то есть от всех нас — ее граждан: от нашего желания и готовности быть свободными (в том числе и не в последнюю очередь от духа праздности и уныния) и участвовать в историческом процессе, памятуя о нашем духовном призвании — быть посильными со-трудниками Богу в раскрытии Его замысла о мире и человеке.

О христианском понимании истории замечательно точно писал о. Александр Шмеман: «Чувство истории, то есть необратимости, неповторимости времени, и в

этом времени — единичности и неповторимости каждого события, каждой личности глубочайшим образом чужды эллинской психологии, они впервые привиты были человеческому сознанию священным «историзмом» Библии. А только в этом свете можно понять веру христиан в единственное, ни с чем не соизмеримое значение одного События, одной Личности, одного момента в истории. Это все тот же библейский «реализм», укорененный в первичной интуиции Бога, как живой и творческой Личности; но тогда все в мире «относится» к этой Личности, ею живет и ею определяется, весь мир пронизан личной жизнью и потому раскрывается, как история. Он находит свое средоточие в человеке, свободной личности, стоящей перед Личным Богом и перед Ним избирающей и решающей свою судьбу. Человек, его душа и тело, его любовь, грехи, стремления приобретают бесконечное значение, в нем мир отвечает Богу, борется с Богом, жаждет Бога и, наконец, соединяется с Ним в свободе, любви и истине»²²

Рехристианизация России означает не только восстановление храмов и присутствие высших должностных лиц государства на богослужениях. Это еще и обретение исторического сознания. Это вовсе не безликое, коллективное внерелигиозное «покаяние», а сознание каждым человеком, каждой личностью собственной ответственности за — как ни выпендрено это прозвучит — все происходящее с ним и его страной, за судьбу отечества.

Самосознание личности и нации не может сложиться в результате одного лишь созерцания. То внутреннее сопротивление, которое оказываем мы, особенно интеллигенция, истории, не признавая за собой право на участие в ней, право на со-бытие, право на поступок, должно быть преодолено, ибо в противном случае нация обречет себя на окончательное выпадение не только из исторического и культурного времени, но и на утрату своего геополитического и социального пространства.

Неудовлетворенность, которая не покидает многих из нас при знакомстве с собственным историческим, культурным, социальным контекстом нашей жизни, а значит, нашего развития, вовсе не обязательно должна иметь своим следствием выбор пустоты. Напротив — мы должны начать кропотливо и неустанно восстанавливать внутренние связи внутри нашей культуры, нашей истории и веры.

Обретение внутреннего смысла российской жизнью возможно лишь при обращении внутрь той энергии, которая веками тратилась нами на внешнюю экспансию. Необходим внутренний рост, а не имперское расширение. Эту мысль неоднократно высказывал Александр Солженицын, понимавший, что такая эволюция возможна лишь после нравственного возрождения нации « мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, но поддержкою несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов, великих вечно или благородных вечно: это звание трудно заслуживается, а уходит легко.. Что подлинное величие народа — в высоте *внутреннего* развития

Только через полосу раскаяния множества лиц могут быть очищены русский воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая здоровая национальная жизнь. По слою лживому, неверному, закоренелому — чистого вырастить нельзя»²³ И далее « если ошибиться в раскаянии, то верней — в сторону большую, в пользу других. Принять заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны. Как в прощенный день просят прощения у всех окружающих.

Но терять раскаяние смысл, если на нем и обрывается: порыдать да жить по-прежнему. Раскаяние есть открытие пути для новых отношений»²⁴

Нас спасет лишь открытость миру, честность перед самими собой и способность сохранять внутренний оптимизм, даже пессимистически оценивая внешние обстоятельства.

Надежда Мандельштам была права, когда утверждала, что свобода трагична. Но от этого, добавлю я, свобода не теряет своей абсолютной христианской ценности — не перестает быть свободой.

²² Прот Александр Шмеман. Исторический путь православия. Нью-Йорк. 1954 стр. 65

²³ Солженицын А. И. Раскаяние и самоограничение («Из-под глыб» Сборник статей. М. 1992, стр. 101).

²⁴ Там же, стр. 107, 111

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ В МЭНЭЭСЫ

Вручая премии «Делового мира» двум авторам «Нового мира» — Михаилу Бутову за рассказ «Памяти Севы, самоубийцы» и Владиславу Леоновичу за «очерки из наркологии», зам главного редактора газеты, между прочим, заметил: ежели, дескать, и нынешний русский Прорыв обернется, как не раз уже было, всего лишь благим Порывом, не только вам, людям культуры, но и нам, людям дела, воленс-ноленс, а придется возвращаться назад — в мэнээсы.

Откликом и комментарием на это «а пропо» господина Агронского и является ниже публикуемый текст.

Общеизвестно: спущенная сверху, из командных слоев, Великая Социалистическая Научно-Техническая Революция не состоялась. Увязла в «почве». Оставив в народной гуще полубрезгливое: «Ишь какой деловой! Вот и при свое Дело один, а мы с печи не слезем».

И не слезли: довели-таки пусть и «немытую», да экологически почти чистую Рас-сею чуть не до экологической катастрофы.

Однако: прежде чем засеять Дикое Поле Эсэсээрии гербицидами-пестицидами, прежде чем выплеснуть в реки-озера радиоактивные помои, НТР обшарила все закоулки. Все-все Глубынь-городки. Все школы-десятилетки. На предмет выявления новых Ломоносовых. И пока отловленный молодежь созревал в спец-мат-физ-тех-инкубаторах, понастроила им — «до выросту» — тысячи тысяч НИИ. К середине 70-х эти ЯЩИКИ ПРОГРЕССА, задвинутые в очевидную невероятность вездесущего СРЕДМАША, были уже битком, под завязку, набиты мэнээсами.

Горе — уму.

Горе — от ума.

Ну прямо горе-злочастье!

Потому как избыточный сей Интеллект не желал холостого движенья-кипенья «в действии пустом». И недовостребованный — Дела искал, не Службы да Дружбы, а Дела.

Хорошо помню, как Лев Аннинский, тогда же, в 70-х, упрекал-спрашивал лит-деятелей «почвы»: почему, мол, не нравится вам нынешний молодой деловой человек, на заморский, твердый манер заглаженной складки? Да он же в премьер-герои глядит? Да в нем же чудовищная энергия клокочет!

Не вышел тогда тот молодой деловой человек в герои номер один. Уступил авансцену: чудикам и неочарованным странникам, антилидерам и копателям туннелей в никуда, антигероям всех мастей и гражданам от всего убегающим. Но это — в литературе. По жизни иначе вышло: не сгинул господин ум и, едва время переломилось, не оплошал — пригодилась-таки быстрая сообразительность. Страна еще озиралась, а быстрые разумом уже приступили — к перегруппировке Идеалов и Интересов.

Без усущки-утряски, конечно же, не обошлось. Америка — та скоренько сообразила, что делать с «бастардами» НТР и какие каштаны надо таскать из-под горящих обломков «Империи зла». Так ведь и задел был велик, с большим походом недорослей набирали. Впервые после Петра I так широко-глубоко искали. До самых до окраин с бреднем прошли!

И чудовищная энергия леволобых технарей, несмотря на застойный простой, не утратила «жизненного порыва». По статистике, и официальной, и той что у

каждого из нас своя, именно бывшими мэнээсами схвачена-обмозгована половина Делового Мира.

Как уж они там, на своей половине, распорядятся, сладят ли с новыми русскими из теневикиков, поладят ли с буржуинами из партноменклатуры — не мне предугадывать.

А вот в пространстве культуры властное присутствие невозвращенцев в мэнээсы, на мой взгляд, уже не только чувствуется, но и многое, похоже, определяет.

Я — не о спонсорстве и не о моде на меценатство, а о более тонких, на поверхности еле заметных распределениях причин и следствий, отношений и связей. Скажем, нежданно-негаданный выход в удачники книжного рынка новых издательств, тех, что поставили на поток высоколобую — для эрудитов — и совсем не дешевую книгу.

Часть дорогуших «борхесов» осела, не спору, в нью-кабинетных покоях скоро-ро- и крупно-богатых. Эти «купают» не глядя, потому как не книгу берут, а «символ роскоши»¹.

И все-таки думаю: главные скупщики быстроумного либрис-товара, и прежде всего продукции «Северо-Запада» (в Питере) и московского «Текста», — бывшие мэнээсы.

Вопреки легенде в 70-е читающая Россия читала не так уж и много, сильно поменьше, чем в годы еще черно-белого, визуально не завлекательного телевидения. И если б не нищие «принцы Госплана», «то хоть закрывай библиотеки».

Сегодня те книгочеи беллетристику, даже высоколобую — эксклюзивно для эрудитов, — увы, не читают: вкальывают без уик-эндв и долгих летних отпусков. Но тем охотней скупают все то, что читано было взаймы, что недочитано — за немением — в бедной мэнээсовской юности...

За создание (и комплектование) такой вот — ностальгической — ретро-библиотеки и взялся «Текст». Но раньше, чем «Текст», появилась группа-команда Бабенко, купница единомыслов, удравших из науки и техники в возленаучную журналистику. Чтобы на досуге сочинять теневую фантастику. И как только запахло возможностью делать Дело, скинулись по 300 рэ (в августе 1988-го это были еще хоть и маленкие, но деньги) и учредили издательское товарищество «Текст». Начали с начала начал, то бишь с чистопородной фантастики — Стругацкие, Кир Булычев, Оруэлл и, естественно, Лем. Переиздали и продолжают издавать — Владимова, Аксенова, Искандера (а как же? властители чувств все той же начальной поры!).

Подозреваю, что это они, вставшие на ноги мэнээсы, не постояв за ценой, не дали помереть и старой — своей — «Юности»: обеспечили ей тираж. (Предварительно, правда, осведомлялись: а будет ли печататься Василий Аксенов.)

И дело тут, по-моему, не только в ностальгии, но еще и в прорезавшейся ревности к надежной собственности: все, что мое, уношу с собой — свои книги, свой журнал, свою музыку Фирмачи из «Мьюзик-Ленд» только руками разводят: компакт-диски «Машины времени» и вообще все, что несколько лет назад считалось безнадежно устаревшим, — выходят один за другим, и все это улетает!

Улетают и плотно-компактные томики с издательской марочкой «Текст». Чтобы осесть в «скромных загородных коттеджах» нового — из ученых — «среднего класса». Расширение жилой кубатуры в черте города им еще не по карману, а вот дачный чердачок, обшитый вагонкой, и библиотека в надежных, хорошей работы, шкафах — самое то.

На нынешний день в каталоге «Текста» — около ста «единиц хранения». Рядом с хлебом ранних лет (и родным, ржаным, черным: Аксенов, Владимов, Искандер; и белым: Стругацкие, Булычев, Лем) — заморские деликатесы (Голдинг, Каф-

¹ В повести Виталия Бабенко «Игоряша Золотая Рыбка» есть примечательное описание такой вот скоробогатой нью-библиотеки: «Обозревая бесконечные полки своей библиотеки, Игоряша видел не коленкоровые, или ледериновые, или сафьяновые, или кожмитовые, или картонные корешки, а ряды, условно говоря, золотых слитков, где буквы, слагающиеся в фамилии авторов, претерпевали любопытную математическую метаморфозу: они обращались в абстрактные индексы, лишённые семантической значимости. Эти индексы позволяли отличить один слиток от другого, но ничего не говорили об их художественной стоимости и духовном эквиваленте»

ка, Гофман); на краешке — раритеты вроде легендарного «Хулио Хуренито», а в центре, как раз посредине коллекции, — Альфа-фантастика («Приблудяне» Виталия Бабенко, «Синий фонарь» Виктора Пелевина, «Нагльфар в океане времен» Бориса Хазанова, «Кролики и удавы» Фазиля Искандера et cetera, et cetera...).

Альфа — значит: альтернативная, авангардная, авантюрная, авантажная. Получена: способом перекрестного опыления (скрещивания) классической — класса Станислав Лем — научной фантастики с ненаучной фантастикой российской действительности. А чтобы плод столь неравного брака не дистрофировал, его хорошо-правильно подкармливают витамином «СДВИГОЛОГИЯ»², то есть набором сдвигов: гротеском, сатирой, сказкой, абсурдом.

Виталий Бабенко, генеральный директор «Текста» и сам себе альфа-фантаст, утверждает не без гонора: наши, мол, книги всегда узнаваемы. Еще издали, по художественному оформлению.

Добавлю: и по художественному соображению понятий, и по «объяснению оных». Оно ведь здесь, в «Тексте», тоже и альтернативное, и авангардное, и авантажное, и авантюрное! Да и вообще альфа-аван-пост-фантастика — весьма специфичная проза, ибо предполагает в читателе продвинутого, отменно экипированного эрудицией ум, ум, умеющий находить странное удовольствие и в умозрительных приключениях не связанной конкретикой мысли, и в самых раскованных авантюрах отважного разума. Недаром тут, в «Тексте», так почитают Станислава Лема. Любой его текст — еще как бы и тест для проверки на качество интеллекта. Соображаешь по системе Лема («неудержимого фантазера и сухого аналитика»), имеешь вкус к играм ума, не вылезешь в информпотоке, в круту инженерных идей — значит, наш, свой. Не сечешь — чужой. И действует эта система по выбраковке чужих безошибочно. В братстве альфа-фантастов, среди званых и избранных, вы, например, не встретите ни Владимира Орлова, ни — даже — короля СДВИГОЛОГИИ Виктора Сосноры. То есть всех тех фантазеров, в чьих текстах слишком уж явствен гуманитарный акцент. Чья речь, а значит, и мысль бродит блуждая (пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что). Тех, кто чует инстинктом: в зоне абсурда, куда занесло нас по воле рока, слово находит лишь тот, кто не ищет, и стрелец только тот, кто целится в пуп, чтобы попасть в глаз.

Этот тип творческого поведения весьма выразительно описал Иван Жданов: «...если предмет неясен, гляди чуть в сторону, всколзь, и ты его увидишь полнее... Так и в стихах: косвенным зрением нащупываешь — вж-ж-жик! — как бы обход такой делаешь, изгибаешь взгляд» («Сегодня», 26.2.94).

А задолго до Жданова и куда тоньше — Есенин:

«...Зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслим только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя... Слово изначально было тем ковшом, которым из ничего черпают живую воду» («Отчее слово»).

Таких вот изгибающихся — обходных — взглядов альфа-фантасты не признают и тратить свой интеллект, продираясь сквозь дикую поросль поэзии русского языка, на возню с «тенями мыслей» не считают нужным; их фраза летит, оперенная рефлексом цели, дабы с первой же попытки угодить в прицел — в косточку смысла.

Да, конечно, «Текст» — род Ордена Рыцарей Разума, куда вот так, запросто, и не сунешься, особенно ежели с дамой — «с поэзией, бабой капризной». И тем не менее это и не издательский междусобойчик, заработавший на «верняке», дабы дать ход людям своей тусовки. «Текст» берет свое всюду, где видит свое. Скажем, именно отсюда, из «дома Лема», заметили Виктора Пелевина. И пока остальные издательствующие приценивались к этому мутанту, к этому инопланетянину, издали два его сборника, один за другим. Насколько мне известно, взяли уже на глазок авантажную, авантюрную альфа-фантастику и еще одной гостью из будущего — Юлии Латыниной.

Несколько лет назад, в таллиннской «Радуге», тогда еще досягаемой, попалась мне как-то прелюбопытная публикация. Некто Петров — альфа-философ с физи-

² Термин этот изобретен не «текстовиками», а Генрихом Сапгиром: «Всех современных авторов объединяет некая экспрессия, условность, нарочитость. И если говорить не об этической стороне... а о поэтической, то в этой области литературу объединяет сдвигология, как я ее называю для себя» («Стрелец», 1993, № 1).

ко-математическим уклоном — с цифрами и схемами доказывал цикличность «социально-политических климатов» и обещал неперенное «возвращение эпохи разума и восстановление авторитета науки». По всем расчетам и приметам, дескать, мы — накануне «новой аналитической волны», которая, согласно Петрову, наступит во второй половине 90-х годов.

В какой-то рецензии я, как помнится, казус сей процитировала как пример разительного несовпадения с оче-видным — почти «первобытным состоянием нашей гражданской мысли» (если воспользоваться формулировкой Мераба Мамардашвили).

И хотя в этом отношении на поверхности русской жизни вроде бы мало что изменилось, во глубине ее и в стороне то здесь, то там словно бы «развидняется». Так что, может, он уж не так и безумен, этот Петров, этот чернокнижник из мэнэ-эзов? И мы и в самом деле — в преддверии новой аналитической социально-политической волны? И скрытно-бесшумный бум «леволобой» книги — один из тихих ее предвестников? А ну как и впрямь встретим и новый Век, и двухсотлетие Пушкина под «солнцем бессмертным ума», а не в корчах «ложной мудрости»?

Вот ведь и солнце-умо-поклонники из «Текста» тоже считают:

Издают Лема?

Читают Лема?

Значит: «не все еще потеряно».

Алла МАРЧЕНКО.

ПРЕМИЯ БУКЕРА-94

Мы можем сообщить нашим читателям, что независимые номинаторы выдвинули на премию Букера 1994 года следующие произведения, опубликованные на страницах «НОВОГО МИРА»:

АНДРЕЙ БИТОВ. Ожидание обезьян. 1993, № 10.

АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ. Спички. 1993, № 6.

ИГОРЬ КЛЕХ. Хутор во вселенной. 1993, № 9.

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Прохожий с проспекта Мира. 1993, № 9.

МИХАИЛ КУРАЕВ. Зеркало Монтачки. 1993, № 5—6.

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Ну, мама, ну. 1993, № 8.

ДИНА РУБИНА. Во вратах твоих. 1993, № 5.

ВЛАДИМИР ШАРОВ. До и во время. 1993, № 3—4.

Желаем успеха нашим авторам!

«НМ».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Предварительные итоги XX века

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ПУРИН

*

ПИСЬМА ПО ТЕЛЕФОНУ, или ПОЭЗИЯ НА ЗАКАТЕ СТОЛЕТИЯ

1. Машевскому

Само это решение, продиктованное прозаическим здравомыслием и нашей с тобой обоюдной ленью, — обсудить проблемы сегодняшнего состояния русской поэзии по телефону — представляется мне знаменательным и продуктивным. Рискую тебя удивить, но сошлюсь на сомнительный для тебя авторитет: «Лицом к лицу лица не увидать». Главное здесь, при цитировании, вовремя остановиться, не успев соскользнуть в банальность «больших» идей, — и тогда эта есенинская строка встает чуть ли не вровень с «безлицым» Платином, с народной мудростью («ночью все кошки серы» и «не с лица ведь воду пить»), с католической исповедальной, разделенной обезличивающей участников разговора завесой. Подлинная интимность как бы предполагает утрату лица, и потому телефон (вообще выступающий как один из самых многозначительных символов времени) есть своего рода партикулярно-интимная альтернатива грубой соборности, например — телевидения.

Сказанное касается и жизненной, и чисто эстетической сферы. Нетрудно заметить, что лирическое стихотворение нашего века столь же сродни семантически и эмоционально мерцающему телефонному разговору, сколь батюшковские послания или гюгчевские стихотворные записки (верней даже — открытки, с видами Ниццы) сродни эпистолярной стихии века девятнадцатого. Вспомним еще безответные «зуммеры» потерянных поколений или «пенье среди многих помех» нашего старшего современника. «Проклятой шкатулкой» назвал это прагматическое изобретение Мандельштам — нечто среднее между «Кипарисовым ларцом» и Пандориным ящиком. Разве не в застывшей этой «лягушке» гнездится косматый хаос, норовящий вырваться и разрушить наш устоявшийся мир — при всяком поднятии трубки, — хаос, соблазняющий нас и рождающий в нас самоубийственное, почти вакхическое желание его приручить, заговорить, потолковав с ним о «жизни и смерти»? Имею в виду, конечно, знаменитый звонок Сталина Пастернаку, отсрочивший ненароком гибель другого поэта.

Итак, телефон — одновременно и прозрачный синоним любви, и символ смертельной опасности. Неудивительно, что он синонимичен и лирике, зачарованной вечными экзистенциальными темами. Более того, осмысление природы и стилистики телефонного говорения, на мой взгляд, способно пролить свет на саму природу лирического стихотворения — тоже, как известно, «кратчайшего пути» (о кратчайшем пути красноречия говорится еще в платоновском «Федре»). Метафорическое сближение «телефон — лирика» может послужить и инструментом проверки при рассмотрении изменений, происшедших в поэзии на протяжении нашего столетия. «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня», — осадил Мандельштам разбуженного ночным звонком Эйхенбаума, когда тот осмелился робко усомниться в гениальности вагиновских стихов; «...подобно большому поэту, каким всегда является телефонная барышня», — читаем мы в прустовской «Пленнице». Телефонная барышня мыслится здесь едва ли не Музой, налаживающей связь

между платоновскими «подражателями подражателей», между Ахматовой, скажем, и Дантом.

Так вот, исчезла ли нынче телефонная барышня? Вроде бы да. И в этом замещении живой Музы механической АТС есть как будто некоторое оправдание воцарившегося крикливого постмодернизма. Телефонистки нет, и можно самому безответственно набирать бесчисленные номера. К слову сказать, постмодернистичны были ведь и совписовские сборники «День поэзии»; сами составители именовали их, в кулуарах, «телефонными справочниками». Затем пришла «новая волна» — «Вся Москва»... Мне думается, однако, что громоздкие термитники АТС — дело уже почти прошлое, изжитое. На очереди электронная спутниковая связь, нечто качественно отличное от наземного, шевелящегося и шелкающего, механицизма постмодерна. Но вот воскреснет ли телефонная барышня, или же пишущего ждет в будущем еще большая степень самостоятельности и личной ответственности? Что представляет собой это выпавшее звено? Может быть, основной служебной обязанностью Аониды было поддержание равновесия в соотношениях «традиция — новизна» и «общее — частное»? Как будет реализовываться теперь (без нее?) эта важнейшая функция? Как будут уравниваться инерция традиции, инерция литературного стиля с индивидуальной творческой импульсивностью литератора?

Лет десять назад я бы с радостью подтвердил общее мнение: весть о появлении хороших стихов приходит как бы «воздушными путями». В сущности, это и были подкаски Музы. Потом произошло что-то такое, отчего эта почта перестала работать или работает из рук вон плохо. Не думаю, что причина во мне или в связанных со мной людях. Причина, вероятно, в метаморфозах самой связи.

2. Пурину

Вообще надо заметить, что осознание себя в некоей новой ситуации и поиски метафорических ее обозначений — занятие весьма плодотворное. Но вот что интересно: одних эдисоновских электромагнитно-общительных колебаний оказалось недостаточно. Вымучивание ответов пришлось перепоручить одинокому прилежанию мысли над бумагой.

Что касается нашей дрящейся телефонно-поэтической метафоры, то я не знаю, какая космическая связь идет на смену термитникам АТС у них на Западе, но у нас, по-моему, утрата телефонистки Музы постепенно дополняется утратой собеседника. Разве не поднимали вас в шесть часов утра звонком: «Реанимационная?!», разве не пытались вы несколько раз кряду набирать знакомый номер, попадая куда угодно, только не к нужному вам именно в этот момент человеку? А шепоты, гудки, посторонние далекие голоса, постоянно вторгающиеся в разговор (наш сейчас разговор), перебивающие, сумасшедшие? Телефонно-поэтическое пространство становится не просто анонимным. Оно теряет какую-либо структурность, и нет уверенности, что каналы связи вообще соединят тебя с теми, кому адресовано высказывание. Только случайно случайное слово прорывается к случайному «сопластнику», как сказала бы вслед за Герценом Лидия Яковлевна Гинзбург. Ты берешь телефонную трубку не столько затем, чтобы сказать, сколько чтобы услышать потрескивание и скрежет хаотического пространства, в котором, правда, усилием воображения еще можно различить «рыдание Аонид», пугавшее поэта, но уже не обрести выпуклую радость бытового, эмпирического узнавания.

В сущности, никто теперь и не ждет ответа. И чудится, что, оставленные без контроля, без внимания, позабытые, неуловимо-прозрачные, мы можем наконец позволить себе подлинный диалог (совершенно бескорыстный — все равно никто не слышит), но с кем? И тут сознание останавливается, боясь подыскивать имя метафизическому собеседнику, присутствие которого ощущается почти отчетливо.

Быть может, ситуация такова, что культура, еще и сейчас понимаемая многими как процесс, на деле таковой не является. Я все чаще вспоминаю слова Василия Гроссмана о неуничтожимой случайности добра, которому противостоит зло как система. Это ведь и есть предмет сегодняшних страданий, надежд, поисков, разочарований — внесистемная целостность.

О том же красиво писал Яков Друскин: «Что-либо называется сейчас, при определенных условиях, то есть мгновенно. Я понял бы вечность, если бы мог удержать имя и название чего-либо. Можно сказать, что при определенных усло-

виях и в определенное время, в мгновенном названии чего-либо я видел вечность и жил вечно»¹.

На самом деле я давно уже говорю о поэзии, о ее судьбе в XX веке — о целостности, понятой вне системы; и это принципиально, поскольку обычно отказ от логического структурирования, от детерминизма приводит к идее хаотичности, аморфности. (Согласись, что модель индивидуалистического кулуарного общения тут не проходит. Она полностью исчерпалась.) Вместе с общими ценностями утрачена структура мира, и хуже того — человечность. Но любое слово — отблеск, пусть бледная тень того Слова. Поэтому высказывание алчет смыслов, душа окликает Дантовы эллипсоиды ада, рая, чистилища. А тим мы того или нет, но человеку известна лишь одна форма целостности, скрепленной не общим (то есть системным), а абсолютным. Конечно, я говорю о соборности, только понимаемой не в социально-историческом, а в евангельском смысле: «Где двое или трое собраны во Имя Мое...»

3. Машевскому

Вроде бы и неутешительную ты рисуешь картину, но, конечно, верную. Даже можно сказать — очевидную. За поэтическими свидетельствами для ее подтверждения далеко ходить не приходится. Но следовало бы разобраться в том, что это за свидетельства, откуда и как они взяты, напрямую или опосредованно соотносятся они с сегодняшним днем. Метафорическая завеса Майи великолепна, но мне хочется на мгновение ее приподнять — взглянуть, что за ней... Вот ты ссылаешься на Мандельштама (и я, конечно же, тоже), но еще более значимыми кажутся мне не проявленные тобой аллюзии. И здесь сразу приходит на ум Кушнер, в лирике которого вообще все мыслимые средства связи выявляют свой смертельный дефект, становятся собственной противоположностью — непреодолимой преградой: если и доходит письмо, то черт знает откуда и бог ведает от кого; если и звонит телефон, то из какой-нибудь запредельной Воркуты, из какого-нибудь невероятнейшего Виллюйска...

Но что же такое поэзия Кушнера? Не кажется ли тебе, что в каком-то историческом смысле (скажем так: экзистенциально-содержательном, а не стилистически-эстетическом) он скорей уж Кутузов, чем Барклай. Скорей завершитель, чем зачинатель. Он в этом плане чем-то похож на Блока, чья финальная по отношению к XIX столетию роль была замечена еще блоковскими современниками. Так же, как Блок, Кушнер деспотически пользуется всем эмоционально-семантическим репертуаром предыдущей поэзии. Он как бы наделен «правом первой ночи»² со всеми уже рожденными лирическими сюжетами, интонациями, размерами. В результате вся подзамковая деревня кишит отпрысками благородных кровей — так, что устанавливается как бы гармония: нечего, дескать, делить нам, сводным братьям... Гармония эта, разумеется, мнимая, и, как показывает метафора, следование ей — для всех, кроме самого Кушнера, — бесперспективно, ведет к вырождению. Целый легион стихотворцев, не сумевших побороть очарование этой мнимой гармонии, на наших глазах сошел в преждевременную могилу. Они не догадались, что этот лирический образ «маленького человека», как-то по-детски повелевающего «пифагоровым пеньем светил», — как раз то, что у Кушнера нельзя безнаказанно утащить.

Что я имею в виду, говоря о мнимой гармонии? Только то, что искусство всегда дисгармонично и не завершено, как недовязанный шарф. Ощущение же завершенности и гармоничности каких-то фрагментов прошлой культуры возникает только тогда, когда они полускрыты от нас последующими слоями. С этим, видимо, связан закон, сформулированный опоязовцами, согласно которому эн-плюс-первое поколение художников продолжает традиции не энного, а эн-минус-первого поколения. Согласись, едва ли не все «семидесятники» кажутся нам с тобой стилистическими уродами, а мы сами не можем найти общего языка с теми, кто входит в литературу сегодня. Подозреваю, что и феномен Анненского, оказавшего такое исключительное воздействие на поэзию постсимволистов, в значительной

¹ Я. С. Друскин, «Это исследование о чем-либо...». Работа конца 20-х годов. Рукопись хранится в архиве Л. С. Друскиной.

² Тогда уж — «последней ночи». (Уточнение Машевского.)

мере связан и с тем, что этот поэт, хотя и написавший все самое значительное в 900-е годы, принадлежал к поколению Надсона, а не Брюсова...

Прошлое искусство мнится нам гармоническим, потому что оно покрылось защитной патиной, стало инертным — благородным, иначе говоря. Его активности уравновешены. Сказано ведь: золотой век — в прошлом; и полиметаллическая конструкция Гесиода, на мой взгляд, работает поныне. Современность же всегда железна, подвержена окислению.

Поэзия Кушнера в силу сказанного благородна для нас уже хотя бы потому, что Кушнер — «шестидесятник». Но это не вся правда. По-моему, большинство давнишних и стойких поклонников кушнеровской лирики, а в какой-то мере и мы с тобой, на самом-то деле видят не его подлинную стилистически активную будущую гармонию, а созданную им грандиозную семантическую иллюзию гармонии как бы временной, промежуточной — иллюзию завершения смыслов и знаков прошлой культуры, красоту мнимого алгебраического итога. (Кстати сказать, отсюда и широко распространенное среди эстетических оппонентов Кушнера мнение, что он-де «алгеброй гармонию поверил».)

Более того, сама эта иллюзия стала частью нашего мыслительного склада — и ты, например, в духе кушнеровского «синтеза» готов уравнивать в правах тютчевское «Молчи, скрывайся и тай...» с мандельштамовским «Читателя, советчика, врача!», не обнаружив противоречия между противоположно направленными интенциями. Твое «случайное слово» кажется взятым из Лермонтова («Есть речи — значенье / Темно иль ничтожно...»), а проблема отсутствующего собеседника восходит уже к позднему Пушкину и Баратынскому, мечтавшим найти читателя хотя бы в потемстве.

...Не уподобляемся ли мы, рассуждая таким образом о сегодняшней лирике, наблюдателю, полагающему, что водоросли и рыбки размещены в плоскости бокового стекла аквариума? Иными словами: вся двухвековая русская поэзия — в Кушнере?

Что касается собственно кушнеровской поэзии, то я, конечно же, понимаю: всякое завершение есть в то же время начало, обретение новых возможностей, рост степеней свободы. Она, эта поэзия, не нуждается уже в нашем с тобой беспокойстве, и беспокоит меня иное — как раз наше поэтическое поколение, оказавшееся в этом вот состоянии внезапной свободы, на зыбких путях новых возможностей. Больше всего меня смущает та подозрительная эстетическая теология, без которой мы почему-то не можем обойтись. Не ведет ли обступившая нас свобода, судя, например, по сказанному тобой, к заманчивой телефонной беседе с Утешителем-Параkletом, в которой, разумеется, преодолеваются все экзистенциальные недостатки человеческого диалога?

Куда симпатичней то шизофреническое перешептывание, о котором ты говоришь. Но я бы добавил: перешептывание, имеющее все-таки в виду внешнего адресата, верней — адресатов, в том числе и того, таинственного. Только на этого последнего нужно смотреть краем глаза, ненароком, иначе он поглотит все — человеческое и эстетическое. Евангельский Логос требует осторожности в обращении, как концентрированная серная (прости, Господи!) кислота. Будь моя воля, я бы вынес Его за скобки нашей, в сущности — частной, темы. Не достаточно ли нам философии и поэзии, взаимно паразитирующих на Слове и ревниво стремящихся его поделить? Стоит ли беспокоить Творца по таким пустякам? Ведь та цельность, та целокупность, которую ты противопоставляешь системности и структурности, вполне постигается посредством «малых чудес» — например, вкуса. «Чувственное определение совершенства называется вкусом», — писал старик Кант.

4. Пурипу

Наш обмен телефонными любезностями — это ведь еще и своего рода эксперимент: что слышит слушающий? Кстати, в лирике не действует модель обычного диалога, которая зачастую почему-то представляется единственно соответствующей человеческому горизонту. Спешу сослаться на недавно прочитанную в рукописи статью Елены Невзгладовой, показавшей на лингвистическом уровне, что стихи не являются сообщением. Они, так сказать, «говорение», чистое «говорение в никуда», или (что то же) обращение к провиденциальному собеседнику. Именно о та-

ком собеседнике (еще раз подчеркну — провиденциальном, смотри соответствующую статью³) мечтал Мандельштам, и тут, согласись, вместо оппозиции тютчевской тоске по высказыванию невысказываемого вырисовывается подлинная духовная близость. Так что «дайте Тютчеву стрекозу — догадайтесь, почему!».

Опять же шестующий своим путем железным век просто обязан ржаветь, но вовсе не по причинам кислотно-щелочной незавершенности. Гармония ведь (боюсь, мои слова о необходимости обоснования внесистемной целостности остались недопонятыми) не в благородной инертной законченности, достроенности. Живое (определение философа в данном случае выглядит поэтическим прозрением) есть небольшая погрешность в некотором равновесии⁴, культура мыслится не иначе как принципиально разомкнутый контекст, который тем не менее уже наличествует, состоялся.

Как может уже состояться то, что еще не вполне произошло, понять с обыденной и даже «научной» точки зрения трудно. В этом, кстати, причина моего обращения к некоторым вызывающим у тебя болезненную реакцию религиозным архетипам. Я думаю, однако, что будет неосмотрительно за раздражением проглядывать удивительные соответствия, поразительные свидетельства об антиномичной природе мира, творчества, души.

То, что концы с концами (или началами) не сходятся, — налицо. Вот упомянутый тобой Кушнер, предстающий высоким эклектиком, способным без ущерба соединять между собой абсолютно изолированные слои, пласты лирики. Благодаря чему? Благодаря их трупоподобной однотемпературности? Если мыслить гармонию как завершенную целостную систему, как платино-иридиевый сплиток, поражающий лишь своей полновесностью, — ответ очевиден. Так, вероятно, кому-то и кажется, так играют в пестрые конгруэнтные кубики упокоенной культуры постмодернисты.

Однако, быть может, мы имеем дело с целостностью иного порядка, с синтезом, позволяющим отождествить нетождественное не путем арифметически-стилистического уравнивания, а чудом: чистой, осуществляющей прорыв актуальностью.

Странное дело: признавая за поэтом стилистические новации, мы воображаем, что их можно отделить от экзистенциальной сути. Между тем Кушнеру потому удается так легко, так захватывающе упруго пройти по любым тропкам луговин и лесов русской лирики, что он наделен походкой нового человека. Чтобы стало понятнее, о какой новизне идет речь, я для начала приведу цитату из статьи Н. Лейдермана и М. Липовецкого «Жизнь после смерти...» («Новый мир», 1993, № 7). Они пишут: «Исходная аксиома «презумпции позиции»: в жизни есть смысл! (Версия традиционного монологизма.) Или наоборот: в жизни нет смысла! (Версия модернизма.) Однако в XX веке многие, очень многие художники не решились ни утверждать, ни отрицать. Они решились задаться непредрежденным вопросом: а есть ли в жизни смысл?»

Я думаю, авторы ошибаются: версия модернизма как раз не в утверждении бессмысленности жизни (это завихрения декадентства), а именно в вопросе, вводящем бесконечную рефлексю. Таковым является гигантский прустовский роман, таковым же — и якобы исключаящий рефлексю (именно потому, что он ее предполагает) джойсовский поток сознания. Что «жизнь — пустая и глупая шутка», полагали еще некоторые из романтиков. Сомнения же модернистов вполне закономерны, поскольку они все стоят на прежнем фундаменте достоверного знания. Просто для них не сомневаться — это знать наверняка. Но теперь уже нет точного, проверяемого тотальным опытом положительного знания. И воспитанному позитивизмом сознанию в самом деле остается лишь сомневаться, лишь задавать вопросы.

Сейчас тоже задаются вопросы. Разница, однако, в самом способе задавания. К кому они обращены? В пустоту, в ничто, как сказал бы абсурдный человек Камю, гордящаяся, что сама форма вопрошания противоречит первоначальной посылке, исключаящей адресата? Или же это попытка объясниться, пусть даже страстный вызов Иова, на который откликается Бог?

³ Статья О. Э. Мандельштама «О собеседнике» (в кн.: Мандельштам О. Сочинения в 2-х томах. М. 1990, т. 2, стр. 149).

⁴ Слова Я. С. Друскина.

Менее всего в набоковских романах (главных его романах — «Дар», «Лолита») вопрошают, имеет ли жизнь смысл. Такой вопрос не приходит в голову и нам, поскольку в каждый момент чтения в каждой клеточке текста мы застаем (помимо каких бы то ни было рассуждений на этот счет) явленную ценностную основу всего сущего. То же в стихах Мандельштама, а сейчас, может быть, лишь более осознанно, потому иногда слишком прямо — у Кушнера. Вопрос не в том, имеет ли жизнь смысл, — вопрос в том, почему, ощущая всем своим существом аксиологичность бытия, мы никак не можем ее поймать, логически сформулировать, зафиксировать на уровне общезначимого? Это ведь из разряда Зеноновых апорий, когда прохаживающийся по парку философ прямо-таки цепенеет от невозможности логически обосновать движение.

Липовецкий и Лейдерман не замечают, что задаться вопросом (изначально задаться, до какого-либо аксиоматического утверждения), «есть ли в жизни смысл» уже означает получить ответ отрицательный. Это как раз и показали художники модернизма от Чехова и Кафки до Сартра и Бродского. Уставшие от тяготы подобных вопросов (известно чем кончающихся), постмодернисты попросту предпочли сразу же провозгласить хаотичность и бессмысленность, с тем чтобы освободить если не голову, то хоть руки для какой-либо деятельности. Правда, голове при такой раскладке пришлось попросту притвориться недумавшей.

Драматизм процесса творчества заключается не в «переборе вариантов ответа» (как считают Л. и Л.), а в том, что «тягостна для нас / Жизнь, в сердце бьющая могучею волною / И в грани узкие втесненная судьбою». Дело не в сомнении, а в практической невозможности стать своим высказыванием, уйти в него, воплотиться.

5. Машевскому

«Нет, Вячеслав > И<ванович>, не усомнился я в личном бессмертии и, подобно вам, знаю личность вместилищем подлинной реальности. Но об этих вещах мне кажется, не надо ни говорить, ни думать. <...> Эти запредельные умозрения, неизменно слагающиеся в системы по законам логической связи, это заоблачное зодчество <...> кажется мне праздным и безнадежным делом». Это Гершензон, в «Перелиске из двух углов»... Не замечаешь ли ты, что мы скагываемся к постмодернистской пародии?

Занятней всего то, что я — с одинаковой охотой или с одинаковым безразличием — готов и радостно согласиться со всем, тобой сказанным, и язвительно оспорить тебя в каждом пункте. Почему? Не потому, что ты говоришь вещи неверные и пустые, а потому, думаю, что «заоблачное зодчество» в отличие от наземного лишено той степени актуальности, при которой сказанное берет за живое, не сопряжено со значимыми усилиями: из него нельзя извлечь подлинной правды о поэтических величинах и силах. Есть такой графический жанр — архитектурная фантазия; было бы нелепостью счесть его одноприродным с архитектурой, нуждающейся в контрфорсах и аркбутанах. Столь же нелепо полагать одноприродными теологию и настоящую веру...

Рефлексия, в том числе и моя, разъедает мир, тогда как поэзия, писал Ходасевич, постоянно его вновь воссоздает мечтой. Это, сказано, «нелегкий труд» — нечто существенно отличающееся от архитектурных фантазий и литературных мечтаний». Такая способность воссоздавать гармонию и целостность мира — свойство поэзии вообще и всегда. И зиждется она на очевидной «детерминистичности» и повышенной структурированности стихотворной речи, коренится в ее метрической природе. Меня смущает как раз то, что я не усматриваю в твоих построениях профессиональной и исторической специфики.

Все отличие моей, например, позиции от позиции сознательных «постмодернистов» состоит в том, что мне не хочется, как это пробуют делать они, писать маргиналии на полях якобы завершеного текста. Мне хочется в силу своих возможностей продолжить сам текст, даже в том случае, когда все мной написанное будет сплошными реминисценциями из предыдущего. Контекст культуры, разумеется, существует, как существует Бог — образно говоря, контекст мира; но вне ее текста мы-то с тобой не в силах пошевелить и пальцем. Если не заниматься

подменной понятий, то чудо, о котором ты говоришь, оказывается чудом обыденным — простым чудом жизни.

Мне кажется очень странным, что, критикуя доказательную конструкцию Лейдермана и Липовецкого, ты по существу берешь ее на вооружение, ничуть не рефлектируя по поводу того якобы монолитного «монологизма», который простирается якобы от Ассирии и Шумера до Шарля Бодлера. Это ведь как если бы кто-то стал сравнивать достопримечательности Калуги и Малой Вишеры, отнеся всю прочую многовековую мировую архитектуру к какому-то еще одному, третьему, разряду!

Как это ни парадоксально, доказательная интонация — интонация «литературоведения», в которой ты ведешь диалог с г-ми Дубль-Эл, — на мой взгляд, малопригодна для уловления самого феномена искусства. Какое значение для его понимания имеет, например, утверждение, что Анненский и Блок, точно так же, как Чехов и Кафка, дают якобы какой-то «отрицательный» полутверд на «последние вопросы», тогда как, скажем, Вячеслав Иванов дает якобы ответ «положительный»? Пусть с этим делом разбираются в Ватикане или в Даниловом монастыре; там Хомяков всегда будет «правильней» Пушкина. Сегодня самые «положительные» ответы дает, должно быть, высоко за это ценимая Сергеем Аверинцевым Ольга Седакова. Что же с того?

Мне кажется, что предложенный тобой, внеэстетический по сути, путь надуман, неудобен и неестествен. Что, если Пригов как раз и занят перебором «вариантов ответа» — и уже перебрал их в количестве двадцати тысяч? Я бы все-таки призвал нас довериться вкусу (инструменту скорей подсознательному), а не внеположному для искусства рассудочному мышлению; обладание вкусом есть эстетическая проекция «властимения», а не книжничества.

Дихотомия «рассудок — вкус» и способна, по-моему, прояснить ход стилистических, и соответственно — ментальных, изменений в искусстве. Циклическая модель здесь такая: постепенное самоосознание и теоретическое обывзвествление художественного вкуса (и стиля) — умирание и распад старого вкуса — рождение нового вкуса. Довольно банально, но зато очевидно. Знаменательны строки молодой Ахматовой:

Вместо мудрости — опытность, пресное,
 Неутраляющее питье.
 А юность была — как молитва воскресная...
 Мне ли забыть ее?

Не скрою, эти стихи — для объяснения истории русской поэзии XX века — я предпочту любому теоретизированию, любой заоблачной логике, оперирующей терминами «монологизм», «экзистенциализм», «реализм», «постмодернизм»... Разве это четверостишие не жизнеописание того большого стиля русской поэзии XX века, который возник в 10-е годы, был явлен «Кипарисовым ларцом» Анненского, «Сетями» Кузмина, стихами молодых акмеистов и футуристов? Хорошо писал об этом Владимир Вейдле в статье «Петербургская поэтика». Он говорит, что около 1910 года в нашей поэзии произошел невиданный стилистический перелом, родилось то, что он именует «петербургской поэтикой» или «золотой порой серебряного века». Вся лирика стала двигаться тогда в культурном фарватере, границы которого Вейдле обозначает именами Анненского и Кузмина. Движение это охватило не только литературную молодежь, но и ведущих поэтов размытого этим движением символизма — Блока, Вяч. Иванова, Сологуба, Андрея Белого, которые как раз после 1910 года и написали лучшие свои, не скованные догматами старого стиля поэтические произведения.

Можно сказать, развивая Вейдле, что около 1910 года мы имеем своего рода двойной оптический фокус, или, если воспользоваться иным сравнением, своеобразное суженье песочных часов: Блока, собирающего стилистический и семантический конус прошлой поэзии, и Анненского, посылающего в будущее разворачивающийся веером стремительный луч — луч, который, будучи разложен на призме постсимволистского поэтического поколения, дает едва ли не очевидный солнечный спектр. Проиллюстрирую ради забавы. Вспомнив гимназическую присказку о «каждом охотнике» и расположив крупнейших лириков постсимволизма по оси «акмеизм — футуризм», получим: Гумилев — алый, Ахматова — оранжевая, Мандельштам — желтый, Пастернак — зеленый, Цветаева — синий, Маяковский — фиолетовый.

Несмотря на то что это почти шутка, она не лишена, как мне кажется, некоторого смысла. Во всяком случае, тут больше рационального, чем в сонете Рембо «Гласные». Особенно мне нравится, что ультрафиолетовые и инфракрасные, вроде Хлебникова или какого-нибудь Кусикова, оказываются за гранями видимого и жизненно значимого. С ними мы сталкиваемся не на улице, а разве что в культурологической поликлинике...

А затем, после развернутого цветения, наступает постепенное стилистическое обызвествление, усреднение, исчезновение цветового многообразия этого большого единства, что очень заметно в поэзии 40-х и 50-х годов — у Пастернака, Ахматовой, Заболоцкого. Эта опытность в место мудрости достигает своего апогея в стихах «шестидесятников» — у молодых Кушнера и Бродского, которые в 70-е годы попросту раскололи старый большой стиль на своего рода личные вотчины, окрашенные их литературными и жизненными пристрастиями: у одного — с сильной примесью романтизма, у другого — академизма.

После них, а точнее, поскольку они продолжают и сейчас плодотворно работать, вокруг них царит полный «постмодернистский» распад, аморфность эклектики, стилистический прах. Есть у меня, правда, предчувствие, что как раз из этой-то размельченной пудры и спечется новое стилистическое единство, новый поэтический стиль. В этом смысле двойная звезда Бродского и Кушнера, возможно, функционально подобна двойному фокусу Блока и Анненского и — хочется верить — спровоцирует столь же значимые последствия. Добавлю лишь, что, называя в обоих случаях центральные звездные имена, я ни в коем случае не забываю о всеобщей гравитации подлинных поэтических тел, каждое из которых так или иначе влияет на описанные метаморфозы.

6. Пурипу

Я, конечно, понимаю, что пафос нашей телефонной схватки спровоцирован самой ситуацией разговора на людях. И тут не очень-то важно, кто будет играть белыми, а кто черными в этой культуртрегерской партии.

Хотя дело не только в этом. Меня, знаешь ли, умиляет лукавая праведность твоей позиции. Ты как бы изображаешь священный ужас по поводу неуклюжих попыток объять пылкую эстетику холодными теолого-философскими «лапками» и тут же рядом строишь свою (столь же метафизическую) концепцию, основанную на туманной категории вкуса и радужно-спектральной метафоре. В общем, я даже понимаю, зачем это делается: чтобы ни одно из произнесенных слов нельзя было «взять с полочки». Создается некое подобие художественно организованного текста, в котором каждый участок при слишком навязчивых приставаниях посторонних стремится обратиться в свою противоположность. Этакая принципиальная безответственность, при которой только и можно выдавать сентенции насчет дихотомии вкуса и мышления (если вкус не связан всей своей органикой с мышлением, я вообще не понимаю, что это такое).

Короче говоря, ты мыслишь себе сегодняшнее твое высказывание как стихотворение, выражающее нечто только здесь и сейчас — вот в этой самой точке прочтения. Но позволь заметить: тогда и надо писать стихи, а вовсе не пытаться о них что-то такое прозой высказывать, воображая, что «эстетические» концепции ближе к предмету, чем «метафизические».

Может показаться странным, но меня радуют подобные построения. Естественно, теология — не вера и никогда ею не станет. Равно как и любые разговоры о поэзии не приблизят нас к ее пониманию, тем более к написанию хороших стихов. Но тогда резонен вопрос: чем же мы вообще сейчас занимаемся? Зачем? Ведь гершензоновское замечание, адресованное Иванову, на самом деле является лишь позитивистской дымовой завесой, призванной вывести из-под удара столь же абстрактные «земные» эстетические («вкусовые») описания ценой отказа от «небесных» теолого-философских. Ему, так сказать, кажется, что переводить с русского на немецкий предпочтительнее, чем на английский. Ты скажешь: не английский — а «ангельский» язык. Но прости: Евангелия написаны людьми — Лукой, Иоанном, Матфеем, Марком.

В любом случае мы упираемся в антиномию, которую я, воспользовавшись твоим методом, метафорически переформулирую словами апостола Павла из пос-

лания к римлянам: «Ибо, мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3, 28). И тут же: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3, 31).

Надо ли пояснять? Художественная практика безусловно самоценна и невыводима из метафизико-эстетических построений. Но это не значит, что она их отрицает. Более того, это не значит, что без них можно обойтись.

Когда мы с тобой, стоящие практически на одной эстетической платформе, доверяющие друг другу на уровне своих поэтических текстов, не можем никак перекинуть легкий словесно-терминологический, эстетико-метафизический мостик через расщелину прямого высказывания, тут-то и проявляется главная головная боль. Заметь, оказывается, нас волнует не столько вопрос о том, есть ли сейчас настоящая поэзия (мы просто знаем, что писать хочется, — это и является свидетельством наличия некоторого заряда, некоторой «разности лирических потенциалов», так что даже не обязательно ссылаться на какие-то конкретные имена), — итак, нас не столь беспокоит подозрение в отсутствии поэтического пространства, сколько парадокс его явной неявленности или наоборот — неявной явленности.

Все наличествует, делаем одно дело, ощущаем поток, живую струю. Когда же пытаемся сказать об этом, оказывается, что слова летят мимо цели. И поэтому никак не договориться. То ли плавающая в фокусе предложенной тобой бродско-кушнеровской линзы литературная магла еще не начала остывать, принимая конкретные формы, то ли извечная оппозиция неизреченного — познаваемого приобретает в наше время новое качество (еще раз поясню, что имеется в виду: ценности — есть, они могут быть даже сообщены — «на ухо», «по секрету» от одного другому в коротком замыкании индивидуального контакта, но никак не предъявлены на всеобщее обозрение). Я склонен подозревать, что имеет место и то и другое.

Что же касается заданного тобою вопроса о значимости лирических диоскуров Б. + К. для формирующегося направления, ответ, по-моему, очевиден. Достаточно открыть один из лучших поэтических сборников последних лет — книжку Олеси Николаевой «Здесь». Реминисценции — вплоть до прямых заимствований (от кушнеровских «Отрывков» до «Строф» под Бродского) — как будто задают судоходный фарватер, в котором только и осуществляется лирическое движение. При этом, замечу, настоящее, живое, подлинное олес-николаевское резко отличается от метода, от голоса указанных выше авторов. Это и понятно: вода в реке не имеет ничего общего с составом пород, слагающих берега, в которые втеснено ее русло. Мнимая ограниченность, несвобода оказывается здесь условием протекания, стремления вперед. Как это отлично от паводкового загнивающего мелководья «свободного» авангарда, постмодерна, неряшливого андерграунда!

7. Машевскому

Рассуждай, расписывай... Папироса
некурящей речи не помешает,
потому что, к счастью (какая проза!),
волосок латунный нам замешает
всю тусовку шумной «Афинской школы», —
все их позы, жесты из жести, сцену
театральную, реквизит, приколы
бородатой статики... Знаю цену
Диогену — с бочкой его и свечкой!
Но и те, что тычут в бурьян и в тучки,
буридановой кажутся мне овечкой,
валаамовой, — тоже, ты знаешь, штучки...
Говори, рассказывай... Феномена
вот пример базарного — так их слило...
Хорошо, что Муза нас, а не вена,
что Тоска — не Вера соединила;
что не хватит тонкого капилляра...
Где покой... и снится ли? Где движенье?
Лишь невнятно в сумерках меркнет фара —
аритмия, перемеженье, жженье.

8. Пурину

О, с такой госкующей, пусть не верой,
 Но душой, — фонарик затеплить можно...
 Подождем отбрасывать те примеры,
 Станцы, лезвия прятать в ножны,
 То есть циркуль хромовый — в готовальню:
 На бумаге сферы и звезды в небе.
 Эту школу, схолю, избу-читальню
 Ватикано-греческую в Эребе
 Вспоминать придется, как знать... К тому же
 Время выпало нам такое:
 Капилляр все тоньше, зазор все уже.
 «Что друг другу шепчут там эти двое?!»
 Мне всего важнее, что между ними
 Словно тянется медная та же змейка
 Проводка, гудящего позывными
 наших споров, липнувших к слуху клейко.
 Вот — расщелина в небе, в земле — лазейка.

* * *

...О том, что нет Бога — потому невозможна встреча
 И с человеком, о том, что тебя оставил
 Тот, которого нет, всякой логике противореча,
 Но ты ощущаешь это, словно игру без правил.
 И можно теперь только «вычитать» этот Голос
 В книге... Но бесполезно смотреть в окно электрички,
 Потому что цивилизация наша, кажется, прокололась —
 И «плаванье» продолжается, в сущности, по привычке.
 Да, без руля, без ветрил, как в сверкающем океане
 Горнем, раскинувшем звездную карту неба —
 Карту, ежеминутно подозреваемую в обмане...
 Здесь Аполлон — не Харон — перевозчик в края Эреба,
 Здесь совершается путь в никуда, здесь следы, обломки
 Мрамора, плоть впитавшего, пепла пустые ниши.
 Только на берегу моря, у самой кромки
 Волн вижу луч огневой, рокот живой слышу.

Я очень рад, что безуспешные поиски адекватного высказывания привели нас наконец к естественному и неизбежному выходу. Быть может, это яснее всего продемонстрирует, чем являются сегодня стихи... Коротко говоря — спасением

9. Машевскому

Все ты видишь розовым, всему-то
 рад. А мне картинка этой коды
 кажется не катарсисом смуты, —
 королем из карточной колоды —
 двуголовым вакуумолазом:
 ни земли, ни космоса не зная,
 он с тузом витает одноглазым...
 Как их бьет шестерка козырная!..
 Горе ей — невнятной, наделенной
 непомерной значимостью тайной, —
 взрывший мозг позор вечнозеленый,
 ужасов Мидаса дар случайный...
 Слушай же все жалобы и скорби
 должников, обязанных из ямы
 еженошно Urbi слать et Orbi

о безумье мнимом телеграммы!
И смотри, шепчу я по секрету,
смертную тоской какой и хмелем
важковым объят нам шлющий эту —
о поэтах, сбитых Рафаэлем..

И думаю, прорвавшиеся стихи оказываются все же не спасением, а простой уловкой. Пора, однако, положить временный конец нашим схолиям — и вернуться на землю. Позволю себе напоследок лишь несколько фраз о Диогене, потому что гуманистический «фонарик», мерцающий в твоём стихотворении, как бы отсылает к тем поискам человека, с которыми принято связывать имя киника. Но об этом философе, если не «художнике жизни», рассказывают и такую еще байку: «Как-то раз он закричал: „Эй, вы, люди!“ Сбежался народ. Он набросился на них с палкой со словами: „Я звал людей, а не дерьмо!”»

Согласись, Диогеново «ищу человека», с повернутым в лицо встречному допросным фонариком, его площадной юмор и хеппенинг — все это живо напоминает так называемый «модернизм» XX века — искусство прежде всего ц и н и ч н о е. «Через час отсюда в чистый переулочек / вытечет по человеку ваш обрызганный жир» — это у Маяковского вполне осознанное развитие Диогена. Мне могут сказать, что такого рода эстрадные игры, как и, например, стул, хряснутый об пол сегодняшней Ры Никоновой, озонируют воздух и вышибают в нас искру адреналина. Да, вышибают. Только выделение гормона страха и подхихикивание в партере не суть проявления эстетической реакции

В том, что описывается нынче терминами «авангардизм», «модернизм», «пост-авангардизм», «постмодернизм», «андерграунд» и т. д., меня раздражает прежде всего эстетическая ущербность и несамодостаточность — неспособность слова обойтись без платного приложения солнцезащитных очков, сценической позы, каталожных карточек, желтой кофты, наконец — того циклопического яйца, из коего выглядывает Андрей Вознесенский, уж и не знаю кем себя воображивший... Весь этот «авангардизм», разумеется, стар, как мир, но меня интересует сейчас даже не его старость, а его внеположность искусству; им следует по-настоящему заниматься не искусствознанию, а какой-нибудь «истории нравов», как это делает, скажем, голландский биограф Карель ван Мандер в своей «Книге о художниках...», описывая жизнь маньериста Корнелиуса Кетеля

«В 1599 году он выдумал писать прямо руками, без кисти, что было принято многими за смешную и нелепую причуду, похожую на прихоть некоторых беременных женщин, кушающих грубые и неудобоваримые вещи... Но еще удивительнее было то, что в 1600 году ему пришла мысль писать без помощи рук, одними ногами, чтоб показать, что и этим способом он может что-нибудь сделать... Некоторые высокие особы очень увлекались этими работами»

Было бы неверным обойти молчанием в нашей беседе такого рода явления, грозящие своей массовостью превратить искусство XX века в подобие мусорной свалки. С твоего позволения я воспроизведу здесь развернутую метафору, коллективно сочиненную нами в одном из предыдущих, незапротоколированных, разговоров. Говоря о «паводковом мелководье авангардизма», ты уже вводишь в нашу беседу фрагмент этой речной метафоры.

Итак, искусство подобно реке, питаемой таянием вечных снегов архетипов и мифов, горных ледников давнопрошедшего младенчества человечества. Река искусства стремится к вечно недостижимому морю — к Абсолюту, в котором мыслится последнее упокоение и наступление полного равновесия. То замедляя, то ускоряя течение и испытывая постоянный подпор прошлой культуры, она движется по историческим ментальным ландшафтам — проходит стремительные и бурные романтические теснины, ленивые и медленные равнины натурализма... Что произойдет с нашим потоком, если на его пути окажется гносеологическая преграда, историческая запруда, а в верховьях реки пройдут мировоззренческие грозовые дожди — как это случилось, скажем, во второй половине прошлого века, когда кумиры померкли, снова умер Великий Пан, родился же ницшевский *Übermensch*? Тогда, очевидно, случится паводок, наводнение, половодье, разлив реки — образуется мнимое море. Искусство, вышедшее из своих подлинных берегов, затопит неадекватно большие жизненные территории, но станет при этом мелководным, утратит динамику. В него окажутся вкрапленными несоприродные ему, внеэстетические предметы — деревья, надгробия, избы, рваные сапоги...

Подпор воды между тем будет провоцировать разного рода авангардные всплески на периферии такого случайного водохранилища — всплески, сигнализирующие как раз о том, что именно в этом месте тупик художественного познания, отвесная гносеологическая скала.

Когда наконец прибывающая вода преодолет запруду, отыскав в ней самое слабое, а значит, исторически самое значимое, самое болезненное звено, когда запруда будет затем размыта устремившимся в прореху потоком, тогда половодье сойдет, река вернется в свои прежние берега. И только на территории, затопленной в период разлива, останется медленно высыхающая постмодернистская множественность не сообщающихся между собой луж и лужиц. В каждом из таких водоемчиков как бы смоделирован финальный покой идеального моря, и обитатели их воображают себя уже приплывшими к Абсолюту, к «концу истории» и искусства.

Вся эта система постмодернистских луж в какой-то мере, разумеется, отражает морщины и раны исторического менталитета и любопытна с точки зрения культурологической дактилоскопии. Важно только увидеть то, что отображает она не сегодняшнее, а вчерашнее сознание, уточняюще вторит разливу первого авангарда. Река искусства уходит вперед, тогда как просыхающая территория постмодернизма неподвижно лежит в прошлом. Поэтому у постмодернизма не только нет будущего, но, по существу, нет и реального, значимого настоящего. И так легко навсегда заблудиться в двух шагах от дороги, по которой уже прошла литература. Развивая Зенону, можно сказать: авангардист Ахилл рискует при первом же шаге навсегда потерять свою черепаху-лиру.

Думаю, что наши с тобой разногласия, выявленные этой беседой, сводятся к тому, что меня больше занимает такое вот приращение искусства, как бы подталкивающего нас в спину — и почти насильно придвигающего нас к Совершенству, тогда как тебя больше интересует поле тяготения самого Абсолюта, аксиоматическая (ты говоришь) покатость к нему бытия, влекущая всех нас к большому магниту железа души. Но, как всегда, это лишь два эскиза одного и того же.

Главное в эстетике ведь не знаменитая оппозиция что — как, а осознание того факта, что и исследование этой оппозиции никак не ведет к такому практическому как. Манделштам, например, пропагандировал в 1913 году некое внесение в искусство «благородной смеси рассудочности и мистики». Мне кажется, что и сегодня это по-своему актуально. Весь вопрос в том, как это сделать.

И не случайно, видимо, одним из первых имен, всплывших в нашей беседе, оказывается имя Олеси Николаевой — действительно замечательного современного поэта, одного из самых мною любимых. Почему мы принимаем в этих стихах то хождение «около церковных стен», подчас кажущееся чрезмерным и никак не оправданным, которое сразу бы оттолкнуло нас от сочинений другого автора? Каким образом прозаизация поэтического мира (как бы в духе Людмилы Петрушевской) совмещается здесь с блистательным звукорядом, религиозное послушничество — с подлинностью мирских чувств, бытописательство — с историзмом? Чудом, конечно. А как я понимаю то, что эта поэзия — подлинная? Не мертвящим анализом (см. выше), а, увы, вкусом.

Я бы вспомнил в этой связи еще Елену Шварц и Светлану Кекову. Достоин, на мой взгляд, специального и вдумчивого исследования вопрос — почему сегодняшней женской поэтической генерации столь свойствен повышенный мистицизм; в чем причина такой его интенсивности, беспрецедентной для русской поэзии нового времени?

Любопытно еще и то, что — если это не какой-то личный заскок — женские имена сегодня легче произнести, чем мужские. Кого мы с тобой сегодня можем назвать из нашего поколения — назвать с несомненной уверенностью, то есть не как ожидание, а как состоявшееся явление? Есть ли в этом поколении устоявшиеся, хотя бы для нас самих, авторитеты? Есть ли поэты, чьи стихи, чья поэтика переживались бы нами всерьез — с горячкой влюбленности, со своего рода завистью, с настоящей любовью?

Если говорить уж совсем честно, то никого, кроме Николая Кононова, назвать по такому высокому счету здесь не могу. Он действительно открыл в середине 80-х годов неслыханные до него интонации и замечательный, очень личностный поэтический мир. Думаю, что его воздействие на поэзию нашего поколения весьма значительно. Сегодня, правда, меня смущают, во-первых, чрезмерно легкая усвояемость кононовских открытий его эпигонами, что как бы ставит под сомне-

ние стилистическую ценность такой поэтики: высокие планки должны ведь быть трудными. Во-вторых, меня смущает статичность самой этой поэтики. Парадоксально, но очень свободная, по-кузмински «мешковатая» кононовская одежда порождает в себе какую-то интонационную и семантическую несвободу, не склонна к метаморфозам. Иногда этот ценный мною поэт напоминает мне обезьянку, которая, схватив положенный в кувшинчик подвоха орех ритмического открытия, не может теперь освободить руку, а разжать кулачок — жалко.

10. Пурину

Что же теперь ответить, когда предел
 Всем оправданиям полагает «пытливый» ум?
 Дальше уже не споры, а скрытая тяга тел,
 Мыслей топтание, крови усталой шум.
 Видишь ли, беззащитны стихи — затем
 Все и дано им. Хочешь — возьми, оспорь.
 Эти слова искрят, как неплотные гнезда клемм,
 Передаются воздухом, словно корь.
 Знаю лишь, что был полдень солнечный и цикад
 Радостные голоса висели, как алый зной.
 Любящий (да, всего лишь любящий) мудрость не виноват
 В том, что кто-то потом захлебывается слюной
 Собственной... Осторожно! — Катарсис не извлечь,
 Пластырем утешенье на ранку не наложить.
 Только и остается, что тихо баюкать речь,
 Жить...

Нет, не желаешь ты, хотя и мы уже почти «доплыли», переходить к более размеренному струению двух наших потоков, сливающихся перед конечным рывком в единую мерно текущую реку. Ну что же, минуем и эти пороги.

Иметь — и не обладать... В этом как раз и состоит природа той гносеологической плотины, о которой мы говорили, развивая историко-речную метафору: постоянное сомнение, не является ли эстетика на деле всего лишь факиром в ярмарочном балагане, Дедом Морозом с новогодним мешком дешевых сластей и картонных игрушек. Это и есть иметь праздник и не обладать уверенностью в его, так сказать, праздничности (если, конечно, не путать последнюю с запрограммированным бездельем нерабочего дня).

Ну да ладно. Пора успокоиться, тем более что я согласен с большинством твоих высказываний. Мы, кажется, приближаемся к «устью».

Как ни печально, если не выдумывать формальных признаков, сообразуясь с которыми можно затем классифицировать всю пописывающе-почирикивающую братию по цвету «перьев» и величине «клювов», то вынужден с тобой согласиться: лично значимыми, ожидаемыми с волнением и интересом остаются очень немногие.

Конечно, и Тимур Кибиров, и Лев Рубинштейн, и Паршиков, и Еременко, и даже Дмитрий Пригов, и даже Ры Никонова, случается, вызывают любопытство, так сказать, познавательного характера. Обращаясь к ним, мы анализируем, собственно, не лирику, а варианты ее отсутствия (как ни смешно, именно отсутствие и оказывается многовариантным).

Есть бескрайнее море поэтических текстов, среди которых попадают вполне достойные. Степень интереса к ним, как правило, определяется мерою человеческой близости к их авторам. И это нормально. Но вот что вне человеческих связей (или даже вопреки им)? О ком, кроме, разумеется, бесспорной двойной звезды, видимой даже на дневном ярком небосводе современности (воспользуюсь здесь твоим сравнением), можно говорить всерьез, без подспудных Гесиодовых скидок на всеобщую деграцию? Короче, чью книжку я хотел бы обязательно иметь, не поленившись отправиться за ней по магазинам, на кого не жалко было бы потратить последние остающиеся до зарплаты 200 — 300 рублей (или уже 400, уже 800 — разве уследишь за этой динамикой!)? Согласен с названными тобой именами. Это Олеся Николаева, Елена Шварц, Николай Кононов.

Вышедшая в 1992 году книга последнего «Пловец», правда, оставляет странное впечатление. Кажется, что отдельные строки лучше каждого из стихотворений в целом, а отдельные стихи значительнее самого сборника. Я говорю об этом лишь потому, что тут и в самом деле есть предмет для обсуждения: недостатки поэта являются оборотной стороной его достоинств. Как бы застывший, но одновременно «беглый» взгляд выхватывает из «суммы обстоятельств» нечто — нечто пригодное для называния, и тогда звучит (беру первое попавшееся):

Чтобы губы крутые в зеленом «о» бутылка долго-долго
гнула, напрягая,
Чтобы не сказала ничего нескромного, чтобы ни намек.

При внимательном приглядывании оказывается, что практически все стихи переполнены такими замечательными, яркими «камешками», «смальтами», с которыми, однако, Кононов часто не знает, что делать. Он, как ребенок на берегу моря, перебирает их, раскладывает в произвольные узоры. Сначала за этим «детским творчеством» замороженно следишь, но скоро устаешь от какого-то статического внутреннего однообразия. Странное отсутствие интонационной, лексической, мыслительной динамики вот-вот грозит обернуться девальвацией собранных в один «кузовок» метафорических сокровищ. Их просто чересчур много, они слишком ярки (как золотые украшения на витрине ювелирного магазина), что заставляет невольно отвлекаться на посторонние мысли о стоимости предъявляемых на всеобщее обозрение «вещиц».

Демонстративность вообще мешает эстетической оценке, тем более что в данном случае за ней, кажется, скрывается принципиальная вечно юная потенциальность. Что я имею в виду?..

Мне чудится, что я еще вдали, вдали за тучами.

Я еще подумал с ужасом: разве хватит сил
смешливых и улыбчивых?

..И душа вот-вот в бомбоубежище спустится

Когда я пробегу невидимкой сквозь систему розовых линз.
О, как бы я хотел, как бы я хотел аспекты легкого
недомогания

Нежно так в Институте врачебной физкультуры
На кафедре лени изучать...

Только-только элегическою рыбкой думал прилепиться
к кораблю.

Так подросток в приливе не обеспеченной прошлым фантазии легко набрасывает для себя и стирает чертежи то блестящего, то ужасающего будущего. Нам все время рассказывают, как могло бы быть, как будет, что станет с автором, и описывают, как уже сейчас он переживает это ожидаемое свое превращение. Но ни слова о том, что же действительно произошло или действительно сейчас происходит. Обилие мыслительных конструкций предполагаемого, не подкрепленных реальным переживанием, опять же грозит рассыпаться мозаичными кубиками отдельных «О!» и «Когда бы». С какого-то момента начинаешь подозревать, за всеми этими «барочными» жестами, интонациями, предчувствиями стоит не судьба, а хорошо отрепетированная манера высказывания.

Я так долго говорю об этом лишь потому, что Кононову и в самом деле удалось создать свой узнаваемый, ни на кого не похожий поэтический мир. И хотя, попадая на его «планету», мы рискуем умереть от голода и жажды, предаваясь созерцанию чистых мыслительных форм (обозначаемых автором с неподражаемо серьезной, даже горестной интонацией, так удачно сочетающейся с почти пародийной лексикой), и хотя со статичными обитателями этой terra incognita мне лично никак не вступить в живой человеческий контакт, притяжение огромное, все время ждешь, что кукла вот-вот заговорит, и, когда улавливаешь чуть заметное внезапное движение губ, трепет кажущегося дыхания, — впечатление потрясающее. Таков эффект воздействия малейшего смещения в этой принципиально нединамической системе. Таковы лучшие, настоящие стихи.

Каждый как бы работает себе вопреки, словно себя опровергая. Мне кажется, что такую же роль «внутреннего противоречия» берет на себя рифма в стихах Елены Шварц, как бы изначально белых, на «белость» и ориентированных. Это еще кузминский прием, но интересно, что в данном случае попытка бегства за рамки системности выглядит осознанной и принципиальной.

Мне жаль, что Кононов среди выделенных фигур остался единственным представителем сильной половины человечества. Дабы соблюсти равновесие, рискну привлечь внимание к двум, на мой взгляд, заслуживающим читательского интереса поэтам. Это Виктор Санчук и Владимир Гандельсман. Правда, прежде чем говорить о них, хотелось бы поддержать в руках полновесные авторские сборники. Последнее же, насколько я понимаю, пока затруднительно.

11. Машевскому

Так, смотри, в сардониксе камеш
зреет, плат сминая и покров
совлекая, — мнимая алмея,
лжеменада пляшущих миров,
голубятня идолов, — имея-
обладая, город Птолемея
расцветает — роза всех ветров.

Множество, своим центростремленьем
в триединый свитое завой,
терниями слитый с нашим тленьем,
не как те, бессмертные, — живой...
Боже, что мне делать с умиленьем,
с этим жарким крестиком оленьим
меж ключиц, с платановой листвою?..

С этим ветерком Александрии,
реюшим в крови?..
Господи, толпой божеств умри — и
лик преображенный свой яви!
Идолы — твои ль поводыри и
рыбари?

Нет уже еврея или грека,
ни жены, ни мужа — только Ты.
Лот, Эдип, Медея и Ревекка —
сосредоточением слиты.
Даже — тот, кто ищет человека
с лампочкой циничной слепоты.

12. Пурину

Мы никак не можем договориться,
Потому что, знаешь, во всем согласны.
Так в колоде черная масть двоится,
Доставаясь нам вперемежку с красной.
Чет и нечет — грани одной костяшки,
А цинизм с отчаянием — бок о бок
Управляют чувством; бегут мурашки:
Как язык проворен мой, как неловок!
Ибо нет, действительно, здесь ни грека,
Ни еврея — в этой пустынной, длинной
Жизни. Если хочешь ты человека
Отыскать, запомни: все — андрогини.
Вот и травы эти, и мы с тобою
Перепутали корни свои и стебли,
Чтоб валторне жаловаться гобою,

Умоляя жарко: усни, ослепни!
 Потому что воздух один, в котором
 Неизбежно встретиться звукам этим,
 Ставшим гулом общим, неясным хором,
 Позабывшим начисто о предмете.

13. Машевскому

Думаю, что книжки у названных тобою поэтов есть, но ты прав: выпущенные в Америке или в Москве, они нам равно недоступны. Не стану сползать в банальную тему — о сегодняшнем книгоиздательстве и книжном рынке, отмечу лишь, что если раньше отсутствие в природе сборника, скажем, Олега Чухонцева или — позже — Александра Еременко воспринималось как какая-то значимая лакуна, то сейчас подобного ощущения вовсе нет. По-моему, это вполне нормально. С какой стати мы, словно зрители авантюрного фильма, должны жить такого рода предвкушениями? Кто, скажите на милость, предвкушал «Сумерки» Баратынского, «Вечерние огни» Фета, «Кипарисовый ларец» Анненского? Что касается последней из перечисленных книг, выпущенной в свет, между прочим, московским книгоиздательством «Гриф», то она, похоже, и до сих пор как бы не дошла до Москвы, ее как бы никто там в глаза не видел — разве что Пастернак слышал о ней что-то краем уха...

Так что сегодня, на мой взгляд, все обстоит в высшей степени хорошо: слышимость, как и должно ей быть, почти нулевая; никакой подлинной связи между столицами, как и в самые лучшие литературные времена, нет. Новизна, пожалуй, лишь в том, что мы наконец стали столь же пренебрежительны к поэтическому Третьему Риму, сколь он всегда был таков по отношению к «петербургской поэтике». Едва ли не единственной стихотворной московской книжкой, продававшейся за последние два года в Петербурге, был сборник Пригова, который я, за полной ненадобностью, не купил.

Полагаю, читатель не ждет от нас критической объективности. А если все-таки ждет и если, более того, воображает, что таковая возможна, то пускай он возьмет и перелистает журнальные рецензии несомненных специалистов в поэзии — Ходасевича, Гумилева, Тынянова, Набокова... Или — статью Анненского «О современном лиризме», где наряду с действительно замечательными или хотя на что-то похожими поэтами рассматриваются и бог знает кто — Маковский (редактор «Аполлона»), Кривич (сын автора), Кречетов (владелец издательства «Гриф»), какие-то уж и совсем эфемерные — Зарянский, Тарасов, Новицкий... Между тем эта статья — шедевр литературной критики, редчайшее исключение из того грустного правила, согласно которому подавляющее большинство написанного в жанре критики (как, впрочем, и в любом ином жанре) вообще не несет никакого смысла, кроме, может быть, сиюминутного дележа спонсорских премий и мест в ничтожных ложах художественного истеблишмента.

Можно было бы, конечно, назвать десятка два или три вполне достойных сегодняшних стихотворцев. Несомненно и то, что среди них есть и подлинные поэты, чьи стихи убегают глеться. Но все эти имена тот, кому по-настоящему есть дело до литературы, знает и без меня. Мне кажется, что, ограничившись, так сказать, вопросами психологии творчества, самоанализом, сведя к необходимому минимуму чисто критический отлов нынешней поэтической рыбы, мы поступили достаточно адекватно.


В конце концов, для меня несомненно и важно только одно: лирике деться из жизни некуда — и не такие, стоит лишь Баратынского, с его «Последним поэтом», вспомнить, времена она пережила. И чем меньше внешняя жизнь, в том числе и газетно-журнальная, будет ею интересоваться, тем для нее, лирики, лучше.

Тирсы наших менад примахались быстро.
 Хоть бумажку мните, Орфея рвите, —
 а Назон и в зимних низовьях Истра
 сочиняет плач, Александр — в Тавриде;
 и Дедал, замкнув лабиринт, на Крите
 дельтаплан выносит — пари сребристо!..
 Не обрезать вам путеводной нити.

Не наследство, нет, — но уроки бегства
из угрюмо так обступившей суммы
обстоятельств... Кажется впавшим в детство,
что мертво искусство, мечты заумны,
беспросветны слезы... Нас их соседство
тяготит. — Несите же, крылья шумны!

14. Пурину

Если даже не крылья, то ветер сдует...
Улетать пора, все уже этюды
Нарисованы, публика негодует:
Ну нахалы, неучи, ну зануды!
Любованье-само с высокомерьем,
Обличительный пафос с гнилой лентою.
Только Музу-праведницу доверь им,
Попадешь на шабаш к битлам и Цюю!
Хорошо по речке скользить в байдарке
Мимо вросших в землю кустов кудлатых
Хорошо смотреть, как играет яркий
Блик на волнах сизых, на перекатах.
Кто его не видит — следить не может,
Кто не понимает — тому не надо
Объяснять, что ближе всего, дороже
Эта замедляющая преграда
Рифмы, затруднение мерной строчки,
Мысли перепады, контекста нити,
Прорыванье бабочкой оболочки
Собственных хитиновых перекрытий.
Пусть спокойно к морю река стекает
Лентою неровной, стезей окольной. —
Это неизбежно — она такая.
Да, она — такая... Ну и довольно!..



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВМЕСТО ПОБЕДЫ

Игорь Долиняк. Мир третий. Повесть. «Звезда», 1993, № 10.

У этой повести есть все, чтобы она читалась, как захватывающий психологический детектив, — Ленинград, 1946 год, жестко прописанный быт «городских низов». В центре повествования — мальчик, исповедующий кодекс чести героев Майна Рида и Вальтера Скотта; одиночка, вступающий в неравную схватку с шайкой бандитов. Местная шпана намерена использовать его как наводчика и участника налета на генеральскую квартиру. Он сопротивляется, но силы неравны. У блатарей свои методы воздействия. Герой перед выбором — или помогать бандитам, или быть убитым. Ситуация безвыходная. Мальчик обречен. Но в последний момент (как требует детективный жанр) он решает нанести упреждающий удар — убивает одного из бандитов, своего мучителя Жигу. Налет сорван, банде нужно прятаться от милиции, привлеченной загадочным убийством. Бандитам не до мальчика. Он добился свободы и независимости. Он победил...

Повесть эту можно прочитать и как образец жестокого социально-психологического реализма. Как повесть-обличение, развенчивающую миф о безмятежном школьном и пионерском детстве («Витя Малеев в школе и дома»). Перед нами судьба «маленького человека» эпохи тоталитаризма, сына репрессированных родителей, гонимого одноклассниками, беззащитного перед шпаной. Множеством выразительно написанных эпизодов, деталей и подробностей тогдашней действительности подчеркивается внутреннее родство государственных установлений и законов уголовного мира.

Но вот странность — похоже, что сам автор в общем-то равнодушен и к собственно детективной, и к социально-обличительной линиям своей повести. Скажем, криминальный сюжет обрывается в том самом месте, где он набирает максимальную напряженность, и читатель вправе ожидать рассказа о событиях, происшедших после убийства Жиги (вспомним, что в знаменитом романе другого петербургского литератора события после убийства героем старухи-процентщицы занимают еще добрую половину романа). Да и сама сцена убийства прописана у Долиняка не до конца, она обрывается описанием нимба, появляющегося вокруг головы поверженного врага, — лужа, черная в темноте и похожая на мазутную, «ползла к стене, захватывая все новые и новые плитки мозаичного пола. Она была безмолвной, но ни горной лавине, ни океанскому валу сроду не породить такого ужаса. Может быть, я закричал, может быть, молча бросился на улицу». Далее, скороговоркой — про «далекий ноющий звук» со двора наутро, «то ли где-то терли по стеклу, то ли повизгивала собака» — причитания матери убитого; два абзаца про страх разоблачения, и, наконец, финальная фраза: «А бандиты исчезли, Вовчики, Левчики и прочая шпана и блатары словно бы растворились в бредущих по улицам толпах». И все... На триумф победителя мало похоже.

Что же касается «обличительного реализма», то с этим определением плохо сочетается явная нефокусированность авторского взгляда на, может быть, самых выигрышных для демонстрации социальной разобщенности, неравноправия разных слоев советских граждан реалиях. Скажем, контраст образа жизни героя и его знакомого, генеральского сына, фиксируется почти бесстрастно. Практически незадействованным остается мотив репрессированных родителей мальчика. И так далее. Иными словами, задача показать, как «все это было на самом деле», не главная для писателя.

Что же тогда главное? За счет какого сюжета повесть Долиняка удерживает читательское внимание от первой до последней фразы? Сюжет этот я бы определил так: история столкновения (или опыт столкновения) человеческой души с той стихией жестокости и нравственной патологии, которую писатель назвал в повести «третьим миром» и которая отнюдь не ограничивается миром уголовным.

Но вначале — о характере повествования. Оно ведется от первого лица. Голос рассказчика принадлежит человеку уже вполне зрелому. Потребность вернуться к одному из самых тяжелых воспоминаний детства вызвана тем, что вставшие когда-то перед героем вопросы оказались так и не разрешенными всей его дальнейшей жизнью. Тяжесть их не преодолена, время ничего «не расставило по местам». И потому необходимо снова вернуться в детство, снова пережить прошлое в надежде понять, «отчего же произошла *моя* трагедия», в надежде, что исповедь, положенная на бумагу, «отбирает часть боли и помогает собраться с силами».

Присутствие в интонации повествования, в его содержании временной и психологической дистанции, кроме всего, помогает читателю еще и отслоить авантюрно-приключенческий и социально-бытовой пласты повествования от основного, который разворачивается в главном для автора сюжете.

Сюжет этот повествователь начинает с рассказа о запойном чтении героя. Вальтер Скотт, Стивенсон, Жюль Верн, Буссенар — они взрастили в воображении, в сознании мальчика целый мир — «*первый мир*», что «окружает голову подобно гигантскому пузырю, от горизонта до горизонта и до самого неба, реальность лишь проглядывает сквозь его полупрозрачную поверхность». Именно «первый мир» формирует жизненные представления мальчика, кодекс поведения, базирующийся на «отважной уверенности в несокрушимости справедливости и добра». Но пока мальчик под защитой «мира второго» — собственно детства, протекающего в глухом поселке Северного Казахстана; под опекой своеобразной среды ссыльных («Внимательные глаза, интеллигентные бородки и позабытые теперь пенсне объединились моей памятью с запахами навоза, овчины и кубриковой сжатостью жилищ, освещенных лилипутскими оконцами»).

Детство кончается отъездом мальчика с теткой в Ленинград. И действительность сразу же поворачивается к нему «третьим миром». Поначалу только обескураживающим его. «Я въезжал в нищету и голодуху, но втертую не за бревенчатые и кизяковые стены, а в камень...», «...мы вошли во двор-колодец серовато-желтого цвета и по черной лестнице, дыхнувшей холодком, поднялись на второй этаж». В школе он встречает «скудоумное невежество», подражание приблатненной шпане, трусоватость, подловатость, привычку быть унижаемыми и привычку унижать более слабых. Его независимость одноклассники принимают за знак особой близости к благому миру. А затем, поняв, что особой защиты у мальчика там нет, начинают травить его. И тут книжное воспитание как будто помогает герою. «Обломить» его в школьных драках не удается, «начиненный образцами неуступной отваги, я не боялся боли и не знал страха». От мальчика отступились. Но увы, путь к этой победе ничему его не научил. И происходит неизбежное — «гонор» мальчика останавливает на себе внимание дворовой шпаны. За него берутся уличные блатари. Избиения и издевательства принимают регулярный и особо унижительный характер «Мир третий» разворачивается перед мальчиком во всей красе. Самое страшное тут — не боль и даже не страх, а ощущение полного бессилия перед мелкой, но опасной, сбитой в стаи дрянью. Для этого мира мальчик со своей интеллигентностью, чувством чести, достоинства — слюнявое ничтожество, кусок испуганного мяса, которое можно и нужно бить, пинать, душить, оплевывать. Нужно потому, что любой, кто пытается жить по своим законам, кто «высовывается», уже фактом своего существования оскорбляет тупые, неспособные к размышлению силы «третьего мира». Отсюда маниакальное постоянство и неутомимость истязателей мальчика.

Пока мальчик меняет маршруты, пока прячется, «прокрадываясь полутемным двором», стиснув зубы переносит удары, плевки, угрозы, он еще держится. Но держится из последних сил, цепляется за остатки романтических представлений. И именно они в ответственный для героя момент не оберегают (скорее наоборот) от главной его ошибки — согласия искать защиту в самом «третьем мире». И защиту ему обещают. Но за определенную плату: дай наколку, ты вхож в дом генерала, помоги нам проникнуть туда. Мальчик загнал себя в угол. Кульминационная точка этого сюжета: мальчик случайно видит Жигу в обществе бандитов, тех самых, которые должны были бы защитить его как раз от Жиги. Герой понимает, что проиграл, что он уже давно пешка в их игре. Мальчик капитулирует. Собственно, убитство Жиги, на которое он пошел, — только форма все той же капитуляции. Мальчику кажется, что это выход: шум вокруг убийства спугнет бандитов, заставит их отказаться от налета на квартиру, сделает его свободным. Рассуждения мальчика абсолютно логичны. Но это уже навязанная ему логика. Да, конечно,

злодеи гибли от меча благородного рыцаря, но в «мире первом» герой побеждал в публичном поединке при свете дня, а не прятался в ночном парадном, в простенке, с остро заточенной кочергой. Формально мальчик побеждает, он смог выполнить задуманное, смог подчинить события своей воле, смог отвоевать свободу. Но практически сразу же, глядя на растекающуюся вокруг головы Жиги кровь, он если и не понял, то почувствовал, что и сам повержен. От этой крови уже не отмыться. И что толку, что бандиты, что «третий мир» отпустил его, теперь он сам — «третий мир».

...Странно, но, видимо, в этом есть какая-то закономерность — присутствие рядом с собой сил «третьего мира» мы ощущаем постоянно, однако тема эта редко становится предметом литературы. А если это и происходит, то, как правило, в произведениях, посвященных детству (но отнюдь не детским). Возможно, объяснение лежит в области психологии: наиболее беззащитны перед силами «третьего мира» мы бываем именно в детстве, когда у нас еще нет тех социальных ниш, которые мы обретаем с возрастом и которые жестко ограничивают наш круг занятий, круг общения, возможный круг контактов. В детстве же мы просто «выходим на улицу» погулять. И кто из нас не мечен шрамами (на теле, на душе) тех детских столкновений со всеокрушающей, тупой силой «третьего мира». Возможно, память о них (сознательно или бессознательно) и заставляет нас успокаивать себя мыслью, что мы-то уж давно повзрослели, окрепли, освободились от «детских» страхов. Конечно, можно нарваться на пьяного в автобусе или на грабителя в темном подъезде. Но ведь от этого не уберешься, как от молнии или землетрясения. Мы можем размышлять и говорить всерьез о тиранах, о Сталине и Гитлере; серьезная тема, достойная. А вот об этом нечто, клубящемся вокруг, мелком, вонючем, нагло-агрессивном, лезущем изо всех щелей? — да бог с вами, еще на это нервы тратит! Хватит этих переживаний в детстве... А может быть, здесь другое? Может быть, мы подсознательно догадываемся, что по-прежнему так же бессильны перед этой силой? Что пришедшая со взрослостью прочность — миф. И на самом деле наша независимость от «третьего мира» — это только обретенные с возрастом навыки избегать прямых столкновений с ним?

Короче, есть в этой теме что-то как бы стыдное, полупразаветное.

Ну а нужно ли вообще стыдиться своего бессилия перед «третьим миром»? Возможные ответы: да, нет. И оба, на мой взгляд, абсолютно правильные. «Да, нужно стыдиться» — потому что самое стыдное — это не наше бессилие, а стремление скрыть его от себя. «Нет, не нужно стыдиться» — потому что сила «третьего мира» действительно Сила. Она непобедима в принципе. Можно бороться с преступностью, и даже успешно. Можно бороться за гуманизацию государственных установлений. Можно, наконец, воспитывать в людях культуру, как бы изнутри меняя стиль человеческого общежития. Но надеяться стать победителем «третьего мира» наивно.

Долиняк написал повесть — и это очень важно понять — не о столкновении своего героя в детстве с «дурной компанией», не о неких гримасах послевоенной действительности, а об одной из универсальных ситуаций нашей жизни, о некой неизменной данности. По сути, предложенный Долиняком образ «третьего мира», смысловое его наполнение очень близки к тому, что французский философ-экзистенциалист Симона Вейль определяет понятием Сила. «Сила есть некий феномен, который превращает в предмет, в «вещь» каждого, кто оказывается в поле ее действия. Того же, кто попадает под прямой удар, она превращает в вещь буквально: был человек, стал труп... Сила, которая убивает, — лишь примитивная, грубая форма силы. Насколько же более разнообразна в своих выдумках, насколько более остроумна в своих эффектах та, иная, которая не убивает — еще не убивает. О, она несомненно должна убить. Или, вероятно, может убить. Или нависает над головой того, кого в любой момент способна убить. Но во всех этих случаях она превращает человека в камень. Власть обратить человека в вещь, убив его, порождает другую власть, куда более удивительную, способную обратить в вещь человека еще живущего (курсив мой. — С. К.). Да, человек живет, он наделен душой, а все-таки он вещь. Ну и странное же он существо — вещь, обладающая душой, — и странное это состояние для души. Кто знает, сколько душе приходится в любое мгновение скручиваться и изгибаться, чтобы приноровиться, чтобы ужиться в вещи? Душа ведь не создана обитать в неодушевленном предмете, а коль скоро она к тому принуждена, то нет в ней клеточки, которая не страдала бы от этого насилия».

Вот эти страдания души, противостоящей Силе, и изображает Долиняк. Нас не должна вводить в заблуждение непрезентабельность обликов «третьего мира» в его повести («Один — с косой челкой, рылисто-монументальный и толстогубый... лицо... не выразительней огромного шербатого булыжника», другой — «передвигался... на манер маленькой обезьяны, сгорбив спину и болтая обвислыми руками у согнутых колен; лицо его при этом всегда съеживалось в гримасу, наподобие той, когда собираются сплунуть»). И Гитлер, и Муссолини, и Сталин импозантны только издали, рассмотрите их вблизи — та же мелкая дрянца, то же человеческое убожество, закомплексованность, болезненная жажда самоутверждения и т. д. Фигуры их наделяет величием и значительностью не масштаб их личностей, а место, которое занимает в нашей жизни сама Сила, от коей они представительствуют.

Финальные слова повести: «...блатари словно бы растворились в бредущих по улицам толпах». Именно растворились. «Толпы» приняли их в себя как органическую часть. Присутствие «третьей силы» повсеместно. У Долиняка это не только сами блатари и приклатненные, но и вполне добропорядочные соседки мальчика по коммунальной квартире, признающие право шпаны на власть, это советское начальство, перенявшее у уголовников даже стиль общения с подчиненными. Это само государство, десятилетиями жившее по законам, дух которых мало чем отличался от законов уголовного мира. И мальчик Долиняка, идущий на убийство, еще не знает, сколько мук предстоит принять его душе в будущем: «Если бы неведомая сила вернула меня в детство, в сорок шестой год, и поставила на то же самое место, я, глядя на разлетающийся в обе стороны проспект, не пережил бы и первой минуты, раздавленный непереносимым, как сама эпоха, томлением. Томлением в том смысле, как понимали в старину, и означавшим муку. Меня расплющили бы кумачово-черные десятилетия, которые предстояло бы еще вынести, годы, спрессованные из казенных коридоров, пионерских комнат, красных уголков, испитых лиц, торжественных собраний, стадных шествий, ликующих радиоголосов и свинцовой тяжести передовиц».

Вопросы, над которыми размышляет писатель, в принципе не имеют и не могут иметь непосредственного выхода в «практику», не имеют и не могут иметь однозначных ответов. Это, повторяю, не предупреждение обществу об очередной грозящей ему опасности и не напоминание об уроках прошлого. Размышления писателя вообще в другой плоскости. О возможностях и пределах сопротивляемости души мертвящей силе «третьего мира», о проблеме свободы в данности, почти исключаяющей свободу. Иными словами, перед нами произведение, в котором разрабатывается экзистенциальная проблема.

Мы уже приучены современной литературой, что произведение, претендующее на философичность, заявляет об этом прежде всего своим декором. И потому с некоторой опаской поворачивается язык, называя прозу Долиняка философской. Уж очень, казалось бы, незамысловато она строится, почти архаичной по нынешним меркам кажется серьезность интонаций повествователя; что же касается реминисценций, то если они и есть (скажем, традиционный для русской литературы образ Петербурга), то спрятаны где-то в глубине содержания. Правда, игра с символами, подчеркнутая амбивалентность образов здесь иногда встречаются, но это как раз не самая сильная сторона повествования. И тем не менее правильное прочтение новой повести¹ Долиняка возможно, на мой взгляд, только в философском контексте, экзистенциалистском, если угодно.

Полагалось бы сказать несколько слов о недостатках повести, критика (А. Немзер) уже отметила их наличие. Но в данном случае они не имеют существенного значения. С поставленными перед собой задачами Долиняк-мыслитель и Долиняк-художник справился без видимого напряжения.

Сергей КОСТЫРКО.

¹ В одной из предыдущих своих повестей «Большой Хинган» Долиняк ставил перед собой задачи, близкие к тем, что разрешаются в «Мире третьем», но выразительность и злободневность привлеченного материала, и, как это ни парадоксально, мастерство писателя в построении острого, почти авантюрного сюжета, в создании повествовательного напряжения помешали прочитать эту повесть как выходящую за рамки сугубо реалистического, пусть и несколько гротескного в психологическом плане, изображения действительности. Возможно, это и справедливо. «Большой Хинган» все-таки читается как замечательная беллетристика, нежели как собственно художественная литература.



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ БОЛИ

Зиновий Зиник. Моль. «Время и мы» (Нью-Йорк), 1993, № 119.

Бедный Зиня Зиник... Позвольте, почему это бедный? — изумится читатель, поднаторевший в эмигрантской прозе. Человеку едва за пятьдесят, а он уже напечатал серию романов и повестей. Из коих «Перемещенное лицо», например, или «Русская служба», или «Руссофобка и фунгофил», как говорится, «широко известны в узких кругах», здешних и тамошних. Переводился на европейские языки (тоже формула). Благополучествует в Великобритании...

А вот — бедный. Про это и написана «Моль». Это же окончательно подтверждает контекст, в который она попала: другие авторы, другие рассказы, эссе, записки, фланкирующие ее в журнале. Но о контексте скажу попозже, а сначала о повести.

Найти свое место в эмигрантском строю (хотя бы литературном) сейчас не так-то просто. До перестройки эмиграция была национальностью, профессией и профилем; впрочем, и тогда профилем достаточно узким. Для мира и Рима хватало Солженицына и Бродского. (См. признания «наших тамошних» в раннем фильме перестройки «Бывшие».) Остальные писатели-эмигранты были трофеем демократии в боях с тоталитаризмом. Писали и печатались, чтобы перевозиться и транслироваться «сюда». «Здесь» их проклинали и прославляли всерьез. «Там» они всерьез не принимались: трофеи наличествуют, но в повседневности их не замечают.

Да и в литературе эмигрантской год от года становится тесней. Уже все интонации разобраны: щемяще-полувоздушные, трезво-отчетные, неистово-филиппические, гаерно-скалящиеся, высокомерно-неотмирные... И то: разобраны еще третьей волной, до перестройки, а как четвертая пошла накачивать, так боже ты мой! Эти-то уже из демократии; они все дома уже перевидали и переописали, все экстремы политики, секса, гангстеризма и модернизма. В постсоветском тяжело-металлическом стиле. Что им трагифарсовая эмигрантская Гекуба, литература предыдущей волны? Папино кино.

Вот и втиснись между ними всеми в свою беллетристическую нишу.

За беллетриста Зиник не обидится. Он вообще необижаем — жизнь выучила. Зато и профессия выучила, да не по-нашему застоиную, а по-ихнему. Фабула у Зиника соленая и перченная; стиль виньютный; ирония (и самоирония) — пудами; длиннот ни грамма. И эмигрантская тема у него — это не романтический агнец, ведомый на заклание, а прозаическая корова, ведомая на дойку. Жить надо, печататься надо, писать надо.

О чем же писалось? В общем-то о том же, о чем и другим авторам третьей волны, только язвительней; шутовская гримаса вдогонку отыгранному пятому акту трагедии. Сначала, конечно, камня на камне не оставлено было от «совковой» действительности. (Рано, ох рано праздновал Зиник над ней победу — вскоре обнаружится, что коммунальная, пионерлагерная, профсобранческая эта действительность и есть единственный внутренний запас, с каким отправятся его герои в края непуганых прав человека.) Затем настал черед «записок» из эмигрантского «подполья». А там ситуация хрена и редьки: такая же иллюзия правозащитных подвигов, но еще более жесткая конкуренция на тесных площадках радиостанций, журналов и журнальчиков, обществ и комитетов, обращенных по-прежнему — «сюда». А в конце концов и старой доброй Англии и всему Старому Свету достанется. За снобизм и внедрение «свобод» исключительно на свой собственный аршин. За помешательство на либеральных эмансипациях и сексуальных подсознаниях. За уозость и (увы!) эгоцентричность «европейского стандарта», что особенно остро чувствуют люди, приехавшие из пространства, где все непомерно — и великое, и чудовищное, и смешное.

Словом, рвались на свободу — попали, как Алиса, в кроличью нору. В тесное зазеркалье.

Новая повесть — как бы антология из «старого» Зиника, Зиником же и составленная. Или зеркало среди зеркал. Главная героиня, Лена, — дочь эмигрантов 70-х, младшеклассницей увезенная в Лондон. Отец — еще эмигрант прежнего за-

кваса, с «тяжелым сопением гражданской совести». Лена же едет из Лондона в Москву 90-х уже как на спектакль. Во-первых, буквально консультировать русский спектакль, а во-вторых, проживать «спектакль жизни», хеппининг, которым оборачивается для нее Нью-Россия. Но и спектакль, что на сцене, зеркалит: ставится он якобы по роману самого Зиника, и тоже, разумеется, об эмиграции. Но Зиник «новый» перескажет Зиника «старого» в двух предложениях, демонстративно протокольных, после чего покатит дальше. И вот уже Лена играет англичанку, и ей аплодируют москвичи «потому, что она была русской, но понимала всю трагедию мелочной души иностранки», и «иностранка, но глубоко проникла в трагедию широкой русской души». (Все это у автора, как вы догадались, несерьезно; это публика-дуреха так полагает.) А тут еще разворачивается амур со здешним режиссером (снова спектакль в спектакле, снова зеркало в зеркале). А жена режиссера доходит до самоубийства, но так, походя, по пьянке, почти театрально: «с хрустом и визгом тормозов» троллейбуса.

Рядом же двоится, рябит, отзеркаливает другой спектакль: «Ричард III». Постпостресторечно-постмодернистский, где Ричард — это Сталин, а прочие — это Троцкий, Бухарин и другие: «Все это тут параллельно между строк как бы наподобие метафорически символизировало». Абсолютно опустошенная фраза — ключ к абсолютно опустошенному миру «Моли». Ибо зеркала множатся и дальше. В московском пальто, подаренном Лене, оказался зашит дневник другого, прежнего исполнителя Ричарда: горбуна, гардеробщика, доносчика, вышедшего в актеры-орденоносцы. Пальто, вывезенное Леной вместе с овдовевшим любовником-режиссером в Лондон, заносит сюда моль. Но еще на премьере, в Москве, в главной ложе Лена видит мертвого горбуна в том самом пальто (мираж?), который аплодирует ей, но одной рукой — вторая сухая. Но сам актер-горбун-доносчик на своей премьере «Ричарда» видит в главной ложе ее Хозяина (мираж?), который одной рукой аплодирует ему. Но уже в Лондоне Лена опять видит однорукого с горбом, который оказывается то ли алкоголиком с помойки, то ли привидением из прошлого. Но в финале моль летает по лондонской квартире Лены, пальто эпохи сталинизма лежит на полу, как труп, а Лена хлопает в ладоши: убивает и не может убить моль.

Теперь, кажется, все.

Да не обольстится читатель. Никакого Кафки в этом кафкианстве, никакого Оруэлла в этом оруэллизме не сыщется. И даже «старого» Зиника: с ядреными совоккуплениями, тщательно прописанными гениталиями, совково-матерно-эксистенциальным жаргоном «застоя» и язвительными репортажами о либеральной шепутне заграничье. Сейчас все сухо, все кратко, все конспективно. Словно автор расписку дает: да, умею и это, и это, и под Кафку писать, и под соцарт, и под самого себя, и прот и в самого себя. Умею все. Но пальто трчено молью и развалилось; так зачем тогда это все?

И лишь один пассаж в финале объясняет зачем.

«...все эти годы, до всего того, что случилось в Москве, у нее была своя тайна под цветным стеклышком» — «некий клад у дальнего забора ее души... куда можно было заглянуть, когда совсем одиноко», — «смутное подобие некоей страны, некоей другой родины, дома, забытого, но всегда существующего...». «И вот эта Россия навсегда исчезла» — и надо «начинать новую жизнь, жизнь в одиночку, без этой самой родины-родинки...». Вот зачем конспект конспекта, зеркало в зеркалах. Ради поиска одной-единственной болевой точки. «Здесь» она и нашлась — именно тогда, когда потерялась.

Однако контекст журнала, в котором «Моль» опубликована, подставил Зинику еще одну — роковую — подножку. Контекст этот «Моль» уничтожает. Не опровергая ее, а, наоборот, многократно дублируя. Выясняется: боль от ампутированной реальности — тоже не зиниковское открытие, она тоже размножена и повторена в зеркалах. Если И. Яркевич, сосед по журналу, вторичен «после Зиника» в клоунском осмеянии загадочной русской души, то Зиник вторичен рядом с, ну, хотя бы Ф. Розинером. Тот еще короче, еще четче и суше, чем Зиник, резюмирует случившееся.

Первой чертой, проведенной границу с прошлым, была эмиграция. Но граница и сохранила это прошлое, «мое гордое, злое, несчастное и счастливое обладание этим опытом». И вот проведена вторая черта. Страна переменилась, прошлое обрушилось и «как будто исчезло». Зачеркнут «прошлый твой-не-твой советский мир». И загвоздка не в том, что нечего стало ненавидеть. Нет, тут гораздо хуже. Как говорили герои романа Ф. Розинера «Некто Финкельмайер» (а Лев Аннинский под-

метил и подхватил), тебе уже «нечего обвивать». Или иначе: «напряжение отключили».

Так выкрали у Зини Зиника последнюю кроху боли. Что же дальше?

А ничего. Будет писать. Будет искать новых, еще не съеденных другими беллетристами-эмигрантами, кусочков ускользающей реальности. Когда тебе за пятьдесят, на бутафории далеко не уедешь. Зарабатывать, конечно, надо, но и смысла жизни тоже уже надо. Неотвратно.

К счастью, Россия непредсказуема. И Бог милостив. Может, подарят они еще Зинику настоящую боль. Не зазеркальную. Потому что это ведь нам тут, понизу, в суете так видится: вот он, Зиновий Зиник, известный писатель-эмигрант, широко переводится, регулярно выступает и прочее, и прочее. А оттуда, сверху, другое видно. Что душа мается. Что холодно. Что одиноко. Что живет человек на земле и зовут его — Зиня Зиник...

Марина НОВИКОВА.

*

ВОТ СЛАПОВСКИЙ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН НА ВСЕ

I

Алексей Славовский. Закодированный, или Восемь первых глав. «Волга», 1993, № 1.

Алексей Славовский. Пыльная зима. Повесть. «Знамя», 1993, № 10.

С кем бы я ни говорил о нем, все в один голос: способный. Что еще сказать? Очень способный. Что вам еще? Способный. Способный. Очень способный.

А Андрей Немзер назвал в газете «Сегодня» Алексея Славовского одним из самых ярких современных прозаиков. Если учесть обыкновенно скептический тон рецензионного отдела этой газеты, то похвала эта много значит.

А недавний авантюрный роман Славовского «Я — не я» («Волга», 1992, № 2 — б) выдвигался на премию Букера 1993 года, правда, в шестерку финалистов не вошел, о чем сокрушался сам Ефим Лямпорт в «Независимой газете». Чуть ли не матерно обругав всех буковских претендентов, да и членов жюри, для романа Славовского он не нашел ни одного дурного слова.

Итак, по меньшей мере способный. Этот эпитет оказывается в данном случае чуть ли не универсальным, самодостаточным. Способный на что? На текст. Какой? А какой хотите? Рассказ. Повесть. Роман. И действительно, открываешь журнальную книжку, читаешь: роман. Или повесть. Ничего не скажешь. Повесть. Скажем, в «Знамени» — «Пыльная зима», которая, впрочем, могла бы называться и «Зимняя пыль», и «Пыль зимой», и «Пыль зимы» (вариативность есть непременный признак его литературной технологии).

Сначала рассказчик стоит на автобусной остановке в дальнем микрорайоне. Сначала — вроде бы мужчина. Автобуса нет. Тут из окна проезжающей иномарки вылетает пустая банка от кока-колы и бьет рассказчицу (все-таки это женщина) в бровь. Ну, естественно, кровяшка, рассказчица отправляется в травмопункт. Описывается совковый травмопункт. А рассказчица все время представляет, как она находит того негодяя, приходит к нему домой: помнишь, как банку кинул?! Тут идут варианты: кем оказывается негодяй, как реагирует, что из этого происходит и так далее. Все это чистая Виктория Токарева. Такое ощущение, что вот-вот вспомнится и название ее рассказа. Но конечно, ощущение ложное, потому что это как бы усредненный токаревский рассказ, в о б щ е ее рассказ, только более технологичный, когда все насквозь видно: как сделано и откуда. Так, в коротком рассказе Славовского «Нашенская вендетта» («Волга», 1990, № 8) просвечивал В. Пьецух, а в «Человеке, который не боялся ничего потерять» (там же) — Валерий (не Евгений) Попов.

Описание совковой больницы. Лечащий врач — мужчина. Женщина становится инвалидом... Потом выясняется, что инвалидность свою женщина тоже воображает: дескать, вот что могло бы случиться. И больницы не было — игра воображения. И вообще банка из иномарки пролетела мимо. А могла бы и не мимо. Наконец,

выясняется, что это сам автор (рассказчик все-таки мужчина, см. начало) стоит на остановке, видит женщину и вылетевшую из иномарки банку и представляет. Ведь могло и так быть. Конечно, могло. Но как что-то заметил, не тот умен, кто может назвать как можно больше возможных решений какой-либо проблемы, а тот, кто сразу интуитивно видит правильный ответ. Применительно к нашему случаю можно сказать: настоящий писатель не тот, кто знает как можно больше вариантов того, что могло так или иначе произойти. В жизни многое возможно. Настоящий же писатель скажет: так было. Скажет так убедительно, что мы ему сразу поверим: да, вот так оно и было.

Все мы помним, как учителя тянули из нас ответ на сакраментальный школьный вопрос: «Что хотел сказать этим романом (пьесой, повестью, поэмой...) писатель (Пушкин, Чехов, Толстой...)»? Что хотел? Дети молчат как партизаны. Или барабанят заранее известный, учителем же продиктованный ответ. Между тем сам вопрос (но не учитель) вовсе не так глуп, как кажется на первый взгляд. Любое настоящее художественное произведение, даже не тенденциозное, все равно является писательским высказыванием. Конечно, не прямым, конечно, сложным, художественным, но все равно высказыванием, сообщением. Я в данном случае веду речь не о «мыслях», вкрапленных в текст, а о произведении как целом. И вот, когда дело доходит до высказывания, оказывается, что одного умения тут мало. Надобна душа. Которой у писателя Слаповского как бы не наблюдается (я, разумеется, говорю не в религиозном, а в творческом плане). Он может писать и так и этак. Он может все. А тот, у кого есть душа, может не все. Потому что душа сопротивляется.

В прозе Слаповского сопротивления нет. Он умеет писать читабельно: см. его уже упоминавшийся роман «Я — не я» о переселениях одного гражданина в тела его современников, роман легковесный (думаю, сознательно легковесный), но любопытный, не скучный. И если в другой раз он пишет вещь просто нечитабельную см. «Закодированный», то это никак не творческая неудача, а тщательно выполненное самозадание. Впрочем, сама возможность такого задания вытекает вовсе не из каких-то оригинальных умонастроений Слаповского, а просто из воздуха. Из творческой атмосферы. Но это особый разговор. Не случайно Андрей Немзер любезно назвал Слаповского еще и ключевой фигурой новейшей российской словесности. К сожалению, это похоже на правду.

Так вот, «Закодированный, или Восемь первых глав». Действительно восемь. Сначала идет первая глава повести «Закодированный» Потом идет первая глава повести «Тот, кто во мне» Потом идет первая глава повести «Закодированный», но это другая первая глава другой повести «Закодированный», чем в самом начале. Потом первая глава повести «Экспресс-убийство». Потом первая глава повести «Сглаз» Потом первая глава повести «Переселенье душ». Потом какие-то «Актерские были» какого-то Николая Мухайло... А почему восемь? А чтобы не семь, объясняет автор нам, дуракам. Каждая из глав выдержана в своем стиле. Это Слаповский умеет. Впрочем, я и по прежнему его вещам знал, что он умеет. Я это уже знаю. Не надо мне доказывать. Мне нужно ну хоть что-нибудь сверх этого. Или он не мне доказывает, а еще кому-то, кто еще сомневается — умеет Слаповский или не умеет. Да умеет, умеет! Сколько ж можно доказывать городу и миру владение литературным профминимумом?! Ведь демонстрируемое им умение есть именно минимум того, что должен знать и уметь профессиональный литератор. Это условие профпригодности. Об этом кричать стыдно. Не умеешь, так и речи о тебе бы не было.

А о чем там в этих первых главах? Да не важно о чем. О чем-то. Самому автору не важно. А значит, и нам тоже «Глянешь окрест — одинокая Россия, многодетная вдова...» — это уже из самого финала «Закодированного», из восьмой первой главы. О-о-о, он и про это может? Маста-а-а-а! НЕ ВЕРЮ Чтобы это стало правдой, нельзя столько выпендриваться.

Впрочем, прошу прощения за повторы, повесть написана? Написана.

Что сказано? Ничего.

Нужно ли ее читать? Не уверен.

Впрочем, вру: уверен, что не нужно

Зачем она написана? Не знаю.

Нет, снова вру: знаю Она, как и множество произведений новейшей российской словесности, написана для того, чтобы быть напечатанной. Чтобы, возможно, быть отмеченной критикой Чтобы, может быть, выдвинуться на премию. Не на

ту, так на другую. Чтобы тем самым подтвердить профессиональный статус автора. Чтобы (начиная сначала) легче было напечатать следующую повесть. Чтобы уж наверняка ее отметил критик. Чтобы точно получить премию. Ну и так далее.

Не берите в голову. Это из БИБЛИОТЕКИ НЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

Ноябрь 1993.

II

Алексей Слаповский. Первое второе пришествие. «Волга», 1993, № 8, 9.

— Я — Иисус Христос, — сказал Пётр.

— А я Алла Пугачёва, — ответила Нина с прищипом ей остроумием.

Так уж у нас получается, что августовский и сентябрьский номера саратовской «Волги» приходят к московским подписчикам в ноябре — декабре (и даже январе), то есть позже, чем октябрьский номер «Знамени». Я уже успел написать рецензию на «Пыльную зиму» и «Закодированного», а тут снова приходит «Волга»... Ну что делать, работа такая, прочел и «Волгу». Остался при своем мнении.

«Первое второе пришествие», жанр коего автором не обозначен, родственно уже упоминавшемуся «авантюрному» роману «Я — не я». И та и другая книги — намеренно «для чтения». Впрочем, последняя — с нагрузкой.

Жил да был в провинциальном Полынке (видимо, рифмуемся с Чернобылем?) сумасшедший Иван Захарович, и вдруг в один из летних дней 1990 года он мгновенно прозрел и перестал быть сумасшедшим и пошел к некоему Петру Салабонову, и меж ними был разговор, который Иван Захарович потом записал:

«Я вошёл сказав: Ты — Иисус Христос.

Он сказал: Нет, я Пётр Максимович Салабонов.

Я сказал: Я, как по Библии, по Новому Завету, Иоанн Креститель, сын Захарии, Иван Захарович со случайной фамилией Нихилов, и должен крестить Тебя, хотя сам не крещён. Твоё имя тоже случайно, на самом деле Ты, как обещано, воскрес вторично ради Судного дня, Ты — Иисус Христос.

Он сказал: Не верю».

И правильно, заметим, сказал. Вообще поначалу Петр рассуждал весьма здраво.

«— Как же я могу быть Иисусом Христом, — говорил Пётр, — когда я родился пусть неизвестно от какого мужика, это мамино дело, но как человек родился! — а Христос родился один раз — и навсегда, и Ему теперь надо только явиться в готовом виде! К употреблению! — засмеялся Пётр¹».

Не верил Петр, не верил, но все-таки поверил. И начал лечить наложением рук, превращать воду — нет, не в вино, а в водку (в России ведь живем). Только с воскрешением мертвых не получилось. Но «апостолы» все равно нашлись.

И т. д.

И т. п.

Тем более что «тому подобного» в нынешней словесности вполне достаточно. «Рассекреченное в эпоху гласности священное писание не могло не стать неисчерпаемым источником перелицовок <...> где неуклюжее стремление как-то протиснуться к живому источнику трудноотлично от паразитического намерения повысить свой спиритуальный градус за счет столь апробированного „мифа“», — пишет И. Роднянская в новмиурской статье о «философской интоксикации» в современной литературе (1993, № 12).

И то, что Слаповский оказывается в этом же потоке, но не в авангарде, а где-то во вторых рядах, весьма показательно. Он производит свою перелицовку тогда,

¹ Взгляд Петра тут, конечно, варварский, но верный... То есть, несмотря на грубость выражения, по сути соответствующий евангельскому первоисточнику. Если же мы чувствуем себя свободными от этого первоисточника, не доверяем ему, то тогда не только второе, но и первое пришествие повисают в пустоте, без опоры, без основания. То есть тогда вообще о чем говорить?

когда уже не только можно, но уже как бы и нужно — опять-таки для подтверждения своего профессионального статуса (см. предыдущую рецензию).

Впрочем, есть существенное отличие от, скажем, В. Шарова, В. Пискунова, М. Иманова и других. Те, кажется, понимают, что имеют дело с действительной святыней, потому и прибегают к ее помощи. А сама их интеллектуальная игра со святыней придает острый привкус их сочинениям.

А Слаповский не понимает, что это — святыня.

То есть он об этом знает. Ему сказали.

Но почему это — святыня, он искренне не понимает. Потому и обращается с ней без сакрального трепета, как с любым другим источником.

Вот, скажем, сцена неудачного оживления некоего Лазарева — пародия на евангельское воскрешение Лазаря.

«— Радуйся, сестра! — сказал он. — Я воскрешу его!

— Не надо. Не нужен он мне, — тихо сказала женщина. < >

Докопались до гроба. Пётр один, играючи, ухватил гроб и поднял из могилы

Поднял крышку, легко выдернул гвозди.

Откинул покрывало с лица.

Мальчик вскрикнул.

На них глядело синее в вечернем свете лицо, тронутое уже пятнами тления.

— Молчать всем! — приказал Пётр. И обратился к гробу — Ты! — приказал он умершему. — Встань!

Тишина была вокруг.

— Встань, тебе говорю!

И вдруг в мёртвом теле что-то булькнуло, труп сделал движение губами, словно улынулся: отрывка вышла из мёртвых губ. <...>

— Встанешь ты или нет, мать твою ети?! — затряс покойника Пётр за плечи. — Встань, я тебя прошу! Оживись, а?

Мёртвый лежал неподвижно.

Пётр глянул на женщину.

Закрыв крышку. Опустил гроб. Быстро и тупо стал закапывать. Закопал, выровнял землю, положил венки, как были.

После этого вытащил из карманов телогрейки, которую снял во время работы, две бутылки водки и выпил их из горлышка одну за другой»

Или вот как выглядит у Слаповского «чудо с гемorroем»

«Это испытание мне, — подумал Пётр, без удовольствия глядя на уже подставленный ему под нос зад Никодимова, причём Никодимов хоть и спросил, снять штаны или нет, сам, не дождавшись ответа, быстренько снял. < >

Пересиливая себя, Пётр стал водить руками.

— Ничуть не легче, ничуть! — покрикивал Вадим Никодимов. — Нет, не чувствуешь ты ко мне братской любви, не любишь ты моё тело, мою задницу! Плохой ты ещё Христос! Ты полюби мою задницу — и всё получится!

Дурак прав, подумал Пётр. Как ни крути — прав. И он начал думать не о Вадиме Никодимове, а о его ни в чём не повинном теле <...>

Лёгкая испарина выступила у него на лбу, он понял, что боль прошла.

— Ну? Чего стоишь? — сказал он Вадиму. — Не болит уже, а ты стоишь. Эх, соплежуй! — обозвал он его самым мягким мальчишеским прозвищем, каким пользуются в Полынске.

Никодимов натянул штаны, сел в кресло <...>

И вдруг бросил сигарету, упал на колени перед Петром, громко прошептал

— Благослови, Господи!

Пётр вздрогнул, положил ему руку на голову и сказал:

— Благословляю».

Тут нет повода для заламывания рук: мол, как он смеет! ах, он. этот Лео Так силь или... Емельян Ярославский!.. Емельяном Ярославским двигала искренняя, яркая в своем роде ненависть к религии. В Слаповском нет ненависти. В нем ничего нет. Он писатель внутренне полой. И если делает гадость, то не от ненависти, а от... ну, словом, чтобы нам интереснее было, читабельнее. Чтобы было забавнее.

Он хочет как лучше. Он никого не хочет оскорбить специально. Он, вероятно, искренне не понимает, почему это кого-то может оскорбить. Хотя, например, в

сцене оживления Лазарева оскорбляется не только вера, но и человек вообще. Но и об этом автор, подозреваю, тоже не догадывается.

А потом... ведь и вправду забавно.

— Как?! — воскликнет оппонент, — так вы, значит, признаете?..

Да, это как раз признаю. Он же способен на все. В том числе — сделать забавным то, что не должно быть забавным. Даже отрывку из мертвых губ.

Но тут мы подходим чуть ли не к самому главному. Слаповский способен, но не оригинален. И дело тут не в том, что жизнь оказалась оригинальнее его писательской фантазии, — согласно проповеди всем известного «Белого братства» Христос воплотился вторично в теле... особы женского пола, бывшего комсомольского работника. Дело в том, что зачастую Слаповский просто работает готовыми блоками².

«Собственный же рассказ Якушкина всегда начинался с того времени, когда он, проворовавшийся, отбывал наказание в Сибири, — стояла таежная зима, вели там долгие и изнурительные земляные работы; там-то он вдруг понял истину. И именно в эту самую минуту (или в минуту очень-очень близкую) напарник, уже вполне исправляющийся и по-своему милый бандит Зотов, сказал: перекурю, мол, придержки, — Якушкин же, ослепленный красотой открывшейся истины, замешкался и не расслышал. Бревно упало ему на голову. <...> Когда он пришел в себя, истина не была снаружи — была внутри, сохранившись и уцелев в нем, более того — угнездившись».

«Предтеча» Владимира Маканина когда еще был напечатан, помните?

Еще более очевиден след повести «Любимов» Абрама Терца.

«Он присел на корточки и, поборов отвращение, наклонился низко ко рту мертвеца. Оттуда ничем не пахло.

— Да, — вымолвил <...> в некоторой задумчивости. — Да. Может быть, ты и прав. Я что-то недоучел...

— <...>, — послышалось сзади воркование <...>, — я тебя прошу... Эту смерть могут принять за дурную примету. Пожалуйста, воскреси его...

<...> вскочил, лязгнул зубами, черный, ощерившийся:

— С ума вы все посходили! Я вам не чудотворец!

— Но для меня, для моего спокойствия, ты мог бы что-то сделать?..»

Вот убрал я имена персонажей, и право, запутаешься — то ли из Слаповского, то ли из Абрама Терца. Нет, это из Терца.

И это тоже:

«По его лицу пробежала мысль, похожая на судорогу.

— Подать бутылку харьковского напитка, застрявшего на складе без внимания публики. Доктор Линде, снимите пробу, чтобы все убедились в ее химическом вкусе!

Доктор Линде отделился от свиты, сопровождавшей Леонида Ивановича, и накапал в столовую ложку харьковской минеральной воды, которая, как всем известно, размягчает стенки желудка, но не дает утолнения уму и сердцу. <...> Он глотнул, поперхнулся, облизнул ложку, подумал и воскликнул изменившимся голосом, не допускающим фальсификации:

— Это — не вода для желудка... Не минеральный напиток... Это — самый чистый медицинский спирт!..

Да! случилось чудо: вода превратилась в спирт».

Впрочем, отличить Слаповского от Абрама Терца можно. Слаповский, как и Солженицын, не забывает хорошую русскую букву «ё», пишет «Пётр», «не ёрничай» и т. д.

«Пётр сам зашёл за стойку, налил воды из крана, который был под прилавком (для мытья стаканов), и отошёл. <...>

Меж тем в ресторан торопливо вошёл мужчина — приготовив заранее в руке деньги.

— Выпей, друг, мою долю! — сказал ему Пётр задушевно. — Что-то не лезет в меня уже. <...>

² Роман Арбитман, которому писатель весьма симпатичен, не может не отметить, что Слаповский складывает «мозаичную картину нашего бытия из готовых пластмассовых кусочков старенького литературного конструктора, который уже тысячекратно использовался до него» («Литературная газета», 23.3.94).

Мужчина под взглядом буфетчицы, знающей, что в стакане вода, выпил одним махом, заморщился, замахал ладонью перед ртом. Она сунула ему кусок хлеба, он торопливо стал жевать.

— Первый раз, — сказал перхая, — первый раз на вокзале настоящую водку пью».

Это не Терц, это Слаповский — потому что все через «ё».

Любопытно, что у Слаповского Петр Салабонов «действительно» творит из воды водку, в то время как у Абрама Терца минералка так и оставалась минералкой, а людям просто чудилось, что они пьют спирт. Поскольку никакого «разоблачения» за этим «сеансом черной магии» не следует, остается предположить, что безумную идею Ивана Захаровича о Петре — Христе нужно принимать как бы всерьез, что именно таков писательский замысел³. И это мешает нам истолковать роман, например, в том духе, что вот писатель показывает, как безобразно преломляется христианская идея в диком сознании совков...

Слаповский мог бы написать роман о безумце, вообразившем себя Христом (что не так интересно), или об авантюристе, новом Остапе Бендере, плодотворно выдающим себя за Христа (что более интересно). Он мог бы и то и другое, но сегодня иной социальный заказ, правда в партдокументах не оформленный, и Слаповский на протяжении всей книги словно пытается этот заказ угадать, нащупать, поэтому и сюжет и образ героя колеблются вместе с линией автора, расплываются. Это не тот случай, когда Пушкин жаловался на свою Татьяну — «вдруг» взяла и выскочила замуж. Просто сам Слаповский — для себя! — не знает, что же тут должно быть, о чем же он.

Можно попробовать (что, наверное, и будет сделано) истолковать роман как историю обретения веры. Нет, не получается. Ведь — какой веры? Веры в то, что он, Петр, есть сам Христос? Но это же — очевидный сатанинский соблазн (что, по-моему, должно быть понятно даже закоренелому атеисту, не лишенному здравого смысла). А Иван Захарович, искренне убеждающий Петра в его Божественной сущности, невольно выступает как орудие и с к у ш е н и я. Поэтому эпизоды, пародирующие (или точнее — травестирующие) евангельские сцены искушения Христа в пустыне, оказываются в романе бессмысленными. Буквально: без смысла. Зачем искушать по мелочи того, кто уже поддался в главном? Правда, в конце Петр заколебался: а вдруг он и не Христос вовсе, а.. Антихрист? Ведь не может же он быть «просто» Петром Салабоновым! (Черта психологически примечательная, но, к сожалению, не получившая у Слаповского дальнейшего развития.) А когда Петра распинали бандиты (сцена, выписанная автором чуть ли не с наслаждением), ему было уже все равно... Но и страшная смерть Петра выглядит не аналогией распятия Иисуса, а как неотвратимая катастрофа человека, доверившегося однажды дьявольскому соблазну (а дьявол, как известно, отец лжи, и любимчиков у него нет).

Но Слаповский-то явно имел в виду что-то другое!

Если только он вообще имел что-то в виду (см. предыдущую рецензию).

«Как мажор легкого без легкомыслия рассказа незаметно стал минором, как авантюрный разбег романа обернулся историей духовного мужания, как шуточные парадоксы выявили глубины душ человеческих, так и прощальная печаль наполнилась светом, сулящим свободу», — трепетно и лирично пишет Андрей Немзер, будто бы рецензируя роман Слаповского («Сегодня», 31.12.93), а на самом деле проецируя на него собственные читательские ожидания.

Нет, это сказано о каком-то другом, неведомом произведении неизвестного автора, которое и я хотел бы прочитать.

Может быть, когда-нибудь и прочту.

Но и это еще не все.

Уже после «Волги» приходит — в январе этого года — августовский номер столичного «Театра» за тот год.

³ На «вездесущий релятивизм... и на уровне сюжета, и на уровне концепции» обращает внимание Юлия Латынина, в общем-то доброжелательно откликаясь на эту вещь Слаповского («Общая газета» 21 — 27.1.94): «...Слаповский так и не решается до конца договорить, о ком же он пишет: о сумасшедшем или о Христе, полагая, что *двусмысленность* — это *двойной смысл*». И Ю. Латынина вспоминает по этому поводу замечательного христианского писателя Клайва С. Льюиса, которому, напротив, *двусмысленность* казалась *уничтожением всякого смысла*.

III

Алексей Славовский. Женщина с той стороны. Пьеса в двух действиях. «Театр», 1993, № 8.

Из журнальной аннотации: «В качестве драматурга дебютировал в 1985 году пьесой «Во-первых, во-вторых, в-третьих. .», тогда же поставленной Ярославским театром юного зрителя. Весной этого года написал «Пьесу № 27», порядковый номер которой примерно и соответствует количеству созданных им больших драматургических произведений (не считая нескольких десятков миниатюр, одноактных пьес).»

Ну что я говорил!

А пьеса? Да, действительно, в двух действиях.

IV

Алексей Славовский. Здравствуй, здравствуй, Новый год! Повесть. «Волга», 1994, № 1.

Алексей Славовский. Из «Книги для тех, кто не любит читать». Рассказы. «Дружба народов», 1994, № 2.

Алексей Славовский. Вещий сон. Детективная пастораль. «Знамя», 1994, № 3.

А-а-а!

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

*

«...УЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИСКУССТВО»

Игорь Николаевич Экономцев. Записки провинциального священника. Роман. М. «Вернал». 1993. 319 стр.

..действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую бы мы... не променяли бы ни на какие достатки и избытки...

Марина Цветаева, «Искусство при свете совести».

Человек, люди, Бог — что может быть труднее этой вечной и необоримой темы? Да и можно ли сказать нечто более значительное, чем слова, в которых «закон и пророки», ежедневно возглашаемые молящимися в храме: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!»?

Но когда, страница за страницей, читаешь роман И. Экономцева, все настойчивей мысль, что вот — прямое прикосновение к тому заветному и подлинному, вокруг чего «ходят» взыскующие смысла жизни души... Здесь есть строки, вобравшие в себя большую «радиальную» энергию, по своей проникающей способности сопоставимые с молитвами. Они запоминаются как свидетельства прозрения и личного духовного опыта. Многое объясняется тем, что автор романа — прежде всего не беллетрист, а служитель алтаря, иерей Божий, к тому же монах (ныне игумен), лицо сугубо духовное. Без веры, окрепшей в горниле сомнений, такое произведение не могло бы быть написано. Поистине Православие не доказывается, а показывается. Только личный опыт «умной молитвы» может дать психологически достоверные страницы об исихазме. Только личный опыт исповедничества и наставничества может подвигнуть к доверительному и в то же время учительному разговору с читателем.

Итак, в жанровом отношении книга выходит за рамки романа: это и метафизика, и философия, и мистика; но в первую очередь, конечно же, — жизнь Русской Церкви в XX столетии.

Рассуждения старца Варнавы («рукопись в рукописи») о корнях большевизма не утратили актуальности и поныне (отнесены они к 20-м годам, а основное действие романа — к 1985-му): «Бог сотворил человека как личность. Он вступает с че-

ловеком в личностные отношения < > Его собеседником не может быть коллектив трудящихся, политическая партия, общественный класс, аппарат государственных чиновников. Не потому ли большевизм так яростно стремится сокрушить личность?»

Не потому ли и весь роман дышит пафосом утверждения неотъемлемых и богодарованных прав личности, главное из которых — свобода совести? Не потому ли автор избрал глубоко личностный жанр романа — дневник? В этих дневниковых записях то проступают голоса из хора, то вновь растворяются в нем, создавая идеологическое многоголосие.

Композиция книги вполне канонична (название вольно или невольно отсылает к классике в этом роде — известному сочинению Бернаноса), она достаточно сложна (вставные новеллы, лирические отступления), но действие развивается стремительно.

В первой же главе дана как бы пропись «икона» главного героя и угадываются намеченные контурно другие типажи.

Но, по контрасту с известной рациональностью и заданностью первоначального наброска, углубляясь в чтение, удивляешься жизненности многих этих лиц, то и дело отождествляя их с собою или узнавая в них спутников своей жизни. Вибрирующей ностальгической нотой пронизаны страницы воспоминаний нашего героя о первой и последней, единственной влюбленности и любви. Роман читается с увлечением.

Почему все-таки судьбы героев запоминаются и не отпускают? Поясню это словами Г. С. Померанца из его статьи «Коринфская бронза»: «Важен ли сюжет? Смотря какой. Представим себе на минуту такой сюжет: воскрес из мертвых Лазарь. И чем проще, чем прямее об этом сказать, тем лучше. Именно в лоб сказанное потрясет и перевернет душу, станет чудом. А в изысканных ассоциациях чудо скорее всего пропадет».

Вот так и написана эта книга — простыми и прямыми словами о вечно живом. И даже символически нагруженные евангельские ассоциации воспринимаются в общем контексте как естественные и жизненно близкие.

Потому вдова с детьми на паперти храма — первая, кого увидел опальный священник, добравшись до своей «Тмутаракани», — запомнится читателю, так же как и «Лазарь» — регент, умирающий и забытый горожанами, но «восстающий» на зов священника. «Лазарь» приказывает жене: «Беги к Антонине, к Марии, Марфе и другой Марии! Пусть к пяти часам соберут всех певцов в храме»

Священник появляется в жизни этих людей, чтобы волею, данной ему от Бога, пробудить их от житейской спячки. Так приходит в храм Агафья, приводит с собой сыновей, Петра и Андрея, спасенных из огня много лет назад неким юношей. «Может быть, это был ангел?» — робко спрашивает Агафья. Юноша погиб, когда по слезному слову Агафьи о «забытых облигациях» снова пошел в горящий дом. И исповедь Василия, замыслившего убийство, это тоже пожар, сметающий все на своем пути, но останавливающийся перед чудом прощения и любви.

А признания архитектора Лужина даже более трагичны, чем эта исповедь человека, покусившегося на жизнь ближнего, потому что в них детально и с жуткой точностью обрисован механизм малодушия и предательства.

«Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй», тоталитарная машина подавления, порождает страх. Чувство постоянного страха — общий знаменатель нескольких поколений «подсоветских» людей. Вот как об этом вспоминает Лужин: «И страх буквально парализовал меня. Словно молния ударила мне в затылок и позвоночник... какое-то животное мычание извергалось из моего рта». Как это должно быть знакомо всем тем, кто оказывался пойман «черным излучением»!

Вопиет попрежнему кладбище, старинные памятники и плиты которого, ломая, переносят на могилы новоявленных кумиров. Талантливый однокашник отца Иоанна по семинарии стал писать трескучие атеистические статьи. Отец Иоанн изживает такой страх в воспоминании о своем сне, когда «тысячглавое чудище» обрело кошмарный зрительный образ. Но «черное излучение» сопротивляется пастырю своей произвольной, иррациональной силой. И не будет покоя этому миру, потому что, когда дьявол бросает Богу вызов, Бог не может отклонить его. Где же проходит граница света?

Она хорошо видна в храме, откуда прихожане могут со словами: «Изыди, сатана!» — изгнать безбожника и кощунника, нарушающего святость литургического

действия самим фактом своего присутствия в этом доме Божиим, нареченном «домом молитвы».

Приведу отрывок из разговора священника и архитектора, человека сложного и сомневающегося, мучимого угрызениями совести за позорный грех сотрудничества с КГБ:

«— Перед вами слабый человек, преступник, по своему малодушию выдавший друзей <...> Могу ли я рассчитывать на прощение? <...>

— Истинный Судия один, и милость Его безгранична <...> Союз с Богом немедленно и абсолютно освобождает от всех противоречащих ему договоров и обязательств. <...>

— Вы снимаете с меня это ярмо, и я теперь свободен?

— Властью, данной мне от Бога, я снимаю с Вас это ярмо. Господь дает Вам свободу. <...>

— Значит, вера и есть свобода?

— Конечно».

Так вот почему они так боятся Церкви.

Цитируемый разговор на колокольне занимает целую главу («17 июля»), и многие читатели найдут здесь ответы на вопросы, которые, быть может, они задавали лишь сами себе или даже не могли ясно сформулировать, но ощущали страшную и неотвратимую их насущность.

Но если сложны, как сама жизнь, взаимоотношения мира и Церкви, то не менее сложно соотношение сути и формы в самой церковной жизни.

Замечательны прежде всего два персонажа из церковной иерархии: епархиальный секретарь — тайный осведомитель КГБ и архиерей — глубоко верующий, преданный Церкви человек, ставший заложником обстоятельств.

Казалось бы, типичные характеры в типичных обстоятельствах. Но правдивость их не исчерпывается этим элементарным определением реализма; здесь реализм самой жизни во всех ее сюрреалистических, фантастических и чудесных проявлениях.

Да, они разнятся, церковь епархиальная и Церковь Вселенская, но священник должен объединить их в себе, обратив свою избранность, свой харизматический дар на то, чтобы люди искали и ожидали спасения именно в Церкви.

«Мир один. В этом-то и трагедия», — размышляет в романе архиепископ. Но мир, вошедший в храм, — это мир преображенный, благодаря храму приобщенный вечности, даже если храм разрушают и грабят.

Вот сцена исповеди и причастия умирающей крестьянки Марии, матери известного писателя, к которой тот, в заброшенную русскую деревушку, привез отца Иоанна. При чтении разрешительной молитвы отец Иоанн чувствует, что грехов исповедницы уже нет, они сгорели: «Она была уже безгрешна. Разгладились морщины на ее лице. Она была прекрасна, эта русская крестьянка, прожившая, видимо, трудную, мучительную жизнь».

После причастия, повинуясь внезапному порыву, отец Иоанн опускается на колени и прикасается губами к руке Марии, как прикасаются к святыне. Его примеру следуют все присутствующие. И тут отец Иоанн видит «явственно белое свечение», равномерно исходящее от тела почившей, отделяющееся от головы и поднимающееся вверх... На вопрос пятилетней девочки — что это такое? — он отвечает: «Это душа ее, душа новопреставленной рабы Божией Марии». Подобное описание-свидетельство впечатляет сильнее, чем многие страницы из популярных и даже серьезных книг вроде книги Р. Моуди «Жизнь после смерти».

А вот что испытывает отец Иоанн, совершая свою первую литургию (еще без паствы) в заброшенном храме: «Я стоял на коленях перед Царскими вратами и почти физически ощущал, как от закопченных, потрескавшихся икон и фресок, от самих стен храма исходила незримая живая энергия. В народе есть такое выражение — «намоленный храм», то есть насыщенный, пропитанный молитвенной энергией тысяч и тысяч людей. Его можно разрушить и осквернить, устроить в нем склад или конюшню, но он никогда не станет мертвым склепом, каждая его частица будет оставаться святыней, обладающей чудесной целительной силой». Не тот ли это «сверхлучезарный мрак молчания» (Вл. Лосский), где «открываются протые, совершенные и нетленные тайны богословия»?

После праздника Успения отец Иоанн подходит к иконе Успения Пресвятой Богородицы, чтобы приложиться к ней, и видит, что глаза у Пречистой на иконе открыты: «...на них словно вот-вот должны были появиться слезы» и Она, возле-

жащая на смертном одре, смотрит на него с любовью и состраданием... Но чудесное, запредельное разуму не подавляет в романе простые начала доброты и бескорыстия. Сперва таксист в знак уважения к духовному сану не берет с отца Иоанна ни копейки. Затем отец Иоанн отдает все свои скудные деньги многолетней вдове псаломщика, и, следуя доброму примеру, помогают ей другие, оказавшиеся рядом в присутственном месте; у кого из читателей не зашемит сердце, когда благодетельствованная вдова псаломщика низко кланяется вдове самоубийцы, принимая от нее пожертвование?

Множество подобных эпизодов подводит к воодушевляющему утверждению. Россия, во всех ее измерениях, созрела для второго Крещения.

Об этом свидетельствует весь роман, а в особенности — непредвиденная «трехдневная одиссея» — пастырская поездка отца Иоанна по деревенской глубинке, когда он, преследуемый буквально по пятам милицией, совершает требы по просьбам десятков и сотен людей, включая председателей колхозов; и, наконец, крестит целое село в водах Речицы.

Суммируя разительные примеры обращений, венчаемые мученической смертью распинаемого героя, можно, пожалуй, сказать: автор — прекраснодушный идеалист, так сплошь в жизни не бывает. Но мы ошибемся, если забудем о самом главном: «невозможное человекам возможно Богу».

Веру в это невозможное возможное и утверждает роман Игоря (о. Иоанна) Экономцева.

Валентин НИКИТИН.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Несколько лет тому назад в «Новом мире» (1989, № 12) в рубрике «Из редакционной почты» была напечатана статья «Научна ли «научная картина мира»?». Ее автор, математик В. Н. Тростников, на основании новейших научных открытий и гипотез оспаривал так называемую «научную», а точнее сказать, вульгарно-материалистическую, атеистическую концепцию мироздания. Тогда эта публикация вызвала многочисленные и самые разноречивые читательские отклики.

Сегодня, как бы в продолжение однажды поднятой нами темы, мы публикуем эссе еще одного представителя науки, на этот раз врача-психиатра А. Данилина, который, исходя из собственного медицинского опыта, на основании своей многолетней врачебной практики говорит о надрациональной, метафизической природе как душевных заболеваний отдельных людей, так и духовных недугов нашей «гуманистической» цивилизации в целом.

Очевидно, некоторые утверждения А. Данилина покажутся кому-то излишне субъективными, слишком произвольными, не всегда согласующимися и с положениями современной психиатрии (впрочем, также достаточно произвольными, не до конца устоявшимися), и с канонами традиционного богословия. Однако сам характер идей этого эссе, его пафос (пусть даже несколько неопитский) и направленность, во многом созвучные поискам и открытиям многих западных и русских религиозных мыслителей, равно как и его проблематика, затрагивающая одну из наиболее острых и актуальных тем — духовного и психологического состояния современного человека и общества, думается, делают появление материала А. Данилина на страницах нашего журнала вполне оправданным и правомерным.

«БОГ ВЕКА СЕГО»

Заметки психиатра

...приходит лукавый и похищает посеянное
в сердце..

Матф. 13, 19.

Для неверующих, у которых бог века сего
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа...

2 Кор. 4, 4.

Многие, очень многие люди в наши дни начинают не столько понимать, сколько интуитивно чувствовать существование Силы, без постижения которой, как показывает История, невозможны никакие самые благие рассуждения о смысле жизни и уделе человеческого существования, более того, невозможным в весьма скором времени может стать и само существование как отдельного человека, так и всего человечества.

Сила эта, присутствие которой люди ощущали всегда и на всех языках называли Богом, имеет свои законы и несет их человеку. В этих законах, наиболее полно воплощенных в Библии, суть существования и развития Человечества. Непонимание же Закона, или отпадение от него, всегда приводило и приводит к деградации человека, к свертыванию его развития в изначальную точку — ноль творения, к тупику и смерти.

Может быть, то обстоятельство, что эти строки пишет не священник и не философ-богослов, а самый обычный практикующий врач-психиатр, представитель профессии, скомпрометировавшей себя за годы господства в нашей стране комму-

нистического режима, будет важным для моего читателя. Как и большинство моих современников, я воспитывался «материалистом», и к убежденности в существовании Бога и Его Законов меня привела моя работа, муки моих больных, мое желание и зачастую невозможность помочь им.

Чем чаще и безнадежнее я пытаюсь вырваться за пределы психиатрии — бесплодного, уродливого дитя, родившегося от противоестественной «связи» материалистической науки и сокровенной тайны познания души, — тем все яснее и страшнее, в бедах и судьбах моих пациентов, в истории моей родины, вижу вывернутый наизнанку, будто навечно обожженный ухмылкой лик Зла.

У него столько имен, он скрыт под неисчислимыми масками, он — «князь мира сего» и «бог века сего»

Но все-таки, кажется мне, несмотря на множество масок, каждый может сорвать их и начать борьбу — борьбу с ним, с собой за свою душу, за брезжащий где-то огонек, за Свет мира.

Мне представляется несомненным, что поиски Зла шли в неверном направлении, что искали все эти века его лик не там, ибо даже в самых смелых открытиях и безумствах человеческого Духа упрямо хотелось людям выделить дьявола как совершенно отдельную, ничем и никак не обусловленную Силу. Может быть, в этом и есть главный соблазн, главный обман великого лжеца?

Между тем чуждое дуализма церковное учение о духах тьмы признает диавола созданием Бога, бывшим первоначально добрым ангелом (то есть являвшимся неотъемлемой частью общего замысла Бога о мире) и лишь затем противопоставившим себя Единому Сущему и опавшим от Творца.

Созданный по образу и подобию Божию, человек от рождения наделен потребностью и свободой подражать Создателю, творя свой собственный мир. Но наступает момент — и от человека отделяется нечто, что, будучи его творением, делом его жизни и души, становится вдруг его личным демоном, его адом.

Возможно, я говорю об очевидных истинах; но не становится ли сама эта очевидность слишком отвлеченной для большинства из нас? Рассуждения о Боге и сатане мало-помалу превращаются в модную абстрактную «художественную» игру ума и воображения, часто не имеющую ни малейшего отношения к нашей повседневной жизни.

Однако опыт врача-психиатра привел меня к убеждению, что все это отнюдь не только предмет для отвлеченных рассуждений, не ошибка мнений на философском диспуте. Отпадение от законов Бога имеет прямые не только социальные, но физиологические последствия для каждого из нас, для наших семей, государства, всего мира. Не ведая того, мы поддерживаем и творим ту силу, которая противостоит развитию и издревле предстает людям в образе ангела ада. Нельзя забывать, что страшнее всего дьявол невидимый, дьявол забытый, ведь зло слаще всего творить в темноте и неведении.

В большинстве древних культур учение о зле занимает гораздо больше места, чем учение о Творце; это относится и к Ветхому Завету. Книги как будто говорят: прежде чем обращаться помыслами к Вышнему, «виждь и внемли» злу, распознай его, пытайся избавиться от него, только тогда ты сможешь двигаться дальше. Но в самом учении о зле есть одна характерная особенность: оно обычно скрыто и запутанно, почти всегда не имеет полноты и законченности.

Когда начинаешь вчитываться в древние тексты, вместе с ощущением необъятности проблемы возникает мысль о том, что слишком мало изменилось за тысячелетия.

Меняется, по существу, лишь язык, посредством которого мы, люди разных эпох и культур, пытаемся выразить невыразимое. Если все попытки объяснить какое-либо явление ни к чему не приводят, человек придумывает новое слово и на этом успокаивается, полагая, что, колы скоро явление названо, тем самым оно и объяснено. В конце XX века мы только-только начинаем понимать, что наш атеизм есть всего лишь возврат к самым черным формам языческих религий прошлого. К самому слову «сатана» мы относимся как к чему-то архаично-примитивному; как бы сами собой находят различные новые определения — «маньяк», «фа-

шист», «шизофреник». Никто даже не задумывается о том, насколько неполно и фальшиво претворено в наших «научных достижениях» исконное древнее представление о зле...

Безусловно, что зло появилось вместе с человеком, отпавшим от Бога. Только человек грешный принес в мир лик истинного зла. Зверь убивает, чтобы выжить, человек — для удовлетворения чего-то тайного в себе, порой даже не без скрытого, а то и явного удовольствия. То, что у животного есть проявление инстинкта, у человека превращается в крайнюю степень вырождения, в бессознательное согласие на поклонение сатане.

Человеческий зародыш, развиваясь, проходит все стадии эволюции вида. Душа, развиваясь, также проходит все как бы заданные этапы своей истории. Любой грех всегда повторяет грех первородный, описание любого отпадения заключено, как в прототипе, в начале Библии — Книге Бытия.

Тайна Книги Бытия всегда волновала человека. Еще в добиблейских религиях присутствовало ощущение какой-то первичной трагедии, отделившей людей от Бога и тем самым обречшей человека на гибель.

Посланник Духа в мир враждующей природной стихии — человек имел великое предназначение. Нам неизвестно, какая именно роль предназначалась ему. Должен ли он был явиться гармонизирующей силой Вселенной? Создать на земле подобие Эдема? Цивилизации Бога и Духа?.. Ветхозаветный миф об Адаме содержит лишь символический рассказ о том, почему этого не произошло.

Со времен Филона Александрийского образ Адама понимался как образ собирательный, включающий в себя все изначальное человечество. В иудейской Каббале «Адам-Кадмон» — «идея», олицетворяющая человечество — космический принцип его существования.

Адам — плод творчества Логоса и, следовательно, часть его — пребывал в Эдеме, и всякая тварь подчинялась ему. Его силы — силы Образа Божьего — были безграничны. Как образ и подобие Бога он имел свободу. Свободу определять свой путь, свободу делать выбор. Невозможно представить себе творение как часть Творца, лишенное при этом присущей Творцу свободы; нельзя представить себе творение, вынужденное подчиняться... Добру.

Адам испытал самый страшный из известных человеку соблазнов. «Будете, как боги», — шептал змий. И гордыня толкнула Адама к сакральному знанию, которое еще не был готов принять человек, — знанию, символически названному в Библии «древом познания добра и зла». Гордыня определила выбор, выбор-судьбу... Первородный грех стал изначальным отпадением духа, утвердившего себя не в Боге, а в самом себе. Результатом Адамова прикосновения к Тайне явилось его раздвоение. Неизвестный автор Книги Бытия выразил в ветхозаветном мифе меру своего (или нашего) понимания случившегося. Груз Знания, взятого с Древа Вселенной, раздробил богоподобную, но еще не божественную душу на две половинки; цельность Адама-Кадмона распалась на два пола: Адама, изначальную мужественность, и Еву — женственность. Эти два уже не были одним, то есть уже не являлись в полной мере образом и подобием Бога...

Затем последовал третий шаг отпадения и его результат: вечная тоска человека о слиянии в единое духовное существо, вечный поиск партнера для тела и души, вечное одиночество, в котором человек гордый, забыв о Творце, пытается подменить Его земными кумирами, тем самым бесконечно углубляя и усугубляя свой грех.

Вот три шага отпадения, три основных лика сатаны: ГОРДЫНЯ (антихрист), ПОЛ (раздвоенность Адама), ОДИНОЧЕСТВО (отчуждение от Бога), — источником которых является соблазн.

* * *

Соблазн — нулевая точка отсчета, точка начала вектора греха. Человек, изгнанный из Рая, тем не менее по-прежнему обретается в самом центре мироздания. От его свободной, в пределах собственной судьбы, воли все так же зависит земной

мир. Способен ли человек осознавать всю меру ответственности не только за свои поступки, но и за каждый свой помысел, за движение души?

Бог не может ограничить нашу свободу. Он — ПОМОЩЬ на верном пути. Он, по бесконечно верной мысли Хомякова, отдал нам на заклание Своего Сына, чтобы умерить наши роптания на небеса. Сын указал путь к Истине, но путь этот — лишь подсказка, не приказ. Идти Его путем сложно, ибо человек сам должен отыскать эту единственную дорогу в Царство Божие, к собственной гармонии.

На этом пути его ждут соблазны — соблазны сиюминутных целей и простых способов их достижения. Проникнувшись соблазном упрощения, человек раздробил цельность и соразмерность бытия сначала на дух и материю, а потом и на несметное множество осколков, каждым из которых, в отсутствие цельности, легко завладел темный бог.

Части можно погубить, целое — никогда. Удержать человека как подобие Бога в его извечном стремлении к цельности можно только дробя реальность на его пути, заставляя за осколками не видеть очевидного. У рвущегося к власти над миром сатаны это звучит совсем по-макиавеллиевски: разделий и властвуй. (Есть все основания полагать, что сам Макиавелли точно знал, чьему примеру он следовал.)

Очевидно, что совершить зло во имя благой цели можно, только с самого начала разделив в сознании мир на части. Именно такое дробление в конечном итоге множит наши неблагоприятные деяния, позволяя закрывать глаза на всю цепь их последствий.

Однажды соблазнившись кажущейся простотой решений, человек как бы перестает видеть мир во всей полноте; и как следствие — в зашоренных глазах малопомалу начинает вспыхивать огонек ограниченности и фанатизма.

Душа, отданная во власть лика темноты, незаметно, исподволь, претерпевая метаморфозы, все более и более погружается в самое себя, в безысходный тупик непонимания, недумания, жестокости. При этом человек меняется к худшему не только морально, но и органически, всем своим существом, превращаясь нередко в параноика, этого типичного пациента современной психиатрии.

Соблазн простоты — вот главное оружие сатаны. Зачем — вопрошали гуманисты века Просвещения — усложнять себе жизнь Богом? Все ведь просто и разумно — давайте же сами строить свое счастье!

Построили...

Человек во веки веков является центром борьбы двух изначальных сверхличностных, сверхисторических сил, действующих во Вселенной. Когда он решается сотворить зло, оправдывая его часто благой целью, то сразу же, с первого шага, с первой пагубной мысли, в которой заключено «добро» на совершение этого зла, он лишается всякой самостоятельности, окончательно теряет право на дарованную ему свыше свободу. И тогда уже не он истинно властвует над собой, а кто-то иной владеет им. Стоит только внутренним помышлением разрешить себе зло, незримо протянуть руку к запретному плоду, раздробить этим гармонию мира в себе, как кто-то тотчас же ввергает нас в определенный, словно заданный, водоворот событий, встреч, происшествий, ведущих неминуемо к преступлению.

Сколько раз в своей жизни обращаемся мы к самим себе, окидываем внутренним оком некоторые свои поступки, задаем запоздалый вопрос: «Разве мог я совершить такое?»!

Нет, как образу и подобию Божьему такие поступки нам не свойственны. Но, все-таки разрешив себе подлый поступок, оправдав в душе необходимость его совершения как единственно доступного средства для достижения какой-либо своей цели, в тот самый миг и отдаем мы себя во власть темного бога.

И если рано или поздно человек опомнился, пришел в себя, а опомнившись, ужаснулся содеянному, он испытал стыд. Перед кем же ему стало стыдно? Ведь никто из окружающих так и не узнал об этом поступке. Мы, совершив зло, стыдимся Того, образом и подобием которого являемся. Стыд — одно из неопровержимых доказательств бытия Божьего. Стыд — это бессознательный сигнал угрозы отпадения, это механизм защиты от сатаны, наша надежда на искупление. И если

человек утратил стыд, он потерял Бога и душою его обладает и властвует над ним дьявол.

Именно злой умысел порождает болезнь души, а не наоборот: болезнь — умысел...

Может быть, здесь таится ответ на главные вопросы психиатрии?

Полностью здоровая душа, дух, существующий в Боге, не примет злого умысла, отторгнет его. Душа примет соблазн зла, если на месте Бога зияет пустота. И в этой пустоте может зародиться, укорениться древний змий тьмы.

Именно здесь кроется разгадка древнего страха перед колдунами, шаманами и чародеями. Ни один человек, разрешивший себе зло, никогда не знает точно, какие силы он приведет в действие, на кого и как обратятся вызванные им из хаоса разнузданные энергии... Змий всегда сам кусает себя за хвост.

Если мы разрешаем себе в помысле своем совершить зло, если берем себе право на его совершение, то это всегда означает, что мы уже ощущаем себя князьком какой-то из частиц раздробленного мира и, поддаваясь соблазну простоты, напяливаем на себя один из сатанинских ликов, который с давних времен именуется гордыней.

1

Гордыня. Видимо, отпадение человека от Бога — процесс единый и перманентный. И во всемирной истории, и в отдельной человеческой жизни первичный грех неминуемо ведет к непрерывной цепи катастроф, которую вряд ли можно разделить на части. Поэтому столь условна приводимая ниже картина отпадения, попытка деления ее на три «шага» — три грани темного лика. Лишь потому, что перо и мысль, как правило, с трудом обходятся без градаций и классификаций, мне приходится разделять «формы» отпадения.

Гордыня — это одновременно и соблазн, и главное отпадение. В ней истоки одиночества пола и одиночества личности. Она разворачивает последствия свои через века и народы. Но здесь представляется резонным коснуться такой громадной темы в преломлении истории наших дней, породивших людей — средоточия гордыни, воплотивших в себе антихриста Нового Завета.

Новейшая история наиболее явственно и зримо явила тип людей, которые, будучи ведóмыми безмерной гордыней, осознавая или интуитивно чувствуя весь соблазн и колоссальный разрушительный эффект исповедуемой ими лжи, с упоением поклонялись злу. Эти люди в большей или меньшей степени совершенно сознательно отторгают себя от Бога, усилением злой воли калечат души себе и другим соблазвившимся, чтобы, отринув все моральные преграды, самим встать на место кумира забывшей Бога толпы. Практически всегда они понимают, что, заменяя собой Бога, тем самым призывают дьявола. В безумстве гордыни они не верят, что власть «золотого тельца» длится лишь до возвращения Моисея, что змий неминуемо пожирает не только людские души, но и самого себя.

Появление таких людей, княжение их над XX веком закономерно. Оно лишь плод все того же древнего нашептывания змия: «Будете, как боги». Шепот этот особенно отчетливо раздавался над миром около четырехсот лет назад, когда просветители и гуманисты эпохи Ренессанса «упростили» бытие, объявив человека Богом, «созданием гармоничным и совершенным», царем природы и абсолютизируя его рассудок. Но именно обожествление человеческого разума и слепое поклонение ему в конечном счете погрузили мир в пучину тьмы. Позднее идеи просветителей (в особенности Руссо) привели к кровавой вакханалии Великой французской революции. На мыслях гуманистов выросли и те, кто правил веком нынешним.

Известно, что Гитлер в молодости мечтал о духовном сане, а Гиммлер даже начинал учиться на священника, точно так же как и Сталин. Дзержинский в юности хотел стать ксендзом.

Что это — закономерность?

Для меня — да, несомненно. Выходец из глубоко религиозной семьи, юный семинарист Джугашвили не мог осознавать материализм и коммунизм иначе как отказ от Бога и поклонение сатане. Мы воспитывались атеистами; они, жившие в другую эпоху, нет Тезой и антитезой их юности, их семей были Бог и дьявол. Отказ от одного неминуемо означал вручение души другому...

Впрочем, почему мы начали со Сталина и Гитлера? Начнем лучше со стихов:

«Видишь этот меч —
Князь Тьмы подарил его мне...
Ты, Сатана, летишь в пропасть,
Я, смеясь, лечу за тобой;
И скоро я брошу человечеству
Мои титанические проклятия;
Приняв мое учение,
Мир глупо погибнет».

Строки эти — из драмы молодого Маркса под названием «Квалнем». Самое название — древнееврейская анаграмма имени Христа, а посвящено произведение, соответственно, антихристу.

До того как стать коммунистами, Маркс и Энгельс были членами целого ряда довольно странных тайных обществ, об истинном предназначении которых можно лишь догадываться. Существует даже гипотеза, что по заказу одной из таких сект и был написан «Коммунистический манифест», который издавался первые двадцать лет анонимно, без упоминания имен авторов.

Возможно, подобная точка зрения и неправомерна. И тем не менее очевидно одно: дитя начала девятнадцатого века, сын и внук раввина, юный Карл Маркс не мог, так же как и юный Сталин, не осознавать, что коммунизм и материализм в практическом их осуществлении есть не что иное, как обращение к сатане.

Помысел Маркса и его соблазн появились вовремя. Русские славянофилы, начиная с Хомякова, быть может, как никто другой почувствовали тупик западной рационалистической мысли, выраженной до Маркса в возвеличивании абстрактного, отторгнутого от Бога гегельянского рассудка. Гегелевское «абсолютное знание о Духе» стало, по существу, осквернением, профанацией Духа; оно «вытеснило» Бога из человеческой души, освободив тем самым место для всякого рода химер, идолов и кумиров.

Ульянов-Ленин.. Трудно писать о человеке, с которого до конца — по крайней мере в сознании еще очень многих людей — не снят ореол земного бога и памятники которому, как родовые тотемы, встречаешь повсюду. Мог ли Ленин, человек несомненно энергичного ума, выходец из семьи либеральной интеллигенции, не думать о последствиях своей теории? Откуда в нем столько жестокости и примитивной грубости, которые долгие годы подавались советской пропагандой как нечто обаятельно-пролетарское, хотя ничего даже отдаленно пролетарского в его происхождении и в самом его характере не было? И что бы там ни пытались писать различного толка социалисты с «человеческим лицом», потоки крови полились именно при нем; раздробление семей, распадение духа и тела великой страны началось именно с характерного взмаха его, а не чьей-либо еще «легкой» руки. Откуда в этом галантливом человеке такое чудовищное, бездонное властолюбие? Почему он так люто ненавидел Церковь и веру? Почему создавал молох ЧК? Раскаивался ли он перед смертью? И не стала ли его смертельная болезнь результатом саморазрушения рассудка и души, безмерно отягощенных поистине дьявольской гордыней, множеством других тяжелейших грехов и начисто лишенных источника света и очищения?

В автобиографии Бухарина, помещенной в последнем издании Энциклопедического словаря Граната, Николай Иванович вспоминает о том, как в определенный период, юношей, он ощущал себя антихристом. Не последствие ли этого — страшная смерть его самого, жуткая судьба большинства революционеров ленинской плеяды?

Много проще с «фюрером». Гитлер и не пытался скрывать свои претензии на роль мирового антихриста. В сущности, нацистская организация СС являлась оккультно-сатанистской сектой, а не просто одной из форм вооруженных формирований или тайной полицией. В структуре организации было около сорока тайных институтов оккультизма.

Женоподобный мазохист в интимной жизни, сентиментальный и жестокий истерик, соблюдающий «трогательные» филистерские приличия в отношениях с собаками и секретаршами, не стремившийся к чувственным радостям власти (точно так же как не стремились к ним Ленин и Сталин), он сделал сознательным смыслом своего существования воистину сатанинские деяния.

Аскеты от власти и крови, эти люди полностью поставили свои жизни на службу темному лику

Мы не в состоянии охватить сознанием масштабы дьявольской, бессмысленной резни, устроенной этими людьми — самодержцами безбожной эпохи. И если правители прошлого в большинстве своем еще понимали, что они грешат, и знали, перед Кем они в ответе, то ужас нашей эпохи в том, что новые самодержцы сняли с себя эту ответственность. Вместе с Богом отвергнутыми оказались Совесть и Стыд. Власть лика стала почти беспредельна. Сон Души породил таких чудовищ, которых еще не знала история.

Но только ли про великих мира сего пишутся эти строки? Не стремятся ли многие из нас стать безраздельными властителями своего кусочка раздробленной вселенной? Не попутал ли нас самих бес гордыни?

Для воцарения антихриста силам тьмы нужно не только чтобы человек был обуян нечеловеческой гордыней; нужно подготовить биологию антихриста. Нужно из поколения в поколение за счет вырождения Образа и Подобия Бога создавать тех, кто не сможет никогда понять и принять Добро, ибо это будет слишком сложно для них, — лишь примитивные простые «истины», имеющие источником своим зло, должны быть доступны их сознанию.

Вот и мерцает темный лик зла в одной из главных проблем человеческого бытия — проблеме пола.

2

Пол. Проблема пола, неизбежного трагизма половой любви, загадка разделенности тела и души человека на женское и мужское начало — все эти вопросы наверняка так и останутся неразрешенными. Тайны эти мучили людей со времен Адама. На попытках приоткрыть их завесы строились языческие религии, философские системы и научные школы.

Мышление современного западного общества уходит своими корнями в психоанализ Фрейда и его последователей, целиком построенный на проблеме половой любви. Однако, блистательная в лице своих великих авторов — Фрейда, Юнга, Фромма, — школа психоанализа так и не смогла ответить на главный вопрос: почему?

Почему человек испытывает вечную неудовлетворенность в любви?

Почему два человека, живя вместе и создавая семью, продолжают чувствовать свое одиночество?

Почему абсолютно счастливая семья — фактически миф, а случаи даже относительной гармонии в любви и браке настолько редки, что как исключения лишь подтверждают правило?

Почему мгновения истинной любви так скоротечны и зачем они так быстро уходят, оставляя разочарование и пустоту?

Откуда в людях эта постоянная потребность соединения не только тела, но и души и почему это единение почти невозможно?

Фрейд писал в конце своей жизни: «Древние демонологические учения в сущности своем оказались верными».

Юнг и даже «марксист» от психоанализа Фромм обратились к религии и ее образам в поисках ответа на мучившие их вопросы.

Много лет занимаясь практическим психоанализом, я так же, как и многие мои коллеги, остановился перед тайной одиночества и проблемой неудовлетворенности. И неожиданно отгадка нашлась в Библии и русской религиозной философии.

Очевидно, существовал иной психоанализ, психоанализ иного рода, никем не названный, — «русский психоанализ», в котором степень человеческого одиночества и причины его ставились в прямую зависимость от степени отпадения человека от Бога. Так воспринимали личность и пол Соловьев, Розанов, Бердяев, Шестов, Карсавин, Франк.

Русская религиозная философия считала одной из тайн существования Бога и одной из главных перспектив развития человеческого Духа за гранью бытия слияние полов в Боге в одно неразрывное существо — Адама-Кадмона древней Каббалы. Самое первое последствие первородного греха Адама — разделение его целостного и гармоничного естества на две части, а главное наказание — вечная мука в попытках обрести утраченную цельность. В этих попытках многие великие умы видели смысл человеческой любви. Быть может, тупик классического психоанализа и заключается в вечной боязни науки напрямую обратиться к религии — допустить проблему любви женщины и мужчины в вековечную мечту о едином человеческом Духе.

Один из крупнейших русских богословов нашего столетия, В. Н. Лосский, в своем знаменитом «Догматическом богословии» пишет:

«Святой Григорий Нисский, которому следует в этом вопросе святой Максим Исповедник, отвергает якобы неизбежную связь между разделением на два пола и грехопадением. Святой Григорий говорит, что Бог создал пол в предвидении возможности — но именно только возможности — греха, чтобы сохранить человечество после грехопадения. Половая поляризация давала человеческой природе известную защиту, не налагая на нее никакого принуждения; так дают спасательный круг путешествующему по водам, отчего он вовсе не обязан бросаться за борт... В этом контексте пол есть не причина смертности, но как бы относительное ее противоядие.

Однако мы не можем согласиться с Григорием Нисским, когда он, основываясь на этом «охраняющем» аспекте пола, утверждает, что разделение на «мужское» и «женское» есть некое «добавление» к образу. Действительно, не только разделение полов, но и все разделение тварного мира приняло после грехопадения характер разлуки и смерти. И человеческая любовь, страстное стремление любящих к абсолютному, в самой фатальности своего выражения никогда не перестает таить шемящую тоску по раю... Райская сексуальность, всецело внутренне единственная, с ее чудесным «размножением», которое должно было все заполнить и которое, конечно, не требовало ни множественности, ни смерти, нам почти что совершенно не известна: ибо грех, объективировав тела («они увидели, что наги»), превратил две первые человеческие личности в две отдельные природы, в двух индивидуумов, между которыми существуют внешние отношения. Но новая тварь во Христе, Втором Адаме, приоткрывает перед нами глубинный смысл того разделения, в котором несомненно не было ничего «добавленного»: мариология, любовь Христа и Церкви и таинство брака проливают свет на полноту, возникающую с сотворением женщины».

Человеку дано испытать тоску и неудовлетворенность в любви; но из-за неизбежного греха он не в состоянии постичь причины этой тоски. Человек испытывает непонятную тревогу: он почти никогда, за редчайшим исключением, не чувствует удовлетворенности в реальном партнере; не покидает его и ощущение неполноты любви, как бы недостаточности живого человека, находящегося рядом.

Трагедия любви заключается в том, что двое, любовная или супружеская пара сама по себе, не может дать целого. Два человека способны найти счастье и единение лишь в том случае, если их объединяет Дух. То есть то, что человек верующий называет Богом, а человек неверующий — Любовью. Только через Дух

может быть преодолен первородный грех. Только Дух может позволить двоим стать единым целым, достичь счастья в единстве. Восстановить его можно, признав Любовь воплощением главной и отдельной самостоятельно живущей Сущности. Лишь понимая и признавая ее, способен человек понять себя и другого. Любовь — это свойство бытия, но сама в себе она довременна, неизъяснима и изначально разумна.

Для человека, лишённого веры, такое единение в Боге невозможно, и он — вечный Адам — раз за разом уходит из рая, влекомый раздельностью, не осознавая тождества понятий «Бог» и «Любовь», как и той Третьей Силы, без которой объединение двоих мучительно, ибо несет на себе печать извечной тоски и неудовлетворенности.

В итоге — метания, стремление, порой насильственное, найти в партнере некий абстрактный идеал. То есть попытка превращения другого человека в кумира, которая заведомо обречена на провал. Неудовлетворенность сохраняется, и человек часто вступает на патологический путь.

Одним из вариантов такого пути является создание своеобразной органистической культуры. Человек непрерывно меняет партнеров, стремится обострить сексуальное ощущение с помощью различных «технических» приемов... Все напрасно — похмелье любовного угара гнетет душу бессмыслицей и пустотой, «амоком».

Вечная неудовлетворенность пола порождает веши и гораздо более серьезные. Неосознанный поиск бога в партнере нередко приводит к сексуальному интересу к людям, от рождения являющимся духовными авторитетами, то есть к родителям или ближайшим родственникам, объединение с которыми в области духа бессознательно кажется более простым. Подобное влечение запрещалось как большинством религий, так и социумом. Осознанное или неосознанное кровосмешение — инцест — приводит к бесконечным и страшным последствиям дегенерации и вырождения, которые в невообразимой степени усиливают отпадение потомков, невозможность их духовного роста. Ужас кровосмешения и наказания за него выражены в древнегреческом мифе о царе Эдипе. Этот миф стал одной из главных опорных точек психоанализа Фрейда, хотя сам ученый уже на закате своих лет признал, что так и не смог объяснить происхождение мифа с достаточной полнотой.

Возможно, те же метафизические причины неудовлетворенности сексуальным партнером лежат в основе происхождения гомосексуальных связей. Гомосексуальные отношения в животном мире являются экстраординарными исключениями. Объяснить их появление с эволюционно-биологической точки зрения практически невозможно.

Здесь скорее всего тоже прослеживается неосознаваемая попытка поиска партнера, который кажется человеку, лишённому Бога, более близким по духу. Вспомним «Смерть в Венеции» — гениальную новеллу Томаса Манна и одноименный фильм Лукино Висконти. Профессор влюбляется в мальчика последней, предсмертной, любовью. Мальчик превращается для него, по существу, в ангела смерти. Образ истинной любви здесь гомосексуален, видимо, потому, что авторы пытались выразить в нем суть предсмертной, прощальной любви, любви как искупления, любви скорее к духу, нежели к плоти.

Но это — художественный образ. А в реальности гомосексуальная связь оборачивается все тем же тупиком — все тем же ликом зла. Ибо все, в чем нет будущности человеческого рода, устраивает его...

Невыносимое чувство одиночества и изоляции, заключенное в проблеме пола, неспособность осознать животворящее участие Третьей Силы применительно к нормальным половым отношениям приводит к тому, что все чаще один из партнеров добровольно принимает на себя роль бога и становится кумиром. Такое выделение себя на бессознательном уровне постепенно и неминуемо делает человека с а д и с т о м. Садистическое наслаждение выражается в стремлении подчинить себе партнера, сделать его как бы частью, придатком самого себя, унижая и принося ему боль.

Через некоторое время подобная бессознательная агрессивность начинает выходить за рамки непосредственно сексуальных отношений. Подавляя других, вовлекаясь в вектор темной силы, такой человек уже не в состоянии остановиться. Он ищет продолжения и восполнения чисто сексуального удовольствия в своей общественной жизни, стремясь и там унижать и подавлять других.

Есть и противоположный путь. Это путь создания кумира-садиста и последующего самоунижения перед ним. Человек становится зависимым, он не способен принимать решения, ибо полностью подчинен своему идолу. Подчинение идолу темному богу, которого человек нашел в своем партнере, — начинает приносить странное удовольствие. Человек медленно превращается в мазохиста...

Существует и третий путь — попытка избежать партнера вообще, то есть «возлюбить себя», и только себя одного. В истоках эгоцентризма («нарциссизма» психоанализа) скрывается проблема незрелой, одинокой, инфантильной души, способной ласкать только самое себя. Человек становится кумиром... самого себя. Сам себе — садистом, сам себе — мазохистом. При этом его участие в активной жизни, по существу, прекращается, а заменой служат все те же мечты и фантазии. Человек находит вроде бы самого близкого «по духу» партнера — себя. Но кончается это, как и в мифе о Нарциссе, неспособностью к жизни...

Вполне понятно, что те отношения, которые могут возникнуть у эгоцентриста, садиста и мазохиста, конечно, никто и никогда не посмеет назвать Любовью.

Пол — это не только изломы психики. Он залог продолжения рода. Через него человек, подобие Божие, как бы повторяет одно из дел Творца: вызывает из небытия новую жизнь. Охрана этой важнейшей функции человеческого бытия являлась главной заботой всех общественных формаций и языческих религий — религий, обращенных к роду. Лишь откровение Христа принесло вопрос: да, мы можем сотворить человека... но какого?

После Христа недостаточным уже стало найти удовлетворение и смысл только в механическом продолжении рода. Христос — Адам новой эпохи — показал путь к утраченному единству человека с Богом. Но сколько раз и с какой ужасающей легкостью люди пренебрегали великим смыслом Его искупительной жертвы.

И как следствие темный бог воплотился в скрытых от постороннего глаза тайнах семьи, определяя и усиливая главную беду человеческого рода — одиночества.

3

Одиночество. Большинство людей в наше время не задумываются всерьез о существовании Бога и дьявола; они просто живут. Живут, неся на плечах крест судьбы, уготовленный эпохой и теми, кто стоит у власти. Они пришли в этот мир в век безверия, во времена, когда многие вслед за Ницше готовы расписаться в «гибели Бога», когда Дух человека, рожденного и живущего вне Бога, отпадает от Духа Божьего только потому, что среда обитания либо вовсе не содержит символов Бога в себе, либо ей абсолютно противна сама Идея Его (как это, скажем, произошло у нас), либо существующие еще остатки религиозного культа выхолащиваются, превращаясь в формальный, лишенный полноты смысла веры ритуал, — будь то посещение церкви или невнятная скороговорка традиционной молитвы с осенением себя крестным знаменем за воскресным обедом, — по существу, никак или почти никак не влияющий на реальную повседневную жизнь (как это происходит в сознании большинства людей на Западе).

Виноваты ли они в своем отпадении от Бога? Ведь всю историю человечества можно рассматривать как такое отпадение...

Наказанием за нежелание понять цельность мира и вернуться к ней, горьким плодом гордыни и пола, являющихся сущностью современного, отпавшего от Бога, человека, остается вечное чувство одиночества.

Потеря радости от ощущения присутствия в мире сущности, несравненно более высокой и доброй, чем мы сами, калечит Душу, уродует ее, вызывая в ней ужас «темной дыры абсурда» образ которой, под разными личинами, описали едва ли не все мыслители эпохи «смерти Бога», от Ницше до Камю.

Объявление непреложным законом «факта» гибели души одновременно со смертью тела превратило все помыслы Духа в «факт мракобесия», «поповщину», глупость, недостойную человека, лишив тем самым этого человека единственного ориентира, нравственного закона, смысла жизни.

Но ведь ложь о смертной душе (читай — ложь об ее отсутствии) противоречила не только опыту тысячелетий; подобная ложь противоречила и доводам породившего ее рассудка. Раздробленность, неполнота знания мешала это понять, обрекая человека на одиночество даже на смертном одре.

Со времен Ренессанса пытается человек, объявивший себя богом, построить цивилизацию. Сейчас уже наглядно виден результат этих попыток: цивилизация без Бога не может быть добра к человеку. Цивилизация гуманистов оказалась самым негуманным созданием человека.

Эта цивилизация и ее плоды выразились вовсе не в стремлении к справедливости, как думалось поначалу, а в стремлении либо к механизму для перемалывания костей, в котором отдельный человек — лишь «винтик» безжалостной государственной машины, либо к механизму другого рода — постиндустриальному потребительскому обществу, в котором человек одинок и незащищен, хотя и пользуется гарантированными законом свободами.

В нашей стране попытка построить государство без Бога привела к молочу революции, став, в сущности, лишь гигантским экспериментом в духе Раскольникова — метафизическим бунтом против Бога («Кто я — тварь смердящая или право имею?»).

В основе революций, особенно русской, всегда заключался вопрос Бытия Божьего — «вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской Башни, строящейся именно без Бога не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю» (Достоевский, «Братья Карамазовы»). Русский социализм должен был принять и принять мироощущение, навеянное образами Апокалипсиса. Миф коммунизма есть, в сущности, конец бытия, конец развития, окончательное состояние, попытка построения Царства Божьего на земле... без Бога, варварским принудительным путем.

Нужно ли говорить, в чьем царстве мы оказались в итоге?

Бердяев отмечал вслед за Великим Инквизиторов Достоевского: «Религия социализма принимает все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне во имя свободы человеческого духа (разрядка моя. — А. Д.). Религия социализма принимает соблазн превращения камней в хлеб, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира (все три соблазна, в сущности, — соблазны частичности. — А. Д.). Религия социализма не есть религия свободных сынов Божьих, она отрывается от первородства человека, она есть религия рабов необходимости, детей праха».

Социализм нашептывает на ухо вечному Адаму словами Великого Инквизитора: «Все будут счастливы, все миллионы людей... Мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим их жизнь, как детскую игру: с детскими песнями, хором и невинными плясками. Мы разрешим им грех, они слабы и бессильны... Мы дадим им счастье слабеньких существ, какими они и созданы...»

Достоевскому же принадлежит, кстати говоря, честь открытия «бесноватости» — душевной патологичности в людях, которые делают революции: почти всем им свойствен феномен родового вырождения, способствующего полярности, однобокости, однозначности мышления.

Но только ли русская революция стала результатом безбожного гуманизма?

Технократический прогресс современного Запада, ведущий ко все большему и большему раздроблению, выхолащиванию духовных ценностей, неизбежно подводящий личность к пропасти одиночества, является плодом того же «гуманистического» мышления.

Чувство разобщенности, ощущение абсурдности бытия — не симптом ли нездоровья современного Запада, не мечется ли Европа и Америка так же, как и мы, в поисках новых кумиров? Так ли уж мы далеки друг от друга?

Ведь свобода, лишенная своего божественного первоисточника, оторванная от евангельских заповедей неминуемо вырождается в опустошительное, всеразру-

шающее своеволие или в лучшем случае в бессодержательную, абстрактную категорию, и итог ее один — мрачное и бессмысленное ничто. Человек, отпущенный на свободу и, в отсутствии Бога, не знающий, что с ней делать, либо погружается в пучину самодовольства, либо закабляет себя бесчисленными угодливыми ипотасями темного лика.

Разница между нами и Западом заключается разве что в том, что западный рационализм — это умеренный рационализм прагматика, сохраняющего хотя бы «на всякий случай» частичный страх перед Богом; русский же рационализм — это рационализм максималиста, богоборца, апокалиптика и нигилиста.

Разве не в замене смысла формой и цели средством наша общая драма? Разве не в подмене целого частью причина краха тех же молодежных западных движений?

Смутно чувствуя необходимость прорыва к чему-то, они бросали вызов обществу, дразня и эпатуя его, но лишь полая, самодовлеющая форма осталась их уделом. Под внешним, под формой скрывалась, сгущаясь, пустота, которую мог заполнить — как и всегда, почти не встречая сопротивления — темный бог наркотиков и новомодных кумиров.

Человек XX века совершил поистине головокружительный скачок, поломав себе при этом обе ноги: он «отменил» Бога, но не смог без него обойтись.

Поэты, художники и музыканты в начале нынешнего века мучительно пытались разложить на составные части не дающуюся им формулу гармонии; с помощью магической «формы форм» они рассчитывали найти на развалинах собственного безверия нового бога. Но там скрывался лишь зловещий лик. Зачастую многие из них были истинными, искушенными мастерами своего дела, подлинными художниками, правдивыми в том, что изображали. Мир, который они творили, не был миром Бога, то был безбожный, обездушенный мир — мир сатаны.

Что пытается выразить с начала века искусство абсурда и беспредметности?

Доходя до предела в выхолащенных конструкциях и образах, доводя затемняющую смысл форму до своего логического конца, до полной автономности — до распада, эта литература, живопись, музыка и их талантливые создатели, бравирова новшествами, апеллируя к избранному числу поклонников, очевидно, все же смутно чувствовали ущербность, неполноту того, что выходило из-под их пера и кисти; хотя поначалу и мерещилось им, что там, за пределами традиций, на дне разума что-то есть, что-то не выразимое обычными словами и образами, что-то, что продолжает жить и после гибели освященных столетиями форм.

Но это что-то не было Богом — там скрывался, не давая узнать себя, все тот же темный бог.

Именно дьявол порождает чувство абсурдности и бессмысленности существования; а потеряв смысл, человек логически подходит к тому, что все религии мира осуждали как величайший «грех совокупления с сатаной», — к различным формам самоубийства личности.

Самоубийством одинокой души может стать физическое насилие над собой — своего рода попытка бегства из мира, лишённого смысла; а может в этой роли выступить и алкоголь или наркотики, иссушающие душу изнутри, пока не наступит ее смерть раньше смерти физического тела.

Это тупик рассудка. Рассудка, замкнутого на самом себе. Ибо, лишенный Бога, путающийся в тенетах, неприкаянный и одинокий, он съедает сам себя.

Мы почти физически чувствуем сейчас тупик, безысходность того феномена человеческого разума, который так прославляли гуманисты. Рассудок оперирует словами и категориями, но не чувствами и откровениями. В самой его основе заключен механизм раздробления Цельности и Красоты на неуловимые составные части. Сколько раз мы чувствовали ложь слова! Сколько раз понимали, что именно слова помогают пустой душе лгать, ибо всегда предоставляют множество одновременно существующих истин, из числа которых так удобно выбирать ту, что соответствует минутной выгоде, да еще способную оправдать любую нашу мерзость!

Но ИСТИНА только одна.

Ее, эту Истину, мучительно ищет заблудившаяся цивилизация, довольствуясь пока подменой в лице мелких, лживых, зато общедоступных, простых кумиров.

ИСТИНУ не постичь только рассудком.

Рассудок рационалиста не выдерживает своего одиночества; дробя мир на куски, он не в силах собрать его вновь.

Наука, казавшаяся себе великой. В наши дни она все более и более чувствует немощь от своей раздробленности, на которую, впрочем, была обречена с самого начала. Не в силах справиться с разобранным миром одинокой человеческой души и медицина. В самой произведенной XX веком подмене духовника и исповедника врачом-психиатром или психоаналитиком кроется ложь.

В самом деле, мы, медики, пытаемся лечить от одиночества — этого тупика рассудка — с помощью опять-таки рассудка; тогда как для того, чтобы вывести пациента из состояния душевной «гrogги», целитель должен стать носителем и проводником не «клинического» или «эротического», но **э т и ч е с к о г о**, духовного начала. Иначе он не распутает узел, лишь сам превратится для больного в кумира; а привязав к себе душу страждущего, став его мнимым партнером, способен, подчас даже не осознавая этого, занять место темного бога.

Несколько лет назад мы, психиатры, пытались изучать проблему одиночества, интервьюируя одиноких женщин. Когда я читал и перечитывал те части текста этих бесед, исповедей, посвященных описанию самого чувства одиночества, то неожиданно для себя понял:

ОДИНОЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ

Женщины описывали свое одиночество как некую сущность, как нечто отдельное от себя, нечто, «терпеливо ждущее дома», «прячущееся в углах», «обнимающее и не отпускающее». В этом была не только символичность, свойственная человеческому мышлению, но и реальное ощущение, которое человек не в силах описать до конца. И сама собой напрашивалась все та же мысль — если у нас, рядом с нами нет Бога, нет Любви, мы все равно не можем остаться одни, у нас появляется другой партнер — все тот же древний змий, темный кумир, заменяющий нам Бога.

Чувство одиночества — потеря не только Бога. Одинокая душа неминуемо замыкается сама на себя, теряет чувствительность; она не в состоянии понять и почувствовать другого человека. Понять другого, а значит, возлюбить его без ориентира Духа невозможно. Именно Дух — «третья ипостась» любого человеческого общения, как и любви, — точка отсчета взаимопонимания. Темный бог, пущенный в душу, окружает ее непроницаемой оболочкой равнодушия.

Почему же Бог не вмешается и не остановит всего этого?

Вот тот самый роковой вопрос, который вызвал некогда ощущение «смерти Бога». И ответ на него один: человек не был бы образом и подобием Божьим, если бы не было у него свободы выбора. Свободы самому создавать себя и свой мир, свободы ошибаться.

Но есть ли у человека свобода не замечать своих ошибок, игнорировать воздаяние в своей судьбе, в судьбах своих детей, не задумываться о темном боге?

В начале нашего века, ознаменовавшегося констатацией «смерти Бога», в науке, занимающейся болезнями души и бывшей когда-то прерогативой монастырских стен, возникло новое учение. Два блестящих немецких психиатра, Крепелин и Блейер, создали учение о так называемом «раннем слабоумии», или шизофрении («схизофрении» — в старых переводах). «Схизис» — раздвоение души. В нашей стране это слово теперь знают все. С ним связано многое: принудительная госпитализация, изоляция инакомыслящих в психиатрических больницах. Однако не все представляют себе, что же такое шизофрения с медицинской точки зрения. В научном синтезе Крепелина и Блейера шизофрения представлена как болезнь, главным внешним проявлением которой является возникновение странных галлюцинаторных состояний. В учебниках их называют «синдромом психического автоматизма», а в реальности это ощущение потери автономности психики. Человек физически чувствует, как его мыслями, телом, движениями, ощущениями начинают управлять некие внешние силы — в 20-е годы это были «ведьмы» и «лешие» а в

наши дни «пришельцы» или «телепаты» Они якобы двигают руками и ногами человека, вкладывают ему в голову мысли, «показывают» различные картинки и образы По мере развития болезни человек начинает ощущать себя ареной метафизической борьбы двух противоположных сил — добрых и злых Эти ощущения усиливаются, человек начинает чувствовать себя центром вселенной Затем мозг истощается, и наступает слабоумие. Вместе с приобретенными в результате болезни внешними проявлениями душа человека начинает определенно терять некоторые качества. Эта «потеря» описывается в медицине тремя главными понятиями:

редукция энергетического потенциала: потеря активности и самостоятельности волевого усилия. Человек дрейфует, как льдинка, плывет по течению жизни, не сопротивляясь и поддаваясь любому внешнему влиянию;

аутизм мышление становится оторванным от действительности, замыкается на себя, делается непонятным для окружающих;

эмоциональный дефект человек теряет эмоции. Он не впадает в депрессию, он постепенно становится бесчувственным. От большого начинает веять чем-то «механическим», исчезает способность к теплоте, к адекватному эмоциональному отклику

Человек отрывается от других людей, будучи не способным понять их чувства, он пытается заменять эмоции словами. Складывается впечатление, что он теряет душу

Пусть простят меня коллеги за то, что на одной страничке я не могу пересказать все многообразие томов, написанных после Крепелина. Однако внимательный читатель, наверное, уже понимает, к чему я, собственно, клоню.

Обратившись к старым книгам по психиатрии, легко узнать, что шизофрению открыли только в начале XX века лишь потому, что до этого ее просто не было. Во всяком случае, не было как массового явления. Все болезни, описанные ранее, например одержимость бесами, ведовство и т. д., на самом деле относились, даже с медицинской точки зрения, к совершенно другим заболеваниям — эпилепсии или истерии.

Заболевания, похожие по описанию на шизофрению, встречались, конечно, в древности, но как редчайшие исключения (да и то у очень немногих бунтарей-богборцев), а вовсе не как массовое явление, каким стала эта болезнь на рубеже XIX — XX веков и в наши дни.

Почему шизофрения сделалась своеобразной «визитной карточкой» неблагополучия эпохи рационализма; почему именно о ней говорят как о болезни того, что мы называем цивилизацией? Почему, наконец, диагностика шизофрении приобрела такой невероятный размах именно в советской и немецкой психиатрии, что стала восприниматься чуть ли не как единственная форма душевной болезни, а все остальные формы стали трактоваться как ее разновидности?

Обращает на себя внимание то, как странно повторяют симптомы болезни описания-исповеди о человеческом одиночестве. Невольно приходишь к мысли, что шизофрения, в сущности, и есть болезнь отпадения. Душа не в силах перенести свое одиночество, находит себе болезненные «подпорки», начинает физически ощущать все то, что для других составляет лишь философский ребус. Подпорки оказываются ложными. Не будучи в состоянии выдержать груза, они, как хрупкая палочка-опора в картинах Дали, в конце концов ломаются, вызывая гибель души при жизни тела. В результате на месте полноценной и многоплановой человеческой личности возникает механический Голем, продукт эпохи «гибели Бога» существо слабоумное и нежизнеспособное...

Атмосферу неизбежного нарастания лавины бездуховности отразил в массовом сознании всемирный кинематограф.

Пазолини даже попытался создать вывернутую наизнанку эстетику обездухности.

Ту же проблему остро почувствовал и Кубрик, еще в романтических 60-х сняв свой легендарный «Механический апельсин»...

Неудивительно, что в наши дни, когда большинство людей столь остро и болезненно чувствуют свою неприкаянность, одиночество и потребность в духовной

опоре, как грибы после дождя появляются десятки квазирелигиозных сект, сотни всевозможных кумиров и кумирчиков, самозванных «гуру», учителей жизни, шаманов и врачевателей, — всех этих мунов, кашпировских, чумаков, лонго и иже с ними, наживающих себе капитал на том, к чему не вправе прикасаться ни одна нечистая рука. Как и положено кумирам, они умеют ловко прельщать и манипулировать людьми, умеют лгать, ибо ведомы отцом лжи.

Кумиром для человека может стать другой человек, а может — собственная работа, собственное дело, бизнес и т. д. (Многие нынче говорят: «Дело. Одно только дело. И ничего больше...») Но вот приходит день — и еще недавняя работа-радость, или пол-радость, или свобода-радость вдруг трансформируются в уже зачастую бессмысленную и вполне болезненную одержимость, в фанатизм. Дело или любовь лишаются своего источника и, следовательно, своего основания, своей цели и смысла, превращаясь в работу ради работы, в секс ради секса. Так все даже, казалось бы, самое благое в нашей жизни, оторванное от своего Божественного Первоначала, дробит, иссушает и опустошает душу, ведет к одиночеству, унынию и отчаянию.

Как только человек утрачивает целокупный взгляд на мир, на его удивительный, волшебный и многогранный кристалл, маниакально вперяя взор лишь в какую-то одну его грань, он рискует незаметно для себя подпасть под власть темного бога, перестать видеть что-либо вокруг себя и постепенно погрузиться в бездну абсурда.

* * *

Сто лет назад, обращаясь к своему современнику, Владимир Соловьев писал: «Все твое долженствование и все твое могущество в Боге... Твоя немощь есть, в сущности, такая же аномалия (разрядка моя. — *А. Д.*), какую ты сам видишь в бесстыдстве и безжалостности; эта аномалия происходит от твоего разобщения с безусловным началом всего должного и всего могучего, и через воссоединение с Ним ты можешь и должен исправить эту аномалию». Эти слова русского философа, прозвучавшие на пороге XX века, сегодня, уже на излете нашего столетия (когда мы в основном приступили к подведению его итогов), не менее, а наоборот, и более актуальны, нежели тогда, когда были впервые произнесены.

*А. ДАНИЛИН,
действительный член Британской
ассоциации психоаналитиков.*



Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

КОРОТКО О КНИГАХ



П. А. ФЛОРЕНСКИЙ. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М. Издательская группа «Прогресс». 1993. 321 стр.

Имя и труды о. Павла Флоренского вновь заняли в нашей культуре место, подобающее подлинному масштабу его творческой личности. Многие его начинания и свершения вошли уже в разряд аксиоматических очевидностей культуры, само собой примысливаясь к нашим сегодняшним творческим и духовным заботам. Но не стоит забывать: смысл предпринятого великим умом раскрывается лишь в большом историческом времени. Сам о. Павел недвусмысленно обозначил историческую перспективу своего творчества: «То самое, что у меня плотно сведено к одному, к одной цели, что дает смысл существованию — то и тяжело <...> я знаю, что это не достижимо в данное время, в данной стране; не только в ближайшее время, но и в столетия».

Над рукописью настоящей (впервые публикуемой) книги автор работал с 5 февраля 1924 по 9 января 1925 года. Ближайшим образом этому предшествовало трехгодичное чтение лекций во ВХУТЕМАСе (1921 — 1924), работа в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры (1918 — 1920), подготовка фундаментального труда «У водоразделов мысли» (начиная с 1917 года) и написание ряда крупных искусствоведческих работ («Обратная перспектива», «Иконостас» и др.). Перестав читать лекции во ВХУТЕМАСе, П. А. Флоренский продолжал работать над поставленными в них эстетическими и искусствоведческими вопросами. Так и возникла книга.

Осевая ее тема — пространство и время как символические формы мысли, художественного творчества, культуры.

Во фрагменте «Значение пространственности», к сожалению не включенном в опубликованный текст, автор пишет: «Проблема пространства залегает в средоточии миропонимания во всех

возникавших системах мысли и предопределяет сложение всей системы. С известными ограничениями и разъяснениями можно было бы даже признать пространство за собственный и первичный предмет философии, в отношении к которому все прочие философские темы приходится оценивать как производные. И, чем плотнее сработана та или другая система мысли, тем определеннее становится в качестве ее ядра своеобразное истолкование пространства. Повторяем: миропонимание — пространствопонимание».

Из этого толкования пространственности у П. А. Флоренского видится совершенно особое место искусства в человеческой культуре, его принципиальная несводимость к философии или науке, технике или политике. Художественные образы более всех других форм выражения способны передавать содержание пространственно-целостных явлений жизни: они, пишет П. А. Флоренский, «суть формулы жизнеспонимания, параллельные таковым же формулам науки и философии», они позволяют описывать, толковать, оценивать и даже предсказывать явления жизни точно так же, как это делается с помощью символических построений в науке, технике или философии. И как таковые они «не могут и не должны быть пересказываемы языком науки и философии».

В своем пространствопонимании П. А. Флоренский предстает перед нами как радикальный реалист, отстаивающий «объективное, реалистическое понимание искусства <...> философии, науки и техники», культивирующий «сознание необходимости праведного отношения к жизни, желание и решение пробиваться к реальности».

Творя в пространстве чувствуемого и мыслимого, переживаемом и воображаемом, человек воспроизводит его организацию в своем творчестве, подражает пространству, подтверждая свою жизненную причастность ему. «Деятель культуры, — заключает П. А. Флоренский, — ставит межевые столбы, проводит рубежи, наконец, вычерчивает крат-

чайшие пути в этом пространстве <...>. Это дело необходимо, чтобы организация пространства дошла до нашего сознания. Но этой деятельностью открывается существующее, а не полагается человеческим произволом <...>».

Сойдемся еще раз на слова нашего автора, с предельной определенностью обозначающие эмоционально-ценностный строй его книги: «Предпосылка деятельности, все равно, будет ли это искусство изобразительное или словесное, есть *реальность*. Мы должны ощущать подлинное существование того, с чем соприкасаемся, чтобы стала возможной культурная деятельность, вплотную признаваемая как потребная и ценная; без этой предпосылки реализма наша деятельность представляется либо внешне-полезной, в достижении некоторых ближайших корыстей, либо внешне-развлекательной, забавой, искусственным наполнением времени».

Защита П. А. Флоренским принципов философского и художественного реализма важна не только применительно к 20-м годам, где борьба авангарда против реалистического искусства считалась близкой к окончательной победе над ним, но и применительно к нашему времени.

Обращаясь к мысли о. Павла, я каждый раз непроизвольно вспоминаю его загадочные слова: «Аскетизм для меня — синоним культуры». Может быть, один из смыслов их в том, что реализм — это творческая аскеза?

Олег Генисаретский.

*

I. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР. Время и бытие. Статьи и выступления. М. «Республика». 1993. 447 стр.

Так уж получилось, что к основным событиям в философской мысли XX века русский читатель причащается только теперь, наконец получив возможность встречи с текстами Гуссерля и Хайдеггера, Мерло-Понти и Сартра, Арто и Делеза...

В книгу Хайдеггера вошли статьи и доклады разных лет: «Что такое метафизика?» (1929), «Преодоление метафизики» (1936 — 1946), «Письмо о гуманизме» (1947), «Вопрос о технике» (1953), «Поворот» (1949), «Путь к языку» (1959), «Вещь» (1950), «Учение Платона об истине» (1931) и др.

До этого издания (в серии «Мыслители XX века») Хайдеггера читали, кто мог — в библиотечных немецких изда-

ниях, остальные собирали по крохам отдельные переводы, опубликованные в 80-х чаще всего в специальных реферативных сборниках, в последние годы — в журналах и разрозненных книжных публикациях. Первая попытка — «Высшей школы» — издать Хайдеггера вышла не слишком удачной; выяснилось: чтобы переводить Хайдеггера, его надо еще и понимать.

Так что перед нами фактически первая книга Мартина Хайдеггера на русском языке — в переводческом исполнении его знатока В. В. Библихина. Правда, знакомство с Хайдеггером читатель теперь начнет «с конца». «Время и бытие» — название одной из поздних работ философа, зеркально отражающее имя его первой, во многом определившей пути европейской мысли XX века книги «Бытие и время», изданной в Германии в 1927 году.

О переводе «Бытия и времени» в отечественном философском сообществе сложились уже легенды. В 80-е Москва читала в анонимных переводах отдельные главы этой книги, ходившие в машинописных списках; позже кто-то «видел» у одного из наших переводчиков ее целиком и даже свидетельствовал, что этих переводов два — более полный и сокращенный; в 90-х многие ожидали появления какого-нибудь «самопального» перевода — из «глубинки», где увлечение Хайдеггером пришло на смену пиетету перед Гегелем и ранним Марксом...

Наконец, перевод «Бытия и времени» обещает нам — уже публично — Владимир Библихин в своей вводной статье к вышедшему тому Хайдеггера, правда, опять таинственно умалчивая, с какой стороны его ждать и из чьих рук он наконец появится.

Но, видимо, такова судьба Хайдеггера в нашей культуре — появляться сквозь завесу «тайны»...

Эту «тайну» хранили до сих пор те, кто обладал привилегией ученой интерпретации текстов Мартина Хайдеггера. Сегодня эти тексты непосредственно доступны в прекрасном русском переводе, и, возможно, миф о «закрытом» для непосвященного читателя авторе, о «темном» философе XX века начнет постепенно исчезать. Но одно уже несомненно: мы все, читающие сегодня Хайдеггера по-немецки или по-русски, уравниваем в своих правах чтения его текстов и понимания его мысли.

Поэтому можно примкнуть к интерпретаторской версии Владимира Библихина, которую он предлагает в своем предисловии, можно довериться его опыту не только переводчика, но и фи-

лософа, размышляющего о Хайдеггере, — а можно и не примкнуть и не довериться. Уж больно умиротворенно-гармоничен Хайдеггер в этой версии, уж очень соблюдает приличия и благопристойность его мысль, стремящаяся «к согласию с миром», «к измерению человека мерой мира, мерой согласия; к тому, чтобы человек уступил себя целому». И остается лишь гадать, откуда же пошло революционное влияние его мысли на современный «непристойный», с точки зрения академической метафизики, философский авангард.

Впрочем, эти мои замечания — о В. Библихине-истолкователе. Переводческий же труд В. Библихина обрел свое собственное и отдельное существование. Наверное, можно резонно — как сделал в своей рецензии на эту книгу в газете «Сегодня» А. Плотников — усмотреть в библихинском Хайдеггере мыслителя почти русского, а не немецкого. Но мне кажется, что именно утопия Библихина о «нетронутости философского богатства русского слова» поможет его личному усилию переводчика.

Судьбу русского Хайдеггера вряд ли кто-то возьмется сейчас предугадать. Хотя: он наверняка не раз угодит в очередную утопию русской культуры, будет притянут к какой-нибудь идеологии, вновь будет опознан как представитель определенной «тенденции» и, конечно, охраняем апологетами, пытающимися говорить на его — теперь уже русском — языке.

Однако помимо этого вполне утилитарного использования есть надежда — Хайдеггер может, наряду с другими мыслителями XX века, стать элементом нашей собственной мысли. Примером тому, на мой взгляд, недавно вышедшая в издательстве «Наука» книга философа В. Подороги «Метафизика ландшафта».

Читатель этой рецензии (если таковой найдется) давно ждет хотя бы краткого прикосновения к «суть» книги. А я — все вокруг да около. Но мне вдруг показалось, что, решившись излагать некую «суть», я тоже попаду в ловушку хайдеггеровской монологической речи и смогу лишь имитировать ее движение. Читать Хайдеггера вовлеченно и в то же время сохранить по отношению к нему свою дистанцию удастся не всем. Хайдеггера надо читать медленно и осторожно, не только догоняя его, но и не теряя собственного пути.

II. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР. Избранные произведения. Перевод А. В. Михайлова. М. «Гнозис». 1993. 334 стр.

Отечественное книгопечатание обогнало мое перо: сразу же вслед за «Вре-

менем и бытием» появился еще один Хайдеггер — в переводе Александра Михайлова. В этот том избранного, выпущенный в новой серии издательства «Гнозис» («Феноменология, герменевтика, философия языка»), вошли несколько параграфов из «Бытия и времени», одна из основных работ Хайдеггера «Исток художественного творения» (напечатанная параллельно с немецким текстом — что призвано удостоверить серьезную научную ориентацию серии) с приложением введения к ней Г. Г. Гадамера, целый ряд небольших работ, среди которых: «Творческий ландшафт», «Проселок», «О тайне башни со звоном», «Жительство человека». В книге — обширное предисловие переводчика и составителя и его же заключительная статья «Мартин Хайдеггер в наше время», написанная и приведенная здесь на немецком языке.

В этом оставшемся без перевода эпизоде немецкого языка мне увиделось нечто не случайное: действительно, Хайдеггер принадлежит пока лишь европейскому времени и языку европейской культуры. Появившиеся на русском языке книги Хайдеггера — лишь первый шаг, лишь инициация. Перевод Хайдеггера на русский язык, безусловно, большое культурное событие. Но совершится ли вместе с тем событие перехода мыслителя в язык другой культуры — над этим переводчик не властен. И дело здесь, может быть, даже не в том, на что уповает А. Михайлов — на появление многих и разных переводов; их существование еще не гарантирует размыкание круга, вхождение того или иного иноязычного автора в опыт отечественной мысли. Знаменитое хайдеггеровское «Dasein» стало устойчивым именем большого европейского философского события — ухода со сцены западной мысли «человека» нового времени. Чем станет и сможет ли стать чем-то для нас сегодня михайловское «здесь-бытие» — буквально точно передающее немецкое «Dasein»?

Как-то сиротливо и нездешне выглядят несколько напечатанных в книге параграфов из «Бытия и времени». Как будто переводчик побоялся обрушить на нас сразу всю мощь того инопланетного языка, на котором говорит «Бытие и время» Хайдеггера. Странность языка перевода здесь, однако, вовсе не свидетельство несостоятельности переводческого усилия. Она — естественное преломление искусственного языка самого оригинала, проявление новационного характера пути, на который встает Хайдеггер-мыслитель.

Конец 30-х — начало 40-х годов — время активной работы Хайдеггера с

Ницше: он читает целый ряд посвященных его философии курсов лекций, в 1936 — 1937 годах пишет свою большую работу «*Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)*», являющуюся также откликом на мысль Ницше. В 1943 году написана статья Хайдеггера «Слова Ницше „Бог мертв“». Мысль Ницше, как представляет это Хайдеггер, есть завершение проекта западной метафизики — «изложение сверхчувственного». Обесценивание высших ценностей, поддерживавших и организующих западную культуру, дававших существованию западного человека идеи и идеалы, цели и основания, — так можно расшифровать слова Ницше «Бог мертв». Нигилизм Ницше был призван устранить само место возможного полагания ценностей — саму область сверхчувственного. Слова «Бог мертв» заключают в себе утверждение: «Ничто ширится во все концы». И все же проект «переоценки ценностей» Ницше остается, согласно Хайдеггеру, по сути, метафизическим проектом. Ницше говорит о «ценностях», остающихся центрами жизненной констелляции, центрами господства, образования, осуществляющими волю к власти. Воля же к власти волит господство над сущим, воплощая стратегию покорения бытия человеком...

В том, как подобраны тексты в этом сборнике Хайдеггера, безусловно, просматривается авторский замысел переводчика. У А. Михайлова — свой Хайдеггер. Это Хайдеггер, идущий от критики традиции к «умудренной простоте» ценностей земли, почвы.

Для Михайлова ключ к поздней философии Хайдеггера в его «Проселке». Этот небольшой текст был впервые опубликован в 1949 году, и напоминает он скорее автобиографическую лирическую прозу, чем собственно философскую работу. Но разве не живет мысль на пространствах разной речи, вовсе не обязательно размеченных условными обозначениями жанров, видов и дисциплин? Это «автобиографическое» произведение Хайдеггера — еще и герменевтический эксперимент, философский опыт сопряжения сторон и сил Четверицы: Земли и Неба, божественного и смертного — опыт выявления архетипического, собрания и обживания мира.

Михайлову близок Хайдеггер-романтик, пытающийся «вернуть человечество к целостно постигаемому миру», к простоте и «кротости» его бытийного устройства, — Хайдеггер «возврата», времени «собрания камней», Хайдеггер, противостоящий «раскованным энергиям разрушения и уничтожения».

Сегодня на Западе эту ориентацию позднего Хайдеггера часто называют «фундаменталистской», что прочитывается как упрек так радикально начинавшему свою философскую карьеру Хайдеггеру.

Поздний Хайдеггер, действительно, все чаще апеллировал к «вечным ценностям» жизни и труда на земле, а за его, казалось бы, отвлеченной речью все яснее вырисовывался сельский ландшафт Шварцвальда. Но как быть нам, сегодняшним? Опозитизировать еще одну утопию или все же держаться строгости и продуктивной критичности мысли Хайдеггера?

Е. Ознобкина.

*

В. А. ПОДРОГА. *Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX — XX вв. М. «Наука». 1993. 319 стр.*

Необычность рецензируемой книги очевидна: в то время как у половины пишущей на философские темы российской публики слова «постмодернизм» и «постструктурализм» вызывают чувство, близкое к тошноте, а другая половина, выражаясь ее же языком, от этих слов «тащится», автор «Метафизики ландшафта», с одной стороны, демонстрирует редчайший пример философского усилия, далекого от каких бы то ни было журнально-газетных препирательств по поводу «постсовременности», а с другой — показывает образец вполне современного типа философствования в смысле его интеллектуальной искушенности и особой, я бы сказал — радикальной, нейтральности в отношении идейного спора любого вида. Философия, практикуемая Валерием Подорогой, разворачивается через целую систему запретов, и, пожалуй, самый главный из них — это запрет на спор. Сразу же оговоримся, что этот и другие запреты не следует понимать буквально — автор вовсе не намерен запретить кому-то о чем-то спорить, совсем нет; его запреты — это устанавливаемые им для себя и для всякого возможного читателя его текстов особые трансцендентальные правила, если хотите — максимы интеллектуальной этики — этики чистого мыслительного усилия. Ведь если мы о чем-то подумаем и попробуем двигаться внутри этого завоеванного нашей попыткой мыслительного пространства, то при чем здесь

тогда «постмодернизм» или, например, традиция «русской духовности» или что-то другое в этом роде, что провоцирует спор? В тот момент, когда мы начали путешествие в мыслительных ландшафтах, в «складках» и «морщинах», образуемых многократными оборачиваниями нашей мысли на саму себя, все это оказывается чем-то совершенно внешним нашему мыслительному движению, тем, что не имеет к нему никакого отношения. И тогда начинает представляться, что любой спор — это всего лишь попытка оперировать культурными отходами мысли как самой мыслью, стремление на «место мысли» поставить свою «позицию», то есть анонимное, ничейное и атопичное «место» (в культуре, языке, академической школе или художественной тусовке), используя его в качестве протеза, подпорки (дословный перевод латинского *subjectus*) своего полемического жеста. Мы подошли ко второму правилу, или запрету, устанавливаемому автором: не мыслить подпорками, некими самоочевидными сущностями, а мыслить наперекор им, ставя их под постоянное вопрошание. Другими словами, мыслить, подвергая постоянной рефлексивной проверке сущностное условие мысли — ее субъекта. Отсюда и два главных, неизменно воспроизводимых вопроса книги:

- 1) Кто мыслит (говорит)?
- 2) Как сделана мысль (письмо)?

Отвечая на эти вопросы, В. Подорога движется по не проторенным в нашей философии путям; вернее сказать, он сам создает маршруты собственного интеллектуального движения, прокладывая их через тексты Кьеркегора, Ницше и Хайдеггера. Перед читателем предстают не подновленные «философские портреты», а именно «метафизические ландшафты» — своего рода интеллектуальные карты, топографические схемы мысли философов, в чьих текстах скрыт едва ли не весь «энергетический запас» современного философствования.

Как и всякий философ, Валерий Подорога пишет и, видимо, будет писать всю жизнь один и тот же — бесконечный — текст. «Метафизика ландшафта» — это застывший фрагмент текстовой лавы, остановленное мыслительное движение, которое, если следовать этике автора, не должно останавливаться. Отсюда естественное для Подороги стремление к переделыванию, переписыванию книги, стремление, которое, будучи сформулированным в виде правила, могло бы гласить: не дать тексту умереть в книге (произведении). Результатом применения этого правила

станет книга Подороги «Выражение и смысл» — обновленный и дополненный вариант «Метафизики ландшафта», который вскоре будет опубликован в серии «Философия по краям».

А. Иванов.

*

ЗИНАИДА МИРКИНА. Огонь и пепел. Духовный путь М. И. Цветаевой. Григорий Померанц. Лекции по философии истории. М. ЛИА «ДОК». 1993. 268 стр.

I. Слова «магия искусства» — это не просто устоявшееся клише — это точное богословское определение неотъемлемой сути искусства, присущего ему соблазна. В поэзии Марины Цветаевой упоение магическими чарами поэтической стихии доходит до саморазрушения, до противоречия с собственной сутью.

Как отмечает Зинаида Миркина, «было нечто в Цветаевой, в моей Цветаевой, с Цветаевой несовместимое». Далее следует признание: «И стало мне в ней, в этой Цветаевой, душно и тесно!» Для такого признания, для того, чтобы взяться отделить не Цветаеву от Цветаевой, услышать ее внутренний диалог, нужно ощущать определенную соразмерность с ней. Это дело не критика, не исследователя поэзии, но поэта. Ибо «только поэты знают, но они судить не будут», как пишет сама Марина Цветаева.

Книга З. Миркиной — исследование или суд, но следование и проникновение в суть. Автор делает Цветаеву участницей диалога с самой собой, заставляя ее свидетельствовать о том, что не приемлет и в конечном счете так или иначе преодолевает в себе (хотя бы путем ясного осознания «при свете совести») Марина Цветаева. Любовь к Цветаевой помогает автору осознать и показать истинную метафизическую глубину этих противоречий.

Разудалость и разбойную красу, воплощенную в героях ранней Цветаевой, З. Миркина сопоставляет с присущей им же (а чаще — самой Цветаевой) жалостью к «чужому». Почти бесовская неистовость и широта поэта — и «точное и неизменное «нет» — насилию, принуждению». И наконец, ключевые слова: «сопричастность каждой боли, может быть, и была главным в Марине Цветаевой».

Миркина не боится упомянуть о признании Цветаевой в детской любви

к черту, но соприсношение с дьявольским началом — это у нее не любовь к злу, а «любовь к свободе и независимости — со всеми вытекающими отсюда следствиями», в том числе соблазном перейти за «черту». Здесь автор усматривает богоборчество Цветаевой, что дает ей основание для библейской реминисценции с «богоборцем» Иаковом. Мне более импонирует иная разгадка цветаевского сопротивления Богу, предлагаемая в книге З. Миркиной: погруженность поэта в природную стихию. «Стихия сметает все плотины и освобождает душу от оков и гирь. Куда она ведет — неведомо». Человек не природное существо, и предаться стихии для него означает утратить обращенность к Богу. А это невольно должно привести к противоположной ориентации. Важно то, что Цветаева чувствует это сама, когда пишет: «...мне все равно, куда летать. И, может быть, в том моя глубокая безнравственность (небожественность)». А когда человек знает такое о себе, он уже открыт Высшему.

С точки зрения З. Миркиной, перед Цветаевой стоит неразрешимый выбор между жизнью и добром. Как преобразить бушующий жар жизни, полноту стихии в духовный свет и обрести полную гармонию? «Суровый вожатый Марины Цветаевой, ее бессмертный возлюбленный — сам огонь. Животворный огонь, прекрасный и ужасный одновременно, чарующий до полного самозабвения и ужасающий до столбняка». Духовная проблема Марины Цветаевой в том, что ее душа (как и душа ее героев) остро чувствует ограниченность всего земного, она побывала в глубине, в мире истоков и начал. И в то же время «душа Марины Цветаевой к своему коню страсти, стихии — прирастала и не умела соскочить вовремя».

Особое место у Цветаевой занимает статья «Искусство при свете совести», где поэт четко осознает языческий характер искусства, когда оно равновелико природе, когда оно самодовлеющая стихия. Грех и кощунство — упоение стихией до гибели в ней и упоение гибелью. В книге З. Миркиной важнейшая глава называется «При свете совести». Цитирую из нее то, что наиболее важно для меня: «Если душа — язычница, она ни за что не отвечает... Если душа — христианка, то она знает, что Природа и Стихия — не последняя реальность, не глубочайшая, не главная... Творец природы выше природы».

Но З. Миркина не соглашается с тем, что надо подавлять стихию, в том числе стихию поэзии в себе. Нужно «участвовать во внутреннем процессе» созида-

ния красоты, даже нравственно безразличной, если только эта красота не против совести, не против Бога. Толстой сражался с искусством, Достоевский же понял, что зло не в искусстве, «а в душе художника» Таково оправдание художественного творчества, тем самым и духовного пути Марины Цветаевой, предлагаемое автором в известной мере вопреки самосуду Марины, по чьим словам, «творчество в иных случаях некая атрофия совести». Независимо от согласия или несогласия с автором книги важно понимать: все, что мы творим, нуждается в оправдании — в соотношении с тем, что выше нас, выше любой природной или творимой стихии.

Книга З. Миркиной издана под одной обложкой с лекциями Г. Померанца, представляющими совсем иной жанр и образцы другой стилистики. Они посвящены духовным путям разных культур, прежде всего русской — в ее отношении к Западу и Востоку. Между соседствующими книгами возникает некая переключка, но для разговора о ней здесь уже нет места.

Ю. Шрейдер.

II. Эта книга — не просто соединенные одной лишь обложкой два произведения двух авторов, пусть даже единомышленников. Она настойчиво вызывает общие для обеих ее частей «мысли по поводу». В ее сложном единстве, содержащем истины как рационально доказуемые, так и поэтические, чье воздействие значительно ослабевает при отрыве от индивидуальности каждого из авторов, от его убежденности и неповторимого стиля, — в этом двуедином организме хочется вычленить какой-то ведущий мотив. Может быть, его можно сформулировать так: поиски цельности? Поиски цельности («той высокой, все вмещающей, все обнимающей, как взгляд с горы или с самого неба») гениальным поэтом, обреченным откликаться на всякий звук и наделенным неукротимой волей к безмерности — в мире мер. И поиски цельности всем «развитым» человечеством, поскольку всякое развитие есть также развитие, расплетение единого миропонимания на составные волокна частных знаний при утрате некоего «главного ума», который «дает жизни смысл».

Цельность при этом — понятие отнюдь не простое и однозначное: она может возникать и из страстной поглощенности какой-то частной целью, и из чувства единства с целым; из бездумной растворенности в племенных обычаях и из сознательного поклонения

какой-то Главной Книге... Складывается впечатление, что некую долю истины заключает в себе любая часть Целого — несут ее в себе даже «вор и волк», а зло возникает из «безусловности», из абсолютизации, из вознесения каких-то частных правд над правдой Целого.

Но... но если не считать философию взбунтовавшейся служанкой богословия, если ограничиться земным, «евклидовским» разумом, то не является ли всякая известная нам цельность все-таки цельностью части? Или, другими словами, не является ли и отсутствие, распад цельности одной из необходимых частных правд, исчезновение которой ведет к мертвенности? И даже утрата смыслообразующего начала — не есть ли это способность культуры всерьез ставить вопрос о собственной ценности? Способность, которая сродни умению человека оценивать себя глазами постороннего, умению, возносящему его над животными (лишь шимпанзе умеет узнавать себя в зеркале) и одновременно наделяющему его самоубийственным даром выносить себе смертный приговор (животные, вопреки мно-

гочисленным легендам, никогда не кончают с собой). По-видимому, мироощущение честного «евклидовского» разума может быть только трагическим, поскольку любое равновесие всех правд есть и частичное попрание каждой из них. Такой взгляд на мир, что говорить, не из самых веселых. Но зато, пожалуй, из самых безопасных, если вспомнить, в какие все более и более катастрофические бедствия из века в век ввергают человечество бравые оптимисты, твердо верующие в возможность установления гармонии политическими и технологическими манипуляциями. Трагическое «евклидовское» мироощущение, мне кажется, отстоит гораздо дальше от собственных рассудочно-оптимистических флангов, чем от «неевклидовского» мироощущения авторов — мироощущения, просветленного чувством прикосновения к вечности, к духовной безграничности, которая, как верят авторы, не исчерпывается мыслями и страстями мира зримых стихий со всеми его прелестями и кошмарами.

Александр Мелихов.

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала за 1993 — 1994, а также и за другие годы, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11³⁰ до 16³⁰.

Наложением платежом журнал не высылается.

«НМ».

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



НОВЫЙ ЖУРНАЛ. Книги 190 — 191. Нью-Йорк. Март — июнь. 1993. 632 стр

Номер сдвоенный. Авторы много. Огорчает отсутствие собственно художественной прозы, того, что называется fiction. Тексты Константина Плешакова «Записки мыши», Василия Агафонова «Туманы прародины» и Ирины Муравьевой «Над белыми облаками», занимающие в этом номере место прозы, по природе своей скорее эссеистичны. Поэтический раздел представлен стихотворениями Евгения Витковского, Елены Клюевой, Максима Шраера, Марины Георгадзе, Алексея Шельваха и Марины Хлебниковой.

Представляют интерес маленькие тюремно-лагерные рассказы Анны Книпер «Спектакль „Забавный случай“», «Самозванка», «Кармен» и другие (ранее в «Новом журнале» печатались ее воспоминания, см. № 159), а также сочинение Евгения Герцык «Мой Рим», датированное 1915 — 1916 гг (публикация Т Жуковской).

Сергей Шумихин, последовательно распечатывающий в периодических изданиях — в том числе и в «Новом мире» — неизвестные тексты Бориса Садовского (1881 — 1952), предлагает на этот раз его «Рассказы в стихах и прозе» («Конец Фауста», «Дама Червей» и др.) Со страниц парижской газеты «Возрождение» перепечатываются с предисловием А. Богословского два небольших рассказа Ивана Лукаша конца 20-х — начала 30-х гг

А. Николюкин публикует ранее не печатавшиеся (?) обширные фрагменты книги Василия Розанова «Мимолетное. 1915 год» (полный текст подготовлен для собрания сочинений Розанова в московском издательстве «Республика») — это может оживить любой номер любого журнала.

Московский поэт и переводчик Григорий Кружков печатает «Одиссею Эдварда Лира», то есть эссе и переводы. Валентина Синкевич — статью «„Пилатов грех“ в творчестве Леонида Ржевского», то есть свой доклад, прочитанный на съезде славыстов в Нью-Йорке в декабре 1992 г.

Михаил Голубков в статье «Химеры из хаоса (Литература на обломках империи)» жалеет, что нет литературы, и называет Марка Харитоновна молодым писателем. Графиня Антонина Комаровская пишет о молодых годах Юрия Самарина.

Продолжается публикация воспоминаний Александра Бахраха «По памяти, по записям...» (см. № 189) — о Петре Потемкине, Борисе Поплавском, Юрии Анненкове и других современниках. И. Вишневецкий публикует малоизвестный антропософский текст Андрея Белого «О Софии-Премудрости».

Эссе Вячеслава Завалишина «Квантовый классицизм Эрнста Неизвестного» начинается словами о том, что скульптор кажется автору «сверхштурманом (!) машины времени, которая...», а кончается: «...достигший творческой зрелости скульптор — в преддверии новых монументальных вершин».

Некрологи. Ариель (Е. Витковский) пишет о поэте Валерии Перелешине, умершем в Рио-де-Жанейро в ноябре 1992 г., полгода не дожив до своего восьмидесятилетия. Тут же некрологи профессора Н. В. Первушина и Ю. А. Айхенвальда, многолетних сотрудников «Нового журнала»

Как всегда, присутствует «Библиография»

Особую ценность придает этому номеру наличие указателя содержания «Нового журнала» с 1 по 190/191 книгу (напомню, что журнал был основан М. Алдановым и М. Цетлиным в 1942 г.) — это можно просто читать. С пользой и удовольствием

А. В.

КНИЖНАЯ ПОЛКА (4)



Ж. Белье. Тристан и Изольда. Перевод с французского А. А. Веселовского. М «Аргус» 1993 191 стр. 10 000 экз.

Шарль Бодлер. Цветы Зла. Стихотворения в прозе. Составление, вступительная статья Г. К. Косикова. Комментарий А. Н. Гиривенко, Е. В. Баевской, Г. К. Косикова. М. «Высшая школа». 1993. 511 стр. 50 000 экз.

Издание включает поэтическую книгу Бодлера «Цветы Зла», в том числе ряд стихотворений, ранее не переводившихся на русский язык; «Стихотворения в прозе» и дневник поэта, а также неизвестное русскому читателю эссе Сартра «Бодлер»

В. Британишский. Старые фотографии. Книга стихов. М «Лира» 1993. 151 стр

Сергей Довлатов. Собрание прозы. В 3-х томах. Составление, подготовка текста А. Ю. Арьева. СПб. «Лимбус-Пресс» 1993 100 000 экз Том 1 416 стр. Том 2 — 384 стр

Нелли Закс. Звездное затмение. М. Издательство «Ной», Израильско-Российский Энциклопедический Центр Издательство «Физкультура и спорт» 1993 173 стр 999 экз.

Первое русское издание стихов немецкой поэтессы, лауреата Нобелевской премии 1966 года. Для Нелли Закс (1891 — 1970), писавшей в молодости камерные лирические стихи, главным событием и испытанием жизни стало явление фашизма. Трагедия Освенцима, в который превратилась половина Европы, заставила ее обрести «голос, который достиг сердец людей во всем мире эхом еврейского мистицизма, протестующего против страданий своего народа», как сказано в решении Шведской академии. Предисловие Сергея Аверинцева. Перевод стихов выполнен Владимиром Микушевичем в 60-е годы, ему же принадлежит статья, завершающая книгу, — «Двери ночи (Нелли Закс и Адольф Гитлер)»

Лариса Миллер. В ожидании Эдипа. Стихи и проза. М Ассоциация «Авиатехинформ» 1993 96 стр. 1000 экз.

Ольга Постникова. Крылатый лев. Стихи 1969 — 1990 годов. М МГОПИ, «Альфа» 1993. 67 стр.

Арсений Тарковский. Благословенный свет. Избранные стихотворения СПб. «Северо-Запад». 1993. 368 стр. 75 000 экз.

Представлены наиболее известные стихотворения поэта. Тексты выверены по рукописям, восстановлены строки, исключенные или измененные ранее по цензурным соображениям. Ряд стихов публикуется впервые. Составитель Марина Тарковская. Автор предисловия Юрий Кублановский. Книга вышла в серии «Библиотека русской классической литературы».

Даниил Хармс. Случай. Текстологическая подготовка, предисловие В Глоцера. М. Международная ассоциация «Мир культуры» Фортуна-Лимитед. 1993 32 стр 30 000 экз.

Чего хочет женщина... Рассказы. Вступительная статья Е. Трофимовой. М. «Линор». 1993. 320 стр. 10 000 экз.

Сборник современной прозы, составленный по результатам Международного конкурса «На лучший женский рассказ»

●

Виктор Бердинских. Россия и русские. Киров. «Вятка». 1994. 228 стр. 1000 экз.

Своеобразное историческое исследование, посвященное жизни и быту русской деревни первой половины XX века. Автор, вятский историк, много лет записывавший устные рассказы крестьян, предлагает читателю собранный материал в систематизированном и откомментированном виде.

Н. А. Бердяев. О русских классиках. Составление, комментарии А. С. Гришина. Вступительная статья К. Г. Исупова. М. «Высшая школа». 1993. 368 стр. 10 000 экз.

В сборник вошли все работы философа о Достоевском, а также статьи, содержащие размышления о творчестве Чаадаева, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Леонтьева, Владимира Соловьева, Розанова, Мережковского, Горького и т. д.

А. Ф. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. Составление А. А. Тахо-Годи, И. И. Маханькова. Послесловие Л. А. Гоготишвили. М. «Мысль». 1993. 960 стр. 50 000 экз.

М. Вайскопф. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М. ТОО «Радикс». 1993. 590 стр. 3000 экз.

М. Л. Гаспаров. Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях. М. «Высшая школа». 1993. 272 стр. 10 000 экз.

Стиховедческие комментарии в книге Гаспарова образуют цельное с хорошо продуманной композицией, квалифицированное исследование того нового в форме русского стиха, что дал нашей поэзии рубеж веков. В качестве примеров представлено 293 стихотворения более чем ста поэтов. Книга обладает ценностью еще и как своеобразная антология экспериментального русского стиха.

Ю. А. Мешков. Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время. Екатеринбург. Уральский государственный университет, НИИ русской культуры. «Диамант». 1993. 100 стр. 10 000 экз.

Чеховиана. Чехов в культуре XX века. Статьи, публикации, эссе. М. «Наука» 1993. 288 стр. 1200 экз.

●

Н. А. Барская. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М. «Просвещение». 1993. 223 стр. 100 000 экз.

С. Л. Григорьев. Балет Дягилева. 1909 — 1929. М. АРТ СТД РФ. 1993. 383 стр. 5000 экз.

Икона Древней Руси XI — XVI веков. Альбом. Предисловие С. С. Аверинцева. Статья Л. А. Успенского. Составление Н. И. Бедник. СПб. «Художник России». 1993. 256 стр. с иллюстрациями.

О. К. Хмельницкий. Слово о великом оперном артисте. СПб. Фонд Николая Константиновича Печковского. Типография им. И. Е. Котлякова. 1993. 22 стр. 1000 экз.

Составитель С. КОСТЫРКО.



SUMMARY



The poetry section of the issue is presented by Aleksandr Kushner's, Olesya Nikolaeva's and Naum Korzhavin's poems. Also a poem of the late historian Lev Gumilyov from Emma Gernshtein's archives is published.

The publication of Daniil Granin's novel «Flight to Russia» begins in the issue. The author recounts the fate of left-wing American scientists who sought refuge in the USSR during «cold war» times (continued in issues 8 and 9).

The novel of the young writer Oleg Pavlov titled «Conventional tale» tells about the everyday life of militancy garrison guarding a prison full of convicts.

New article of Aleksandr Solzhenitzyn is published in the «Writer's Diary» section.

«Return to the Context» — the article of the well-known journalist Dmitry Shu-snarne appears in the «Publicistics» section.

In «Responses and Commentaries» section Alla Martchenko, reflects on the relations between modern Russian culture and new-born business.

«Literary Critics» section presents the dialogue between Alexey Mashevskiy and Alexey Purin «Letters by Telephone or the Poetry at the Dawn of the Century».

In the «Book Review» section Sergey Kostyrko reviews the prose of St.-Petersburg writer Igor Dolynyak; Marina Novikova of Zinovy Zinik; Andrey Vasilevskiy of Alexey Slapovskiy from Saratov; Valentin Nikitin — the belles-lettres of Rev. Igor Ekonomtzev.

The essays of the psychiatrist A. Danilin «God of this Century» are published in the «Editor's Post» section.

In the section «Shortly about Books» new philosophy works are reviewed.

In the section «Book-shelf» (compiled by Sergey Kostyrko) information about recently published books is presented.

**Читайте в ближайших номерах
новую книгу Людмилы Петрушевской
«Карамзин (Деревенский дневник)»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, И. П. Борисова, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор **А. О. Петров**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.03.94 г. Подписано к печати 4.05.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакцией журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.), 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 27 300 экз. Зак. 1856. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Несколько газет по одной подписке

ДЕЛОВОЙ МИР
BUSINESS WORLD

ДЕЛОВОЙ МИР
BUSINESS WORLD

ПРАВО
И ЭКОНОМИКА
ДОКУМЕНТЫ • КОММЕНТАРИИ

Ежедневная 8-полосная газета (формат А-2)

Оперативная экономическая информация, котировки российского и мирового рынков, новости сервиса, лут-бизнес, спорт-бизнес.

Еженедельное 32-полосное аналитическое приложение (формат А-3)

Финансы, производство, потребительские рынки, бизнес-атласы регионов, мировая экономика, экономическое пространство СНГ.

Еженедельное 16-полосное юридическое приложение "Право и экономика" (формат А-3)

Гражданское и хозяйственное законодательство, финансы, налоги, кредит, законодательство о недрах, внешнеэкономические отношения.

Эти газеты подписчики "Делового мира" получают уже сегодня.

*В следующем полугодии редакция планирует
предложить своим читателям еще несколько тематических приложений.*

И все это опять-таки по одной подписной квитанции.

**подписной индекс -
50026 в каталоге "Роспечати".**